



РОБЕРТ
МУЗИЛЬ

МАЛАЯ
ПРОЗА

1

РОБЕРТ МУЗИЛЬ

МАЛАЯ ПРОЗА

●
ТОМ 1



КАНОН-пресс-Ц





ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

ROBERT MUSIL

РОБЕРТ МУЗИЛЬ

МАЛАЯ ПРОЗА

**ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ**

ТОМ 1

МОСКВА
«КАНОН-ПРЕСС-Ц»
«КУЧКОВО ПОЛЕ»
1999

ББК 84.4А
М89

*Объединение «КАНОН-пресс-Ц»—«Кучково поле»
выражает признательность за содействие
и финансовую поддержку издания
Министерству иностранных дел
Австрийской Республики.*

*Составление Е. А. Кацевой
Оформление Н. Д. Саркитова*

Музиль Р.

М89 Малая проза. Избранные произведения в двух томах. Роман. Повести. Драмы. Эссе. / Пер. с нем., пред. А. Карельского, сост. Е. Кацевой — М.: «Канон-пресс-Ц», «Кучково поле», 1999. Том 1; 448 с.

М $\frac{4703000000-10}{2ШО(03)-98}$ Без объявл.

ББК 84.4А

ISBN 5-87533-111-9



© Перевод. С. Апт, 1999;
© Перевод. И. Алексеева, 1999;
© Перевод. Н. Федорова, 1999;
© Оформление. «КАНОН-пресс-Ц», 1999;
© Составление, комментарии. Е. Кацева, 1999.

*Памяти
Альберта Карельского
посвящается!*

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Этот двухтомник посвящается памяти Альберта Викторовича Карельского (1936—1994) не только потому, что он был замечательным российским германистом, но главным образом потому, что он необычайно много сделал — и как литературовед, и как переводчик — для знакомства наших читателей с творчеством, в частности, Роберта Музиля (достаточно посмотреть оглавление каждого из томов). Более того, *впервые* сам Музиль заговорил на русском языке голосом именно А. Карельского, переведшего его новеллу «Тонка» (журнал «Иностранная литература», 1970, № 3).

Пожалуй, не только в России, но и во всем мире имя одного из крупнейших писателей XX века обычно связывается лишь с его романом «Человек без свойств». Это действительно главный труд его жизни (на русском языке он впервые вышел в 1984 году в переводе С. Апта).

Главный, но не единственный. Им и не исчерпывается наследие великого австрийца. Есть еще и «малый» Музиль, включающий в себя и его первый роман «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса», и обе его пьесы — драму «Мечтатели» и фарс «Винценц и подруга выдающихся мужей», и дилогию «Соединения», и триптих «Три женщины», ну и действительно «малый» жанр в самых его разнообразных формах: этюды, афоризмы, эссе.

Часть из этого в разное время напечатали разные журналы — «Вопросы литературы» («Угрюмые размышления», из «Дневников»), «Иностранная литература», «Литературная учеба», «Знамя» — эти неутомимые культуртрегеры, без которых настолько беднее была бы наша духовная жизнь, что и думать тошно о постоянной экономической угрозе их существованию (достаточно сказать, что даже роман «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса», перевод С. Апта, был напечатан только в журнале «Иностранная литература», 1992, так и не шагнув с его страниц в книжное издание); кое-что

попало в сборники («Австрийская новелла XX века», 1981; «Встреча на Эбро», 1989); а многое переведено впервые, специально для данного издания (пьесы, «Афоризмы», три варианта «Завещания», некоторые эссе, этюды из книги «Прижизненного наследия», публикуемой здесь полностью).

Все это и представлено в предлагаемом двухтомнике. В качестве вступительной статьи приводится блистательный очерк А. Карельского о творчестве Музиля, взятый из книги А. Карельского «От героя к человеку. Два века западноевропейской литературы» (М., «Советский писатель», 1990).

Переводы всех произведений заново выверены по текстам, опубликованным в Собрании сочинений Роберта Музиля в 9 томах (Robert Musil, Gesammelte Werke 1—9, Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg,, Mai 1978).

Е. Кацева

УТОПИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Роберт Музиль (1880 — 1942) при жизни много страдал от того, что ощущал себя не оцененным по достоинству. Это ощущение не было выдуманным. Слава одного из крупнейших художников и мыслителей австрийской, да и всей немецкоязычной литературы XX века пришла к нему только посмертно; а умер он в безвестности и нужде, в эмиграции, где жил с 1938 года — после гитлеровского аншлюса Австрии, — ценимый лишь весьма ограниченным кругом знатоков. Правда, среди этих ценителей авторитеты очень весомые: Томас Манн, Герман Брох, Арнольд Цвейг.

Надо сказать, что, сетуя на своих читателей, Музиль в то же время не облегчал им задачу установления живого контакта с его художественным миром. Мир этот не прост для восприятия. Музиль если и может рассчитывать на читателя, то лишь на достаточно подготовленного; но зато усилия, затраченные на приобщение к этому необычному миру, окупаются с лихвой.

В художественном мире Музиля много конкретных примет реального времени, в котором жил он сам и жили его герои. Место действия здесь — Австро-Венгерская империя рубежа веков, последних двух десятилетий ее существования. Но ее историю Музиль рассказывает в особом ракурсе. Точность исторических характеристик — а уж они у Музиля, как правило, отточены до блеска, до афористичности — это лишь необходимый фон, самый верхний пласт художественной структуры. И пласт, можно сказать, подчиненный; упомянутый блеск не должен вводить нас в заблуждение относительно главной заботы Музиля. Она — в том, чтобы показать *мир сознания* современного человека; сквозь него преломлены все реалии, оно их отбирает и располагает по значимости, оно их интерпретирует.

Музиль сам сказал об этом с некоторым нажимом в одном из своих интервью в 1926 году: «Реальное объяснение реальных событий меня не интересует. Память у меня плохая. Помимо того, факты всегда взаимозаменяемы. Меня интересует духовно-типическая, если угодно, призрачная

сторона событий». И когда мы называем сейчас Музиля одним из внимательнейших наблюдателей и аналитиков современного ему мира (в том числе и социального!), надо в то же время помнить, что история людей у него возникает из истории и анатомии их идей.

Установка на «взгляд изнутри» определила и специфическую монологичность музилевского творчества. Дело в том, что из понятия «современный человек» Музиль никоим образом не исключает и самого себя. Большинство главных героев в его произведениях — в той или иной степени авторские самопроекции; да и менее главные, явно «характерные» персонажи, будь они даже объектом сатирического развенчания, иной раз, как бы вдруг проговариваясь, начинают изъясняться авторским языком. Так что отделить автора от действующих лиц здесь тоже нелегко, слишком часто граница подвижна, дистанция обманна. Показывая духовные блуждания своих героев, Музиль держится по отношению к этому смятенному товариществу скорее как равноправный член, нежели как всеведущий судья; в их сомнениях и исканиях он участвует полной мерой, их победы и поражения берет на себя.

Столь пристальный интерес к анатомии человеческого сознания не случаен. Среди западных художников слова XX века Музиль — один из тех, кто особенно остро ощущал кризисное состояние буржуазной цивилизации, кричащий разрыв между гуманистическим кодексом, унаследованным от прошлых эпох, и девальвацией всех его установлений в настоящем. Этот кодекс существует теперь лишь как система выхолощенных, бескостных догм и фраз, под усыпительным покровом которых уже затаилась, готовая в любой миг раскрыться, бездна варварства и хаоса. Музиль пережил первую мировую войну и застал начало второй; на его глазах развалилась Австро-Венгерская империя, давшая ему место рождения и гражданство; он видел, как расползалась по земле Европы фашистская чума. И все эти социальные катаклизмы сходились для него в едином фокусе — в сознании современного человека. Вот здесь для Музиля эпицентр кризиса. Веками лелеявшийся гармонический идеал homo sapiens вдруг обернулся чем угодно, только не гармонией: аморфность, безвольная податливость, изнурительная и бесплодная рефлексия идут рука об руку с необузданностью инстинктов, релятивизмом нравственных представлений, жестокостью.

Сама по себе эта печальная тема была для музилевского времени не нова: безнадежно-итоговый термин «декаданс», подразумевающий и распад личности, и закат целой культуры, родился в эту эпоху и составил убеждение многих сы-

нов века. Но от писателей декаданса Музиля резкой чертой отделяет то, что он не ограничивается фиксацией признаков упадка. Вся энергия его мысли сосредоточена на другом: где найти тот рычаг, с помощью которого можно было бы остановить цепную реакцию распада личности, ведущую к распаду человеческого сообщества? Музиль страстно жаждет *изменения* человека, а через него — и изменения мира; утопия — центральное понятие в его мировоззренческой системе; «иное состояние», «инобытие» (*der andere Zustand*) — центральная утопия в его главном произведении, его Книге с большой буквы — романе «Человек без свойств».

Этот роман Музиль писал, по сути, всю жизнь. В самых первых его дневниковых записях уже намечаются контуры образа Ульриха, будущего героя романа. Других беллетристических произведений у Музиля мало, они невелики по объему, а по содержанию своему расположены на той же линии, в них разрабатываются и варьируются те же темы, что и в романе; это как бы передышки, краткие остановки в пути. Путь же остался незаконченным, роман, по огромности своей едва ли не беспрецедентный в мировой литературе, так и не был завершен. И открытой осталась его главная проблема — возможность свершения утопической мечты об «ином состоянии» и ином человеке.

Едва ли это произошло лишь потому, что смерть оборвала Музиля на полуслове, что он ведомую ему тайну унес с собой в могилу. В сохранившихся рукописях, многочисленных набросках отдельных глав заключительной части, составляющих в целом более трети общего объема, постоянно всплывают размышления автора о будущей концовке романа, и ни один вариант не обнадеживает. Во всяком случае, те утопические возможности, которые взвешиваются в романе — и взвешиваются порою обстоятельно, пристрастно, как названная выше утопия «иного состояния», — не выдерживают испытания реальной жизнью. «Что же все-таки остается в конце? — гласит одна из последних записей. — То, что существует сфера идеалов и сфера реальности? Как это неудовлетворительно! Неужели нет лучшего ответа?». Музиль унес в могилу не ответ, а вопрос.

Зато вопрос ставится им с поистине беззаветной решительностью — вопрос о том, как не надо и как надо было бы чувствовать, мыслить и жить. Логику каждого модуса человеческого мышления и поведения Музиль стремится проследить до самого крайнего предела. Если это форма отжившая, исчерпавшая себя, он неумолимо докажет ее изжитость и оставит в конце язвительное клеймо эпитафии,

афоризма; если же с какой-либо формой он связывает надежду на возможное обновление, он заведомо располагает ее за этой гранью традиционного, изжитого. Уже в первых дневниковых заметках он пишет о своем интересе в сфере познания к тому, «что находится у самых пределов духа, на том отрезке нашего существования, который душа преодолевает лишь в отчаянно-стремительном лете, уже влекомая безумием, в следующую же минуту снова гасящим все». Эти «запредельные» формы утопического «иног» бытия и мышления он тоже стремится исследовать до их логического завершения. И в итоге, к сожалению, тоже встает горький вывод, как он сформулирован в заметках и концовке «Человека без свойств»: «Общая тональность — трагедия мыслящего человека».

Музиль — художник не итоговых формул, не запечатленного свершения, а бесконечного напряженного поиска. Его стихия — не примирение и гармонизация противоречий (тем более на легких, подсказываемых традицией путях), а домысливание, «проигрывание» антимонических возможностей до конца — даже ценой того, что в результате подобной операции они окажутся вдвойне, втройне непримиримыми. Сознание современного человека тут, можно сказать, испытывается на разрыв. Что же представляет собой герой Музиля — взятый поначалу в самом общем плане — и каков его путь познания?

Одно из ранних эссе Музиля носит программное название «Математический человек» (1913). За этим названием отчасти стоит биография. Музиль — инженер, «техник» по образованию и в немалой степени по склонностям. В 1901 году он окончил технический институт в Брно, в 1902—1903 годах работал ассистентом технического института в Штутгарте. И когда затем его интересы переместились в сферу психологии, логики и философии, он и там обнаружил тяготение к точным методам: психологию он изучает экспериментальную и даже изобретает прибор для исследования механизма оптического восприятия цвета.

Точность мышления, «инженерный» склад ума были гордостью Музиля, поддерживали в нем честолюбивое сознание превосходства над своими собратьями по перу. К модным писателям-декадентам конца века — Д'Аннунцио, Гюисмансу, Пшибышевскому — Музиль строг, его настораживает их «мания психологизирования», «все эти изыски и нюансы»; он с недоверием относится к расплывчатым рассуждениям о «духе», «душе», «чувстве», распространившимся в это время в противовес натуралистическим и позитивистским теориям; позже он столь же раздраженно реагирует на взвинченно-патетические декларации экспрессионистов.

Но в «математической» этой натуре с самого начала действует и другая, противоположенная сила — тяга к поэзии. С восемнадцати лет Музиль записывает в дневник наброски литературных сочинений. Правда, герой его получает название «мсье вивисектор». Интересующий Музиля тип человека — прежде всего «расчленитель душ», «грядущий человек мозга», «ученый, рассматривающий собственный организм в микроскоп». Но в этих записях юного «вивисектора» слышны и совсем иные, лирические, даже патетические тона; уже здесь намечается одна из главных проблем всего будущего творчества Музиля — соединение «математики» с поэзией, *ratio* с *intuitio*. Его идеал — *цельность* мироощущения и бытия, полнота осуществления всех — и рациональных, и эмоциональных — возможностей человека. Ныне, полагает он, оба эти принципа в жизни человека и общества разошлись; рационализм в его современном, банализированном толковании ведет к бездушной механистичности и морали голого практицизма, а сфера эмоционального стала полем беспредметных, ни к чему не обязывающих «возвышенных» умствований. Человек лишился всех опор. Где та мера, которую необходимо соблюсти для каждого из обоих принципов, чтобы они, соединившись, дали желанную цельность и полноту? Задача мыслится именно как опыт, и, фанатик чистоты эксперимента, Музиль жаждет пробиться к беспримесным, как бы дистиллированным формам обоих компонентов.

Это стремление придало классической дилемме «разум — чувство» в музильевском варианте особую напряженность и остроту: чем «чище» мыслятся оба принципа, тем глубже обозначивается пропасть между ними — и тем непосильней задача их свести! Возникает роковой круг, обрекающий писателя на все новые мучительные для него антиномии. Стремясь очистить принцип разума от аморфных, липких наслоений субъективизма *fin de siècle*, Музиль апеллирует к традициям Просвещения — к традициям последовательного рационализма. Мечтая о столь же изначальной незамутненности чувственного принципа, он обращается за поддержкой к самым радикальным иррационалистическим системам прошлого — вплоть до учений мистиков. Вивисектор и визионер, трезвый аналитик и опьяненный экстатик — таким поочередно и одновременно предстает Музиль в своих произведениях.

Именно этому сочетанию художественный мир Музиля обязан особым, неповторимым колоритом стиля, специфически музильевской атмосферой головокружительной интеллектуальной авантюры. Музиль сам однажды сказал о своем интересе к «мистике яви»; не менее захватывающи и его

попытки представить реальным, явственным состояние мистической озаренности души, остановить и «расчислить» механику экстаза.

Вообще на уровне *стиля* Музилю как раз удается впечатляющий синтез обоих начал, особенно при изображении рациональной стороны человеческого сознания. Абстрактное умозаключение сплошь и рядом предстает у него не как простое развитие идеи, а как ее приключение; идеи здесь — персонажи, герои, их взаимоотношения «сюжетны» — силлогизмы превращаются в притчи.

Но Музиля волнует проблема не только стилистическая, но и экзистенциальная. Одно дело — как рассказать о заботах современного человека, а другое дело — как их разрешить. Противоречия, сколь бы блистательны они ни были выражены словесно, остаются противоречиями в сфере реального бытия, в сфере поведения, этики. И достоинство Музиля в том, что он не обманывается относительно границ эстетики и этики. Великий художественный дар давал ему возможность эффектно запечатлеть status quo, и мысль об искусстве как «лишь средстве для стимуляции личности», для «заполнения мертвых часов жизни» с самого начала взвешивалась им; в его долгой, до самой смерти, работе над главным романом отчасти отразилось и это настроение.

Но одна магия слов все-таки не приносила Музилю удовлетворения, равно как и сам принцип крайних «пределов духа» осознавался им как рискованная, роковая авантюра. В цитированных выше словах об этих пределах и о душе, преодолевающей их «лишь в отчаянно-стремительном лёте», есть не только знаменитая музилевская чувственная образность абстрактного, но и его глубочайшая экзистенциальная тревога, связанная с таким путем познания. Не случайно Музиль завершает далее это рассуждение словами о «беспредельном чувстве безысходности», которое охватывает людей, дерзнувших проникнуть в «предельную зону».

«Самоубийство или писательство» — так позднее эта дилемма была сформулирована в «Человеке без свойств», и ее первая сторона прежде всего говорит о том, сколь серьезно воспринимался Музилем вопрос о *жизненном* воплощении его идей и утопий, а не только об их совершенном эстетическом воплощении. В «Человеке без свойств» отчетливей всего запечатлелось это предельное, судьбоносное напряжение между эстетикой и этикой. Роман этот — пиршество художественной мысли, убийственно язвительной в изображении всего, что Музилем отрицается, и фанатически упорной в создании «конструктивных» утопий. Но рассказывается в романе о том, как распадаются все утопии, и неспроста он самой формой своей являет грандиозный символический образ неразрешенности и *неразрешимости*.

Видеть, как рушатся одна за другой твои иллюзии, — горестный удел. Музиль, при всей его ироничности и скепсисе в «Человеке без свойств», — трагический художник. Только в трагизме его мироощущения нет пасофа, нет громких жалоб, нет тяжб с судьбой (при слове «судьба», иронизирует герой романа, не знаешь, о чем подумать — то ли о своей зубной боли, то ли о дочерях короля Лиры). Этот трагизм незримо разлит повсюду, он, говоря словами Томаса Манна, «атмосферен». Даже там, где Музиль рассказывает о крушении последней, главной своей утопии — той, ради которой и создавалось десятилетиями это гигантское здание, — он приглушает тон насколько возможно. Скорбь здесь поистине мировая, трагедия осмысливается в масштабе космическом — но повествуется об этом в тоне элегии: «Летнее море и осенние горы — два тяжелых испытания для души. В их безмолвии скрыта музыка, превышающая все земное; есть блаженная мука бессилия — от неспособности подладиться под эту музыку, так расширить ритм жестов и слов, чтобы влиться в ее ритм; людям не успеть за дыханием богов».

Трагедия философского максимализма, «блаженная мука» от онтологических неполадок — наследственный недуг. В истории немецкоязычной духовной традиции он восходит к романтической эпохе. Это там особенно остро обозначились и бескомпромиссный максимализм чистых принципов, и разверзшаяся в результате пропасть между ними — между *intuitio* и *ratio*, между поэзией и прозой, — и отчаянный штурм полюсов; это там воздвигались здания космогонических утопий мистического всеслияния (скажем, у Новалиса), там делили власть и сводили счеты с богами (скажем, у Гёльдерлина). Названные имена много значили для Музиля. Он вообще симпатизировал романтикам, симпатизировал и их симпатиям — ведь именно романтиками были созваны духи мистических ясновидцев средневековья. И если Музиль настороженно-скептически относился к современным ему неоромантическим формам мистицизма и иррационализма, то это еще не значит, что он отрицал их целиком, как принцип. Логика тут скорее была другая. Несостоятельность этих систем, очевидную его рационалистическому уму, его же романтическая душа подсказала истолковать лишь как эпигонство, как измельчание и замутнение возвышенной идеи, и тогда-то он стал двигаться к истокам, туда, где идея, как представлялось ему, еще была чиста.

Но это «избирательное сродство», думается, имело не только такие возвышенно-философские основания, но и другие, более осязаемые — психологические. Противопоставление рационалистического ума и романтического серд-

ца было выше применено к Музилю вполне сознательно. При всем жестоком анализизме мышления Музиль в своей психической конституции и вытекающем из нее отношении к внешнему миру был весьма близок к тому складу натуры, который впервые во всей полноте также сформировался в романтическую эпоху. Их роднит многое: ощущение пропасти между миром данным и миром должным (романтическое «двоемирие»); чувство изначального одиночества и непонятости; повышенный интерес не только к проблемам духа, «общим» идеям, но и к такому романтически-частному их выражению, как проблема гения и гениальности; восприятие современного буржуазного мира как сферы банального, усредненного, стереотипного; обращение к иронии как к оружию самозащиты, поиски отдушин в утопии, в «уединении», в бегстве от цивилизации, разочарование в утопиях и, как следствие, самоирония...

Конечно, «Человек без свойств» — очень современное произведение, одно из самых новаторских в двадцатом столетии; однако за многими наиновейшими формами мышления и выражения проглядывает древний каркас. Пожалуй, ярче всего новаторство Музиля там и проявляется, где он изощренный анализизм технической эры фокусирует как раз на давних и как раз на нерационалистических идейных комплексах.

К названному фонду традиции Музиль шел через атмосферу современной ему духовной культуры и ее предшествующего этапа. Здесь у него были два особенно глубоких впечатления. Первое — Достоевский; его он, по собственному признанию, в юности «горячо любил» — для сдержанного Музиля формула редчайшая, пожалуй, в ряду его литературных оценок и единственная. Второе — Ницше; его он читал снова и снова, но это уже не была «горячая любовь» — это была неотвязная проблема, затяжной искус; случай не единичный — вспомним хотя бы Томаса Манна.

С осмыслением идей Ницше, в частности, связаны многие исходные положения музилевской этики. Уже в первой пробе пера — упоминавшемся наброске о «мсье вивисекторе» — очевидна ученически откровенная замороженность ницшевскими постулатами. «Исследователей и микроскопистов души» прославлял Ницше в книге «К генеалогии морали», о «вивисекции доброго человека» говорил в книге «По ту сторону добра и зла», ставя «доброго человека» в иронические кавычки. Этот афронт буржуазной посредственности с ее плоскими и к тому же насквозь лицемерными представлениями о «моральности», «доброте», вообще о человеческой природе всецело поддержал и Музиль; еще в набросках к заключительной части «Человека без

свойств», захватывающей уже начало первой мировой войны, он саркастически писал: «Добрые люди за войну, а злые — против нее!»

Музиль мечтал об *ином* человеке, не похожем на современного. Но этот человек мыслился уже совершенно, *во всем* иным; такая радикальность предполагала, конечно, столь же радикальное — во всем! — отрицание человека «наличного», буржуазного. Опять — чистота эксперимента: только с «человеком без свойств», чей образ очищен от всех наслоений ложного развития, от шелухи века, можно начинать столь грандиозный опыт. Буржуазная цивилизация сформировала тип человека трафаретного, расчисленного — Музиль, этот «математик», сам отнюдь не чуждый «жару холодных чисел», против расчисленности как раз и протестует. Поэтому герой его произведений — по преимуществу человек расшатанный, вдруг осознавший непрочность всех традиционных, твердых критериев поведения и оказавшийся целиком в зыбкой атмосфере относительности и неопределенности.

Не удивительно, что эксперимент начинается с морали. Именно здесь, в области регуляции межчеловеческих отношений, раньше и болезненней всего обнаруживается сносность тормозов, банальному сознанию кажущихся безотказными. Вот тут-то и соблазнила Музиля ницшевская софистика имморализма. Обыватели бездумно ободряют себя выхолощенными постулатами «добра» и «морали»; для знающего же человека зло не исчезнет оттого, что его не хотят замечать; во всяком случае, без знания зла, без этого опыта и испытания несостоятельно любое развитие.

В музильевской постоянной сосредоточенности на отклонениях от «норм» сошлись разные, хотя и взаимосвязанные импульсы: радикальное ниспровержение норм именно буржуазных, упование на новый, всеобъемлющий, не исключающий и отрицательных путей опыт познания как на залог становления нового человека. Есть в этой установке, конечно, и отдаленные отзвуки фаустовско-мефистофелевской диалектики доброго и злого начал в бытии и познании; если заглянуть еще дальше (что на определенном этапе сделал и Музиль), то подобная же диалектика по-своему отражалась в учениях мистиков (Якоба Бёма, Эккарта); взвешивание возможности познания через сделку с дьяволом вообще ведь давняя забота германской духовности. И Ницше в данном отношении проблему взял уже готовую, лишь заострил ее и, можно сказать, огрубил.

Музиль это, безусловно, чувствовал. Ницшевский «поворот винта» с течением времени казался ему все более сомнительным. И если поиски писателя на этом пути с самого

начала нейтрализовались противоядиями, то, наверное, одним из них был Достоевский. Особенно часто Музиль вспоминал «Преступление и наказание», и это понятно: остроту проблематики он нашел здесь не меньшую, искус «преступления границы» выражен здесь с невиданной страстностью. Но как у Достоевского уже название его романа говорит о немислимости «чистого» принципа зла, так и Музиль, проходя со своим героем зону «антиморали», постоянно имеет в виду грядущее возрождение, просветление человека — и возрождение не в ницшеанском «сверхчеловеческом» духе, а как раз в духе открытости всему человеческому и человеческому: любви, сочувствию, состраданию. Просто — таково уж убеждение Музиля — слишком далек и тернист к этому путь.

Собственно говоря, конечный, идеальный образ человека для Музиля расплывчат, еще неуловим, неопределим. Не случайно одной из центральных опор всей его мировоззренческой и художественной системы становится категория «возможности». В ней, этой общей категории, внешне положительный, обнадеживающий смысл искусно снимает — а по сути, лишь маскирует — внутренний всеобъемлющий релятивизм, неоформленность каких бы то ни было положительных критериев и «свойств». Все возможно потому, что все относительно. Расчет на грядущее лучшее состояние выводится прежде всего из того, что все сущее равно непрочное, необязательно, доступно отрицанию и достоинство его. На этом философском фундаменте и строит одну за другой свои утопии герой «Человека без свойств»; один из них прямо называется утопией «эссеизма», то есть — от исходного значения этого слова («попытка») — жизни «на пробу», жизни, открытой всему. «В необозримой протяженности времени, — говорил Ульрих, — Бог создал не одну только эту жизнь, которой мы сейчас живем, она ни в коей мере не истинна, она лишь одна из его многих — и, будем надеяться, осмысленных — попыток, он не вложил в нее для нас, для тех, кто не ослеплен мгновением, никакой обязательности». Заголовком одной из начальных глав «Человека без свойств» Музиль делает сентенцию: «Если существует чувство реальности, то должно существовать и чувство возможности». Этим вторым чувством, говорит он, перспективней всего руководствоваться человеку в жизни. Музиль с присутствующим ему максимализмом настаивает, по сути, на изменении самого категориального статуса возможности: она у него перестает быть проекцией будущего и обретает право эмпирической реальности, становится атмосферой, в которой живет его герой и с законами которой он сообразуется так:

же, как другие соотносятся с законами объективного мира.

Но как ни соблазнительно это пьянящее ощущение свободы от всех условностей, писатель прекрасно понимает, что жизнь «по законам возможности» существует лишь «для себя», лишь для данного единичного человека и внутри его сознания; она ни к чему не обязывает других. Внешний мир — какой бы досадной помехой он ни был для расчетов утописта — существует, и если Музиль отрицает его ценность и истинность, то отнюдь не отрицает его наличности. Эта «одна из господних попыток» неудачна, но все-таки она основательна, тяжело весома, и другой пока не дано! Когда музилевский герой предпринимает иную, свою попытку, век ее оказывается недолог. Всякое соотнесение максималистической иррациональной утопии с реальным миром рано или поздно приводит к ее крушению.

Посмотрим теперь, какое сюжетное воплощение получала у Музиля концепция «иногостояния», как она развивалась от самого начала вплоть до трагического исхода.

В реальном мире модель бытия «по законам возможности» удобнее всего приложима к человеку молодому, еще только входящему в жизнь и не скованному узами остепенелых «свойств». На пороге жизни ощущение «открытости всему» лишь естественно. С молодого человека Музиль и начинает. «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» (1906) — так называется его первый роман. Он во многом автобиографичен и тем более помогает понять становление Музиля как мыслителя и художника.

У юных душ немало смятений, и в мировой литературе о том есть немало повествований. У Тёрлеса, воспитанника привилегированного закрытого интерната, главных смятений два. Одно из них вызвано математикой. В какой-то момент мальчик вдруг осознает всю странность математических операций с мнимыми числами, в частности с квадратным корнем из минус единицы. «Ты только подумай, — возбужденно говорит он приятелю, — в такой задачке в начале стоят вполне солидные числа, они выражают метры, килограммы или там еще что-нибудь осязаемое; это, во всяком случае, реальные числа. И в конце задачи стоят такие же. Но и те и другие связаны друг с другом благодаря чему-то, чего вообще не существует. Тебе не кажется, что это как мост, от которого остались только быки на обоих концах и по которому мы все-таки переходим так уверенно, как если бы он стоял целиком? У меня от таких задачек голова начинает кружиться; будто на каком-то отрезке ты идешь бог знает куда. Но самое тут непостижимое для меня — это сила, которая скрыта в такой задачке и которая

так надежно тебя держит, что ты в конце концов оказываешься там, где надо»*.

Это, конечно, символическое иносказание, притча о наличии в человеческой жизни моментов, не поддающихся «осязанию», чувственному восприятию, но оказывающих, по мысли Музиля, реальное влияние на эту жизнь. Специфически музильевская эlegantность парадокса тут в том, что он «доказал» реальность нереального математически.

Рассуждение о корне из минус единицы — ключ к мировоззренческой и художественной системе Музиля. Здесь оформляется одна из главнейших доминант его представления об «ином состоянии», о «мире возможностей» — возможность опыта иррационального. И здесь как будто получает опору и оправдание его мечта о соединении поэзии с «математикой» — мечта, которую он выскажет чуть позже в эссе «Математический человек». В самом деле: если даже в столь строгой и рационалистической науке залогом точности («оказываешься там, где надо») могут стать операции с величинами мнимыми и иррациональными, то не должна ли воспользоваться этим опытом поэзия? Ведь она имеет дело с человеческой душой, а та как раз полна неосязаемого, того, «что крадется окраинами сна», как говорил поэт. И именно эта сфера была до сих пор, считает Музиль, предметом крайне неточных спекуляций.

Мы подошли к вопросу о природе и специфике музильевского психологизма. Уже в «Тёрлесе» со всей очевидностью обнаружилось, что анализ человеческой души — одно из главных достоинств писателя. С этим, однако, вступают в противоречие постоянные и весьма резкие протесты Музиля против квалификации его как «психолога», его насмешки над «манией психологизирования» у современников, над их одержимостью «изысками и нюансами», над самим понятием «душа». Как все это совмещается друг с другом?

Дело в том, что музильевская жажда точности всегда была весьма относительна, скорее полемична, чем принципиальна. Ведь неспроста он и в понятийном арсенале математики выбирал именно *мнимые* величины, апеллировал к методам, как он сам говорил, «авантюрным», «фантастическим». А в написанном в 1918 году «Очерке поэтического познания» он и вообще уже не вспоминает о достоинствах «математики»; напротив, он решительно отграничивает поэтическое познание от научного. В сфере первого, говорит он, «факты своенравны и непокорны, всякий закон — как сито, события индивидуальны и могут варьироваться бесконечно». Над

* Приводимые цитаты из романа «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» мы оставляем в переводе А. Карельского, не заменяя на соответствующие строки из перевода С. Апта. (*Составитель*).

этой сферой не властно научное, рациональное познание. Но когда Музиль исключает из этой сферы и психологию (как «экспериментальную» науку), когда он аргументирует это очевидным парадоксом: «Непредсказуемо многообразны лишь душевные мотивы, а они к психологии отношения не имеют», — тогда мы вправе заподозрить, что и за музильской неприязнью к «психологизированию» таится всего лишь полемическое заострение.

Еще в эссе 1913 года «О книгах Роберта Музиля», критикуя расхожие представления «о якобы существующих в жизни великих чувствах, которые писатель должен только отыскать», Музиль высказал мысль, что само по себе сильное чувство «безлично», и с этой точки зрения Франциск Ассизский не примечательней любого экзальтированного приходского пастыря, а Клейст — любого безымянного самоубийцы. Все дело, стало быть, в более тонких градациях чувства — лишь тогда оно становится «личным». Уже тут мы можем расслышать знакомые ноты: ведь это, в сущности, та самая логика, которой руководствовались и поборники аналитического психологизма в середине XIX века. Еще отчетливей она слышится, когда Музиль ставит художнику задачу подстеречь и запечатлеть те откровения чувства и потрясения мысли, постичь которые возможно не вообще и не в форме понятий, а лишь в трепетном мерцании единичного случая».

Как видим, самого Музиля «нюансы» очень даже интересовали! И это подтверждает его творчество раннего этапа: «Тёрлес», несомненно, добротный психологический роман, а в новеллистическом диптихе «Соединения» (1911) несколько даже дотошно анализируются весьма экстраординарные душевные состояния. Так что современники были не так уж неправы, когда возвращали ему самому его упреки и констатировали, что он «закопался в психологизме». Просто он хотел во что бы то ни стало отгородиться от общего русла, претендовал на некую особую, более совершенную методику. И вот в соответствующих суждениях Музиля 10-х годов — периода, когда выработывалась его концепция психологизма, — обращает на себя внимание напряженный поиск определений и терминов для этой методики. В «Очерке поэтического познания» он как будто находит главный термин; он заявляет, что традиционный психологизм непригоден для анализа «нерациоидной сферы».

Музиль говорит не «иррациональной», а именно «нерациоидной». Это для него разные вещи. Иррациональное — это то, что непостижимо разумом, и Музиль этого слова старается избегать; а вот «нерациоидное» — это то, что не входит в сферу разума и его схематизирующей логики, но

тем не менее *доступно* постижению и, во всяком случае, поэтическому изображению, ибо это «нерациоидное» и есть, по Музилю, прерогатива и собственная сфера поэзии, в отличие от сферы «рациоидной», то есть логического объяснения мира.

В «Тёрлесе» притча о корне из минус единицы завершается следующей тирадой героя: «Когда я мучаюсь математикой, я ищу не что-то сверхъестественное, а как раз естественное, понимаешь? Не что-то вне меня — в себе ищу, в себе! Что-то естественное! Только вот понять его не могу!»

То, к познанию чего здесь пробивается Тёрлес, — «нерациоидное» в собственной душе, — это, конечно, бессознательное, мыслящееся писателем как еще не познанная психическая реальность. В последующем своем творчестве Музиль постоянно будет показывать, как определенные внешние явления стимулируют всплеск «нерациоидного» в человеке. И вот здесь порою граница между «нерациоидным» и иррациональным в обычном понимании будет становиться крайне зыбкой. Черный дрозд в одноименной новелле воспринимается рассказчиком как душа и голос покойной матери; судьба кошечки в новелле «Португалка» сопряжена с судьбой героев поистине сверхъестественным, мистическим образом. Сама апелляция Музиля к мистическим учениям (Эккарта, Сведенборга) в «Человеке без свойств» свидетельствует о том, что писатель склонен был включать в сферу «нерациоидного» вообще все, что лежит за пределами рационального познания, и, таким образом, не просто оставлять в стороне сферу собственного иррационального, но как бы упразднять это понятие вообще. В самом деле, если приведенные примеры не говорят о попытке иррационального опыта, то это понятие и впрямь утрачивает смысл.

Но такое «затуманивание» понятий характерно для тех случаев, когда речь идет о дорогих сердцу писателя вещах — в частности, о всем комплексе «иного состояния». Рационалист Музиль *не хотел* допускать иррациональное в эту область — и прежде всего потому, что в иррационализме как таковом он все более ощущал серьезную опасность. Не случайно при характеристике националистического кружка юнцов в «Человеке без свойств» — кружка, по сути, предфашистского — он говорит об «иррациональном движении», основа которого — «мистицизм в современном обличье». Вот тут и термин понадобился — причем контекст не оставляет сомнения в его негативной окраске. В положительных же построениях с «нерациоидным» Музиль как бы *непроизвольно* подходит к грани иррационального, влекомый той же инерцией чистоты эксперимента. И эта близость тогда его же самого настораживает, как еще одна, внутренняя угроза его утопии.

Возвращаясь к «Тёрлесу», можно сказать, что образ «моста о двух быках» — с зиянием, провалом посередине — музилевская формула познания и ориентации в мире. Его герой «стартует» с твердой опоры, из сложившегося реального бытия, и приземлится-то он рассчитывает «там, где надо», то есть в бытии хоть и «ином», лишь «возможном», но в принципе тоже реальном. Но вот эта цезура, этот головокружительный миг отрешения, когда «идешь бог знает куда», — как вот это уловить и выразить? А в этом отрезке, по Музилю, как раз и заключен подлинный опыт, иное познание, не скованное вековыми условностями, не осевшее грузным монолитом на незыблемом фундаменте «быка».

Тут и начинается второе, еще более существенное смятение Тёрлеса.

Оставаясь в предложенном самим Музилем круге понятий, можно сказать, что его герой проходит этот отрезок, подвергаясь испытанию отрицательными величинами. Из традиционной схемы «романа воспитания» исключаются едва ли не все положительные импульсы, которые воздействовали бы на героя извне, все, что издавна повелось считать облагораживающим, возвышающим душу. Нет первой трепетной любви, этого почти неперемennого сюжетного мотива повествований о детстве и отрочестве, — есть напряженный, брезгливо-неодолимый интерес к женщине легкого поведения. Нет чистой юношеской дружбы — есть страшная история изощренного физического и психического истязания, которому одноклассники Тёрлеса подвергают одного из воспитанников, провинившегося в мелком воровстве. Тёрлеса эта утонченно садистская процедура и отталкивает и завораживает одновременно; он впитывает в себя эти впечатления, удовлетворяя еще только пробуждающуюся, интуитивную жажду познания, полноты жизненного опыта.

Этим методическим расшатыванием сложившихся моральных норм и табу, пристальным интересом к оборотной стороне морали Музиль, конечно, в первую голову обязан Ницше с его иронией над буржуазным *homo bonae voluntates**. И на этой линии — вполне закономерно — появляется искус эстетизма, восприятия зла лишь как средства «обогащения» и «утончения» художественной природы (мысль, весьма популярная у литераторов эпохи декаданса). Заглядывая в будущее (в котором Тёрлесу уготован писательский путь), Музиль говорит устами своего героя: «Я нисколько не отрицаю, что это было унижение. А почему бы и нет? Оно прошло. Но что-то от него осталось навсегда: та крохотная доза яда, которая необходима, чтобы лишить

* Человек доброй воли (лат.).

душу ее слишком уверенного и спокойного здоровья и дать ей взамен здоровье более утонченное, обостренное, понимающее».

Но напомним, что против этой сладкой отравы Музиль с самого начала располагал и противоядием. Благоговение «отрицательного опыта» утверждается им далеко не безоговорочно. В пути познания Тёрлеса он акцентирует и иные, гораздо более человеческие, а не только бесстрастно-«вивисекторские» черты. Он говорит о том, что, «забредя по наивности в тесные, душные закоулки чувственности», его герой «изменил чему-то серьезному, сокровенному в себе», — «ибо нравственная сила сопротивления, эта напряженная восприимчивость души, которую он позже столь высоко стал ценить, тогда в нем тоже отсутствовала». Все это вносит существенные нюансы в схему «иног» жизненного опыта.

Стремление проникнуть в сферу подсознательного как будто бы сближает психологизм Музиля с фрейдовской методой. В самом деле, в ранних дневниковых заметках писателя явно слышны отголоски фрейдизма: душа человека внушает ему страх, как неукротенный зверь; снаружи они — безвредный препарат, но нервы в ней из пироксилина, и т. д. Но в таких формулах отразилось скорее общее настроение эпохи, нежели прямое влияние Фрейда. Больше того, Музиль очень скоро проникся живейшим недоверием к широкой популярности психоаналитической теории, особенно к тем ее упрощенным вариантам, которые распространились в литературном обиходе начала века: к представлениям об исконной «животности» человеческой природы, о всеопределяющем господстве в ней инстинктов либидо. В «Человеке без свойств» претензии такого вульгаризованного фрейдизма на универсальность уже язвительно высмеиваются.

Вообще во фрейдовской концепции Музиль изначально усматривает «игру на понижение», и эта его метафорическая формула многозначительна. Он лелеет убеждение в высоком достоинстве и предназначении человека, в его разумности и моральности. Оттого и в сфере психологизма его усилия сосредоточены прежде всего на анализе не столько *данного* человека, сколько человека *возможного*. И оттого он свой интерес к человеческой душе решительно (и, как мы убедились, подчас рискуя согрешить непоследовательностью) отделяет от современного «психологизирования». Оно, по его убеждению, слишком поддалось соблазну расхожего фрейдизма, оно «играет на понижение» — и оно-то как раз «иррационально». А ему, как он говорит в эссе «О книгах Роберта Музиля», все-таки дорого «взаимопроник-

новение чувства и *рассудка*», и свою сферу «нерационального» он — теперь уже в «Очерке поэтического познания» — «не в состоянии обозначить точнее, кроме как указав на то, что это... сфера *ценностей и оценок*, область *этических* и эстетических отношений» (*курсив мой*. — А. К.).

Любопытный штрих: в 1911 году Музиль высказал свою неудовлетворенность психологизмом Гауптмана и Ибсена, — у них-де характеры детерминированы сугубо психологически, а не этически, поэтому их герои его не трогают. Другими словами, это для него «чужие проблемы». Он же ищет общеобязательные *этические* доминанты, кодекс поведения «иног», идеального человека.

При этом классический идеал гармоничного человека его тоже не удовлетворяет — как не оправдавший себя. Оттого и пути поиска гармонии Музиль выбирает иные. Но если он даже показывает темные силы жизни — как в истории Тёрлеса, — то лишь в надежде на их конечный благой, выигрышный для индивида эффект.

В романе о Тёрлесе чрезвычайно важно и то, как Музиль рисует окружение своего героя. Жестокость изошряющихся в садизме юнцов (не забудем — отпрысков привилегированных семейств!) не просто психологический срыв переходного возраста; они уже успели усвоить и подвести под эту жестокость целую философию, и глубочайшая прозорливость Музиля в том, что постулаты этой философии выводятся у него, по сути, из того же источника, что и «смятение» Тёрлиса. Главный «идеолог» садизма, Байнеберг, тоже берет на вооружение принцип «самовоспитания через зло». Что же он в себе воспитывает? «Как раз и хорошо, что мне нелегко дается мучить Базини, — философствует он. — Необходима жертва. Ее очистительное воздействие. Мой долг перед самим собой — ежедневно учиться на нем тому, что быть просто человеком — ничто, лишь издевательское внешнее сходство». Разумеется, речь идет здесь о «сверхчеловеке», по-ницшевски противопоставляемом «малокровным», как говорит Байнеберг, современникам. А рядом с этим «философическим» вариантом — более упрощенный, Райтинг, другой истязатель: «Ему важно забрать человека в свои руки и упражняться на нем, пользоваться им как орудием. Он хочет власти».

Развлекательной цепью опосредований духовный мир Тёрлеса оказывается связанным с миром Байнеберга и Райтинга. Например, свои мечты об экстатическом «инобытии» есть и у Байнеберга; не зря он постоянно вспоминает «монахов, ценой страшных искупительных жертв достигших просветления». Здесь мистическая мечта сопрягается с фанатизмом, и каким!

Тёрлес, увы, не совсем случайно оказался в этой компании. И он это чувствует сам: «Он уже был не в состоянии отличить свою психологическую проблему от безумных фантазий Байнеберга. В конце концов у него осталось только одно чувство — что вокруг всего туже и туже затягивается гигантская петля». Именно — вокруг всего, и петля!

Музиль, таким образом, отнюдь не вслепую бунтует против окостенелой буржуазной морали; он прекрасно знает о тех опасностях, которые таятся в принципе «искушения аморальностью», — даже если это искушение и трактуется как испытание и воспитание. Такое воспитание может привести, как он надеется в случае с Тёрлесом, к «закалке» души, к выстраданности знания, ко всеоружию «нравственной силы сопротивления». А к чему еще? Одно из следствий Музиль уже показал. А позднейшая критика не раз сопоставляла историю подросткового ницшеанства в романе о Тёрлесе с последующей историей Германии и в типах Байнеберга и Райтинга увидела горькое пророчество.

Едва ли, конечно, Музиль в те годы прямо предвидел и предсказал фашизм; скорее он думал, что в образах своих ницшеанствующих юнцов показывает лишь искажение источника, профанацию ницшевской системы. Во всяком случае, исходная идея «испытания положительного отрицательным» — собственно тёрлесовская тема — Музилю дорога и еще для него не дискредитирована; сложность и даже опасность ее он, конечно, осознает — но ведь легких, удобных решений он и не ищет. Поэтому он не отступает от этой темы и варьирует ее в новеллах.

Но вот что показательно. После «Тёрлеса» Музиль минимум семнадцать лет в своих немногих художественных произведениях ограничивает разработку моральной проблематики сферой преимущественно интимной, эротически-психологической. Социальный фон почти целиком отключается. В герметически отгороженном пространстве живут и герои новелл «Соединения», и герои пьесы «Мечтатели» (1921), о незаземленности которых сам Музиль сказал: «Люди движутся, как на приподнятой сцене». Писатель предпочитает экспериментировать с образом «чистого», вне-социального человека — будто остерегается проверки своих моральных опытов и утопий более широким контекстом.

Переломный рубеж в движении Музиля от этой камерности и несколько искусственной глубины к панорамности и подлинной глубине «Человека без свойств» ознаменован циклом новелл «Три женщины» (1924).

Изолированность эксперимента здесь в известной мере сохраняется. Мука любви двух «неродственных» натур лежит в основе сюжета «Тонки»; в экзотической остранинно-

сти и «приподнятости» горного мира разворачивается «тяжкое испытание души» Гомо в «Гриджии»; мистический путь духовного выздоровления и преображения барона фон Кеттена в «Португалке» подается уже прямо в форме легенды, притчи; впрочем, дымка легенды зримо витает и над историей Гомо, и даже над самой реальной во всем цикле, «жизнеподобной» историей Тонки и ее возлюбленного.

Думается, один из секретов того эффекта художественной цельности и совершенства, который неотразим в «Трех женщинах», как раз в этой легендарности и заключается. Музиль располагает чудеса, наития, озарения там, где им и место. К целиком современным людям утопизм «нерациоидного» трудно прививался, так и оставался лабораторным экспериментом. Гомо в «Гриджии» и Кеттен в «Португалке» получили возможность *жить*, потому что им для их бытия были изначально предложены сказочные законы, допускающие чудесное.

Но в то же время любовная тема обнаруживает в этом цикле новелл и явственную склонность автора к расширению рамок за счет общедуховной, а через нее и социальной проблематики.

В «Тонке» события разворачиваются в современной реалистически выписываемой среде. На уровне этой среды — если взглянуть на события *оттуда* (например, глазами матери героя) — перед нами заурядная история мезальянса, странного союза рафинированного молодого интеллигента с «бессловесной», с «девушкой из магазина». Герой, однако, презирует эту среду, ее ханжество, ее насквозь лживую «интеллектуальность»; доверившись сердечному порыву, он не просто соединяет свою судьбу с судьбой Тонки, но и жаждет доказать себе и другим, что он сделал самый достойный его истинного предназначения выбор. Себе и другим — это значит, что предрассудки и моральные шаблоны среды ему приходится перебарывать и в себе самом. Жаждет доказать — это значит, что спонтанность сердечного порыва соединена с немалым интеллектуальным усилием, неким сознательным расчетом. Перед нами снова — моральный и духовный эксперимент.

Для героя «Тонки» его союз — именно выбор, акт преодоления двух сил: власти среды и власти собственной, по-современному рационалистически и «математически» устроенной природы. Тонку он, безусловно, стилизует: ее «простота» для него — воплощение иррациональной стихии бескорыстного добра, любви, не требующей никаких дополнительных обоснований. Но — обоснований *перед другими*. Трагический разлад начинается там, где Музиль, вводя загадочный, «непостижимый» факт беременности

Тонки, ставит чувство и разум своего героя перед более тяжким испытанием — необходимостью утвердить выбор своего сердца *перед самим собой*.

Тонка — насколько ее реальный, самоценный образ может пробиться в этой новелле сквозь ореол стилизации, — судя по всему, такова и есть: добра, бесхитростна, естественна во всех движениях души. Тем мучительней для нее этот постоянный, все усиливающийся гнет чужой рефлексии. И если она умирает, так и не дав герою разгадки тайны, то в этой смерти есть и последнее доказательство непреложности «голоса сердца», неподвластности его никакому, и менее всего рациональному, суду.

Призрак измены, супружеской неверности встает перед героем и на другом полюсе цикла, в чистой легенде, в «Португалке». Но если герой «Тонки» безнадежно запутывается в тенетах рефлексии, то барон фон Кеттен в своей первозданной, грубовато-чувственной цельности от всякой рефлексии далек и именно поэтому оказывается достоин благостного чуда сохранения веры. Атмосфера чудес в этой легенде не столько аллегорична, сколько экзистенциальна; во всяком случае, «чудесные» мотивы здесь наполнены самой широкой символикой, а не однозначной аллегоричностью. Это прежде всего постоянно сопутствующие фон Кеттену образы животных — существ и живых, и в то же время «нерассуждающих», органически витальных: душевные терзания от ревности предваряются в новелле физическим заболеванием от укуса мухи, так что потом уж и не различишь, что изводит героя — жало ревности или «комариный укус»; первая попытка перебороть себя, отринуть жестокость своего прошлого выливается в приказ пристрелить волка, выкормленного при замке; как бы в награду за этот жест появляется в замке бессловесно ласковая кошечка, «принимающая на себя» муки героя. После всех этих «сказочных» чудес — последнее, уже чисто «человеческое» чудо: отчаянная и по всем соображениям здравого смысла безрассудная попытка вскарабкаться по отвесной крепостной стене оканчивается успешно — выздоравливает герой, исчезает наваждение, воцаряются мир и счастье в семье. Самое оптимистическое произведение Музиля — но как показательно, что оптимизм обосновывается упованием на чудо и располагается в сфере сугубо иррациональной.

В «Гриджии» реальность и легенда сплавлены друг с другом, соединены сюжетно. Оказавшись в отрешенном мире горного альпийского селения, среди людей, так не похожих на обитателей цивилизованного мира, герой новеллы, носящий обобщающее имя Гомо, вдруг остро ощущает новую открывшуюся перед ним возможность — возможность «ино-

бытия». Величественные горные пейзажи, архаический склад быта, даже сам странный, из причудливого смешения диалектов образовавшийся язык — все это затопляет душу героя лавиной новых, неизведанных дотоле ощущений и теснит, сметает, погребает под собой цивилизованные наслоения его души, всю его прежнюю жизнь. Она, эта душа, оказывается как бы очищенной и распахнутой навстречу захватывающей дух новизне. Вся повесть проникнута атмосферой того «головокружения», о котором говорил еще Тёрлес.

Но и Музиль, и его герои помнят о том, ради чего они искали приключения. Мечта обрести не просто абстрактную цельность души, но прежде всего цельность чувства — в противовес бесплодному рассудку — сохраняется и здесь. Единственное, что пытается сберечь Гомо из прежней своей жизни, — это любовь, любовь к оставшейся в долине жене.

Однако «новое бытие» и тут приготовило ему соблазн — в лице здешней «простой» натуры, крестьянки Гридгии. И логика абсолюта срабатывает здесь тоже: для Гомо Гридгия не столько реальная женщина, сколько естественная, неотъемлемая часть этой новой атмосферы. Почему ее исключать? Она берет его в полон так же, как эти сказочные горы, эти таинственные леса на их склонах и кристаллы аметистов в их глубине. А как же быть с той, оставленной подругой, с этой «единственной возлюбленной», как называет жену Гомо? Тут и приходит на помощь статус музильевской утопии «инобытия» — ведь утопия предполагает также и «воспитание от противного», проверку искусом. В полубессознательной покорности чарам Гридгии, в полной отдаче на волю абсолютно раскованного, бесконтрольного чувства Гомо видит некую предельную активизацию эмоциональных потенций своей души, самой ее способности любить — и разве это не пойдет на пользу той, «вечной» возлюбленной? Для героя здесь нет противоречия; напротив, ему грезится в конечном итоге абсолютное «воссоединение».

Но результат подчеркнута безысходен. Чуть ли не космическая авантюра заканчивается смертью в тупике, в штольне, в чреве горы. И это потому, что эксперимент в данном случае соотносится с более широким духовным контекстом, отчего постулаты музильевской утопии сразу утрачивают однозначность и предстают во всей своей внутренней непрочности, двусмысленности.

Атмосфера двусмысленности нагнетается в новелле с самого начала. Приключение Гомо начинается именно как авантюра — уже со всеми негативными смыслами, присутствующими этому понятию. Сомнительно все предприятие, затеянное явным авантюристом с целым букетом иронических значащих имен — Моцарт Амадео Хоффенготт (немецкое

«Hoffingott» означает «надейся на Бога»). Двусмысленно чувство, побуждающее Гомо согласиться на участие в экспедиции: *Selbstauflösung* — это и самоотрешение, то есть некая нравственная готовность к жертве, отказ от эгоизма, и «саморасслабление», исчезновение всех соединяющих скреп, распадение, смерть. Многозначительно зыбок, неуловим образ искусительницы Гриджи — она проста и естественна, как природа, но и так же равнодушно-безжалостна, как она; то предстанет во всей своей посясторонней, земной плотскости, то обернется непроницаемой иррациональной загадкой. И если в реальной жизни умирала истерзанная недоверием Тонка, если в сказочном мире не умирал никто, а торжествовала «вера и любовь», то в мире, где пытаются жить «по утопии», но и не исключают «чувства реальности», умирает герой-утопист.

Под вопросом оказывается самый стержень музилевской утопии «небытия» — ее иррациональная и асоциальная основа. Сама ее логика.

Исследователи не раз обращали внимание на глубинную перекличку в проблематике творчества Музиля и Томаса Манна. В самом деле, разве история «отрешения от прошлого», «саморасслабления» и безоглядного погружения в стихию инстинктивного и «внеморального» не была уже раньше воплощена в судьбе Густава фон Ашенбаха в «Смерти в Венеции»? Испытание «в горах» — разве не повторяется эта модель в «Волшебной горе»? Таких параллелей можно привести немало, и дело тут не столько во «влияниях», сколько в пристальном внимании обоих писателей к одной и той же эпохальной проблематике и в осмыслении одного и того же духовного наследия. Прежде всего, это глубокая и для обоих писателей небезболезненная переоценка традиции иррационалистической мысли, той роли, которую она сыграла в германской истории.

К Томасу Манну отношение Музиля было сдержанным, настороженным и, вероятно, прежде всего ревнивым. Тот пользовался большей популярностью и славой, был плодотворней как художник, хотя, что называется, копал тот же пласт! И в спонтанных реакциях Музиля на очередное произведение знаменитого коллеги, в дневниковых записях нередко сквозила раздраженность. Больше всего его выводила из равновесия манновская определенность, «простота». Музиль, конечно, понимал, что популярностью и влиятельностью своей Томас Манн не в последнюю очередь обязан именно стремлению к ясности позиции и ее художественного выражения. Музиль в этом смысле много элитарней — и не от намеренного к тому стремления, а оттого, что все поднимаемые им проблемы представлялись ему более слож-

ными и не были для него самого решены. Прежде всего главная проблема — возможность радикального отрешения от позитивистского рационализма буржуазного века и обращения к иррациональной утопии.

И Музиль мог быть иной раз очень резким, мог назвать Томаса Манна в дневнике «закоренелым филистером». В 1932 году он — уже автор «Человека без свойств» — снова помянул критическим словом своего «соперника» и, имея в виду «Волшебную гору», так сформулировал основную слишком «наивную» для него, Музиля, — идею манновского романа: «Знание зла (Kenntnis der Unmoral) и преодоление его нормальным человеком».

Если учесть, что проблема этой самой Unmoral была для Музиля одной из больших; что он, как Томас Манн в его значительнейших вещах, по сути, работал в жанре современного «романа воспитания», но гораздо трудней преодолевал обольщения иррационализма и «отклонений от нормы», — как тут снова не вспомнить контроверзу давних времен, когда иенские романтики, и прежде всего столь ценный Музилем Новалис, ополчились на другой «роман воспитания», на гётевского «Вильгельма Мейстера», за его «антипоэтическую трезвость» и «художественный атеизм»? «Нормальность» и для них была синонимом «филистерства». И они тоже попытались противопоставить гётевскому роману свои — уповающие на иррациональную утопию.

Музилевские «новеллы о женщинах» появились хронологически в таком порядке: «Гриджия» (1921), «Тонка» (1923), «Португалка» (1923). Как единый цикл они вышли в 1924 году, объединенные в несколько иной последовательности: «Гриджия», «Португалка», «Тонка». В любом случае, однако, можно констатировать, что двуединая, синтетическая конструкция «Гриджии» (сочетание реального и легендарно-утопического планов) даже как бы раздвоилась, крайности оказались разведенными по своим полюсам: чистая легенда и современная история.

В «Человеке без свойств» Музиль делает еще одно гигантское усилие осуществить новый синтез. Во всяком случае, тезис и антитезис он на этот раз дает в максимально возможной полноте: раскидывает огромную панораму реальной общественной жизни — и тщательнейшим образом заново испытывает утопические варианты. В эстетическом отношении, как уже говорилось, усилия писателя вознаграждаются сторицей: его роман — один из самых поразительных в XX веке художественных сплавов объективной и субъективной повествовательных стихий, или, выражаясь в историко-литературных категориях, традиций реалистической и романтической. Но философский, онтологический синтез остается открытой проблемой.

Внешне движение событий в романе организуется гениальным сюжетным ходом — знаменитой музилевской «параллельной акцией». Прослышав о том, что в Германии начата подготовка к широкому празднованию в июне 1918 года тридцатилетия со дня вступления Вильгельма II на императорский престол, австрийские «патриотические круги» спохватываются: в том же году в их империи свой юбилей, и даже более внушительный! Правлению их «горячо любимого» императора Франца-Иосифа II, не то что у Вильгельма, исполнится целых семьдесят лет! Правда, у немцев сама дата на полгода раньше. Но австрийцы зато мыслят тоньше. «Так как второе декабря, разумеется, никак не может быть поставлено раньше пятнадцатого июня, упомянутым кругам пришла в голову счастливая мысль отметить весь 1918 год как юбилейный год нашего отца-императора».

Музилу вроде бы ничего и не пришлось выдумывать — достаточно было сопоставить даты. Но эта поразительная по своей простоте идея оказалась той самой точкой опоры, которая позволила писателю как бы естественным образом поднять кардинальнейшие проблемы своей страны и эпохи.

Планируемый юбилей, коль скоро он касается самой идеи государства, заставляет Габсбургскую империю показать все, на что она способна, подвести итог всему своему существованию. При этом действие романа начинается за год до первой мировой войны; вдохновители «параллельной акции» об этом, конечно, не подозревают, прославляя «миротворческую миссию» своего императора. «Славный» юбилейный год должен принести империи бесславный развал, относительно чего они тоже находятся в блаженном неведении. Но обо всем этом знает писатель Музиль, когда создает грандиозный образ обреченного мира; убийственная ирония, с которой он изображает его предсмертную эйфорию, — это сама ирония истории.

Изжитость, эфемерность старого мира изображается Музилем в специфическом для него ракурсе «общих идей» — как прежде всего духовная несостоятельность. Музиль убежден, что рыба тухнет с головы. Именно поэтому в центре внимания Музиля — элита, верхи общества или, во всяком случае, его «интеллигентный» слой, чьи претензии на руководящую роль беспощадно развенчиваются. Салон супруги высокопоставленного правительственного чиновника Германы Туцци (Диотимы) — это остросатирическая модель всей имперской идеологической надстройки, а во многом и ее материального бизнеса. В изображении всех этих измышляющих «эпохальную демонстрацию» министров, чиновников, аристократов, банкиров, промышленников, генералов, журналистов Музиль безжалостно конкретен как аналитик и как художник.

Но все эти зримо-осязаемые, в полном смысле слова реалистические образы соотнесены в то же время с некой невидимой более общей точкой отсчета и суда.

Пожалуй, ни одно другое слово не употребляется в музилевском романе столь часто, как Geist и его производные. Geist возвращается чуть ли не в каждой фразе, снова и снова, как идея фикс, как наваждение. В результате это слово обростает таким количеством значений и смысловых оттенков, что его уже невозможно перевести, например, на русский язык только словом «дух»; это еще и «ум», и «интеллект», и «интеллигентность», и «культура» — вся сфера духовного, «идеального». И, по убеждению Музиля, вся эта сфера безнадежно себя дискредитировала. Она, во-первых, оказывается повсюду полой, лишенной какого бы то ни было реального содержательного обеспечения. Ее вроде бы «зримое» воплощение — «параллельная акция» — не может обрести даже минимального позитивного смысла. «Акция» обростает все большим количеством участников, все они, на разные лады склоняя слово Geist, ищут для акции «идею» (или пытаются пронюхать про эту идею, если пришли со стороны) — но ничего не могут ни придумать, ни уловить, «все идет как заведено». Акция громоздкой, неповоротливой телегой медленно, нудно везет героев и читателя вперед.

Но есть и «во-вторых». На более глубоком уровне вся эта суэта оказывается не просто затянувшейся бессмыслицей. Жонглирование словом Geist в салоне Диотимы и около него не просто органическая бездуховность, лишенность идеи. Это куда менее невинный процесс активной профанации духа. Музилевские герои перетряхивают в своих бесконечных дискуссиях весь идейный багаж Европы, накопленный ею к этому моменту, апеллируют к самым разным «высоким» идеям; причем они не просто пересказывают и интерпретируют идеи — нет, они без всяких кавычек, уже автоматически цитируют целые пассажи из модных трактатов конца века о душе, о морали, об эросе. Это вполне сознательная установка Музиля (еще в начале 20-х годов он записал в дневнике: «Показать людей, сплошь составленных из реминисценций, о которых они не подозревают») — и это процедура, уже знакомая нам по бюхнеровской комедии «Леонс и Лена». Музиль и здесь продолжает традицию. А поскольку в его изображении ничтожны и карикатурны все эти люди, карикатурными и пошлыми неминуемо становятся в их устах все перебираемые ими «возвышенные» идеи. Телега превращается в размалеванный пустозвонный балаган.

Но зонд музилевского анализа проникает глубже. В Габсбургской империи не просто все перемешалось — в этой ат-

мосфере всеобщей «разболтанности» есть и определенное *целенаправленное* внутреннее движение. Оно не видно для таких наивных жонглеров идеями, как недалекая, при всей своей благоприобретенной «духовности», Диотима или даже многомудрый, но безнадежно законсервировавшийся в своем архаическом аристократизме граф Лейнсдорф. Но другие уже ловят рыбку в этой мутной воде. Потихоньку разгадывается мучившая всех загадка миллионера-интеллектуала Арнхайма — он вовсе не германский шпион и не «пацифистский агент русского царя», как подозревали проницательные чиновники иностранного ведомства: он околичивается тут для того, чтобы прибрать к рукам галицийские нефтяные месторождения. Туповатый генерал Штумм фон Бордвер вдруг начинает чувствовать себя среди этих «умников» много уверенней, и это неспроста: когда в параллельной акции родилась, за истощенностью всех прочих, идея «активного действия», он почувствовал, что приближается его час — вернее, час его ведомства. А сама эта идея получила многозначительную поддержку «из низов»: в фанатических мечтаниях юного недоучки Ганса Зеппа о «человеке действия» явственно слышны и шовинистические-великогерманские, и расистские — скажем сразу: фашистские — ноты. Картина резко мняется! Уже не телега тянется в дурную — логически дурную — бесконечность, а весь балаган неудержимо несется к пропасти. К войне. К варварству.

Музилью принципиально важна была эта перспективная установка в работе над романом. Постоянно варьировал он в дневниках, в набросках к роману эту мысль: логическим завершением всего развития должна стать катастрофа, война. Но поскольку Музиль писал роман в 30-е годы (с 1938 года уже в антифашистской эмиграции), на исторические воспоминания накладывались и писательские впечатления от современности. Роман приобретал новое измерение. Читая сейчас вторую его половину, забывшись порой о том, *какая* эпоха здесь изображается, к *какой* войне движется судимый писателем мир: к той, первой, или ко второй, — столь внушительны аналогии и ассоциации, столь незаметны анахронические сдвиги. Да и анахронизм ли это? Разве с неба свалился на Германию фашизм в 1933 году? Разве не коренился он глубоко в ее духовной и социальной истории?

Музиль не зря тайно соперничал с Томасом Манном. Великий современник все его опережал. Было искушение декадансом в «Будденброках» и ранних новеллах Манна, было искушение иррационализмом и стихией инстинкта в «Смерти в Венеции», был духовный баланс эпохи (и тоже с первой мировой войной под занавес!) в «Волшебной горе». Но в главном своем романе Музиль Томаса Манна в чем-то существенном и предварил: композиционная модель сопря-

жения, наложения друг на друга двух эпох, установления роковой причинно-следственной связи между ними — прежде чем получить блистательное воплощение в «Докторе Фаустусе», она уже вынашивалась, создавалась в уединении музилевского кабинета.

Выше говорилось о том, что Музиль не любил пафоса. В отношении к буржуазному миру и его идеологии он выдерживает ровно-иронический тон — не сокрушает их громовыми инвективами, а разлагает ядом иронии. Достаточно сравнить напряженные схватки идеологических принципов в «Волшебной горе», грозовую накаленность атмосферы в «Докторе Фаустусе» с неторопливым потоком бесстрастного, всеразъедающего скепсиса в «Человеке без свойств». Но относительно конечного приговора, выносимого Музилем старому миру, не надо обманываться: он отрицателен *абсолютно*. Томас Манн еще мог уповать на гуманистическую традицию бюргерства («слепо идеализирует всех этих купцов», — написал в сердцах Музиль о «Будденброках»). Наш автор не видит у буржуазного мира традиций, достойных сохранения.

Но нет в музилевском отрицании и нигилистической бравады, ниспровергательского самодовольства. Если мир «параллельной акции» предстает в романе как гигантский мировоззренческий фарс, то маячащая впереди катастрофа все настойчивей — по мере развития действия — напоминает о трагических последствиях этого фарса. И уже особенно отчетливо трагизм ситуации обнаруживается там, где от карусельного вращения «акции» писательский взгляд стремится вовне, в «неофициальный мир».

С самого начала в романе осуществляется иная, так сказать, уже авторская параллельная акция: эфемерная игра привилегированных интеллектуалов сопровождается жестокой историей бродяги Мосбруггера, ожидающего в тюрьме приговора за очередное убийство. Контрастный смысл этой истории демонстративен: духовному разброду в салоне Диотимы противостоит здесь подлинно трагический разрыв в реальном человеческом бытии — как грозное и неотвратимое свидетельство бессилия всех перебираемых в этом салоне «душеспасительных» рецептов, всей этой миссионерской суеты* Но не менее важно тут и другое: когда музилев-

* Выше указывалось, что Музиль в изображении современной ему «духовной элиты» повторяет на новом этапе бюхнеровскую модель тотальной мировоззренческой пародии. Здесь уместно провести и другую параллель — с историей бюхнеровского Войцека. Музиль высоко ценил Бюхнера и в набросках предисловия к своему эссеистическому сборнику «Прижизненное наследие» (1936) дважды назвал его имя, причем рядом с Новалисом; это соседство реалиста с романтиком в музилевском обращении к традиции очень знаменательно.

ские интеллектуалы и «духоискатели» как зачарованные следят за судьбой Мосбруггера, то это не потому, что они испытывают сострадание, будь то к самому этому жалкому, обреченному на смерть душевнобольному или к его жертвам. Напротив, как раз сострадания тут, собственно, и нет, и вообще все мыслимые в данном случае *человеческие* реакции искривлены, искажены.

Разглагольствуя о гуманности, о душе, о сухом рационализме века, о путях к обретению непосредственности чувства, о любви христианской (к ближнему) и мистически-эротической, эти люди реальную душевную трагедию человека уже не способны воспринять иначе как любопытный казус или как возможное опытное поле для решения *собственных* «духовных» и душевных проблем. Ульрих, главный герой, не прочь увидеть в Мосбруггере воплощение первозданной цельности и силы инстинкта, чистый случай свободы от цепей всякого *ratio* и всякой «узаконенной» морали. Его приятельница Кларисса одержима идеей освободить Мосбруггера из тюрьмы, ибо это следствие ее другой, главной одержимости — идеей мессианства, причем густо ницшеанского. Оставленная любовница Ульриха Бонадея хватается за идею спасения Мосбруггера, надеясь вернуть таким образом любовь Ульриха.

Человек по имени Мосбруггер исчез — остался объект, объект бесстрастно-аналитического, а то и болезненного, а то и небескорыстного интереса.

Человечность в героях Музиля органически поражена. История Мосбруггера высвечивает эту сторону трагедии.

В другой сюжетной линии — истории Клариссы — прослеживается один из истоков заболевания: Кларисса в самом точном смысле этого слова больна ницшеанством, оно методично разрушает ее психику, приводя к клиническому безумию. Музиль тщательно, скрупулезно описывает развитие и этой трагедии.

Сказать о Музиле, что он показывает губительность ницшеанства, значит сказать очень многое. Это значит, что Музиль развенчивает не только изначально чуждые ему идеологические системы, но и те, возможности которых он для себя взвешивал — или которыми сам болел.

Как и в «Тёрлесе» и в «Тонке», образ главного героя в «Человеке без свойств» во многом автобиографичен. В ретроспективном изображении прежней, до «акции», жизни Ульриха варьируются обстоятельства духовной, да и «анкетной» биографии Музиля. В самой «акции» Ульрих явно выступает как «полпред» автора: его собственно сюжетная роль в ней пассивна, даже несколько странна, ибо он, презирая с самого начала всю эту околодуховную суету, тем не

менее исправно в ней участвует; но Музилю и нужен был «свой глаз» в этой среде, и он, так сказать, заставил Ульриха терпеть ее. Наконец, многочисленные, одна другую сменяющие утопии Ульриха, как бы иронически они иной раз ни подавались с самого начала и каков бы ни был конец каждой из них, аргументируются так увлеченно и пристрастно, что мы чувствуем: это — наболевшее, личное; здесь бьется над проблемой Музиль-утопист, фанатик идеи «возможности».

Но опаснее всего для понимания Музиля целиком отождествить его на этом основании с героем. Дистанцию писатель оформляет столь же методично, сколь методично вкладывает в уста Ульриху собственные мысли.

В случае с первыми, ранними утопиями Ульриха это совсем очевидно. Они, собственно, и подаются не как утопии, а как «попытки стать значительным человеком», то есть попытки пойти в ногу со временем, прилепиться к тому или иному «актуальному» поведенческому модусу: военная карьера, потом инженерная карьера, потом — «чистая» математика.

С этой точки зрения и само участие Ульриха в «параллельной акции» приобретает двусмысленный характер: он не только ее критик со стороны, по поручению автора, — он и соучастник; как уже говорилось — равноправный член сообщества.

Но в то же время он, разочаровавшись во всех прежних попытках и насмотревшись на суету «акции», все решительней определяет для себя статус «человека без свойств» — человека, принципиально противопоставившего себя современному веку и настроившегося на «чувство возможного», на новые «попытки», причем на попытки именно «нешаблонные», небуржуазные. Последняя попытка компромиссного плана — родившаяся во время участия Ульриха в «акции» идея «генерального секретариата точности и души» — остается лишь чисто мыслительным допущением, никак не проверяется реальностью.

Так Ульрих от попыток адаптации — попыток, так сказать, рационалистически-прагматических — приходит к проверке другой крайности: к попытке утопии «нерациональной».

Музиль здесь художественно разрабатывает модель, уже воплощенную однажды в образе Гомо в «Гридгии». Как и у Гомо, надежда на «иное состояние» связывается у Ульриха с отрешением от всего прежнего образа жизни, от всех буржуазных норм и свойств, от канонов морали и рассудка: открыть все шлюзы для чувства, распахнуть сердце любви и вере; жить не расчетом, а озарением; не практической

деятельностью в реальном мире, а прикосновением к неизреченным тайнам «инобытия». В круг чтения и жизненного опыта Ульриха входят книги мистиков, теории Сведенборга. Снова и снова подступает Музиль к описанию «иного состояния», привлекая к этому поистине гигантский терминологический аппарат идеалистической философской традиции.

Но по сути исходные основания этой утопии не так уж сложны и не обязательно требуют мистического лексикона для своего описания — достаточно было бы психологического. Сам Ульрих происхождение ее ведет от одного эпизода своей юности — когда он, двадцатилетний лейтенант, влюбился в женщину старше его годами, «госпожу майоршу», но после первого же поцелуя, в смятении чувств, взял отпуск, уехал на остров и там, в одиночестве, «переживал» свое состояние. История с госпожой майоршей на этом, собственно, и закончилась, то было всего лишь мгновение юношеской влюбленности, но в этом-то и вся суть. Как *продлить* это мгновение, как сохранить навсегда состояние вызванной им возвышенной вибрации всех чувств, сделать его постоянным *образом жизни* — вот проблема и Ульриха, и Музиля. И здесь повод даже несущественен — это подчеркивается ироническим тоном рассказа о самой истории, банальность которой должна быть очевидна всем. Но Ульрих в своих последующих утопических авантюрах постоянно об этой истории вспоминает. Да и вообще Музилю в этих его построениях дорога была восходящая к мистикам мысль о том, что объект, вызывающий чувство любви, не имеет значения — важно лишь состояние любви, им стимулированное.

Перед нами — главный нерв, психологический корень музильевского утопизма. Жить в атмосфере перманентной экзальтации, нескончаемого подъема души, чем бы он ни был вызван, — вот мечта человека, изверившегося в рассудке и веке.

Но с другой стороны, чем бы ни был вызван этот подъем, повод к музильевской системе должен удовлетворять одному требованию: он должен опровергать весь предшествующий строй жизни, всю систему традиционных форм бытия, воспринимаемую и отрицаемую Музилем как достояние ненавистного ему буржуазного века, этой «неудавшейся господней попытки». Мир музильевской утопии существует прежде всего как *антимир*; без этого он не может быть даже и мыслим; больше того — мир, питаемый одним лишь отрицанием, только и может быть что *мыслим*, а не осуществим; малейшее дыхание реальности эту конструкцию разрушит, сколь тщательно и долго она бы на таком основании ни возводилась. И Музиль слишком последовательный мыс-

литель и художник, чтобы этого не почувствовать — и не показать.

Согласно указанной выше «технологии» своей утопии, Музиль подставляет Ульриху повод, в котором наиболее активна энергия отталкивания от традиционных норм, — искушение инцестом. Идея расторжения всех запретов морали здесь заострена в крайней степени.

Но оружие это обоюдоостро. В нем не только резок эффект шока «на публику», в адрес «филистерских» представлений о морали — оно уязвляет и саму бунтующую душу. Одно из многочисленных описаний «иногo состояния» у Музиля не зря строится на «пронзительном» метафорическом образе: «То была жалоба сердца, в которое бог проник глубоко, как заноза, которую не ухватить никакими пальцами». Чувство обреченности изначально витает над этой утопией, ибо мечта о любви как некоем самоотрешении, расширении собственного «я», выходе за его пределы при *такой* попытке ее реализации замыкается, по сути, в кругу того же «я». Мотив инцеста в романе — это сгущенный символ безысходности индивидуалистического бунта.

Об этот подводный риф и разбивается авантюра Ульриха и Агаты. Они-то ищут «всеобъемлющей» любви, они мечтают и о любви к ближнему, ко всем людям, — но снова и снова убеждаются в своей органической неспособности любить, неспособности разорвать заклятый круг. «Любишь все и ничего в отдельности!» — горестно восклицает Ульрих в минуту одного из таких прозрений.

Этот мучительный надлом в сознании, пытающемся вывести этику альтруизма из радикально-индивидуалистической посылки, — тоже наследственный недуг. Вспомним: «Моя любовь принадлежит человечеству, — правда, не тому развращенному, рабски покорному, косному, с которым мы слишком часто сталкиваемся... Я люблю человечество грядущих веков» — это писал в юности Гёльдерлин, один из любимых и часто цитируемых авторов у Музиля. «Я посвящаю этот роман молодежи Германии. Не сегодняшней, духовно опустошенной после войны, — они всего лишь забавные авантюристы, — а той, что придет однажды» — это Музиль набрасывает «мысли для предисловия» к своему роману. И как герой Гёльдерлина пришел потом к трагическому для него выводу: «Людей я не любил по-человечьи», — так и музильевский герой запутывается в неразрешимых противоречиях своей утопии. «Любить человека — и не быть в состоянии его любить», — записывает Музиль в 1936 году свои раздумья над возможным завершением — то есть итогом! — романа.

Спору нет — намечается мало обнадеживающий итог. Но надо оценить и ту решительность, с которой Музиль

показывает крах индивидуалистических утопий. Причем он говорит не просто об «индивидуализме», а и — более прямо — об «асоциальности», «антисоциальности». В бунтарстве Ульриха и Агаты он постоянно подчеркивает эту его внутреннюю основу как в конечном счете несостоятельную. Размышляя над окончанием романа, Музиль записывает: «История Агаты и Ульриха — иронический роман воспитания? Во всяком случае, ироническое изображение глубочайшей моральной проблемы; ирония здесь — юмор висельника... Вот в чем ирония: человек, склоняющийся к богу, — это человек с недостатком социального чувства». Как очевиден здесь личный, писательский — и глубоко трагический — аспект проблемы! Ибо что иное означает квалификация своей художественной позиции (иронии) как «юмора висельника»?

Среди набросков Музиля к концовке романа есть и еще одна утопия — писатель называет ее «утопией индуктивного мышления, или социальных данностей». Она обрывочна, лишь тезисно намечена; но в связи с ней Музиль записывает знаменательные формулы: «Индивидуализм идет к концу... Система Ульриха в конце дезавуирована, но и система мира тоже... Ульрих в конце жаждет общности, при отрицании существующих возможностей, — индивидуалист, ощущающий собственную уязвимость».

В этом, пожалуй, главная дилемма Музиля — человека, остро осознающего исчерпанность индивидуализма — но и бунтующего против всей «системы мира», то есть снова оказывающегося с миром один на один; жаждущего общности — но и не готового к ней.

Впрочем, для завершения разговора о Музиле, о смысле и уроках его писательского пути можно, очевидно, не умаляя всей весомости этих антиномий, поменять их местами. Не только индивидуалист, но и «индивидуалист, ощущающий собственную уязвимость»; во всяком случае, безжалостный диагност недугов буржуазного сознания и мира; и еще — один из самых упорных фанатиков утопии, мечты о цельном человеке, чья душа была бы раскрыта навстречу достойному миру и достойным людям.

Альберт Карельский

**ДУШЕВНЫЕ СМУТЫ
ВОСПИТАННИКА
ТЁРЛЕСА**

Перевод С. Анта

Die Verwirrungen des Zöglings Törleß

1906

Как только мы что-нибудь выскажем, мы это удивительно обесцениваем. Мы думаем, что погрузились в бездонную глубину, а когда возвращаемся на поверхность, капля воды на бледных кончиках наших пальцев уже не похожа на море, откуда она взялась. Мы мним, что открыли замечательные сокровища, а, возвращаясь на дневной свет, приносим с собой лишь подделки под драгоценные камни и стекляшки, и все-таки сокровище по-прежнему мерцает во тьме.

Метерлинк

Маленькая станция на линии, ведущей в Россию.

Бесконечно прямо уходили в обе стороны четыре параллельные рельсовые нитки между желтым гравием широкого полотна: возле каждой, как грязная тень, темная полоса, выжженная отработанным паром.

За низким, выкрашенным масляной краской станционным зданием широкая разъезженная улица поднималась к вокзалу наклонным въездом. Ее края терялись в вытопанной кругом земле, и распознать их можно было только по двум рядам акаций, уныло стоявших с обеих сторон, с иссохшими, задушенными пылью и копотью листьями.

То ли из-за этих унылых красок, то ли из-за бледного, бессильного, утомленного дымкой света послеполуденного солнца в предметах и людях было что-то безразличное, безжизненное, механическое, словно их выхватили из сцены кукольного театра. Время от времени, через одинаковые промежутки, начальник станции выходил из своего кабинета, глядя вдаль, одинаково поворачивая голову,

ждал из сторожек сигналов, которые все еще не возвещали приближения скорого поезда, надолго застрявшего на границе; одинаковым движением руки он доставал затем свои карманные часы, качал головой и исчезал снова — как приходят и уходят фигурки, возникающие на старинных башенных часах на исходе часа.

По широкой утрамбованной полосе между рельсами и зданием прохаживалась оживленная компания молодых людей, шагая слева и справа от немолодой супружеской четы, находившейся в центре их несколько громкой беседы. Но и оживленность этой группы не была настоящей; шум веселого смеха умолкал, казалось, уже через несколько шагов, словно падал наземь, наткнувшись на упорное невидимое препятствие.

Госпожа надворная советница Тёрлес, дама лет сорока, прятала за густой вуалью грустные, слегка покрасневшие от слез глаза. Надо было прощаться. И ей было тяжело снова оставлять свое единственное дитя на такой долгий срок среди чужих людей, без возможности самой оберегать своего любимца.

Ведь городок этот находился далеко от столицы, на востоке империи, среди пустынных сухих полей.

Причина, заставлявшая госпожу Тёрлес мириться с пребыванием своего мальчика на такой далекой, неприятной чужбине, состояла в том, что в этом городе находился знаменитый интернат, который с прошлого века, когда он был построен на земле одного богоугодного фонда, так и оставили на отшибе, затем, вероятно, чтобы оградить подрастающую молодежь от пагубного влияния большого города.

Ибо здесь сыновья лучших семей страны получали образование, чтобы, покинув это заведение, поступить либо в высшую школу, либо на военную или государственную службу, и во всех этих случаях, как и для вхождения в высший свет, быть выпускником интерната в В. считалось особой рекомендацией.

Четыре года назад это заставило супругов Тёрлес уступить честолюбивому напору их мальчика и добиться его приема в училище.

Решение это стоило позднее обильных слез. Ведь с той минуты, когда за ним безвозвратно закрылись ворота училища, маленький Тёрлес страдал от страшной, страст-

ной тоски по дому. Ни уроки, ни игры на больших, пышных лужайках парка, ни другие развлечения, которые предоставлял интернат своим воспитанникам, не способны были занять его. Он видел все только как бы сквозь пелену, и даже среди дня ему часто бывало трудно подавить в себе упорное всхлипывание; а по вечерам он всегда засыпал в слезах.

Он писал письма домой, почти ежедневно, и жил только в этих письмах; все прочее, что он делал, казалось ему лишь призрачным, пустым времяпрепровождением, безразличными вехами, как цифры на циферблате. А когда он писал, он чувствовал в себе нечто особое, исключительное; как остров, полный чудесного солнца и красок, поднималось в нем что-то из того моря серых впечатлений, которое холодно и равнодушно теснило его со всех сторон изо дня в день. И когда он среди дня, за играми или во время уроков, думал о том, что вечером будет писать свое письмо, у него было такое чувство, будто он носит на невидимой цепочке потайной золотой ключик, которым он, когда этого никто не увидит, откроет калитку чудесного сада.

Примечательно, что в этой внезапной, изнуряющей привязанности к родителям было что-то новое и поразительное для него самого. Он прежде не подозревал о ней, он отправился в училище с радостью и добровольно, он даже засмеялся, когда его мать при первом прощании не удержалась от слез, и лишь после того как он пробыл несколько дней один и чувствовал себя относительно хорошо, это прорвалось в нем вдруг и стихийно.

Он принял это за тоску по дому, за тягу к родителям. На самом же деле тут было нечто гораздо более неопределенное и сложное. Ибо «предмета этой тоски», образа его родителей тут, собственно, вовсе не содержалось. Я имею в виду некую пластическую, не просто головную, а телесную память о любимом человеке, которая взывает ко всем чувствам и во всех чувствах сохраняется, так что неизменно ощущаешь его молчаливое и невидимое присутствие. Эта память вскоре затихла, как отголосок, который звучит недолго. «Милых, милых родителей» — так он обычно говорил это мысленно — Тёрлес уже не мог тогда, например, воочию представить себе. А когда он делал такую попытку, вместо образа родителей в нем

вспыхивала беспредельная боль, мука которой его карала и все-таки заставляла упорствовать, потому что ее жаркое пламя и жгло его, и в то же время приводило в восторг. Мысль о родителях все больше становилась для него просто поводом вызвать в себе это эгоистическое страдание, которое умыкало его в свою сладострастную гордость, как в уединенность часовни, где сотни горящих свечей и сотни иконных глаз кадят среди пыток самоубивающихся...

Когда затем его «тоска по дому» ослабела и постепенно исчезла, это ее свойство стало видно довольно ясно. Ее исчезновение не повлекло за собой долгожданной удовлетворенности, а оставило в душе юного Тёрлеса пустоту. И по этой своей опустошенности, незаполненности он понял, что утратил не просто тоску, а нечто положительное, некую душевную силу, что-то такое, что увяло в нем под предлогом боли.

Но теперь это прошло, и этот источник высокого блаженства стал для него ощутим лишь благодаря тому, что иссяк.

В это время снова исчезли из его писем следы пробуждавшейся души, и место их заняли подробные описания жизни в училище и новообретенных друзей.

Сам он чувствовал себя при этом обедненным и голым, как деревце, которое после неплодоносного цветения вступает в первую зиму.

А родители его были довольны. Они любили его с большой, бездумной, животной нежностью. Каждый раз, когда у него кончались каникулы, дом ее казался советнице снова пустым и вымершим, и после каждого такого приезда она еще несколько дней со слезами на глазах ходила по комнатам, ласково дотрагиваясь до предметов, которых касались взгляд мальчика или его пальцы. И оба были готовы сложить за него голову.

Неловкая трогательность и страстная, упрямая печаль его писем причиняла им боль и приводила их в состояние напряженной чувствительности; веселое, довольное легкомыслие, следовавшее затем, вселяло радость и в них, и они его посильно поддерживали в надежде, что преодолели какой-то кризис.

Ни в том, ни в другом они не узнали признака определенного психологического развития, принимая и боль,

и успокоение за естественное следствие данных обстоятельств. Что то была первая, неудачная попытка молодого, предоставленного самому себе человека развернуть внутренние свои силы, — это от них ускользнуло.

Тёрлес испытывал теперь большое недовольство и тщетно искал ошупью чего-то нового, что могло бы послужить опорой ему.

Один эпизод этой поры был типичен для того, что готовилось тогда в Тёрлесе к дальнейшему развитию.

Однажды в училище поступил молодой князь Г., отпрыск одного из самых влиятельных, старинных и консервативных дворянских родов империи.

Все другие находили его кроткие глаза пошлыми и жеманными; над его манерой стоя выпячивать одно бедро и при разговоре медленно играть пальцами они смеялись, как над бабьей. Но особенно они издевались над тем, что в интернат его доставили не родители, а прежний его воспитатель, *doctor theologiae* и член монашеского ордена.

А на Тёрлеса новичок с первого взгляда произвел сильное впечатление. Может быть, тут повлияло то обстоятельство, что это был принятый при дворе принц, но во всяком случае это была другая, неведомая раньше человеческая порода.

Над ним еще, казалось, как-то витали тишина старинного замка и благочестивых занятий. При ходьбе он делал мягкие, гибкие движения, с тем немного робким стремлением сжаться, стать уже, которое связано с привычкой шагать прямой походкой через пустынные анфилады, где другой, кажется, наткнется на невидимые углы пустого пространства.

Общение с принцем стало для Тёрлеса источником тонкого психологического наслаждения. Принц заронил в нем то знание людей, которое учит узнавать и чувствовать другого по интонации, по манере брать что-то с руки, даже по тембру его молчания и осанке, с какой тот вписывается в пространство, словом, по этой мимолетной, едва ощутимой и все же единственно настоящей, полно-

весной манере быть чем-то душевно-человеческим, которая облекает ядро, облекает осязаемое и поддающееся обсуждению, словно оболочка остов, — узнавать и чувствовать другого так, чтобы предвосхитить его духовный облик.

Тёрлес жил это короткое время как в идиллии. Его не смущала религиозность нового друга, которая ему, Тёрлесу, вышедшему из буржуазно-вольнодумной семьи, была, в сущности, совершенно чужда. Он принимал ее без малейших сомнений, она была в его глазах даже каким-то особым преимуществом принца, ибо усиливала характер этого человека, ничуть не схожий, как он чувствовал, да и совершенно несравнимый с его собственным.

В обществе этого принца он чувствовал себя примерно как в стоящей в стороне от дороги часовне, и потому мысль, что там ему, собственно, не место, совершенно исчезала от удовольствия глядеть на дневной свет через церковное оконце и скользить взглядом по бесполезному золоченому орнаменту, сложившемуся в душе этого человека, пока не возникнет смутный образ самой этой души, — так, словно он повторял пальцем извивы какой-то красивой, но сплетенной по странным правилам арабски.

Потом вдруг произошел разрыв между ними.

Из-за глупости, как потом должен был сказать себе Тёрлес.

Однажды они все-таки поспорили о религиозных вещах. И в этот миг уже, собственно, все кончилось. Ибо как бы независимо от Тёрлеса разум его неудержимо накинудся на принца. Обрушив на него иронию разумного человека, Тёрлес варварски развалил филигранную постройку, в которой привыкла жить эта душа, и они в гнев разошлись.

С тех пор они больше не сказали друг другу ни слова. Тёрлес, правда, смутно сознавал, что совершил нечто бессмысленное, а неясное, чисто эмоциональное знание говорило ему, что эта деревянная линейка разума не вовремя разбила что-то тонкое и сладостное. Но это было нечто, находившееся, безусловно, вне его власти. Навсегда, пожалуй, осталась в нем какая-то тоска по прошлому, но он, казалось, очутился в некоем другом потоке, все больше отдалявшем его от прошлого.

А через некоторое время и принц, который чувствовал себя в интернете неважно, отчислился.

Вокруг Тёрлеса сделалось совсем пусто и скучно. Но он тем временем стал старше, и половое созревание начало глухо и постепенно его захватывать. На этом отрезке своего развития он завязал несколько новых, соответствующих дружб, которые приобрели для него позднее большую важность. Например, с Байнебергом и Райтингом, с Моте и Гофмайером, именно с теми молодыми людьми, в чьем обществе он провожал сегодня на поезд родителей.

Как ни странно, это были как раз самые скверные из его сверстников, правда, одаренные и, разумеется, хорошего происхождения, но порой до грубости буйные и строптивые. И то, что именно их общество привлекло теперь Тёрлеса, объяснялось, вероятно, его собственной несамостоятельностью, которая, после того как его оторвало от принца, была очень велика. Объяснялось такое даже намеренным усилием этого отрыва, страхом перед слишком тонкими сантиментами, по контрасту с которыми в поведении других товарищей было что-то здоровое, крепкое, жизнеутверждающее.

Тёрлес целиком отдался их влиянию, ибо духовные его дела обстояли теперь примерно так. В его возрасте в гимназии успевают прочесть Гёте, Шиллера, Шекспира, даже, может быть, и современных авторов. Это затем, не переварившись, лезет из-под пера. Возникают трагедии из римской жизни или чувствительная лирика, рядящаяся в долгие, на целую страницу периоды, как в ажурные кружева тончайшей работы, — вещи сами по себе смешные, но для верности развития неопределимые. Ибо эти пришедшие извне ассоциации и заимствованные чувства проносят молодых людей над опасно зыбкой психологической почвой тех лет, когда ты должен сам что-то значить и все же слишком еще незрел, чтобы действительно что-то значить. Останется ли что-то от этого на будущее или ничего не останется, безразлично; каждый уж как-то сладит с собой, а опасность заключена лишь в переходном возрасте. Если такому молодому человеку показать, как он смешон, почва уйдет у него из-под ног или он

упадет, как проснувшийся лунатик, который вдруг увидел одну только пустоту.

Этой иллюзии, этой уловки на благо развития в училище не было. Классики в библиотеке, правда, имелись, но они считались скучными, а еще были там только томики сентиментальных новелл и плоские военные юморески.

Маленький Тёрлес все это с жадностью, которую вызывали у него книги, прочел, какие-то банально нежные образы из той или другой новеллы некоторое время порой еще оживали, однако влияния, настоящего влияния это на его характер не имело.

Тогда казалось, что у него вообще нет характера.

Под влиянием этого чтения он сам, например, писал время от времени маленькие рассказы или начинал сочинять романтические эпопеи. От волнения по поводу любовных страстей его героев щеки его тогда краснели, сердце билось чаще, глаза блестели.

Но как только он откладывал перо, все проходило; в известной мере дух его жил только в движении. При этом он был способен написать стихотворение или рассказ когда угодно, по заказу. Он испытывал при этом волнение, но все же никогда не принимал этого вполне всерьез, деятельность эта не казалась ему важной. От нее ничего не переходило на его личность, а она не исходила от его личности. Лишь под каким-то внешним нажимом возникали у него чувства, выходявшие за пределы безразличного, подобно тому как актеру нужен для этого нажим роли.

Это были реакции головные. А то, что ощущается как характер или душа, как линия или тональность человека, то, по сравнению с чем мысли, решения и поступки кажутся малопримечательными, случайными и заменимыми, то, что, например, привязывало Тёрлеса к принцу по ту сторону всяких разумных оценок, этот последний, неподвижный фон в Тёрлесе в то время совсем пропал.

Его товарищей от потребности в таком фоне начисто избавляла радость от спорта, животность, — в гимназиях об этом заботится игра с литературой.

Тёрлес же был для первого от природы слишком духовен, а ко второму он относился с той повышенной чуткостью к смехотворности таких заимствованных сантиментов, которую, вынуждая воспитанника быть постоянно готовым к ссорам и дракам, рождает жизнь в интернате.

Так его нрав приобрел что-то неопределенное, какую-то внутреннюю беспомощность, которая мешала ему найти себя.

Он присоединился к своим новым друзьям, потому что ему импонировало их буйство. Будучи честолюбив, он пытался порой даже превзойти их в этом. Но каждый раз останавливался на полпути, из-за чего терпел немало насмешек. Это снова вселяло в него робость. Вся его жизнь состояла в этот критический период, собственно, лишь во все возобновляющемся старании не отстать от своих грубых, более мужественных друзей и в глубоком внутреннем безразличии к таким усилиям.

Когда его теперь навещали родители, он бывал, пока находился наедине с ними, тих и застенчив. От нежных прикосновений матери он уклонялся каждый раз под новым предлогом. В действительности он рад был бы поддаться им, но ему было стыдно, как если бы на него были направлены взгляды товарищей.

Его родители принимали это за неуклюжесть переходного возраста.

А во второй половине дня появлялась вся шумная компания. Играли в карты, ели, пили, рассказывали анекдоты об учителях и курили папиросы, которые привозил из столицы надворный советник.

Это веселье радовало и успокаивало супругов.

Что для Тёрлеса иной раз наступали и другие часы, они не знали. А в последнее время таких часов выпадало все больше. Случались мгновения, когда жизнь в училище становилась совершенно безразлична ему. Тогда скрепляющая замазка насущных забот отскакивала, и часы его жизни распадались без связи между собой.

Он часто сидел — в мрачном раздумье — словно склонясь над самим собой.

Двухдневным было родительское посещение и на этот раз. Ели, курили, выезжали на прогулку, и теперь скорый поезд должен был вернуть супругов в столицу.

Тихий гул в рельсах возвещал его приближение, и сигналы колокола у крыши станционного здания неумолимо ударили в уши надворной советницы.

— Итак, дорогой Байнеберг, вы приглядите за моим сынком, правда? — обратился надворный советник к

молодому барону Байнебергу, долговязому, костлявому юноше с сильно оттопыренными ушами, но выразительными, умными глазами.

Маленький Тёрлес скорчил недовольную гримасу по поводу этой опеки, а Байнеберг ухмыльнулся польщенно и немного злорадно.

— Вообще, — обратился надворный советник к остальным, — я хотел бы попросить всех вас, если что-нибудь случится с моим сыном, сразу же известить меня.

Это вызвало все-таки у юного Тёрлеса бесконечно тоскливое «Ну, что может со мной случиться, папа?!» — хотя он уже привык к тому, что при каждом прощании ему досаждают такой чрезмерной заботливостью.

Другие тем временем щелкали каблуками, подтягивая при этом изящные шпаги, и надворный советник прибавил:

— Никогда не знаешь, что случится, а мысль, что мне сразу обо всем сообщат, очень успокоительна для меня; ведь может и так выйти, что у тебя не будет возможности написать.

Затем подошел поезд. Надворный советник Тёрлес обнял сына, госпожа фон Тёрлес плотнее прижала вуаль к лицу, чтобы скрыть слезы, друзья поочередно откланялись, затем кондуктор закрыл дверь вагона.

Супруги еще раз увидели высокий, голый задний фасад училища, мощную, длинную стену, ограждавшую парк, затем справа и слева пошли только серо-бурые поля и одиночные плодовые деревья.

Молодые люди покинули тем временем вокзал и шли двумя рядами гуськом по обоим краям улицы — хотя бы так спасаясь от густой и вязкой пыли — в сторону города почти без разговоров.

Было начало шестого, и поля окутало суровостью и холодом — в предвещии вечера.

Тёрлес очень погрузтел.

Может быть, виною тому был отъезд родителей, а может быть, лишь неприятная, равнодушная меланхолия, лежавшая сейчас тяжестью на всем вокруг и уже на расстоянии нескольких шагов размывавшая формы предметов тяжелыми тусклыми красками.

То же страшное безразличие, что уже всю вторую половину дня лежало на всем, подползало теперь по равнине, а за ним, клейким шлейфом, полз туман, приликая к вспаханым после пара полосам и свинцово-серым свекловичным полям.

Тёрлес не смотрел ни вправо, ни влево, но это чувствовал. Шаг за шагом ступал он в следы, только что вдавленные в пыль ногами впереди идущего, и потому чувствовал это как что-то неизбежное, как каменную силу, которая сводила и сжимала всю его жизнь в это движение — шаг за шагом — по одной этой линии, по одной этой узкой полоске, тянущейся в пыли.

Когда они остановились у перекрестка, где вторая дорога сливалась с той, по которой они шли, в круглый вытоптаный пустырь и где косо вонзился в воздух трухлявый путевой указатель, эта противоречащая их окружению линия показалась Тёрлесу криком отчаяния.

Они пошли дальше. Тёрлес думал о своих родителях, о знакомых, о жизни. В этот час одеваются для гостей или решают поехать в театр. А потом идут в ресторан, слушают оркестр, заходят в кофейню. Завязывают интересное знакомство. До утра длится ожидание какого-нибудь галантного приключения. Жизнь, как чудесное колесо, выкатывает из себя то и дело новое, неожиданное...

Тёрлес вздыхал от этих мыслей, и с каждым шагом, приближавшим его к тесноте училища, в нем что-то стягивалось все туже и туже.

Уже сейчас стоял у него в ушах звук звонка. Ничего он так не боялся, как этого звонка, который непреложно определял конец дня, — как жестокий удар ножом.

Он ничего-то и не изведал, и жизнь его была сплошным прозябанием, но этот звонок прибавлял ко всему еще и глумление, повергая его в дрожь от бессильной злости на самого себя, на свою судьбу, на загубленный день.

Больше ты ничего уже не изведаешь, в течение двенадцати часов ты ничего уже не изведаешь, на срок в двенадцать часов ты мертв — таков был смысл этого звонка.

Когда компания молодых людей подошла к первым низким домам, похожим на лачуги, Тёрлеса отпустили эти унылые мысли. Словно захваченный каким-то вне-

запным интересом, он поднял голову и стал напряженно вглядываться в мутные недра маленьких, грязных строений, мимо которых они проходили.

У дверей большинства из них стояли женщины — в халатах и грубых рубахах, с широкими грязными ногами и голыми смуглыми руками.

Если они были молодые и крепкие, им в шутку бросали грубоватые славянские словечки. Они подталкивали друг друга локтями и подсмеивались над «молодыми господами», иная и вскрикивала, когда слишком уж сильно задевали, проходя мимо, ее груди, или сквозь смех отвечала ругательством на шлепок по бедру. А иная лишь с гневной суровостью смотрела вслед уходившим; а крестьянин, если он случайно тут оказывался, улыбался смущенно — наполовину неуверенно, наполовину добродушно.

Тёрлес был в стороне от этой озорной, не по возрасту развитой мужественности своих друзей.

Объяснялось это отчасти, наверно, известной робостью в делах пола, свойственной почти всем единственным детям, но в большей мере особым характером его чувственности, которая была скрытнее, мощнее и мрачнее, чем чувственность его друзей, и выражала себя труднее.

В то время как другие бесстыдничали с женщинами скорее, пожалуй, «для шика», чем от вожделения, душа молчаливого маленького Тёрлеса была взбудоражена и знала бич действительного бесстыдства.

Он с такими горящими глазами заглядывал через оконца и угловатые, узкие подворотни в недра этих домов, что у него постоянно рябило в глазах.

Полуголые дети копошились в грязи дворов, там и сям юбка работающей женщины открывала подколенные ямки, тугие складки холста сжимали тяжелую грудь. И словно все это совершалось даже в совсем другой, животной, давящей атмосфере, из сеней домов тек спертый, тяжелый воздух, который Тёрлес жадно вдыхал.

Он думал о старинных картинах, которые видел в музеях, но по-настоящему не понимал. Он ждал чего-то, как и от этих картин всегда ждал чего-то, что никогда не случалось. Чего?.. Чего-то неожиданного, невиданного до сих пор; невероятного зрелища, которое совершенно не мог представить себе; чего-то, что словно когтями

схватит его и растерзает на части; события, которое каким-то совсем еще неясным образом должно быть связано с грязными халатами женщин, с их грубыми руками, с их низкими каморками, с... с замаранностью в грязи их дворов... Нет, нет... Он чувствовал теперь только огненную рябь в глазах; словами этого не сказать; это совсем не так скверно, каким оно делается из слов; это что-то совершенно немое — сдавленность в горле, мимолетная мысль, и только если непременно нужно сказать это словами, только тогда оно получается таким, но тогда оно и похоже лишь отдаленно, как при огромном увеличении, когда не только видишь все яснее, но и видишь вещи, которых тут вовсе нет... И все-таки было стыдно...

— Деточка тоскует по дому? — насмешливо спросил его вдруг долговязый и на два года старше его фон Райтинг, обративший внимание на молчаливость и помрачневшие глаза Тёрлеса. Тёрлес усмехнулся вымученно и смущенно, и ему показалось, будто ехидный Райтинг подслушивал, что творилось у него внутри.

Он не ответил. Но тем временем они дошли до церковной площади городка, которая имела форму квадрата и была вымощена булыжником, и теперь расходились в разные стороны.

Тёрлесу и Байнебергу еще не хотелось возвращаться в училище, а другие, не имея разрешения на долгую отлучку, пошли домой.

Эти двое зашли в кондитерскую.

Там они сидели за маленьким круглым столиком, у окна, выходящего в сад, под газовой люстрой, огни которой тихо жужжали за молочными стеклянными шарами.

Они удобно устроились, заказывали разные сорта водок, курили папиросы, ели в промежутках печенье и наслаждались уютом единственных гостей. Ибо разве что в задних комнатах сидел еще какой-нибудь одинокий посетитель за стаканом вина; спереди было тихо, и даже тучная, в летах кондитерша, казалось, уснула за своей стойкой.

Тёрлес смотрел — совсем рассеянно — в окно — на пустой сад, который постепенно темнел.

Байнеберг рассказывал. Об Индии. Как обычно. Ибо его отец, генерал, служил там у англичан в бытность молодым офицером. И он не только, как прочие европейцы, привез оттуда резные изделия, ткани и фабричной работы божков, но еще ощутил и сберег какой-то таинственный, сумеречный, призрачный свет эзотерического буддизма. То, что он там узнал и что вычитал позднее вдобавок, он передавал сыну с самого его детства.

С чтением, впрочем, дело обстояло у него весьма своеобразно. Он был кавалерийский офицер и книг вообще отнюдь не любил. Романы и философию он презирал в одинаковой мере. Когда он читал, он не хотел задумываться над мнениями и спорными вопросами, а хотел, открывая книгу, войти, словно через потайную дверь, в хранилище отборного знания. Ему требовались книги, одно обладание которыми было уже как бы тайным орденским знаком, как бы гарантией неземных откровений. А это он находил лишь в книгах индийской философии, которые и казались ему не просто книгами, а откровениями, истиной — кодами, как алхимические и манические книги средневековья.

С ними этот здоровый, деятельный человек, строго исполнявший свои служебные обязанности и, сверх того, почти ежедневно сам объезжавший трех своих лошадей, запирался обычно под вечер.

Тогда он выхватывал наудачу какое-нибудь место и размышлял, не откроется ли ему сегодня самый тайный смысл. И он никогда не разочаровывался, даже и признавая, что не продвинулся дальше преддверия освященного храма.

И потому этого мускулистого, загорелого, привыкшего быть на воздухе человека оведало подобие какой-то торжественной тайны. Его убежденность, что каждый день для него — канун сногшибательного великого разоблачения, давала ему скрытое превосходство. Глаза у него были не мечтательные, а спокойные и твердые. Выражение их создали привычка читать книги, где нельзя переставить ни одного слова, не нарушив тайного смысла, осторожное, внимательное взвешивание каждого слова в поисках его смысла и двоякого смысла.

Лишь изредка терялись его мысли в сумраке приятной меланхолии. Это случалось, когда он думал о тайном культе, связанном с оригиналами лежащих перед ним писаний, о чудесах, от них исходивших и захватывавших тысячи, многие тысячи людей, которые из-за большого расстояния, отделявшего его от них, представляли ему сейчас как бы братьями, хотя людей вокруг себя, которые были видны ему во всех подробностях, он презирал. В такие часы на него находила угрюмость. Мысль, что жизнь его обречена пройти вдали от источников священных сил, что его усилия, вероятно, все же обречены на провал из-за неблагоприятных обстоятельств, — мысль эта угнетала его. Но, посидев потом в огорчении перед своими книгами, он приходил в странное состояние. Его меланхолия, правда, ничуть не теряла своей тяжести, напротив, его печаль усиливалась, но она уже не угнетала его. Он больше чем когда-либо чувствовал себя покинутым и пропавшим, но в этой грусти таилась тонкая сладость, гордость, что делаешь что-то нездешнее, служишь непонятному божеству. И тогда в его глазах вспыхивало на миг что-то, что напоминало безумство религиозного экстаза.

Байнеберг устал говорить. В нем самом образ его чудаковатого отца продолжал жить в каком-то искажающем увеличении. Каждая черта, правда, сохранилась; но то, что у отца изначально было всего лишь причудой, которую из-за ее исключительности усиливали и консервировали, переросло у сына в какую-то фантастическую надежду. Та странность отца, что служила ему, в сущности, может быть, только каким-то последним убежищем, которое — будь это лишь манера одеваться — должен создать себе каждый человек, чтобы иметь что-то, отличающее его от других, превратилась у сына в твердую веру в свою способность обеспечить себе господство благодаря необыкновенным психическим силам.

Тёрлес знал эти разговоры достаточно хорошо. Они проходили мимо него и почти не задевали его.

Сейчас он наполовину отвернулся от окна и наблюдал за Байнебергом, который свертывал себе папиросу. И он снова почувствовал то удивительное отвращение к Байнебергу, что иногда поднималось в нем. Эти узкие

смуглые руки, ловко заворачивавшие табак в бумагу, были ведь, в сущности, красивы. Тонкие пальцы, овальные, изящно выпуклые ногти — в них было какое-то благородство. Да и в темно-карих глазах. Да и в поджарости всего тела было оно. Правда, уши сильно оттопыривались, лицо было маленькое и неправильное, и общее впечатление от головы напоминало голову летучей мыши, однако — сравнивая друг с другом отдельные черты, Тёрлес отчетливо это чувствовал — не некрасивые, а, наоборот, располагающие вызывали у него такое странное беспокойство.

Поджарость тела — сам Байнеберг восхвалял стальные, стройные ноги гомеровских бегунов, считал их образцом для себя — совсем не казалась ему гомеровской. До сих пор Тёрлес не отдавал себе в этом отчета, и сейчас ему не приходило на ум никакого подходящего сравнения. Ему хотелось пристальнее всмотреться в Байнеберга, но тогда тот это заметил бы, и пришлось бы завести какой-то разговор. Но именно так — когда он лишь наполовину смотрел на него, а наполовину дополнял картину воображением — ему открылась разница. Мысленно сняв с тела одежду, он уже никак не мог сохранить впечатление спокойной стройности, ему сразу же виднелись беспокойные, вертлявые движения, вихляющиеся члены, искривленный позвоночник, — как то встречается во всех изображениях мученичества или в гротескных действиях ярмарочных артистов.

Также и руки, которые он, конечно, с таким же правом мог бы мысленно задержать в каком-нибудь законченном жесте, он представлял себе не иначе, как беспокойство пальцев. И как раз на них, самом красивом, собственно, в Байнеберге, сосредоточивалось величайшее отвращение. В них было что-то развратное. Вот, пожалуй, верное сравнение. Впечатление чего-то развратного производили и вертлявые движения туловища. В руках только эта развратность как бы скапливалась, они, казалось, излучали ее предвестием прикосновения, от мерзости которого у Тёрлеса мурашки пробегали по коже. Он сам удивился своей фантазии и немного испугался ее. Ибо уже второй раз за этот день в его мысли неожиданно и без всякой видимой связи вторглось что-то, имевшее отношение к полу.

Байнеберг взял газету, и Тёрлес мог теперь хорошенько его рассмотреть.

Действительно, нельзя было найти ничего, что хоть сколько-нибудь оправдывало бы внезапное появление такой ассоциации.

И все-таки, несмотря на всю свою необоснованность, это неприятное чувство делалось все острее. Не прошло и десяти минут воцарившегося между ними молчания, как Тёрлес почувствовал, что его отвращение уже дошло до предела. В этом, казалось, впервые выразилось некое главное настроение, главное отношение между ним и Байнебергом, всегда таившееся недоверие вдруг, казалось, дошло до сознания.

Ситуация, создавшаяся между ними, обострялась все более. Обиды, для которых он не находил слов, вскипели в Тёрлесе. Какой-то стыд, словно между ним и Байнебергом действительно что-то произошло, встревожил его. Его пальцы беспокойно забарабанили по столу.

Наконец, чтобы выйти из этого странного состояния, он снова посмотрел в окно.

Теперь Байнеберг поднял глаза от газеты; затем прочел вслух какое-то место, отложил листок в сторону и зевнул.

Вместе с молчанием ушла и тяжесть, угнетавшая Тёрлеса. Какие-то пустяковые слова совсем затопили это мгновение и погасили его. Он вдруг встрепенулся, после чего вернулось прежнее безразличие...

— Сколько у нас еще времени? — спросил Тёрлес.

— Два с половиной часа.

Затем он зябко поднял плечи. Он снова почувствовал сковывающую силу тесноты, его ожидавшей. Уроки, каждодневное общение с товарищами. Даже этого отвращения к Байнебергу, которое на миг, казалось, создало новую ситуацию, больше не будет.

— Что сегодня на ужин?

— Не знаю.

— Какие у нас завтра предметы?

— Математика.

— Вот как? Что-нибудь задано?

— Да, несколько новых теорем из тригонометрии. Но ты их поймешь, в них нет ничего особенного.

— А потом?

— Закон божий.

— Закон божий? Ах да. Тут опять что-нибудь да будет... Мне кажется, что, когда я в ударе, я могу с таким же успехом доказать, что дважды два пять, как то, что Бог может быть только один...

Байнеберег насмешливо взглянул на Тёрлеса.

— Ты в этом вообще смешон. Мне даже кажется, что тебе самому это доставляет удовольствие. Во всяком случае, глаза у тебя так и блестят...

— А почему бы нет? Разве это не славно? Тут всегда есть точка, когда уже не знаешь, врешь ли ты или то, что ты придумал, реальнее, чем ты сам.

— Как так?

— Ну, я же не в буквальном смысле. Ведь, конечно, всегда знаешь, что жульничаешь. Но все-таки иногда дело кажется самому таким достоверным, что как бы останавливаешься, оказавшись в плену собственной мысли.

— Да, но в чем же тут для тебя удовольствие?

— Именно в этом самом. Какой-то вдруг толчок в уме, головокружение, испуг...

— Ах, перестань, это вздор.

— Я и не утверждал противоположного. Но во всяком случае, это для меня во всем ученье самое интересное.

— Это просто какая-то гимнастика для мозга. Но никакого смысла в этом нет.

— Нет, — сказал Тёрлес и снова посмотрел в сад. За спиной у себя — вдалеке — он слышал жужжанье газовых ламп. Он следил за каким-то чувством, поднимавшимся в нем меланхолически, как туман.

— Смысла нет никакого. Ты прав. Но говорить себе это совершенно незачем. А в чем из того, что мы целый день делаем в школе, есть какой-то смысл? От чего есть какой-то толк? Толк, я хочу сказать, для себя, понимаешь? Вечером знаешь, что прожил еще один день, что выучил столько-то и сколько-то, ты выполнил расписание, но при этом остался пустым — внутренне, я хочу сказать, ты испытываешь, так сказать, внутренний голод...

Байнеберг пробормотал что-то насчет «упражняться», «готовить ум», «еще ни за что нельзя браться», «позднее».

— Готовиться? Упражняться? Для чего же? Ты знаешь что-то определенное? Ты, может быть, на что-то наде-

ешься, но и тебе это совершенно неясно. Вот что выходит: вечное ожидание чего-то, о чем ничего другого не знаешь, кроме того, что ждешь этого... Это так скучно...

— Скучно... — протяжно повторил Байнеберг и покачал головой.

Тёрлес все еще смотрел в сад. Ему казалось, что он слышит шуршанье сухих листьев, которые собирал ветер. Затем настал тот миг полнейшей тишины, который всегда наступает незадолго до того, как совсем стемнеет; очертания предметов, все сильнее растворявшиеся в сумерках, и краски, которые расплывались, — казалось, застыли на несколько секунд, переводя дух.

— Послушай, Байнеберг, — сказал Тёрлес, не оборачиваясь, — когда смеркается, всегда, видно, бывает несколько мгновений совершенно особого рода. Сколько раз это ни наблюдаю, мне вспоминается одно и то же. Я был еще очень мал, когда однажды играл в этот час в лесу. Служанка отошла. Я этого не знал, и у меня было ощущение, что она еще где-то близко. Вдруг что-то заставило меня поднять глаза. Я почувствовал, что я один. Все вдруг совсем затихло. И когда я оглянулся, мне показалось, будто деревья молча стоят вокруг и наблюдают за мной. Я заплакал. Я почувствовал себя покинутым взрослыми, отданным на произвол неживых созданий. Что это такое? Я часто чувствую это снова. Это внезапное безмолвие, словно речь, которой мы не слышим?

— Я не знаю, что ты имеешь в виду. Но почему бы у вещей не быть языку? Ведь не можем же мы со всей определенностью утверждать, что у них не бывает души!

Тёрлес не ответил. Рассуждения Байнеберга были ему неприятны.

Но вскоре тот начал:

— Почему ты все время глядишь в окно? Что ты в этом находишь?

— Я все еще думаю, что это может быть.

На самом деле он думал уже о чем-то другом, в чем не хотел признаться. Высокое напряжение, сосредоточенность, с которой прислушиваешься к серьезной тайне, и ответственность, которую берешь на себя, заглядывая в еще не описанные связи жизни, он смог выдержать только один миг. Затем им опять овладело то чувство одиночества и покинутости, что всегда следовало за этим слыш-

ком высоким запросом. Он чувствовал: здесь таится что-то, пока еще слишком трудное для него, и мысли его убегали к чему-то другому, тоже таившемуся здесь, но как бы только на заднем плане и в засаде, — к одиночеству.

Из заброшенного сада к освещенному окну нет-нет да прилетал листок и, уносясь, врывался в темень светлой полоской. Темнота, казалось, сторонилась, отступала, чтобы в следующее мгновение продвинуться вперед снова и неподвижно, стеной стать перед окнами. То был особый мир, эта темень. Стаей черных врагов напала она на землю и убила людей, или прогнала их, или еще что-то сделала, чтобы от них и следа не осталось.

И Тёрлесу показалось, что он этому рад. В эту минуту он не любил людей, больших и взрослых. Он никогда не любил их, когда было темно. Он привык воображать тогда, что их нет. Мир представлялся ему после этого пустым, темным домом, и в груди у него все трепетало, словно ему пришлось теперь пробираться из комнаты в комнату — через темные комнаты, о которых никто не знал, что таят их углы, — на ощупь перешагивать пороги, куда уже не ступит ничья нога, кроме его собственной, — пока в одной из комнат вдруг перед ним и за ним не закроются двери и он не предстанет перед самой владычицей черных стай. И в этот миг защелкнутся замки всех других дверей, через которые он прошел, и лишь далеко перед стенами тени темноты будут, как черные евнухи, стоять на страже и даже близко не подпустят людей.

Такого вида была его одинокость, с тех пор как его тогда бросили — в лесу, где он плакал. Она обладала для него прелестью женщины и нечеловеческого. Он чувствовал ее как женщину, но ее дыхание было лишь стеснением в собственной груди, ее лицо — головокружительным забвением всех человеческих лиц, движения ее рук были мурашками, бежавшими у него по телу...

Он боялся этой фантазии, сознавая ее необузданную тайность, и его беспокоила мысль, что такие картины будут приобретать все большую власть над ним. Но как раз тогда, когда он казался себе особенно серьезным и чистым, они-то и возникали. Как реакция, можно сказать, на эти мгновения, когда он предугадывал чувственное знание, которое уже в нем готовилось, но еще не соответ-

ствовало его опыту. Ибо в развитии всякой тонкой нравственной силы есть такая ранняя точка, когда она ослабляет душу, чьим самым смелым опытом она, возможно, когда-нибудь будет — как если бы корни ее должны были сперва опасть, чего-то ища, и разворошить грунт, который им потом суждено укрепить, — отчего у юноши с большим будущим бывает обычно богатое унижениями прошлое.

Пристрастие Тёрлеса к определенным настроениям было первой приметой того душевного развития, которое позднее проявилось в таланте удивляться. Дело в том, что в дальнейшем им прямо-таки овладела одна странная способность. Она заставляла его воспринимать события, людей, предметы, а порой и самого себя так, что у него при этом возникало чувство, с одной стороны, неразрешимой непонятности, с другой — необъяснимого, ничем не оправданного родства. Они казались ему до осязаемости понятными и все же никогда без остатка не растворяющимися в словах и мыслях. Между событиями и его «я», даже между его собственными чувствами и каким-то сокровеннейшим «я», которое жаждало быть ими понятым, всегда оставалась разделительная черта, по мере его приближения к ней отступавшая от его желания, как горизонт. Да, чем точнее охватывал он мыслями свои ощущения, чем более знакомыми становились они ему, тем более чужими и непонятными делались они для него одновременно, так что даже думалось уже, что не они отступают от него, а он сам удаляется от них и все же не может отделаться от ощущения, что приближается к ним.

Это странное, труднообъяснимое противоречие заполняло потом долгий отрезок его духовного развития, оно, казалось, разрывало ему душу и угрожало ей как главная ее проблема.

Пока же тяжесть этих борений сказывалась только в частой внезапной усталости и словно бы уже издали пугала Тёрлеса, как только какое-нибудь сомнительное, странное настроение — как сейчас — напоминало о них. Он представился себе тогда таким же бессильным, как узник, на котором поставили крест, одинаково отрезанным от себя и от мира; ему впору было кричать от пустоты и отчаяния, а он вместо того словно бы отворачи-

вался от этого серьезного и полного ожидания, измученного и усталого человека в себе и прислушивался — еще испуганный этим внезапным самоотречением и уже восхищенный их теплым, грешным дыханием — к шепчущим голосам, которые находило для него одиночество.

Тёрлес вдруг предложил расплатиться. В глазах Байнеберга блеснуло понимание; он знал это настроение. Тёрлесу это согласие было противно; его отвращение к Байнебергу ожило снова, и он почувствовал себя опозоренным общностью с ним.

Но другого и нечего было тут ждать. Позор — это добавочное одиночество и новая мрачная стена.

И они молча зашагали по уже определенному пути.

В последние минуты прошел, по-видимому, небольшой дождь — воздух был влажный и теплый, вокруг фонарей дрожал пестрый туман, а тротуары поблескивали.

Тёрлес плотно прижал к телу ударявшуюся о плиты мостовой шпагу, но даже стук каблуков оглушал его почему-то.

Вскоре под ногами у них была мягкая земля, они удалились от центра города и по широким деревенским улицам шагали к реке.

Черная и ленивая, она с грудным бульканьем ворочалась под деревянным мостом. Один-единственный фонарь стоял тут с пыльными и разбитыми стеклами. Свет беспокойно гнувшегося от ветра пламени падал иногда на бегущую волну и растекался по ее тылу. Бревна настила отзывались на каждый шаг... откатывались вперед и возвращались на место...

Байнеберг остановился. Противоположный берег густо порос деревьями, которые, поскольку дорога сворачивала под прямым углом и шла дальше вдоль воды, стояли грозной, черной, непроницаемой стеной. Лишь после осторожных поисков нашлась узкая, скрытая тропка, которая вела прямо вглубь. Густой, сильно разросшийся подлесок, за который задевала одежда, каждый раз обдавал брызгами. Вскоре им пришлось снова остановиться и зажечь спичку. Стояла полная тишина, даже плеска реки не было уже слышно. Вдруг до них донесся издали неясный, прерывистый звук. Он походил на крик или на предо-

стережение. Или просто на возглас непонятого существа, которое вот-вот вырвется к ним из кустов. Они двинулись на звук, остановились, двинулись снова. Всего прошло, вероятно, четверть часа, когда они, облегченно вздохнув, различили громкие голоса и звуки гармонии.

Деревья стояли теперь реже, и после нескольких шагов они оказались на краю прогалины, посреди которой грузно высилось квадратное трехэтажное здание.

Это было старинное купальное заведение. Когда-то оно служило жителям городка и окрестным крестьянам для лечебных целей, но уже много лет стояло почти пустым. Только на первом его этаже приютился трактир.

Оба остановились и прислушались.

Тёрлес выставил было вперед ногу, чтобы выйти из кустов, как вдруг в сенях дома загрохотали по полу тяжелые сапоги и какой-то пьяный вышел нетвердым шагом на воздух. За ним, в тени сеней, стояла женщина, и слышно было, как она что-то шепчет торопливым, злым голосом, словно чего-то от него требуя... Мужчина рассмехался в ответ, пошатываясь. Затем донеслось что-то похожее на просьбы. Но и это нельзя было разобрать. Слышалось только вкрадчивое, уговаривающее звучанье голоса. Женщина вышла теперь ближе и положила руку мужчине на плечо. Луна осветила ее — ее юбку, ее кофту, ее просящую улыбку.

Мужчина смотрел прямо вперед, качал головой и не вынимал руки из карманов. Затем он сплюнул и оттолкнул женщину. Теперь удавалось разобрать и их голоса, которые стали громче:

— ...Так ты ничего не даешь? Ах, ты...

— Ступай наверх, мразь!

— Что? Вот жмот сиволапый!

В ответ пьяный, тяжело двигаясь, поднял камень.

— Если сейчас не отстанешь, дура ты непотребная, хрясну тебя по горбу!

И он замахнулся. Тёрлес услышал, как женщина, выругавшись напоследок, убежала по лестнице.

Мужчина постоял, в нерешительности держа камень в руках. Он засмехался, посмотрел на небо, где между черными тучами плыла желтая, как вино, луна; затем уставился в темную изгородь кустов, словно раздумывая, не махнуть ли туда. Тёрлес осторожно убрал выставленную

вперед ногу, он чувствовал сердцебиение у самого горла. Наконец пьяный, видимо, опомнился. Его рука выронила камень. С резким, торжествующим смехом он крикнул в окно какую-то грубую непристойность, затем скрылся за углом.

Оба стояли все еще неподвижно.

— Ты узнал ее? — шепнул Байнеберг. — Это была Божена.

Тёрлес не ответил; он прислушивался, не возвращается ли пьяный. Затем Байнеберг подтолкнул его вперед. Быстрыми, осторожными шагами прошли они — мимо пятна света, клином падавшего из окна первого этажа, — в темные сени. Тесными поворотами поднималась на второй этаж деревянная лестница. Тут слышали, вероятно, их шаги по скрипящим ступенькам, или о дерево ударились шпага: дверь шинка открылась, и кто-то вышел посмотреть, кто пришел, а гармонь вдруг умолкла и шум голосов на миг выжидающе стих.

Тёрлес испуганно пробирался поворотами лестницы. Но несмотря на темноту, его, кажется, заметили, ибо он слышал, как насмешливый голос официантки, когда дверь опять закрывалась, что-то сказал, после чего последовал хохот.

На лестничной площадке второго этажа было совершенно темно. Ни Тёрлес, ни Байнеберг не решались сделать ни шага вперед, не уверенные, что они не опрокинут чего-нибудь и не поднимут шум. Подгоняемые волнением, они торопливыми пальцами искали дверную ручку.

Божена крестьянской девушкой приехала в большой город, где пошла в прислуги и стала горничной.

Жилось ей сначала очень хорошо. Крестьянский облик, который она, как и широкоую, твердую походку, не совсем утратила, обеспечивал ей доверие хозяек, любивших в этом запахе коровника, от нее как бы исходившем, ее простоту, и любовь хозяев, ценивших этот аромат. Только, наверно, из каприза, да еще, может быть, из-за недовольства и глухой тоски по страсти бросила она свою удобную жизнь. Она стала официанткой, заболела, нашла пристанище в каком-то элегантном борделе и постепенно,

по мере того как распутная жизнь истощала ее, снова покатилась в провинцию — все дальше и дальше.

Здесь наконец, где она уже много лет жила неподалеку от своей родной деревни, она днем помогала в трактире, а вечерами читала дешевые романы, курила папиросы и от случая к случаю принимала мужчин.

Она еще не стала совсем безобразна, но лицо ее было на диво лишено всякой привлекательности, и она прямо-таки старалась еще сильнее подчеркнуть это своей повадкой. Она всячески показывала, что ей хорошо знакомы блеск и суета высшего света, но что для нее это пройденный этап. Она любила говорить, что ей на это, как и на себя, как и на все вообще, наплевать. Несмотря на свою запущенность, она пользовалась поэтому известным уважением у окрестных крестьянских сыновей. Они хоть и отплевывались, когда о ней говорили, хоть и считали себя обязанными быть с ней еще грубее, чем с другими девушками, но, в сущности, еще как гордились этой «окаянной девкой», которая вышла из их среды и так сумела узнать изнанку мира. Хоть и поодиночке и украдкой, а снова и снова приходили они побеседовать с ней. В этом Божена находила какой-то остаток гордости, оправдание своей жизни. Но еще, может быть, большее удовлетворение доставляли ей молодые господа из училища. Перед ними она нарочно выставляла самые грубые и некрасивые свои свойства, потому что те все равно, как она выражалась, приползут к ней.

Когда приятели вошли, она, как обычно, лежала на кровати, курила и читала.

Еще стоя в дверях, Тёрлес жадными глазами вобрал в себя это зрелище.

— Бог ты мой, что за милые мальчики пожаловали! — встретила она насмешливым возгласом вошедших, немного презрительно их оглядывая. — Никак ты, барон? А что скажет мама по этому поводу?

Такое начало было в ее духе.

— Ну, хватит... — пробормотал Байнеберг и сел к ней на кровать. Тёрлес сел в стороне; ему было досадно, что Божена не обращала на него внимания и делала вид, будто не знает его.

Приходы к этой женщине стали в последнее время его единственной и тайной радостью. К концу недели

он уже волновался и не мог дождаться воскресенья, когда он вечером будет красться к ней. Занимала его главным образом эта необходимость красться. Если бы, например, тому пьяному малому у трактира вздумалось погнаться за ним? Просто ради удовольствия всыпать блудливому барчуку? Он не был труслив, но он знал, что тут он беззащитен. Против этих кулачищ изящная шпага показалась ему насмешкой. А кроме того, стыд и наказание, которых ему бы не миновать! Ему ничего не осталось бы, как удрать или просить пощады. Или искать защиты у Божены. Эта мысль проняла его насквозь. Вот оно самое! Только это! Ничего другого! Это страх, эта капитуляция манили его каждый раз заново. Этот уход от своего привилегированного положения, когда окажешься среди простых людей... ниже их!

Он не был порочен. При осуществлении всегда перевешивали отвращение к своей затее и страх перед возможными последствиями. Только фантазия приняла у него нездоровое направление. Когда дни недели один за другим ложились на его жизнь свинцовой тяжестью, его начинали манить эти едкие раздражители. Из воспоминаний о его приходах к Божене возникал своеобразный соблазн. Она представлялась ему существом чудовищной низости, а его отношение к ней, чувства, через которые он должен был тут пройти, жестоким культом самопожертвования. Его манило оставить все, что обычно замыкало его: свое привилегированное положение, мысли и чувства, которые ему прививали, все то, что ничего ему не давало и подавляло его. Его манило самозабвенно убежать к этой женщине, голым, ничем не прикрытым.

Это не было иначе, чем у молодых людей вообще. Будь Божена чиста и красива и будь он тогда способен любить, он, может быть, кусал бы ее, усиливал бы до боли и свое сладострастье. Ибо первая страсть взрослого человека — это не любовь к одной, а ненависть ко всем. Чувство, что ты не понят, и непонимание мира во все не сопровождают первую страсть, а суть ее единственная неслучайная причина. А сама она — бегство, при котором быть вдвоем значит быть в удвоенном одиночестве.

Почти каждая первая страсть длится недолго и оставляет горький осадок. Она есть заблуждение, разоча-

рование. Потом не понимаешь себя и не знаешь, кого винить. Происходит это оттого, что люди в этой драме друг для друга большей частью случайны — случайные попутчики по бегству. Успокоившись, они друг друга уже не узнают. Они замечают друг в друге противоположности, потому что уже не замечают общего.

У Тёрлеса это было иначе только потому, что он был один. Стареющая униженная проститутка была не в силах раскрепостить его до конца. Однако она была женщиной до такой степени, что как бы преждевременно вырвала на поверхность какие-то части его души, которые, как зреющие зачатки, еще ждали оплодотворяющего мгновения.

Отсюда-то и шли его странные мечтания и фантастические соблазны. Но почти так же сильно хотелось ему порой броситься на землю и закричать от отчаяния.

Божена все еще не обращала внимания на Тёрлеса. Казалось, она делала это со злости, только чтобы его раздосадовать. Внезапно она прервала разговор:

— Дайте мне денег, я схожу за чаем и за водкой.

Тёрлес дал ей одну из серебряных монет, которые днем получил от матери. Божена взяла с подоконника спиртовку со множеством вмятин и зажгла горелку; затем стала медленно и шаркающей походкой спускаться по лестнице.

Байнеберг толкнул Тёрлеса.

— Почему ты такой скучный? Она подумает, что ты трусишь.

— Не втягивай меня, — попросил Тёрлес, — у меня нет настроения. Беседуй с ней один. С чего это она, кстати, то и дело заговаривает о твоей матери?

— С тех пор как она знает мою фамилию, она утверждает, что служила у моей тетки и знала мою мать. Отчасти это, по-видимому, правда, но отчасти она, конечно, врет — просто удовольствия ради; хотя мне непонятно, что ее тут забавляет.

Тёрлес покраснел; поразительная мысль пришла ему в голову... Но тут вернулась Божена с водкой и снова села рядом с Байнебергом на кровать. И сразу же продолжила прежний разговор.

— ...Да, твоя мама была красивая девушка. Ты со своими оттопыренными ушами нисколько на нее не похож. И веселая. Не одному, наверно, кружила голову. И права была.

После небольшой паузы ей вспомнилось, видно, что-то особенно веселое.

— Твой дядя, драгунский офицер, помнишь? Кажется, Карл его звали, он был кузен твоей матери, так вот, он тогда ухаживал за ней. А по воскресеньям, когда дамы были в церкви, приставал ко мне. Каждую минуту требовал принести ему в комнату то одно, то другое. С собой он был хоть куда, до сих пор помню, только уж совсем не стеснялся...

Она сопровождала эти слова многозначительным смехом. Затем стала дальше распространяться на эту тему, доставлявшую ей, видимо, особое удовольствие. Ее речь была развязна, и говорила она так, словно хотела замарать каждое слово в отдельности.

— ...Думаю, он и матери твоей нравился. Если бы она только узнала это! Наверно, твоей тетке пришлось бы выгнать из дома меня и его. Таковы уж эти благородные дамы, особенно когда у них еще нет мужа. Божена, миленькая, сходи, Божена, миленькая, принеси, — только и слышно было весь день. А когда кухарка забеременела, тут бы послушал! Они, с них станет, думали, что наша сестра ноги моет только раз в год. Кухарке, правда, они ничего не сказали, но я кое-что услышала, когда прислуживала в комнате, а они как раз говорили об этом. Твоя мать сделала такое лицо, словно готова напиться одеколона. А вскоре твоя тетка сама ходила с брюхом до носа...

Во время речи Божены Тёрлес чувствовал себя почти беззащитным перед ее мерзкими намеками.

То, что она описывала, он живо видел перед собой. Мать Байнеберга превратилась в его собственную. Он вспоминал светлые комнаты родительской квартиры. Ухоженные, чистые, неприступные лица, которые дома во время званных обедов часто внушали ему какое-то благоговение, холеные, прохладные руки, которые даже за едой, казалось, не давали себе ни малейшей поблажки. Множество таких подробностей вспоминалось ему, и ему было стыдно находиться в такой дурно пахнущей комнатушке и вздрагивать от унижительных слов какой-то

девки. Воспоминание о совершенных манерах этого никогда не забывающего о форме общества оказало на него более сильное воздействие, чем всякие моральные соображения. Метание его темных страстей показалось ему смешным. С провидческой ясностью увидел он холодное, отклоняющее движение руки, смущенную улыбку, с которыми его отстранили бы от себя, как маленького неопрятного зверька. Тем не менее он, как привязанный, остался сидеть на своем месте.

С каждой подробностью, какую он вспомнил, в нем, наряду со стыдом, выростала и цепь гадких мыслей. Она началась, когда Байнеберг сделал то пояснение к речам Божены, после которого Тёрлес покраснел.

Тогда он вдруг невольно подумал о собственной матери, и это засело, это ему не удавалось стряхнуть. Это только промелькнуло у него на границе сознания... с быстротой молнии, в смутной дали... на краю... мимолетно... Это и мыслью-то назвать нельзя было. И тут же вереницей побежали вопросы, которые должны были это прикрыть: «С какой стати эта Божена ставит свою низкую личность рядом с личностью моей матери? С какой стати проталкивается к ней в тесноте одной и той же мысли? Почему не делает земного поклона, раз уж ей нужно о ней говорить? Почему нет ничего, что как пропасть выразило бы отсутствие тут какой бы то ни было общности? Ведь как же так? Эта женщина для меня сгусток всяческой похоти; а моя мать — существо, которое до сих пор проходило через мою жизнь в безоблачной дали, ясно и без снижений, как небесное тело, по ту сторону всякого вожделения...»

Но все эти вопросы не были сутью дела, не затрагивали ее. Они были чем-то вторичным; чем-то, что пришло Тёрлесу на ум лишь впоследствии. Они потому и множились, что ни один не попадал в точку. Они были лишь увертками, парафразами того факта, что неосознанно, неожиданно, инстинктивно появилась некая психологическая связь, которая еще до того, как они возникли, ответила на них в недобром смысле. Тёрлес пожирает глазами Божену и при этом не мог забыть свою мать; через него проходила цепь соединявшей обеих связи. Все остальное было лишь барахтаньем в этом сплетении образов. Их сплетенность была единственным фактом. Но из-за тщет-

ности попыток сбросить с себя его гнет факт этот приобрел страшное, неясное значение, которое сопровождало всяческие усилия словно бы коварной усмешкой.

Тёрлес огляделся в комнате, чтобы освободиться от этого. Но все уже приняло один этот смысл. Железная печурка с пятнами ржавчины сверху, кровать с шаткими столбиками и крашеной спинкой, с которой во многих местах облупилась краска, грязные постельные принадлежности, проглядывавшие сквозь дыры ветхого покрывала; Божена, ее рубашка, сползшая с одного плеча, пошлый, крикливо-красный цвет ее юбки, ее залиvistый смех во весь рот; наконец, Байнеберг, чье поведение по сравнению с обычным казалось ему поведением какого-то беспутного священника, который, сбесившись, вплетает двусмысленности в строгие формулы молитвы... Все это толкало в одну сторону, теснило ее и насильно сворачивало его мысли все назад и назад.

Лишь в одном месте нашли покой его взгляды, затравленно перебежавшие с одного на другое. Это было выше маленькой занавески. Там с неба заглядывали в комнату тучи и неподвижно стояла луна.

Казалось, он вышел вдруг на свежий, спокойный ночной воздух. На миг все его мысли стихли. Затем пришло одно приятное воспоминание. Загородный дом, где они жили последним летом. Ночи в молчащем парке. Дрожащий звездами, бархатно-темный небосвод. Голос матери из глубины сада, где она гуляла с папой по слабо светившимся гравийным дорожками. Песни, которые она негромко сама себе напевала. Но тут — его прямо-таки пронзило — опять возникало это мучительное сравнение. Что они оба могли тогда чувствовать? Любовь? Нет, мысль эта впервые пришла к нему сейчас. Это вообще нечто совсем другое. Это не для больших и взрослых людей. И уж вовсе не для его родителей. Сидеть ночью у открытого окна и чувствовать себя всеми покинутым, чувствовать себя другим, чем большие, превратно понятым при каждом смешке, при каждом насмешливом взгляде, не быть в силах никому объяснить, что ты уже значишь, и мечтать о той, которая это поймет, — вот что такое любовь! Но для этого нужно быть молодым и

одиноким. У них это было, наверно, что-то другое. Что-то спокойное и невозмутимое. Мама просто пела вечером в темном саду, и ей было весело.

Но этого-то как раз и не понимал Тёрлес. Терпеливые планы, которые для взрослых — а они этого и не замечают — сцепляют дни в месяцы и годы, были ему еще чужды. Как и то отупение, для которого даже никакого вопроса нет уже в том, что вот и еще один день подходит к концу. Его жизнь была направлена на каждый день. Каждая ночь означала для него ничто, могилу, погашенность. Способности каждодневно ложиться умирать, не испытывая из-за этого беспокойства, он еще не приобрел.

Поэтому он всегда подозревал за ней что-то, что от него скрывают. Ночи казались ему темными вратами к таинственным радостям, которые от него утаили, отчего его жизнь была пуста и несчастна.

Он вспомнил странный смех матери и то, как она — он увидел это в один из тех вечеров — в шутку прижалась к плечу мужа. Это, казалось, исключало какое бы то ни было сомнение. Из мира этих спокойных, стоящих выше всякий подозрений тоже должна была вести сюда какая-то дверца. И зная, что так оно и есть, он мог думать об этом только с той определенной улыбкой, злой недоверчивости которой он тщетно сопротивлялся...

Божена тем временем продолжала рассказывать. Тёрлес слушал вполуха. Она говорила о ком-то, кто тоже приходит чуть ли не каждое воскресенье...

— Как его фамилия? Он из твоего набора.

— Рейтинг?

— Нет.

— Какого он вида?

— Он приблизительно такого же роста, как этот, — Божена указала на Тёрлеса, — только голова у него великовата.

— А, Базини?

— Да, да, так он назвал себя. Очень смешной. И благородный. Пьет только вино. Но глупый. Это стоит ему кучу денег, а он ничего не делает, только что-нибудь рассказывает мне. Он хвастается романами, которые будто бы крутит дома. Какой только ему от этого толк? Я же вижу, что он в первый раз в жизни пришел к бабе. Ты тоже еще мальчишка, но ты нахальный. А он неловкий и боится

этого, потому и расписывает мне, как должен обходиться с женщинами сластолюбец — да, так он сказал. Он говорит, что все бабы ничего другого не стоят. Откуда вам это знать уже?

Байнеберг ответил ей насмешливой ухмылкой.

— Смейся, смейся! — весело прикрикнула на него Божена. — Я его как-то спросила, неужели ему не стыдно было бы перед матерью. «Мать?.. Мать? — говорит он в ответ. — Что это такое? Этого теперь не существует. Это я оставил дома, перед тем как пошел к тебе...» Да, открой свои длинные уши, все вы такие! Миленькие вы сыночки, мальчишки из барских семей. Ваших матерей мне просто жаль!..

При этих словах у Тёрлеса снова возникло то прежнее ощущение, что он все оставил позади и предал образ родителей. И теперь он увидел, что даже ничего ужасного этим не совершил, а совершил только что-то вполне обыкновенное. Ему стало стыдно. Но и другие мысли тоже вернулись. Они тоже так поступают! Они предают тебя! У тебя есть тайные партнеры! Может быть, у них это как-то иначе, но одно у них должно быть таким же — тайная, ужасная радость. Что-то, в чем можно утопить себя со всем своим страхом перед однообразием дней... Может быть, они даже больше знают?! Что-то совсем необыкновенное? Ведь днем они такие успокоенные... и этот смех матери?.. Словно она спокойным шагом шла закрывать все двери.

В этом противоборстве наступило мгновение, когда Тёрлес сдался и скрепя сердце покорился буре.

И как раз в это мгновение Божена встала и подошла к нему.

— А почему маленький ничего не говорит? Он чем-то огорчен?

Байнеберг что-то шепнул и зло улыбнулся.

— Что, тоска по дому? Мама, что ли, уехала? И этот гадкий мальчишка сразу бежит к такой!..

Божена ласково зарыла растопыренные пальцы в его волосы.

— Брось, не глупи. Ну-ка, поцелуй меня. Благородные люди тоже не марципановые.

И она запрокинула ему голову.

Тёрлес хотел что-то сказать, заставить себя отпустить какую-нибудь грубую шутку, он чувствовал, что все сейчас зависит от того, чтобы сказать какое-нибудь безразличное, пустое слово, но он не издал ни звука. С окаменевшей улыбкой глядел он в это беспутное лицо, склонившееся над его лицом, в эти неясные глаза, затем внешний мир стал уменьшаться... уходить все дальше... На миг возник облик того малого, что поднял камень, и показалось, что тот смеется над ним... затем он остался совсем один...

— Знаешь, я нашел его, — прошептал Райтинг.

— Кого?

— Того, кто тащит из тайничков.

Тёрлес только что вернулся с Байнебергом. Подступало время ужина, и дежурный надзиратель уже ушел. Между зелеными столами образовались группы болтающих, и в зале гудела и жужжала теплая жизнь.

Это был их обычный класс с белеными стенами, большим черным распятием и портретами августейшей четы по обе стороны доски. У большой железной печки, которую еще не топили, сидели, частью на подиуме, частью на поваленных стульях, те молодые люди, что днем провожали на станцию супругов Тёрлесов. Кроме Райтинга, это были длинный Гофмайер и Джюш — такую кличку носил один маленький польский граф.

Тёрлесу было до некоторой степени любопытно.

Тайнички стояли в глубине комнаты и представляли собой длинные шкафы со множеством запирающихся выдвижных ящиков, где питомцы училища хранили свои письма, книги, деньги и всякие мелочи.

И уже довольно давно некоторые жаловались, что у них пропадали мелкие суммы денег, однако определенных предположений никто не высказывал.

Байнеберг был первым, кто мог с уверенностью сказать, что у него — на прошлой неделе — украли крупную сумму. Но знали об этом только Райтинг и Тёрлес.

Они подозревали служителей.

— Ну, рассказывай! — попросил Тёрлес, но Райтинг быстро сделал ему знак:

- Тсс! Позднее. Еще никто об этом не знает.
- Служитель? — прошептал Тёрлес.
- Нет.
- Хотя бы намекни — кто?

Райтинг отвернулся от остальных и тихо сказал: «Б». Никто, кроме Тёрлеса, ничего не понял из такого осторожного разговора. Но на Тёрлеса эта новость подействовала как внезапный набег. Б.? — это мог быть только Базини. Но это же было невозможно! Его мать была состоятельной дамой; его опекун носил титул «превосходительство». Тёрлесу не верилось, а на ум приходил рассказ Божены.

Он едва дождался минуты, когда все пошли ужинать. Байнеберг и Райтинг остались, сославшись на то, что сыты по горло еще с послеполуденной трапезы.

Райтинг предложил все-таки подняться сначала «наверх».

Они вышли в коридор, бесконечно тянувшийся перед учебным залом. Колышущееся пламя газовых рожков освещало его лишь на коротких участках, и шаги отдавались от ниши к нише даже при всем старании ступать неслышно...

Метрах в пятидесяти от двери шла лестница на третий этаж, где находились естественно-исторический музей, другие собрания учебных пособий и множество пустующих комнат.

Здесь лестница делалась узкой и поднималась к чердаку прямоугольными поворотами коротких маршей. И поскольку старые здания часто бывают построены нелогично, с избытком закоулков и ненужных ступенек, она уходила значительно выше уровня чердака, так что по ту сторону железной запертой двери, у которой она заканчивалась, для спуска на чердак потребовалась особая деревянная лесенка.

А по эту сторону возникло, таким образом, укромное помещение высотой в несколько метров, до самых балок. Сюда никто не ходил, и здесь были свалены старые кулисы, оставшиеся с незапамятных времен от каких-то спектаклей.

Дневной свет даже в светлые полдни задыхался на этой лестнице в сумраке, который был насыщен старой пылью, ибо этим ходом на чердак, расположенным у крыла мощного здания, почти никогда не пользовались.

На последней площадке лестницы Байнеберг перемахнул через перила и, держась за их прутья, стал спускаться к кулисам, за ним последовали Райтинг и Тёрлес. Там опорой им послужил ящик, специально для этого туда заброшенный, а с него уже они спрыгнули на пол.

Даже если бы глаза стоящего на лестнице привыкли к темноте, он различил бы оттуда не больше, чем беспорядочное нагромождение корявых, сдвинутых как попало кулис.

Но когда Байнеберг немного отодвинул одну из них, стоявшим внизу открылся узкий и длинный проход.

Здесь было совершенно темно, и надо было очень хорошо знать это место, чтобы пробраться дальше. То и дело раздавалось шуршанье одной из этих больших плотняных стенок, когда ее задевали, что-то рассыпалось по полу, словно вспугнули мышей, и тянуло затхлым духом старого сундука.

Трое привыкших к этой дороге пробирались вперед с бесконечной осторожностью, на каждом шагу стараясь не наткнуться на одну из веревок, натянутых над полом, чтобы служить ловушкой и предупреждать об опасности.

Прошло немало времени, прежде чем они добрались до маленькой двери, навешенной справа, почти перед самой стеной, отделявшей чердак.

Когда Байнеберг открыл ее, они оказались в узкой клетушке под верхней лестничной площадкой; при мерцании зажженной Байнебергом плошки комната эта имела довольно фантастический вид.

Потолок был горизонтален только в той части, что находилась непосредственно под площадкой, но и здесь лишь такой высоты, что едва можно было выпрямиться во весь рост. А сзади, повторяя профиль лестницы, он скашивался и кончался острым углом. Передней, противоположной этому скосу стороной клетушка примыкала к тонкой перегородке, отделявшей чердак от лестничной клетки, а в длину имела естественной границей каменную стену, по которой шла лестница. Только вторая боковая стенка, где была навешена дверь, казалась специально пристроенной. Своим возникновением она была обязана, вероятно, намерению устроить небольшую кладовку для инструментов, а может быть, просто прихоти архитектора, которому при взгляде на этот темный угол пришла

в голову средневековая идея заделать его стеной и превратить в укрытие.

Во всяком случае, кроме этих троих, во всем училище не было, пожалуй, никого, кто знал бы о существовании этого помещения, а тем более вздумал бы предназначить его для чего-то.

Поэтому они смогли оборудовать его целиком на свой взбалмошный вкус.

Стены были полностью задрапированы кроваво-красной материей, которую Райтинг и Байнеберг стащили из какой-то чердачной комнаты, а пол был покрыт двойным слоем толстых грубошерстных одеял, которыми в спальнях залах дополнительно укрывались зимой. В передней части каморки стояли низкие, обитые материей ящички, служившие сиденьями; сзади, где пол и потолок сходились острым углом, было устроено спальное место. Ложе это помещало трех-четыре человека и занавеской могло быть затемнено и отделено от передней части клетушки.

На стене у двери висел заряженный револьвер.

Тёрлес не любил этой каморки. Ее теснота и эта уединенность ему, правда, нравились, здесь он чувствовал себя как внутри горы, и запах старых, пропылившихся кулис будил в нем какие-то неопределенные ощущения. Но эта потаенность, эти веревочные сигналы тревоги, этот револьвер, призванный создавать полную иллюзию непокорности и секретности, казались ему смешными. Как будто кто-то хотел убедить себя, что ведет разбойничью жизнь.

Тёрлес участвовал в этом, собственно, лишь потому, что не хотел отставать от обоих. А Байнеберг и Райтинг относились к этим вещам ужасно серьезно. Тёрлес это знал. Он знал, что у Байнеберга есть ключи ко всем подвальным и чердачным помещениям училища. Знал, что тот часто на много часов исчезал из класса, чтобы где-то — высоко наверху среди брусьев стропильной фермы или под землей в одном из множества разветвленных заброшенных подвалов — сидеть и при свете фонарика, который он всегда носил с собой, читать или предаваться мыслям о вещах сверхъестественных.

Подобное он знал и о Райтинге. У того тоже были свои укромные места, где он хранил тайные дневники;

только они были заполнены дерзкими планами на будущее и точными записями о причине, начале и ходе многочисленных интриг, которые он затевал среди товарищей. Ибо для Райтинга не было большего удовольствия, чем натравливать друг на друга людей, побеждать одного с помощью другого и наслаждаться вынужденными любезностями и лестью, под покровом которых он чувствовал внутреннее сопротивление ненависти.

— Я упражняюсь таким образом, — было единственное его оправдание, и он говорил это с милой улыбкой. Также в виде упражнения он почти ежедневно боксировал в каком-нибудь отдаленном месте то со стеной, то с дверью, то со столом, чтобы укрепить мышцы и сделать руки твердыми от мозолей.

Тёрлес все это знал, но понимал лишь до определенной точки. Он несколько раз следовал и за Райтингом, и за Байнебергом по их своенравным путям. Ведь необычность этого ему нравилась. И еще он любил выходить затем на дневной свет, к товарищам, в гущу веселья, чувствуя, как в нем, в его глазах и ушах, еще трепещут волнения одиночества и видения темноты. Но когда в таких случаях Байнеберг или Райтинг, чтобы с кем-то поговорить о себе, объясняли ему, что их ко всему этому побуждало, он не мог их понять. Райтинга он находил даже эксцентричным. Тот любил говорить о том, что отец его был человек удивительно непоседливый, а потому и пропал без вести. Его фамилия будто бы вообще лишь скрывала истинную, принадлежавшую очень высокому роду. Он думал, что мать когда-нибудь еще посвятит его в далеко идущие притязания, рассчитывал на какие-то государственные перевороты и большую политику и хотел ввиду этого стать офицером.

Таких намерений Тёрлес и представить себе не мог как следует. Века революций, казалось ему, миновали раз и навсегда. Однако Райтинг умел принимать все всерьез. Он был тиран и безжалостен к тем, кто сопротивлялся ему. Его приверженцы менялись со дня на день, но большинство было всегда на его стороне. В этом состоял его талант... Против Байнеберга он год или два назад вел великую войну, которая кончилась для того поражением. Байнеберг оказался под конец в довольно большой изоляции, хотя умением оценивать людей, хладно-

кровием и способностью вызывать неприязнь к неугодным ему он вряд ли уступал своему противнику. Но ему не хватало милых и располагающих черт Райтинга. Его спокойствие и его философская невозмутимость внушали почти всем недоверие. Чувствовалось что-то гнусное и гадкое в глубине его души. Тем не менее он доставил Райтингу изрядные неприятности, и победа последнего была почти случайной. С тех пор они в интересах обоих держались вместе.

А Тёрлеса эти вещи не занимали. Поэтому и ловкости в них у него не было. Однако он тоже жил в этом мире и мог каждодневно воочию видеть, что значит быть в государстве — ведь каждый класс в таком заведении — это маленькое отдельное государство — на первых ролях. Оттого он испытывал какое-то робкое почтение к обоим своим друзьям. Порывы подражать им, иногда у него возникавшие, не шли дальше дилетантских попыток. Поэтому, будучи и так-то моложе, он оказался по отношению к ним в положении ученика или помощника. Он пользовался их защитой, а они прислушивались к его советам. Ибо ум Тёрлеса был очень подвижен, стоило его навести на след, он с необычайной плодовитостью придумывал самые хитроумные комбинации. Никто не мог так точно, как он, предсказать разные возможности, которых можно ждать от поведения человека в тех или иных обстоятельствах. Только когда надо было принять решение, на свой страх и риск остановиться на одной из имеющихся психологических возможностей и действовать в соответствии этим, он пасовал, терял интерес и не проявлял энергии. Однако его роль тайного начальника генерального штаба доставляла ему удовольствие. Тем более что она была почти единственным, что немного рассеивало его душевную скуку.

Но иногда до его сознания все-таки доходило, что он теряет из-за этой внутренней зависимости. Он чувствовал, что для него все, что он делает, только игра. Только что-то такое, что помогает ему преодолеть это личиночное прозябание в училище. Что-то не имеющее отношения к его истинной сути, которая проявится лишь впоследствии, в еще неопределенно далеком будущем.

Видя при случае, насколько серьезно относятся оба его друга к таким вещам, он чувствовал, что ему этого не

понять. Он с удовольствием высмеял бы обоих, но боялся, что за их фантазиями таится больше правды, чем он способен уразуметь. Он чувствовал себя как бы разрываемым между двумя мирами — солидно-буржуазным, где, в общем-то, царили порядок и разум, как он к этому привык дома, и авантюрным, полным темноты, тайны, крови и поразительных неожиданностей. Один, казалось, исключал другой. Насмешливая улыбка, которую он был бы рад задержать на губах, и дрожь, пробежавшая у него по спине, скрещивались. Начиналось мелькание мыслей...

Тогда он жаждал почувствовать в себе наконец что-то определенное; твердые потребности, различающие хорошее и дурное, годное и негодное; жаждал сделать выбор, пусть неверный — и то лучше, чем сверхвосприимчиво вбирать в себя все...

Когда он вошел в каморку, эта внутренняя раздвоенность, как всегда здесь, взяла его в свою власть.

Рейтинг тем временем начал рассказывать.

Базини должен был ему деньги и откладывал возвращение долга с одного срока на другой; каждый раз под честное слово.

— Я ведь не возражал, — сказал Рейтинг, — чем дольше так тянулось бы, тем больше зависел бы он от меня. Ведь когда три или четыре раза не сдержишь слово — это же, в общем-то, не пустяк? Но наконец мои деньги понадобились мне самому. Я сказал ему об этом, и он поклялся всеми святыми. Слова, конечно, опять не сдержал. Тогда я заявил ему, что предам дело огласке. Он попросил двухдневной отсрочки, потому что, мол, ждал перевода от опекуна. А я тем временем навел справки об его обстоятельствах. Хотел выяснить, от кого он еще может зависеть, — с этим ведь тоже надо считаться.

То, что я узнал, меня отнюдь не обрадовало. Он был в долгу у Джюша и у некоторых других. Часть этих долгов он уже вернул, конечно, из тех денег, которые должен был мне. С другими ему не терпелось рассчитаться. Меня это разозлило. Он считал меня самым добреньким? Мне это не было бы приятно. Но про себя я подумал: «Подождем. Найдется случай избавить его от таких заблуждений». Как-то в разговоре он назвал мне сумму ожидаемого перевода, чтобы успокоить меня, что

она больше, чем причитающееся мне. Я порасспросил кое-кого и выяснил, что это далеко не покроет общую сумму его долгов. «Ага, — подумал я, — теперь он, наверно, попробует еще разок».

И правда, он доверительно подошел ко мне и попросил меня, поскольку другие очень торопят, сделать ему поблажку. Но на этот раз я остался совершенно холоден. «Ступай кланчить к другим, — сказал я ему, — я не привык уступать им дорогу». «Тебя я знаю лучше, к тебе у меня больше доверия», — попробовал он. «Вот мое последнее слово: ты завтра принесешь мне деньги, или я поставлю тебе свои условия». «Что за условия?» — осведомился он. Жаль, что вы не слышали этого! Словно он готов был продать свою душу. «Что за условия? Ого! Ты должен будешь подчиняться мне во всем, что я ни предприму». — «И только? Конечно, буду, мне и самому приятно быть с тобой заодно!» — «О, не только когда это будет для тебя удовольствием. Ты должен будешь выполнять все, что я ни пожелаю — в слепом послушании!» Тут он посмотрел на меня искоса, и с ухмылкой, и смущенно. Он не знал, как далеко можно заходить, насколько серьезно это для меня. Он, наверно, был бы рад пообещать мне все, но, вероятно, боялся, что я только проверяю его. Наконец он сказал, покраснев: «Я отдам тебе деньги». Он забавлял меня, это был такой человек, которого я среди пятидесяти других совсем не замечал. Ведь он же в счет не шел, правда? И вдруг он очутился передо мной так близко, что я разглядел его полностью. Я точно знал, что он готов продаться — без всякого шума, лишь бы никто об этом не знал. Это был действительно сюрприз, и нет ничего прекраснее минуты, когда тебе вдруг вот так открывается человек, когда его манера жить, которой ты не замечал до сих пор, вдруг перед тобой как на ладони, словно ходы червя в распавшейся надвое деревяшке...

На следующий день он действительно вернул мне деньги. Больше того, он пригласил меня выпить с ним в клубе. Он заказал вино, пирожные, папиросы и попросил меня разрешить ему ухаживать за мной за столом — в «благодарность» за то, что я был так терпелив. Мне было только неприятно, что он держался как ни в чем не бывало. Как будто между нами не было обронено ни од-

ного обидного слова. Я намекнул на это; он стал только еще сердечнее. Казалось, он хотел освободиться от меня, быть снова со мной на равных. Он делал вид, что ничего не помнит, через каждые два слова лез ко мне с уверениями в дружбе; только в глазах его было что-то цеплявшееся за меня, словно он боялся вновь потерять искусственно созданное чувство близости. Наконец он стал мне противен. Я думал: «Неужели он полагает, что я это проглочу?» — и размышлял, как нанести ему моральный удар. Я искал чего-нибудь пооскорбительней. Тут мне вспомнилось, что Байнеберг утром сказал мне, что у него украли деньги. Вспомнилось это совершенно невзначай. Но это вернулось. И у меня буквально сперло дыхание. «Это может быть удивительно кстати», — подумал я и невзначай спросил его, сколько же у него еще денег. Расчет, который я на этом построил, оправдался. «Кто же настолько глуп, чтобы несмотря ни на что давать тебе еще деньги в долг?» — спросил я со смехом. «Гофмайер».

Я прямо-таки задрожал от радости. За два часа до того Гофмайер приходил ко мне и сам хотел занять денег. И то, что несколько минут назад мелькнуло у меня в голове, вдруг стало действительностью. Так случайно, в шутку, подумаешь: сгореть бы сейчас этому дому, а в следующий миг пламя уже вздымается к небу...

Я быстро еще раз перебрал все возможности, конечно, уверенности тут быть не могло, но моего чувства мне было достаточно. И я склонился к нему и сказал самым любезным тоном, так, словно мягко вгонял ему в мозг тонкую заостренную палочку: «Послушай, дорогой Базини, почему ты мне врешь?» Когда я это говорил, глаза у него, казалось, испуганно бегали, но я продолжал: «Кому-нибудь ты, может быть, и заморочишь голову, но я как раз не тот человек. Ты же знаешь, у Байнеберга...» Он не покраснел и не побледнел, казалось, будто он ждал, что сейчас разрешится какое-то недоразумение. «Короче, — сказал я тогда, — деньги, из которых ты вернул мне долг, ты сегодня ночью вытащил у Байнеберга из ящика».

Я откинулся, чтобы проследить за его впечатлением. Он побагровел; слова, которыми он давился, нагоняли ему на губы слюну; наконец он обрел дар речи. Это был

целый поток обвинений по моему адресу: как осмелился я утверждать подобное, чем хоть сколько-нибудь оправдано такое гнусное предположение; я только ищу ссоры с ним, потому что он слабее; я делаю это лишь от досады, что после уплаты долга он от меня свободен; он обратится к классу... к старостам... к директору; Бог свидетель его невинности, и так далее до бесконечности. Я уже и впрямь испугался, что поступил с ним несправедливо и оскорбил его ни за что — до того к лицу был ему румянец; у него был вид затравленного, беззащитного зверька. Но все же мне было невозможно так сразу и спастись. Я удерживал насмешливую улыбку — по сути только от смущения, — с которой слушал все его речи. Время от времени я кивал и спокойно говорил: «Но я же знаю».

Через некоторое время успокоился и он. Я продолжал улыбаться. У меня было такое чувство, что одной этой улыбкой я могу превратить его в вора, даже если он им еще не был. «А исправить ошибку, — думал я, — всегда можно будет и позже».

Еще через несколько минут, в течение которых он то и дело украдкой поглядывал на меня, он вдруг побледнел. С лицом его произошла странная перемена. Прежняя прямо-таки невинная миловидность исчезла, казалось, вместе с румянцем. Лицо стало зеленоватым, мучнистым, разбухшим. Раньше я видел такое только один-единственный раз — когда случайно проходил мимо по улице при задержании убийцы. Тот тоже расхаживал среди других людей, и по виду его ни о чем нельзя было догадаться. Но когда полицейский положил руку ему на плечо, он вдруг стал другим человеком. Его лицо изменилось, и глаза его, испуганные, ищущие выхода, принадлежали уже физиономии висельника.

Об этом напомнил мне изменившийся вид Базини. Теперь я знал все и только ждал...

Так оно и вышло. Я ничего больше не говорил, и Базини, измученный молчанием, стал плакать и попросил у меня пощады. Он же взял деньги только от нужды, не догадайся я об этом, он скоро вернул бы их, и никто ничего не узнал бы. Не надо говорить, что он украл, он ведь просто тайком взял взаймы... Он не мог продолжать из-за слез.

А потом он снова начал умолять меня. Он готов повиноваться мне, делать все, что я ни пожелаю, только бы я никому об этом не рассказывал. За это он буквально предлагал мне себя в рабы, и смесь хитрости и жадного страха, трепетавшая при этом в его глазах, была отвратительна. Я коротко обещал ему подумать, как с ним поступить, но сказал, что это прежде всего дело Байнеберга. Как нам, по-вашему, быть с ним?

Рассказ Райтинга Тёрлес слушал молча, с закрытыми глазами. Время от времени озноб пробирал его до кончиков пальцев, и в голове его мысли бурно и беспорядочно всплывали рывками, как пузыри в кипящей воде. Говорят, что так бывает с тем, кто в первый раз видит женщину, которой суждено завлечь его в разрушительную страсть... Утверждают, что есть такое мгновение, когда сгибаешься, собираешься с силами, затаиваешь дыхание, мгновение внешнего безмолвия над напряженнейшей внутренней связью между двумя людьми. Никак нельзя сказать, что происходит в это мгновение. Оно как бы тень, которую страсть отбрасывает перед собой. Органическая тень; ослабление всех прежних напряжений и в то же время состояние внезапной, новой связанности, в котором уже содержится все будущее; инкубация, сведенная к остроте укола иглой... А с другой стороны оно — ничто, глухое, неопределенное чувство, слабость, страх...

Так чувствовал это Тёрлес. То, что рассказал Райтинг о себе и Базини, казалось ему, если он спрашивал себя об этом, незначительным. Легкомысленный проступок и трусливая подлость со стороны Базини, за которыми теперь наверняка последует какой-нибудь жестокий капиж Райтинга. Но, с другой стороны, он, словно в тоскливом предчувствии, ощущал, что события приняли теперь для него вполне личный оборот, и было в этом происшествии что-то, что угрожало ему как острым ножом.

Он представил себе Базини у Божены и огляделся в клетушке. Стены ее, казалось, грозили ему, падали на него, словно бы кровавыми руками тянулись к нему, револьвер двигался на своем месте туда-сюда...

В смутном одиночестве его мечтаний впервые что-то упало, как камень; это было вот здесь; тут ничего нельзя было поделать; это была действительность. Вчера Базини был еще совершенно таким же, как он сам; открылся

люк, и Базини упал. В точности так же, как это описал Райтинг: внезапная перемена, и человек — другой...

И снова это как-то связалось с Боженной. Его мысли сотворили кощунство. Гнилой, сладкий запах, которым от них повеяло, смутил его. И это глубокое унижение, этот отказ от себя, эта покрытость тяжелыми, бледными, ядовитыми листьями стыда, которую он видел в своих мечтах как бесплотное далекое отражение в зеркале, — все это вдруг случилось с Базини.

Есть, значит, что-то, с чем действительно надо считаться, чего нужно остерегаться, что может вдруг выпрыгнуть из молчаливых зеркал мыслей?..

Но тогда возможно и все другое. Тогда возможны Райтинг и Байнеберг. Возможна эта клетушка... Тогда возможно также, что из этого светлого, дневного мира, который он только и знал до сих пор, есть какая-то дверь в другой, глухой, бушующий, страстный, разрушительный мир. Что между теми людьми, чья жизнь размеренно, как в прозрачном и прочном здании из стекла и железа, протекает между конторой и семьей, и другими людьми, опустившимися, окровавленными, развратно-грязными, блуждающими в лабиринтах, полных ревущих голосов, не только существует какой-то переход, но их границы тайно и тесно соприкасаются, так что их можно в любое мгновение переступить...

И вопрос остается только один: как это совершается? Что происходит в такое мгновение? Что с криком устремляется ввысь и что вдруг угасает?..

Таковы были вопросы, встававшие перед Тёрлесом. Они вставали неясно, с сомкнутыми губами, окутанные каким-то глухим, неопределенным чувством — то ли слабости, то ли страха.

Но многие их слова, отрывочно и порознь, звучали, словно издалека, в Тёрлесе и наполняли его робким ожиданием.

В это мгновение раздался вопрос Райтинга.

Тёрлес сразу заговорил. Он подчинился при этом какому-то внезапному порыву, какому-то смущению. Ему казалось, что предстоит что-то решающее, и он испугался этого надвигающегося, хотел уклониться, выиграть время. Он заговорил, но в тот же миг почувствовал, что может сказать только несущественное, что у его слов нет

внутренней опоры и они вовсе не выражают действительного его мнения...

Он сказал:

— Базини — вор.

И определенное, твердое звучание этого слова было так приятно ему, что он повторил его дважды.

— ...Вот. А таких наказывают... везде во всем мире. Надо заявить об этом, удалить его из училища! Пусть исправляется на стороне, среди нас ему уже не место!

Но Райтинг сказал с выражением неприятного удивления:

— Нет, зачем сразу доводить все это до крайности?

— Зачем? Неужели, по-твоему, это не само собой разумеется?

— Отнюдь нет. Ты держишься так, словно вот-вот хлынет серный дождь, чтобы всех нас уничтожить, если мы теперь оставим Базини в своей среде. А дело-то не такое уж страшное.

— Как можешь ты так говорить? Значит, с человеком, который крал, который потом предложил тебе себя в служанки, в рабы, ты готов по-прежнему вместе сидеть, вместе есть, вместе спать?! Я этого не понимаю. Нас ведь потому и воспитывают совместно, что мы все принадлежим к одному и тому же обществу. Разве тебе будет все равно, если тебе придется когда-нибудь служить в одном с ним полку или в одном министерстве, если он будет вращаться в кругу тех же семей, что и ты... может быть, ухаживать за твоей собственной сестрой?..

— Ну, ты же преувеличиваешь! — засмеялся Райтинг. — Как будто мы вступили в какое-то братство на всю жизнь! Что ж, по-твоему, мы всегда будем носить на себе печать «Из интерната в В. Имеем особые привилегии и обязательства»? Ведь позднее каждый из нас пойдет своим путем, и каждый станет тем, кем он вправе стать, ибо на свете существует не одно общество. Я хочу сказать, что нечего нам ломать себе голову над будущим. А что касается настоящего, то я ведь не сказал, что мы должны сохранять с Базини товарищеские отношения. Как-то уж удастся соблюдать дистанцию. Базини у нас в руках, мы можем делать с ним что хотим, по мне, хоть оплевывай его два раза в день — какое тут, если он это позволит, товарищество? А если взбунтуется, мы всегда

сможем его осадить... Перестань только думать, что между нами и Базини есть что-то общее, кроме того, что его подлость доставляет нам удовольствие!

Хотя Тёрлес вовсе не был уверен в своей правоте, он продолжал упорствовать:

— Слушай, Райтинг, почему ты так занят Базини?

— Разве я занят им? Вот уж не знаю. Вообще-то у меня никаких особых причин, конечно, нет. Вся эта история мне безразлична донельзя. Меня злит только, что ты преувеличиваешь. Что у тебя в голове? Какой-то идеализм, по-моему. Священная любовь к училищу или к справедливости. Ты не представляешь себе, какой веет от этого скукой и образцовостью. Или, может быть, — и Райтинг подозревающе подмигнул Тёрлесу, — у тебя есть какая-то другая причина выставить Базини, и ты просто не хочешь признаться? Какая-нибудь старая месть? Тогда скажи! Ведь если нужно, мы же действительно можем воспользоваться этим удобным случаем.

Тёрлес повернулся к Байнебергу. Но тот лишь ухмыльнулся. Говоря, он потягивал длинный чубук, он сидел, по-восточному скрестив ноги, и из-за своих оттопыренных ушей походил при этом неверном освещении на какого-то странного идола.

— По мне, делайте что хотите. Меня не волнуют ни эти деньги, ни справедливость. В Индии его бы посадили на бамбуковый кол. Это было бы по крайней мере удовольствие. Он дурак и трус, жалеть его нечего, и, право, мне всю жизнь было в высшей степени безразлично, что случится с такими людьми. Сами они ничтожны, а что еще может произойти с их душой, мы не знаем. Да благословит Аллах ваш приговор!

Тёрлес ничего не ответил. После того как Райтинг ему возразил, а Байнеберг предоставил им решать дело без него, он выдохся. Он был не в силах больше сопротивляться; он чувствовал, что у него уже нет никакого желания остановить то неопределенное, надвигавшееся.

Поэтому было принято предложение, которое внес теперь Райтинг. Решили взять Базини пока под надзор, в известной мере под опеку, чтобы тем самым предоставить ему возможность выпутаться. Отныне его доходы и расходы подлежат строгой проверке, а его отношения с остальными будут зависеть от разрешения троих.

С виду это решение было очень корректным и доброжелательным, «образцово скучным», как *не* сказал на этот раз Райтинг. Ведь каждый, не признаваясь в том себе, чувствовал, что сейчас устанавливается какое-то промежуточное положение. Райтинг не отказался бы от продолжения этой истории, ибо она доставляла ему удовольствие, но, с другой стороны, ему еще не было ясно, какой дальнейший оборот дать ей. А Тёрлес от одной мысли, что теперь ему придется ежедневно иметь дело с Базини, чувствовал себя парализованным.

Когда он недавно произнес слово «вор», ему на миг стало легче. Он как бы выставлял наружу, отодвигал от себя то, что кипело внутри у него.

Но вопросов, которые сразу же затем возникли опять, это простое слово решить не могло. Теперь, когда от них уже не нужно было уклоняться, они стали яснее.

Тёрлес переводил взгляд от Райтинга к Байнебергу, закрывал глаза, повторял про себя принятое решение, опять поднимал глаза... Он ведь и сам не знал уже, это только его фантазия, которая ложится на все огромным кривым стеклом, или это правда и все действительно так жутко, как ему увиделось. И только Байнеберг с Райтингом ничего не знали об этих вопросах? Хотя они-то как раз с самого начала вполне освоились в этом мире, который ему сейчас вдруг впервые показался таким чужим?

Тёрлес боялся их. Но боялся лишь так, как боятся великана, зная, что он слеп и глуп...

Но одно не подлежало сомнению: он был сейчас гораздо дальше, чем еще четверть часа назад. Возможность поворота назад миновала. Появилось тихое любопытство — что же будет, после того как он против своей воли остался. Все, что шевелилось в нем, скрывала еще темнота, но его уже тянуло взглянуть в лики этой темени, которой другие не замечали. Легкий озноб примешивался к этой тяге. словно теперь над его жизнью всегда будет висеть серое, пасмурное небо — с большими тучами, огромными, меняющимися фигурами и все новым вопросом: это чудовища? это только тучи?

И вопрос это лишь для него! Как что-то тайное, чуждое другим, запретное...

Так в первый раз начал Базини приближаться к то-

му значению, которое ему суждено было поздне приобрести в жизни Тёрлеса.

На следующий день Базини был взят под опеку.

Не без некоторой торжественности. Воспользовались утренним часом, пропустив урок гимнастики, проходивший на большой лужайке в парке.

Рейтинг произнес своего рода речь. Не то чтобы краткую. Он указал Базини на то, что тот проиграл свою жизнь, что вообще-то его следовало бы выдать и лишь по особой милости его пока избавляют от позора карательного отчисления.

Затем ему были сообщены особые условия. Контроль над их исполнением взял на себя Рейтинг.

Базини был во время всей этой процедуры очень бледен, но не сказал ни одного слова, и по лицу его нельзя было определить, что происходило у него в душе.

Тёрлесу эта сцена казалась то очень безвкусной, то очень значительной.

Байнеберг обращал больше внимания на Рейтинга, чем на Базини.

В течение следующих дней о происшествии, казалось, почти забыли. Рейтинга, кроме как на уроках и во время еды, не было видно. Байнеберг был молчаливее чем когда-либо, а Тёрлес все отгонял мысли об этой истории.

Базини вращался среди товарищей как ни в чем не бывало.

Он был чуть выше Тёрлеса ростом, но сложения очень хилого, у него были мягкие, медлительные движения и женственные черты лица. Смышленостью он не отличался, в фехтовании и гимнастике был одним из последних, но была в нем какая-то милая, кокетливая приятность.

К Божене он в свое время захаживал, только чтобы играть мужчину. Настоящее вожеление при его отсталости в развитии было ему, конечно, чуждо.

Он просто считал своей неременной обязанностью, необходимой данью порядку источать аромат галантного

опыта. Прекрасней всего был для него тот миг, когда он уходил от Божены и все было позади, ибо ничего, кроме наличия воспоминаний, ему не было нужно.

Бывало, он и лгал из тщеславия. Так, после каникул он всегда возвращался с сувенирами маленьких приключений — лентами, локонами, записочками. Но когда он однажды привез в своем чемодане подвязку, милую, маленькую, душистую, небесной голубизны, а потом выяснилось, что принадлежала она не кому иному, как его собственной двенадцатилетней сестре, над ним немало глумились из-за этого смешного бахвальства.

Нравственная неполноценность, в нем обнаруживавшаяся, и его глупость были одного происхождения. Он не способен был сопротивляться никакому наитию, и последствия этого всегда поражали его. В этом он походил на тех женщин с миленькими кудряшками на лбу, что понемногу подсыпают яд в пищу супругу, а потом в ужасе удивляются незнакомым, суровым словам прокурора и смертному приговору.

Тёрлес избегал его. Благодаря этому постепенно прошел и тот глубинный испуг, который как бы под корнями его мыслей охватил и потряс его в первый миг. Вокруг Тёрлеса все снова становилось на свои места; изумление проходило и делалось с каждым днем нереальнее, как следы сна, которые не могут утвердиться в действительном, осязаемом, освещенном солнцем мире.

Чтобы еще сильнее закрепить это состояние, он сообщил обо всем в письме родителям. Только о том, что сам при этом почувствовал, он умолчал.

Он снова пришел к той точке зрения, что лучше всего при следующем случае добиться удаления Базини из училища. Он не мог представить себе, чтобы его родители думали об этом иначе. Он ждал от них строгого, брезгливого осуждения Базини, ждал, что они, так сказать, смахнут его кончиками пальцев, как нечистое насекомое, которое нельзя терпеть вблизи их сына.

Ничего подобного не оказалось в письме, полученном им в ответ. Родители добросовестно потрудились и как люди разумные взвесили все обстоятельства, насколько таковые можно было представить себе по неполным, от-

рывочным сведениям того торопливого письма. Из их ответа следовало, что они предпочитали судить как можно снисходительнее и сдержаннее, тем более что в описании сына не исключены были всякие преувеличения, вызванные юношеским негодованием. Поэтому они одобряли решение дать Базини возможность исправиться и полагали, что из-за одного небольшого проступка нельзя человеку сразу ломать судьбу. Тем более что — и это они, понятно, подчеркивали особенно — речь тут идет не о сложившихся людях, а пока еще неустойчивых, развивающихся характерах. На всякий случай с Базини надо, конечно, держаться сурово и строго, но проявлять доброжелательность и стараться исправить его.

Это они подкрепляли целым рядом примеров, хорошо известных Тёрлесу. Ведь он прекрасно помнил, как в первые годы ученья, когда дирекция еще любила применять драконовские методы и строго ограничивала карманные деньги, многие часто не удерживались и выпрашивали у более счастливых из тех прожорливых малышей, которыми все они были, часть их бутерброда с ветчиной или еще что-нибудь. Сам он тоже не всегда бывал свободен от этого, хотя и прятал свой стыд, ругая злобную, пакостную дирекцию. И не только возрасту, но и строго-добрым родительским увещаниям был он обязан тем, что постепенно научился с гордостью преодолевать подобные слабости.

Но сегодня все это не оказало воздействия.

Он признавал, что родители во многих отношениях правы, да и знал, что совсем верно на расстоянии судить невозможно; однако в их письме не хватало, казалось, чего-то куда более важного, не хватало понимания того, что случилось что-то бесповоротное, что-то такое, что среди людей известного круга происходить вообще не должно. Отсутствовали изумление и смущение. Они говорили так, словно это обычное дело, которое нужно уладить с тактом, но без особого шума. Пятно, такое же некрасивое, но неизбежное, как естественная потребность. Ни тени более личного, встревоженного отношения, точно так же, как у Байнеберга и Райтинга.

Тёрлес мог бы принять к сведению это. Но вместо этого он изорвал письмо в клочья и сжег его. Впервые в жизни он позволил себе такую непочтительность.

В нем была вызвана реакция, противоположная желаемой. В противоположность простому взгляду, который ему навязывали, ему сразу снова пришла на ум проблематичность, сомнительность проступка Базини. Качая головой, он сказал себе, что об этом еще надо подумать, хотя не мог точно объяснить себе почему...

Особенно странно получалось, когда он перебирал это скорее в мечтах, чем в размышлениях. Тогда Базини предстал ему понятным, обыденным, четко очерченным, таким, каким мог видеться его, Тёрлеса, родителям и друзьям; а в следующее мгновение тот исчезал и вновь возвращался, возвращался снова и снова маленькой, совсем маленькой фигуркой, которая временами вспыхивала на глубоком, очень глубоком фоне...

И вот однажды ночью — было очень поздно, и все уже спали — Тёрлеса разбудили.

У его кровати сидел Байнеберг. Это было так необычно, что он сразу почувствовал что-то особенное.

— Вставай. Но не шуми, чтобы нас никто не заметил. Мы поднимемся, мне надо тебе кое-что рассказать.

Тёрлес наспех оделся, накинул шинель и сунул ноги в ночные туфли.

Наверху Байнеберг с особой старательностью восстановил все заграждения, затем приготовил чай.

Тёрлес, еще не полностью высвободившийся из пут сна, с удовольствием вбирал в себя золотисто-желтое душистое тепло. Он устроился в уголке, сжавшись в комок, в ожидании чего-то необычайного.

Наконец Байнеберг сказал:

— Рейтинг обманывает нас.

Тёрлес не испытал никакого удивления; чем-то само собой разумеющимся показалось ему, что дело это получило такое продолжение; он чуть ли не ждал этого. Совершенно произвольно он сказал:

— Так я и думал!

— Вот как? Думал? Но заметил-то вряд ли что-нибудь? Это было бы на тебя непохоже.

— Во всяком случае, мне ничего не бросалось в глаза. Да и не интересовался я этим больше.

— Но зато я глаз не спускал. Я с первого же дня не доверял Рейтингу. Ты же знаешь, что Базини вернул мне деньги. А из каких, по-твоему, капиталов? Из своих собственных?.. Нет.

— И, по-твоему, Райтинг тоже в этом замешан?

— Конечно.

В первое мгновение Тёрлес не подумал ничего другого, кроме того, что и Райтинг втянулся в такое дело.

— По-твоему, значит, Райтинг так же, как и Базини?..

— Да что ты! Райтинг просто дал Базини нужную сумму из собственных денег, чтобы тот рассчитался со мной.

— Но я не вижу никакой причины для этого.

— Я тоже долгое время не мог увидеть. Но и ты, наверное, обратил внимание на то, что Райтинг с самого начала всячески заступался за Базини. Ты ведь был тогда совершенно прав: действительно, естественней всего было бы, если бы этот малый вылетел. Но я тогда нарочно не поддержал тебя, потому что подумал: надо поглядеть, что тут еще замешано. Я и правда точно не знаю, были ли у него вполне ясные намерения уже тогда или он только хотел подождать, когда Базини будет у него в руках раз навсегда. Во всяком случае, я знаю, как обстоит дело сегодня.

— Ну?

— погоди, это так быстро не расскажешь. Ты же знаешь историю, которая случилась в училище четыре года назад?

— Какую историю?

— Ну, ту самую!

— Очень приблизительно. Знаю только, что тогда из-за каких-то гадостей разразился скандал и многих в наказание выгнали.

— Да, это я и имею в виду. Подробности я узнал как-то на каникулах от одного человека из того класса. У них был один смазливый мальчишка, в которого многие из них были влюблены. Ты же знаешь это, ведь такое случается каждый год. Но они зашли тогда слишком далеко.

— Как?

— Ну... как?! Не задавай таких глупых вопросов! И то же самое делает Райтинг с Базини!

Тёрлес понял, что происходило между теми двумя, и у него запершило в горле, словно там был песок.

— Никак не ожидал этого от Райтинга.

Он не нашел ничего лучшего, чем эти слова. Байнеберг пожал плечами.

— Он думает, что может обманывать нас.
— Он влюблен?
— Нисколько. Не такой он дурак. Это его развлекает, ну, может быть, возбуждает.

— А Базини?

— Этот-то?.. Ты не замечал, как он обнаглел в последнее время? Меня он и слушать уже не хочет. Только и знает: Райтинг да Райтинг, словно тот его личный святой-заступник. Лучше, решил он, наверное, терпеть все от одного, чем что-то от каждого. А Райтинг, конечно, обещал ему защищать его, если тот будет подчиняться ему во всем. Но они просчитались, и я еще проучу Базини.

— Как ты узнал это?

— Я один раз пошел за ними.

— Куда?

— На чердак, тут рядом. Райтинг взял у меня ключ от другого входа. Тогда я пришел сюда, осторожно открыл дыру и прокрался к ним.

В тонкой стенке-перегородке, отделявшей эту каморку от чердака, был пробит лаз как раз такой ширины, чтобы мог протиснуться человек. Это отверстие должно было служить на случай тревоги запасным выходом и обычно закладывалось кирпичами.

Наступила длинная пауза, во время которой слышно было только, как тлеет табак.

Тёрлес был неспособен думать; он видел... Он вдруг увидел за своими закрытыми глазами какое-то неистовое коловращение событий... людей; людей в резком освещении, с яркими пятнами света и подвижными, глубоко вкопанными тенями; лица... лицо; улыбка. Взмах ресниц. Трепет кожи; он увидел людей такими, какими никогда еще не видел, никогда еще не ощущал их. Но видел он их не видя, без образов, без картин; так, словно видела их только его душа; они были так отчетливы, что его тысячекратно пронзала их убедительность, но, словно останавливаясь на неодолимом пороге, они отступали, как только он искал слова, чтобы овладеть ими.

Он должен был спрашивать дальше. Его голос дрожал.

— И ты видел?

— Да.

— А... каков был Базини?

Но Байнеберг промолчал, и снова слышно было лишь беспокойное шуршанье папирос. Не скоро заговорил Байнеберг снова:

— Я обдумал это дело со всех сторон, а ты знаешь, что в таких вещах я смыслю. Что касается Базини, то его, я полагаю, жаль не будет ни в каком случае. Выдадим ли мы его, поколотим ли или даже удовольствия ради замучим до смерти. Ведь я не могу представить себе, чтобы в замечательном мировом механизме такой человек что-либо значил. Он мне кажется созданным чисто случайно, вне ряда. То есть он, вероятно, должен что-то значить, но наверняка что-то столь же неопределенное, как какой-нибудь червяк или камешек на дороге, о котором мы не знаем, пройти ли нам мимо него или его растоптать. А это все равно что ничего. Ведь если мировая душа хочет, чтобы одна из ее частей осталась в сохранности, она выражается яснее. Тогда она говорит «нет» и оказывает сопротивление, она заставляет нас пройти мимо червя, а камню придает такую твердость, что без инструмента мы его не можем разбить. Ведь прежде чем мы принесем инструмент, она окажет противодействие множеством мелких, упрямых сомнений, а если мы преодолеем и их, то, значит, дело это с самого начала имело другое значение.

У человека она эту твердость закладывает в его характер, в его сознание, что он человек, в его чувство ответственности за то, что он часть мировой души. Потеряв это сознание, человек теряет самого себя. А потеряв самого себя и от себя отказавшись, человек теряет то особенное, то существенное, ради чего природа создала его человеком. И никогда нельзя быть так уверенным, как в этом случае, что имеешь дело с чем-то ненужным, с пустой формой, с чем-то, давно покинутым мировую душу.

Тёрлес не почувствовал противоречия. Да и слушал он довольно-таки невнимательно. До сих пор у него не было повода для таких метафизических размышлений, и он никогда не задумывался о том, как человеку с байнеберговским умом могло подобное прийти в голову. Весь этот вопрос вообще не возникал еще на горизонте его жизни.

Потому он и не силился проверять смысл байнеберговских рассуждений; он слушал их вполуха.

Он только не понимал, как можно так размахиваться. В нем все дрожало, и дотошность, с какой Байнеберг притаскивал свои мысли бог весть куда, казалась ему смешной, неуместной, вызывала у него нетерпение. Но Байнеберг спокойно продолжал:

— С Райтингом же дело обстоит совершенно иначе. Он тоже в руках у меня из-за своего поступка, но его судьба мне, конечно, не так безразлична, как судьба Базини. Ты знаешь, состояние у его матери небольшое. Если его исключат из училища, на всех его планах надо поставить крест. Отсюда он может достичь чего-то, а так возможностей для этого у него будем немного. И Райтинг меня никогда не любил... понимаешь?.. он ненавидел меня... пытался прежде вредить мне где только мог... думаю, он и сегодня был бы рад избавиться от меня. Видишь теперь, чего я только не смогу сделать, обладая этой тайной?..

Тёрлес испугался. Но так странно, словно судьба Райтинга касалась его самого. Он испуганно посмотрел на Байнеберга. Тот прищурил глаза, превратив их в щелки, и показался ему жутким, большим пауком в паутине, спокойно подстерегающим свою жертву. Последние его слова звучали в ушах Тёрлеса холодно и отчетливо, как фразы диктанта.

Он не вникал в предшествовавшее, он знал только: теперь Байнеберг опять говорит о своих идеях, которые к данному случаю никакого отношения не имеют... И вот он уже не понимал, как это вышло.

Ткань, тянувшаяся откуда-то извне, из отвлеченного, наверно, вдруг с невероятной скоростью сжалась. Ибо вдруг она стала конкретной, реальной, живой, и в ней дергалась голова... с затянутой на горле петлей.

Он отнюдь не любил Райтинга, но он вспомнил сейчас милую, дерзкую беззаботность, с какой тот затевал всякие интриги, и Байнеберг, спокойно и с ухмылкой стягивавший вокруг того свои многосложные, серые, отвратительные хитросплетения, показался ему по контрасту гнусным.

Непроизвольно Тёрлес прикрикнул на него:

— Ты не смеешь использовать это против него.

Сыграло роль, вероятно, и его всегдашнее тайное отвращение к Байнебергу.

Но Байнеберг сам сказал, поразмыслив:

— Да и зачем?! Его было бы действительно жаль. Мне он отныне и так не опасен, а он все-таки человек слишком стоящий, чтобы дать ему споткнуться на такой глупости.

Так было покончено с этой частью дела. Но Байнеберг продолжал говорить, вновь обратившись теперь к судьбе Базини:

— Ты все еще полагаешь, что мы должны выдать Базини?

Но Тёрлес не ответил. Он хотел послушать Байнеберга, чьи слова звучали для него как гул шагов над полостью подкопа, и он хотел насладиться этим состоянием.

Байнеберг продолжал излагать свои мысли:

— Я думаю, мы пока сохраним его для себя и накажем сами. Ведь наказать его нужно хотя бы уже за его наглость. Начальство его самое большее исключило бы и написало бы в придачу длинное письмо его дяде. Ты ведь примерно знаешь, как это делается официально. Ваше превосходительство, Ваш племянник потерял самообладание... сбился с пути... возвращаем его Вам... надемся, что Вам удастся... путь исправления... пока, однако, невозможно среди других... и т. д. Разве такой случай представляет для них интерес или ценность?

— А какая в нем ценность для нас?

— Какая ценность? Для тебя, может быть, никакой, ибо ты станешь когда-нибудь надворным советником или будешь писать стихи — тебе это, в общем, не нужно, ты, может быть, даже боишься этого. Но свою жизнь я представляю себе иначе.

На этот раз Тёрлес прислушался.

— Для меня Базини имеет ценность — даже очень большую. Понимаешь — ты просто отпустил бы его на все четыре стороны и вполне успокоился бы на том, что он — скверный человек. — Тёрлес подавил улыбку. — На этом ты ставишь точку, потому что у тебя нет ни таланта, ни интереса учиться на таком деле. А у меня этот интерес есть. Когда человеку предстоит мой путь, надо смотреть на людей совершенно иначе. Поэтому я хочу Базини сохранить для себя, чтобы на нем поучиться.

— Но как ты собираешься его наказать?

Байнеберг мгновение помешкал с ответом, словно обдумывал ожидаемый эффект. Затем он сказал осторожно и замедленно:

— Ты ошибаешься, если думаешь, что мне так важно наказать. Правда, в конечном счете это тоже можно будет назвать наказанием для него... но, чтобы не рассусоливать, я задумал нечто другое, я хочу... ну, скажем... помучить его.

Тёрлес поостерегся сказать что-либо. Он еще ясно не видел, но чувствовал, что все это выходит так, как и должно было — внутренне — для него выйти. Байнеберг, не узнав, какое действие оказали его слова, продолжал:

— Не пугайся, не так это страшно. Ведь прежде всего, как я тебе объяснил, с Базини считаться не надо. Решение мучить его или пощадить зависит только от нашей потребности в том или в другом. От внутренних причин. У тебя они есть? Все, что ты говорил тогда насчет морали, общества и так далее, конечно, не в счет. Надеюсь, ты и сам в это не верил. Ты, значит, надо полагать, индифферентен. Но все же ты можешь еще отстраниться от всего этого, если не хочешь ничем рисковать.

Мой путь, однако, ведет не назад и не мимо, а в самую точку. Так надо. Райтинг тоже не отступится, ибо и для него это особенно ценно — иметь кого-то целиком в своей власти и упражняться, обращаясь с ним, как с орудием. Он хочет властвовать, и с тобой он поступил бы в точности так же, как с Базини, если бы дело случайно коснулось тебя. Для меня же речь идет о еще большем. Почти об обязанности перед самим собой. Как бы мне объяснить тебе эту разницу между нами? Ты знаешь, как почитает Райтинг Наполеона; так вот, человек, который мне нравится больше всех, скорее походит на какого-нибудь философа, какого-нибудь индийского святого. Райтинг принес бы Базини в жертву и не испытал бы при этом ничего, кроме интереса. Он раскромсал бы его нравственно, чтобы узнать, к чему нужно быть готовым при таком предприятии. И, как я уже сказал, тебя или меня в точности так же, как Базини, без всяких переживаний. А у меня, как и у тебя, есть определенное ощущение, что и Базини в конце концов человек. Совершаемая жестокость оставляет какую-то рану и во мне тоже. Но как раз об этом и идет речь! Поистине о жертве! Понимаешь, я тоже связан двумя нитями. Той первой, неопределенной, что вопреки моему ясному убеждению привязывает меня к сочувственному бездействию, но и второй, уходящей к моей ду-

ше, к сокровенному опыту и привязывающей меня к космосу. Такие люди, как Базини, говорил я тебе уже раньше, ничего не значат — это пустая, случайная форма. Настоящие люди — это лишь те, что могут проникнуть в самих себя, космические люди, которые в состоянии погрузиться в глубины своей связи с великим вселенским процессом. Закрыв глаза, они творят чудеса, потому что умеют пользоваться всей силой мира, которая точно так же внутри их, как и вне их. Но все люди, следовавшие до этих глубин за второй нитью, должны были прежде порвать первую. Я читал об ужасных искупительных жертвах просветленных монахов, да и тебе не совсем неведомы средства индийских святых. Все жестокие вещи, при этом творящиеся, имеют одну лишь цель — умертвить жалкие, направленные вовне желания, ибо все они, будь то тщеславие, голод, радость или сочувствие, только уводят от того огня, который каждый способен в себе пробудить.

Рейтинг знает лишь внешнее, я же следую за второй нитью. Сейчас у него, на взгляд каждого, преимущество, ибо мой путь медленнее и надежнее. Но я могу одним махом обогнать его, как какого-нибудь червя. Понимаешь, утверждают, будто мир управляется механическими законами, которые нельзя изменить... Это совершенно неверно, это сказано только в учебниках! Внешний мир, действительно, упрям, и повлиять на его так называемые законы до какой-то степени нельзя, но все же бывали на свете люди, которым этом удавалось. Это сказано в священных, не раз проверенных книгах, о которых большинство просто не знает. Оттуда я знаю, что бывали на свете люди, которые могли одним лишь усилием воли приводить в движение камни, воздух и воду, люди, перед чьей молитвой не могла устоять никакая земная сила. Но и это лишь внешние триумфы духа. Ибо для того, кому *вполне* удастся увидеть свою душу, исчезает его телесная жизнь, которая только случайна; в книгах сказано, что такие люди входили прямо в высшее царство души.

Байнеберг говорил совершенно серьезно, сдерживая волнение. Тёрлес все еще почти не раскрывал глаз; он чувствовал, как до него долетает дыхание Байнеберга, и впивал его как удушливый наркотик. Между тем Байнеберг заканчивал свою речь:

— Теперь тебе ясно, о чем для меня идет речь. То, что внушает мне отпустить Базини, идет от низменного, внешнего. Ты можешь этому подчиниться. Для меня это предрассудок, от которого я должен избавиться, как и от всего, что сбивает меня с пути к моей внутренней сути.

Что мне будет трудно мучить Базини — то есть унижить его, подавить, отдалить от себя, — это как раз и хорошо. Это потребует жертвы. Это подействует очищающе. Я обязан перед собой ежедневно постигать на его примере, что сама по себе принадлежность к роду человеческому решительно ничего не значит — это просто дурачащее, внешнее сходство.

Тёрлес понял не все. Только у него снова возникло ощущение, что какая-то невидимая петля вдруг стянулась в осязаемый, смертельный узел. В нем отдавались эхом последние слова Байнеберга. «Просто дурачащее, внешнее сходство», — повторял он про себя. Это как будто подходило и к его отношению к Базини. Не в таких ли видениях состояло странное очарование, которое от того исходило? Не в том ли просто, что он, Тёрлес, не мог вдуматься в него и потому всегда видел его в каких-то неопределенных обличьях? Не маячило ли, когда он только что представил себе Базини, за его, Базини, лицом второе, расплывчатое? Осязаемо похожее, хотя это сходство ни на чем на основывалось?

Вот почему, вместо того чтобы задуматься о крайне странных намерениях Байнеберга, Тёрлес, полуоглушенный новыми, необыкновенными впечатлениями, пытался разобраться в себе. Он вспомнил вечер, перед тем как узнал о проступке Базини. Уже тогда, собственно, эти видения были. Всегда бывало что-то, с чем его мысли не могли справиться. Что-то, казавшееся очень простым и очень неведомым. Он видел картины, которые, однако, картинами не были. У тех лачуг, и даже тогда, когда он сидел с Байнебергом в кондитерской.

Везде было сходство и в то же время непреодолимое несходство. И эта игра, эта тайна, совершенно личная перспектива его волновала.

И сейчас один человек присвоил себе это. Все это сейчас воплотилось, стало реальным в одном человеке. Тем самым вся эта странность перешла на этого человека. Тем самым она вышла из фантазии в жизнь и стала опасной.

Волнения эти утомили Тёрлеса, его мысли цеплялись друг за друга уже некрепко.

У него только и осталось в памяти, что он не должен выпускать этого Базини, что тому назначено сыграть какую-то важную и уже неясно осознанную роль и для него.

Среди этих мыслей он удивленно качал головой, когда думал о словах Байнеберга. Он тоже?..

Не может же он искать того же, что я, и все-таки верное обозначение этому нашел именно он...

Тёрлес больше мечтал, чем думал. Он уже не был в состоянии отличить свою психологическую проблему от фантазий Байнеберга. У него было в итоге только одно чувство — что вокруг все туже затягивается огромная петля.

Разговор дальше не шел. Они погасили свет и осторожно пробрались назад в дортуар.

Следующие дни никакого решения не принесли. В школе было много дел, Райтинг осторожно избегал оставаться в одиночестве, да и Байнеберг уклонялся от возобновления разговора.

Так в эти дни получилось, что случившееся, как прегражденный поток, глубже впиталось в Тёрлеса и дало его мыслям направление, изменить которое уже нельзя было.

Намерение удалить Базини ушло поэтому окончательно. Тёрлес теперь впервые чувствовал сосредоточенность целиком на себе самом и уже ни о чем другом не в силах был думать. Божена тоже стала ему безразлична, прежние его чувства к ней стали для него фантастическим воспоминанием, на место которого пришло теперь что-то серьезное.

Правда, это серьезное казалось не менее фантастическим.

Занятый своими мыслями, Тёрлес в одиночестве вышел погулять в парк. Время было полуденное, и солнце поздней осени ложилось бледными воспоминаниями на лужайки и дорожки. Не имея из-за своего беспокойст-

ва охоты до дальних прогулок, Тёрлес просто обошел здание и у подножия почти глухой боковой стены бросился в жухлую, шуршащую траву. Над ним простиралось небо сплошь той блеклой болезненной голубизны, что свойственно осени, и по нему неслись маленькие, белые, густые облачка.

Тёрлес долго лежал, вытянувшись на спине, и, жмурясь, рассеянно-мечтательно глядел в пространство между оголяющимися верхушками двух стоявших перед ним деревьев.

Он думал о Байнеберге; какой это странный, однако, человек! Его слова были бы уместны в каком-нибудь ветшающем индийском храме, среди жутковатых идолов и колдовских змей в глубоких укрытиях; но к чему они днем, в интернате, в современной Европе? И все же, после того как эти слова целую вечность тянулись бесконечной, неоглядной, с тысячами извилин дорогой, казалось, что они вдруг вышли к осязаемой цели...

И вдруг он заметил — и у него было такое чувство, что это случилось впервые, — как, в сущности, высоко небо.

Это было как испуг. Как раз над ним светился маленький голубой, невыразимо глубокий зазор между облаками.

У него было такое чувство, что туда можно взобраться по длинной-длинной лестнице. Но чем дальше он проникал туда, поднимаясь глазами, тем глубже отступал голубой, светящийся грунт. И все же казалось, что его можно достичь и задержать взглядом. Это желание стало мучительно сильным.

Казалось, донельзя напряженное зрение метало, как стрелы, взгляды в просвет между облаками, и как бы далеко оно ни метило, всегда выходил маленький недолет.

Об этом Тёрлес и задумался; он старался оставаться как можно спокойнее и разумнее. «Конечно, конца нет, — говорил он себе, — так оно и уходит все дальше, дальше и дальше, в бесконечность». Он не спускал глаз с неба и повторял это про себя, словно надо было испытать силу какой-то формулы заклинания. Но безуспешно; слова ничего не выражали, или, вернее, выражали что-то совсем другое, словно говорили хоть и о том же предмете, но о какой-то другой, неведомой, безразличной стороне.

«Бесконечность»! Тёрлес знал это слово по курсу математики. Он никогда не представлял себе за этим ничего особенного. Оно то и дело повторялось: кто-то когда-то его изобрел, и с тех пор с его помощью можно производить вычисления так же надежно, как с помощью чего-то твердого. Оно было тем, что оно значило при вычислении; а сверх того Тёрлес никогда ничего не искал.

И тут его словно молнией пронзило чувство, что в этом слове есть что-то до ужаса успокоительное. Оно предстало ему укрощенным понятием, с которым он ежедневно проделывал свои маленькие фокусы и с которого вдруг спали оковы. Что-то, выходящее за пределы разума, дикое, разрушительное было, казалось, усыплено работой каких-то изобретателей, а сейчас вдруг проснулось и стало опять ужасным. В этом вот небе оно вживе стояло над ним, и угрожало, и издевалось.

Наконец он закрыл глаза, потому что это зрелище было для него мукой.

Когда его вскоре, прошуршав по увядшей траве, разбудил порыв ветра, он почти не чувствовал своего тела, а от ног вверх текла приятная прохлада, удерживавшая его члены в состоянии сладостной лени. К его прежнему испугу прибавилось теперь что-то мягкое и усталое. Он все еще чувствовал, как на него глядит огромное и молчаливое небо, но он вспомнил теперь, сколь часто бывало у него уже раньше подобное ощущение, и, словно между бодрствованием и сном, он перебирал эти воспоминания и чувствовал себя оплетенным их связями.

Тут было прежде всего то воспоминание детства, в котором деревья стояли строго и молчаливо, как заколдованные люди. Уже тогда он, видимо, ощутил то, что всегда возвращалось позже. Даже в тех мыслях у Божены было что-то от этого, что-то особое, вещее, большее, чем их значение. И то мгновение тишины в саду перед окнами кондитерской, прежде чем опустились темные покрывала чувственности, было таким. И часто Байнеберг с Райтингом на какой-то миг становились чем-то чужим и нереальным; и, наконец, Базини? Мысль о происходившем с Базини совсем разорвала Тёрлеса надвое; она была то разумной и обыденной, то полной того пронизанного

образами безмолвия, которое было общим для всех этих ощущений, которое мало-помалу просачивалось в восприятие Тёрлеса и теперь вдруг потребовало, чтобы к нему, безмолвию, относились как к чему-то реальному, живому; точно так же, как прежде мысль о бесконечности.

Тёрлес почувствовал, что оно охватило его со всех сторон. Как далекие, темные силы, оно грозило уже с давних пор, но он инстинктивно отступал и лишь время от времени касался этого робким взглядом. А теперь какой-то случай, какое-то событие заострили его внимание и на это направили, и теперь, словно по какому-то мановению, это врывалось со всех сторон; нагоняя с собой огромное смятение, которое каждый миг по-новому распространял дальше.

Это накатило на Тёрлеса, словно безумие — ощущать вещи, явления и людей как что-то двусмысленное. Как что-то, силой каких-то изобретателей привязанное к безобидному, объясняющему слову, и как что-то совершенно неведомое, грозящее оторваться от него в любое мгновение.

Конечно — на все есть простое, естественное объяснение, и Тёрлесу оно тоже было известно, но, к его пугливому изумлению, оно, казалось ему, срывало лишь самую внешнюю оболочку, не обнажая сути, которую Тёрлес, словно сверхъестественным зрением, всегда видел мерцающей под этой поверхностью.

Так лежал Тёрлес, весь оплетенный воспоминаниями, из которых неведомыми цветами вырастали странные мысли. Те мгновения, которых никто не забывает, ситуации, где кончается та связь, благодаря которой обычно наша жизнь без пробелов отражается в нашем разуме, словно жизнь и разум текут рядом, параллельно и с одинаковой скоростью — они сомкнулись друг с другом смущающе плотно.

Воспоминание об ужасно тихом, печальном по краскам безмолвию иных вечеров сменилось внезапно жарким, дрожащим беспокойством летнего дня, которое однажды обожгло ему душу, словно по ней прошмыгнула стая переливчатых ящериц.

Затем ему вспомнилась улыбка того маленького князя... взгляд... движение... — тогда, когда они внутренне покончили друг с другом, — какими тот разом и мягко

освободился от всего, чем связывал его Тёрлес, и, освободившись, уходил в новую, неведомую даль, которая — словно сжавшись в жизнь одной неопишуемой секунды — неожиданно открылась ему. Здесь снова пришли воспоминания о лесе — среди полей. Затем молчаливая картина в темнеющей комнате дома, позднее напомнившая ему вдруг потерянного друга. Вспомнились слова какого-то стихотворения...

Есть и другие вещи, где между ощущением и пониманием царит эта несопоставимость. Всегда, однако, то, что в какой-то миг узнается нами безучастно и без вопросов, становится непонятным и запутанным, когда мы пытаемся цепью мыслей скрепить это и сделать прочным своим достоянием. И то, что выглядит великим и нечеловечным, пока наши слова тянутся к этому издалека, становится простым и теряет что-то беспокоящее, как только оно входит в наше бытие.

И у всех этих воспоминаний оказалась поэтому вдруг одна и та же общая тайна. Словно составляя одно целое, они встали перед ним до осязаемости отчетливо.

В свое время их сопровождало какое-то темное чувство, на которое он прежде не очень-то обращал внимание.

Именно оно заботило его теперь. Ему вспомнилось, как он, стоя с отцом перед одним из тех пейзажей, внезапно воскликнул: о, как красиво! — и смутился, когда отец обрадовался. Ибо он с таким же правом мог сказать: ужасно грустно. Мучили его тогда несостоятельность слова, полусознание, что слова лишь случайные лазейки для прочувствованного.

И сегодня он вспомнил ту картину, вспомнил те слова и ясно вспомнил то чувство, что лгал, хоть и не знал почему. В воспоминании взгляд его снова проходил через все. Но вновь и вновь возвращался, не находя освобождения. Улыбка восхищения богатством наитий, которую он все еще как бы рассеянно сохранял, медленно приобрела чуть заметную тень страдания...

У него была потребность изо всех сил искать какой-то мост, какую-то связь, какое-то сравнение — между собою и тем, что без слов стояло перед его внутренним взором.

Но как только он успокаивался на какой-нибудь мысли, снова возникало это непонятное возражение: ты лжешь. словно ему нужно было непрестанно производить деление, при котором снова и снова получался упорный остаток или словно он в кровь стирал трясущиеся пальцы, чтобы развязать бесконечный узел.

И наконец он отступился. Вокруг него что-то плотно смыкалось, и воспоминания стали расти в неестественном искажении.

Он снова направил глаза на небо. словно вдруг еще удалось бы случайно вырвать у неба свою тайну и угадать по нему, что его, Тёрлеса, везде приводит в смятение. Но он устал, и чувство глубокого одиночества сомкнулось над ним. Небо молчало. И Тёрлес почувствовал, что под этим неподвижным, немым сводом он совершенно один, он почувствовал себя крошечной живой точкой под этим огромным, прозрачным трупом.

Но это уже не испугало его. Как старая, давно знакомая боль, это проникло наконец-то и в последний уголок тела.

Ему казалось, будто свет приобрел молочный блеск и плясал у него перед глазами, как бледный холодный туман.

Он медленно и осторожно повернул голову и огляделся — действительно ли все изменилось. Тут его взгляд случайно скользнул по серой глухой стене, стоявшей у него в изголовье. Она словно бы склонилась над ним и молча глядела на него. время от времени вниз сыпались, журча, тонкие струйки, и в стене пробуждалась жутковатая жизнь.

Он часто прислушивался к ней в укрытии, когда Байнеберг и Райтинг развертывали свой фантастический мир, и он радовался ей, как странному музыкальному сопровождению какого-то гротескного спектакля.

Но сейчас ясный день сам, казалось, превратился в бездонное укрытие, и живое молчание окружило Тёрлеса со всех сторон.

Он не в силах был отвернуть голову. Рядом с ним, во влажном темном углу буйно росла мать-и-мачеха, выстраивая из своих широких листьев фантастические укрытия для улиток и червяков. Тёрлес слышал, как бьется у него сердце. Затем опять повторилось тихое,

шепчущее, сякнувшее журчанье... И эти шорохи были единственно живым в не связанном ни с каким временем безмолвном мире...

На следующий день Байнеберг стоял с Райтингом, когда к ним подошел Тёрлес.

— Я уже поговорил с Райтингом, — сказал Байнеберг, — и обо всем договорился. Ты ведь не очень-то интересуешься такими делами.

Тёрлес почувствовал, как в нем поднимается что-то вроде злости и ревности из-за этого внезапного поворота, но он не знал, следует ли ему упоминать в присутствии Райтинга о том ночном разговоре.

— Ну, вы могли бы хотя бы позвать меня, раз уж я так же, как и вы, участвую в этом деле.

— Мы так и сделали бы, дорогой Тёрлес, — заторопился Райтинг, которому на этот раз явно хотелось не создавать ненужных трудностей, — но тебя нигде не было видно, а мы рассчитывали на твое согласие. Что скажешь, кстати, по поводу Базини?

(Ни слова в свое оправдание, словно его собственное поведение было чем-то само собой разумеющимся.)

— Что скажу? Ну, он мерзавец, — ответил Тёрлес смущенно.

— Правда ведь? Ужасно мерзок.

— Но и ты тоже влезаешь в славные дела!

И Тёрлес улыбнулся несколько вымученно, стыдясь, что злится на Райтинга не так сильно.

— Я? — Райтинг пожал плечами. — Что тут такого? Надо все испытать, и если уж он так глуп и подл...

— Ты-то с тех пор уже говорил с ним? — вмешался Байнеберг.

— Да, он вчера приходил ко мне вечером и просил денег, поскольку снова наделал долгов, а уплатить нечем.

— Ты уже дал ему денег?

— Нет еще.

— Это очень хорошо, — сказал Байнеберг, — теперь у нас есть искомая возможность разделаться с ним. Ты мог бы велеть ему прийти куда-нибудь сегодня вечером.

— Куда? В нашу клетушку?

— Думаю — нет, о ней ему пока незачем знать. Прикажи ему явиться на чердак, где ты был с ним тогда.

— В котором часу?

— Скажем... в одиннадцать.

— Хорошо... Хочешь еще немного погулять?

— Да. У Тёрлеса, наверное, есть еще дела, правда?

Никакой работы у Тёрлеса больше не было, но он чувствовал, что у обоих есть еще что-то общее, что они хотят утаить от него. Он досадовал на свою чопорность, не позволявшую ему вклиниться.

И вот он ревниво смотрел им вслед, представляя себе всякое, о чем они могли, наверно, втайне договориться.

При этом ему бросилось в глаза, до чего невинна и мила прямая, гибкая походка Райтинга — совершенно так же, как и его слова. И в противовес этому он попытался представить себе его таким, каким он должен был быть в тот вечер; внутреннюю, психологическую сторону этого. Это было, наверно, долгое, медленное падение двух вцепившихся друг в друга душ и затем бездна как в подземном царстве. А в промежутке — миг, когда наверху, далеко наверху, умолкли и замерли все звуки мира.

Неужели после чего-то подобного человек снова может быть таким довольным и легким? Наверняка это не так уж много для него значило. Тёрлесу очень хотелось спросить его. А вместо того он в детской робости отдал его этому паукообразному Байнебергу!

Без четверти одиннадцать Тёрлес увидел, что Байнеберг и Райтинг вышмыгнули из постели, и тоже оделся.

— Тсс!.. Погоди. Заметят ведь, если мы уйдем сразу все трое.

Тёрлес снова спрятался под одеяло.

Затем в коридоре они соединились и с привычной осторожностью стали подниматься на чердак.

— Где Базини? — спросил Тёрлес.

— Он придет с другой стороны. Райтинг дал ему ключ оттуда.

Они все время оставались в темноте. Лишь наверху перед большой железной дверью Байнеберг зажег свой потайной фонарик.

Замок сопротивлялся. Из-за многолетнего бездействия его заело, и он не слушался подобранного ключа. Наконец он отомкнулся с резким звуком; тяжелая створка

терлась, застревая, о ржавчину петель и подавалась медленно.

С чердака потянуло теплым, застоявшимся воздухом, как из теплицы.

Байнеберг запер дверь снова.

Они спустились по маленькой деревянной лестнице и сели, скорчившись, возле мощной поперечной балки.

Рядом с ними стояли огромные бочки с водой, предназначенной для тушения пожара. Воду в них явно давно уже не меняли, и она издавала сладковатый запах.

Вообще все окружение было крайне удручающее. Жара под крышей, скверный воздух и лабиринт мощных балок, которые частью уходили наверх и терялись в темноте, частью расползались понизу таинственной сетью.

Байнеберг затемнил фонарик, и они, не говоря ни слова, неподвижно сидели во мраке — в течение нескольких долгих минут.

Тут в темноте на противоположном конце скрипнула дверь. Тихо и нерешительно. Это был шум, от которого забилось, запрыгало сердце, как от первого звука приближающейся добычи.

Последовали неуверенные шаги, удар ноги о загудевшее дерево; глухой шум, как от толчка тела... Тишина... Затем снова нерешительные шаги... Ожидание... Тихий человеческий звук...

— Райтинг?

Тут Байнеберг снял колпачок с фонарика и метнул широкий луч к тому месту, откуда донесся голос.

Несколько мощных балок высветились с резкими тенями, дальше ничего, кроме конуса пляшущих пылинок, не было видно.

Но шаги стали увереннее и приближались.

Тут — совсем близко — снова ударилась о дерево нога, и в следующий миг в широком основании светового конуса возникло — пепельно-бледное — при этом неверном освещении — лицо Базини.

Базини улыбался. Ласково, мило. Застыв, как на портрете, улыбка его выступала за рамку света.

Тёрлес сидел, прижавшись к балке, и чувствовал, как у него дрожат глазные мышцы.

Байнеберг стал перечислять позорные поступки Базини; однотонно, хриплыми словами.

Затем вопрос:

— Значит, тебе нисколько не стыдно?

Затем взгляд Базини на Райтинга, говоривший, казалось: «Пора тебе, пожалуй, помочь мне». И в тот же миг Райтинг ударил его кулаком в лицо, так что тот качнулся назад, споткнулся о балку, упал. Байнеберг и Райтинг прыгнули к нему.

Фонарик опрокинулся, и свет бессмысленно и вяло тек по полу к ногам Тёрлеса.

По звукам Тёрлес понял, что они сорвали с Базини одежду и хлестали его чем-то тонким, гибким. Они явно все это уже подготовили. Он слышал хныканье и негромкие жалобы Базини, который, не переставая, молил пощадить его; наконец он слышал лишь стоны, похожие на сдавленные вопли, а в промежутках негромкие ругательства и горячее, страстное дыхание Байнеберга.

Он не тронулся с места. В самом начале его, правда, охватило животное желание прыгнуть туда и бить, но чувство, что он опоздает и будет лишним, удержало его. На его членах лежала тяжелая рука скованности.

С виду безучастно смотрел он в пол. Он не напрягал слуха, чтобы разбирать звуки, и не чувствовал, чтобы его сердце било быстрее обычного. Он уставился в лужицу света, разлившуюся у его ног. Светились пылинки и маленькая безобразная паутина. Дальше свет просачивался в зазоры между балками и задыхался в пыльном, грязном сумраке.

Тёрлес сидел бы так и час, ничего не чувствуя. Он ни о чем не думал и все же был внутренне предельно занят. При этом он сам наблюдал за собой. Но так, словно, в сущности, глядел в пустоту и видел себя только как бы нечетким пятном и со стороны. Однако из этой неясности — со стороны — в отчетливое сознание медленно, но все явственнее проталкивалась одна потребность.

Что-то заставило Тёрлеса улыбнуться по этому поводу. Затем эта потребность снова усилилась. Она согнала его со своего места вниз — на колени, на пол. Его тянуло прижаться телом к половицам; он чувствовал, что глаза его делаются большими, как рыбы, он чувствовал, как сквозь голое тело бьется о дерево его сердце.

Теперь в Тёрлесе действительно все кипело, и он должен был ухватиться за балку, чтобы не поддаться головокружению, тянувшему его вниз.

На лбу его выступили капли пота, и он испуганно спрашивал себя, что все это значит.

Выведенный из своего безразличия, он снова теперь прислушался сквозь темноту к тем троицам.

Там стало тихо, только Базини жалобно бормотал что-то, ощупью ища свою одежду.

Тёрлес почувствовал какую-то приятность в этих жалобных звуках. Словно паучьими лапками пробежала у него по спине дрожь вверх и вниз; застряла между лопатками и коготками оттянула назад кожу на голове. К своему изумлению, Тёрлес понял, что находится в состоянии полового возбуждения. Он стал вспоминать и, не вспомнив, когда оно наступило, припомнил, что оно уже сопровождалось странной потребностью прижаться к полу. Он устыдился этого; но словно мощной волной крови это ударило ему в голову.

Байнеберг и Райтинг ощупью пробрались назад и молча сели с ним рядом. Байнеберг посмотрел на фонарик.

В этот миг Тёрлеса опять потянуло вниз. От глаз — он чувствовал это теперь, — от глаз шло к мозгу как бы гипнотическое оцепенение. То был какой-то вопрос, да, какой-то... нет, какое-то отчаяние... о, ведь это было знакомо ему... стена, тот общественный сад, низкие лачуги, то воспоминание детства... то же самое! то же самое! Он посмотрел на Байнеберга. «Неужели этот ничего не чувствует?» — подумал он. Но Байнеберг нагибался, чтобы поднять фонарик. Тёрлес задержал его руку.

— Разве не похоже это на глаз? — сказал он, указывая на растекшийся на полу свет.

— Ты что, настроился на поэтический лад?

— Нет. Но разве ты сам не говорил, что с глазами дело обстоит особо? От них иногда — вспомни любимые свои идеи насчет гипноза — исходит какая-то сила, которой не встретишь ни в каком курсе физики... Несомненно также, что по глазам человека часто узнаешь куда лучше, чем по его речам...

— Ну... и что?

— Для меня этот свет как глаз. Глядящий в неведомый

мир. У меня такое чувство, будто я должен что-то отгадать. Но я не могу. Мне хочется вобрать это в себя...

— Ну... тебя все-таки тянет на поэзию.

— Нет, я всерьез. Я в полном отчаянии. Вдумайся только, и ты тоже это почувствуешь. Потребность повалиться в этой луже... на четвереньках, совсем вплотную к ней, проползти в пыльные углы, словно так это можно отгадать...

— Дорогой мой, баловство, сантименты. Оставь сейчас, пожалуйста, такие вещи.

Байнеберг наконец нагнулся и поставил фонарик на место. А Тёрлес злорадствовал. У него было такое ощущение, что он вобрал в себя эти события одним чувством больше, чем его спутники.

Он ждал сейчас появления Базини и с тайным трепетом чувствовал, что кожа на голове опять напряглась под коготками.

Он ведь уже совсем точно знал, что для него что-то бережется, и вновь и вновь и через все более короткие промежутки напоминало ему о себе; ощущение это, другим непонятное, было явно очень важно для его жизни...

Только вот что означала здесь эта чувственность, он не знал, но помнил, что она появлялась каждый раз, когда события представляли странными только ему и мучили его, потому что он не знал, в чем тут причина.

И он решил при следующем случае серьезно обдумать это. Пока же он целиком отдался возбуждающему трепету, который предшествовал появлению Базини.

Байнеберг установил фонарик, и лучи снова вырезали в темноте круг, как пустую рамку.

И вдруг в этой рамке снова оказалось лицо Базини; точно так же, как в первый раз, с той же застывшей, слащавой улыбкой; словно в промежутке ничего не случилось, только по его верхней губе, рту и подбородку прочерчивали извилистую, как червяк, дорожку медленные капли крови.

— Сядь там! — Райтинг указал на мощную балку. Базини повиновался. Райтинг начал говорить:

— Ты уже, наверно, думал, что дешево отделался, да? Думал, вероятно, я помогу тебе? Ну, так ты ошибся. То,

что я с тобой делал, я делал, только чтобы посмотреть, до чего дойдет твоя подлость.

Базини сделал протестующее движение. Райтинг пригрозил снова броситься на него. Тогда Базини сказал:

— Прошу вас, Бога ради, я не мог иначе.

— Молчи! — крикнул Райтинг. — Надоели нам твои увертки! Теперь мы узнали раз и навсегда, чего от тебя можно ждать, и поступать будем соответственно...

Наступило короткое молчание. Вдруг Тёрлес тихо, почти ласково сказал:

— Скажи-ка: «Я вор».

Базини сделал большие, почти испуганные глаза; Байнеберг одобрительно засмеялся.

Но Базини молчал. Тогда Байнеберг толкнул его в бок и прикрикнул на него:

— Не слышишь, что ли, ты должен сказать, что ты вор! Говори сейчас же!

Снова наступила короткая, почти мгновенная тишина; затем Базини тихо, одним духом и как можно более безобидным тоном сказал:

— Я вор.

Байнеберг и Райтинг довольно засмеялись, глядя на Тёрлеса.

— Это ты хорошо придумал, малыш.

И обратились к Базини:

— А теперь ты скажешь еще: я скотина, я вор и скотина, я *ваша* скотина, вор и свинья.

И Базини сказал это не переводя дыхания и с закрытыми глазами.

Но Тёрлес уже опять откинулся в темноту. Ему было тошно от этой сцены и стыдно, что он выдал другим пришедшее ему в голову.

На занятиях по математике Тёрлеса вдруг осенила одна мысль.

В последние дни он слушал уроки в школе с особым интересом, ибо про себя думал: «Если это действительно подготовка к жизни, как они говорят, то значит, тут должен найтись и какой-то намек на то, чего я ищущу».

При этом он думал именно о математике; еще со времени тех мыслей о бесконечности.

И в самом деле, среди занятий его вдруг озарило. Сразу после окончания урока он подсел к Байнебергу — единственному, с кем он мог говорить о подобных вещах.

— Слушай, ты это вполне понял?

— Что?

— Эту историю с мнимыми числами?

— Да. Это же совсем не так трудно. Надо только запомнить, что квадратный корень из минус единицы — это еще одна величина при вычислении.

— Но вот в том-то и дело. Такого же не существует. Любое число, положительное или отрицательное, дает в квадрате что-то положительное. Поэтому не может быть в действительности числа, которое было бы квадратным корнем из чего-то отрицательного.

— Совершенно верно. Но почему бы, несмотря на это, не попытаться произвести извлечение квадратного корня и при отрицательном числе? Конечно, это не может дать никакой действительной величины, но потому-то и называют такой результат мнимым. Это все равно как сказать: здесь вообще всегда кто-то сидел, поставим и сегодня стул для него. И даже если он тем временем умер, сделаем вид, будто он придет.

— Но как же так, если точно, с математической точностью знаешь, что это невозможно.

— Вот и делают вид, будто это не так. Видимо, какой-то толк от этого есть. А разве иначе обстоит дело с иррациональными числами? Деление, которое никогда не кончается, дробь, величину которой нельзя вычислить, сколько бы долго ты ни считал? А как ты можешь представить себе, что параллельные линии пересекаются в бесконечности? Я думаю, если бы мы были чересчур добросовестны, то математики не было бы на свете.

— В этом ты прав. Если все так и представлять себе, то получается и правда довольно странно. Но этот-то и удивительно, что с этими мнимыми или еще какими-либо невозможными величинами можно действительно производить вычисления, дающие осязаемый результат!

— Только эти мнимые факторы должны в ходе вычисления взаимно уничтожаться.

— Да, да. Все, что ты говоришь, я знаю. Но не остается ли, несмотря ни на что, во всем этом что-то необыкновенное? Как бы объяснить это тебе? Задумайся только:

сначала в таком вычислении идут вполне солидные числа, представляющие собой метры, или вес, или еще что-нибудь осязаемое и хотя бы являющиеся действительно числами. В конце вычисления числа такие же. Но те и другие связаны между собой чем-то, чего вообще нет. Не похоже ли это на мост, от которого остались только опоры в начале и в конце и который все же переходишь так уверенно, словно он весь налицо? Для меня в таком вычислении есть что-то головокружительное. Словно часть пути заходит бог весть куда. Но самое жуткое, по моему, — сила, которая скрыта в таком вычислении и держит тебя так крепко, что ты все-таки попадаешь туда, куда нужно.

Байнеберг ухмыльнулся.

— Ты говоришь уже почти совсем как наш поп: «Ты видишь яблоко... это колебания света, а глаза и так далее... и ты протягиваешь руку, чтобы украсть его... это мышцы и нервы приводят ее в движение... Но между тем и другим есть что-то, что рождает одно из другого... а это бессмертная душа, которая согрешила сейчас... да... да... ни одного вашего действия нельзя объяснить без души, она играет вами, как фортепианными клавишами...» — И он передразнил интонацию, с какой преподаватель катехизиса рассказывал эту старую притчу.

— Впрочем, вся эта история мало интересует меня.

— Я думал, как раз тебя она должна интересовать. Я, во всяком случае, сразу подумал о тебе, потому что это — если это действительно так необъяснимо — почти подтверждение твоей веры.

— Почему это не должно быть объяснимо? Я вполне допускаю, что изобретатели математики споткнулись тут о собственные ноги. Почему, в самом деле, то, что находится за пределами нашего разума, не могло позволить себе сыграть такую шутку именно с этим самым разумом? Но меня это не занимает, ведь такие вещи ни к чему не ведут.

Еще в тот же день Тёрлес попросил у учителя математики разрешения прийти к нему, чтобы тот объяснил ему некоторые места последней лекции.

На следующий день во время обеденного перерыва он поднялся по лестнице в маленькую квартиру преподавателя.

Он проникся теперь каким-то совершенно новым уважением к математике, потому что она внезапно перестала быть для него мертвым учебным заданием и сделалась чем-то очень живым. И из-за этого уважения он испытывал какую-то зависть к учителю, который, конечно, прекрасно знал все эти связи, всегда носил с собой свое знание, как ключ от запертого сада. Но, кроме того, Тёрлесом двигало любопытство, несколько, впрочем, нерешительное. Он никогда еще не был в комнате молодого мужчины, и ему очень хотелось узнать, как выглядит жизнь такого другого, знающего и все же спокойного человека, узнать хотя бы настолько, насколько о нем можно судить по внешнему виду, по окружению.

Вообще-то он был по отношению к своим учителям робок и сдержан и считал, что потому особым их расположением не пользуется. Его просьба показалась ему поэтому, когда он теперь взволнованно остановился у двери, рискованным предприятием, где дело идет не столько о том, чтобы получить разъяснение, — ибо в глубине души он теперь уже сомневался в этом, — сколько о том, чтобы заглянуть как бы за учителя, в его каждодневное соприкосновение с математикой.

Его провели в кабинет. Это была продолговатая комната с одним окном; у окна стоял закапанный чернилами письменный стол, а у стены — диван, обитый рубчатой зеленой колючей тканью и украшенный кисточками. Над диваном висели выцветшая студенческая шапочка и множество коричневых, потемневших фотографий формата визитной карточки, сделанных в университетские времена. На овальном столе с крестообразным подножием, завитки которого, претендуя на изящество, походили на неудавшуюся любезность, лежали трубка и пластинчатый, крупно нарезанный табак. Вся комната пропахла поэтому дешевым кнастером.

Не успел Тёрлес вобрать в себя эти впечатления и отметить в себе известное неудовольствие, словно от соприкосновения с чем-то неаппетитным, как вошел учитель.

Это был молодой человек, не старше тридцати лет, блондин, нервный, недюжинный математик, уже представивший ученому миру несколько важных работ.

Он сразу сел за свой письменный стол, покопался в лежащих на нем бумагах (Тёрлесу позднее показалось,

что он укрылся за ним), протер носовым платком пенсне, закинул ногу на ногу и выжидательно посмотрел на Тёрлеса.

Тёрлес тоже начал уже разглядывать его. Он заметил белые грубошерстные носки и еще — что тесемки подштанников выпачкались о ваксу полусапожек.

Носовой платок зато выделялся по контрасту белизной и манерностью, а галстук был хоть и лоскутный, но зато пестрел всеми цветами радуги, как палитра.

Тёрлес чувствовал, что эти маленькие наблюдения невольно отталкивают его дальше, он уже не мог надеяться, что этот человек действительно обладает значительными знаниями, коль скоро ни в его внешности, ни во всем его окружении явно не было ни малейшего признака таковых. Кабинет математика он втихомолку представлял себе совершенно иным: с каким-нибудь внешним проявлением ужасных вещей, которые здесь продумывались. Обыкновенность оскорбила его; он перенес ее на математику, и его почтение перед ней стало сменяться недоверчивой строптивостью.

А поскольку и учитель нетерпеливо ерзал на своем месте, не зная, как истолковать столь продолжительное молчание и столь пытливые взгляды, между обоими уже в эту минуту установилась атмосфера недоразумения.

— Ну, давайте... пожалуйста... я с удовольствием объясню вам, — начал учитель.

Тёрлес изложил свои возражения, стараясь разъяснить, что они для него значат. Но у него было такое чувство, будто он говорит сквозь плотный, мутный туман, и лучшие его слова застревали у него уже в горле.

Учитель улыбался, покашливал, сказал «с вашего позволения» и, закулив папиросу, курил ее торопливыми затяжками; бумага — Тёрлес все это замечал и находил обыкновенным — густо тускнела и каждый раз с треском скукоживалась; учитель снял пенсне, снова надел его, кивнул головой... наконец не дал Тёрлесу договорить.

— Я рад, да, дорогой мой Тёрлес, я действительно очень рад, — прервал он его. — Ваши сомнения свидетельствуют о серьезности, о вдумчивости, о... гм... но не так-то легко дать вам нужное объяснение... Не поймите меня превратно...

Видите ли, вы говорили о вмешательстве трансцендентных гм... да... это называется трансцендентный... факторов...

Я же не знаю, как вы это ощущаете. Сверхчувственное, находящееся по ту сторону строгих границ разума, — это статья особая. Я, собственно, не очень-то вправе вмешиваться в такие вещи, это не относится к моему предмету. На сей счет можно подумать и так, и этак, и я отнюдь не собираюсь с кем-либо полемизировать... Что же касается математики, — и он подчеркнул слово «математика», словно раз и навсегда захлопывая какую-то роковую дверь, — что, стало быть, касается математики, то тут, несомненно, есть также естественная и только математическая связь. Мне пришлось бы только — строгой научности ради — сделать несколько допущений, которые вы вряд ли поймете, да и времени на это у нас нет. Я, знаете, готов признать, что, например, эти мнимые, эти не существующие в действительности величины, ха-ха, весьма твердый орешек для молодого ученика. Удовлетворитесь тем, что такие математические понятия — это чисто математическая логическая неизбежность. Поймите, на той элементарной ступени обучения, где вы еще находитесь, многому, чего приходится касаться, очень трудно дать верное объяснение. К счастью, это мало кто чувствует, но если такой, как вы, сегодня, — но, повторяю, меня это очень обрадовало, — действительно вдруг находится, то ему можно только сказать: дорогой друг, ты должен просто поверить; когда ты будешь знать математику в десять раз больше, чем сейчас, ты поймешь, а пока поверь! Иначе нельзя, дорогой Тёрлес, математика — это особый мир, и надо в нем довольно долго пожить, чтобы почувствовать все, что в нем требуется.

Тёрлес был рад, когда учитель умолк. С тех пор как та дверь хлопнулась, у него было такое чувство, что слова удаляются все дальше и дальше... в другую, безразличную сторону, туда, где находятся все верные и все же ничего не говорящие объяснения.

Но он был оглушен потоком слов и своей неудачей и не сразу понял, что пора подняться.

Тогда, чтобы окончательно решить дело, учитель искал последний, убедительный аргумент.

На маленьком столике лежал роскошно изданный том Канта. Учитель взял его и показал Тёрлесу.

— Видите эту книгу, это философия, здесь даны определяющие элементы наших поступков. И если бы вы могли проникнуть в их подоплеку, вы увидели бы сплошь такие логические неизбежности, которые всё определять-то определяют, а сами-то не так уж понятны. Это очень похоже на то, с чем мы сталкиваемся в математике. И все же мы то и дело поступаем в соответствии с ними. Вот вам и доказательство того, насколько важны такие вещи. Однако, — усмехнулся он, увидев, что Тёрлес и впрямь раскрыл книгу и стал листать ее, — оставьте это пока. Я хотел только привести вам пример, который вы вдруг когда-нибудь вспомните. Пока это, пожалуй, слишком трудно для вас.

Весь остаток дня Тёрлес находился в состоянии взволнованности. То обстоятельство, что он держал в руках Канта, это случайное обстоятельство, на которое он в ту минуту особого внимания не обратил, отзывалось в нем теперь с большой силой. Имя Канта было известно ему понаслышке и котирировалось у него так, как оно вообще котируется в обществе, далеко от гуманитарных наук, — как последнее слово философии. И этот авторитет был даже одной из причин того, что Тёрлес мало занимался дотоле серьезными книгами. Ведь обычно, преодолев период, когда им хотелось стать кучером, садовником или кондитером, очень молодые люди выбирают себе в фантазии поприще прежде всего там, где, как им кажется, их честолюбию представится наибольшая возможность совершить что-нибудь выдающееся. Если они говорят, что хотят стать врачом, то наверняка они видели где-нибудь красивую и заполненную приемную, или стеклянный шкаф с жутковатыми хирургическими инструментами, или еще что-то подобное; если они говорят о дипломатической карьере, то думают о блеске и изысканности международных салонов. Словом, они выбирают себе профессию по той среде, в какой им больше всего хочется видеть себя, и по той позе, в какой они нравятся себе больше всего.

При Тёрлесе имя Канта произносилось не иначе, как к слову и с таким выражением лица, словно это имя какого-нибудь наводящего жуть святого. И Тёрлес не мог

не думать, что Кант окончательно решил проблемы философии и с тех пор заниматься ею — пустое дело, ведь точно так же он, Тёрлес, считал, что после Гёте и Шиллера незачем уже сочинять стихи.

Дома эти книги стояли в шкафу с зелеными стеклами в папином кабинете, и Тёрлес знал, что шкаф этот никогда не открывался, кроме тех случаев, когда его показывали какому-нибудь гостю. Это было как святилище некоего божества, к которому стараются не приближаться и которое чтут только потому, что благодаря его существованию можно уже не печься об определенных вещах.

Это искаженное отношение к философии и литературе оказало впоследствии на дальнейшее развитие Тёрлеса то злосчастное влияние, которому он обязан был множеством печальных часов. Ибо из-за этого его честолюбие оттеснялось от истинных своих объектов и попадало — пока он, утратив свою цель, искал какой-нибудь новый — под грубое и решительное влияние его спутников. Его склонности возвращались уже только изредка и стыдливо и каждый раз оставляли сознание, что он совершил что-то ненужное и смешное. Но они были все же настолько сильны, что ему не удавалось освободиться от них совсем, и эта постоянная борьба лишала его нрав твердых линий и прямоты.

Сегодня, однако, это отношение вступило, казалось, в какую-то новую фазу. Мысли, ради которых он сегодня тщетно искал разъяснения, уже не были беспочвенной игрой воображения, нет, они взбудоражили, они не отпускали его, и всем своим телом он чувствовал, что за ними бьется кусок его жизни. Это было для Тёрлеса что-то совершенно новое. В душе его была определенность, которой он вообще-то не знал за собой. Это было что-то мечтательно-таинственное. Это, по-видимому, потихоньку развивалось под влиянием последнего времени и теперь вдруг постучалось властной рукой. У него было на душе, как у матери, впервые почувствовавшей повелительные движения внутри своей утробы.

Вторая половина дня выдалась сладостная.

Тёрлес извлек из ящика все свои поэтические опыты, которые он там хранил. Он сел с ними к печке и оказался в полном одиночестве и невидим за ее могучим прикры-

тием. Одну за другой перелистывал он тетради, затем очень медленно рвал их на клочки и бросал каждый отдельно в огонь, снова и снова упиваясь умилением прощания.

Он хотел этим отбросить назад весь прежний груз, словно сейчас пришло время — не отягощенное ничем — направить все внимание на шаги, которые надо сделать вперед.

Наконец он встал и вышел к другим. Он чувствовал себя свободным от всяких боязливых взглядов со стороны. То, что он совершил, произошло, в сущности, исключительно инстинктивно; ничто не давало ему уверенности, что отныне он действительно сможет быть другим, кроме самого появления этого импульса. «Завтра, — сказал он себе, — завтра я все тщательно проверю и уж сумею обрести ясность».

Он походил по залу, между отдельными скамьями, глядя в раскрытые тетради, на пальцы, деловито сновавшие при письме по их яркой белизне и тянувшие за собой каждый свою маленькую коричневатую тень, — он смотрел на это так, словно вдруг проснулся с глазами, которым все кажется значительнее.

Но следующий же день принес горькое разочарование. Уже утром Тёрлес купил дешевое издание того тома, который видел у учителя, и воспользовался первым же перерывом, чтобы приступить к чтению. Но из-за сплошных скобок и сносок он не понимал ни слова, а если он добросовестно следовал глазами за фразами, у него появлялось такое ощущение, словно старая костлявая рука вывинчивает у него мозг из головы.

Когда он примерно через полчаса, устав, перестал читать, он дошел только до второй страницы, и на лбу у него выступил пот.

Но он сжал зубы и прочел еще одну страницу, пока не кончился перерыв.

А вечером ему уже не хотелось прикасаться к этой книге. Страх? Отвращение? Он не знал точно. Одно лишь мучило его обжигающе явственно — что у учителя, человека такого невысокого, казалось, полета, книга эта лежала на виду в комнате, словно была его повседневным чтением.

В таком настроении и застал его Байнеберг.

— Ну, Тёрлес, каково было вчера у учителя?

Они сидели вдвоем в амбразуре окна, загородившись широкой вешалкой, где висело множество шинелей, так что из класса к ним проникал лишь то нараставший, то затихавший гул и отсвет ламп на потолке. Тёрлес рассеянно играл с висевшей перед ним шинелью.

— Ты спишь, что ли? Что-то уж он тебе, наверное, ответил? Могу, впрочем, представить себе, что он был изрядно смущен, не так ли?

— Почему?

— Ну, такого глупого вопроса он, наверно, не ждал.

— Вопрос был совсем не глупый. Я все еще не могу отделаться от него.

— Да я ведь вовсе не в дурном смысле. Только для него он, наверно, был глуп. Они заучивают свои сведения наизусть, как поп свой катехизис, и если спросить их не совсем по-заведенному, они всегда смущаются.

— Ах, смутился он не из-за того, что не знал, что ответить. Он даже не дал мне договорить, так быстро нашелся ответ у него.

— Как же он объяснил эту историю?

— По сути, никак. Он сказал, что мне этого еще не понять, что это логические неизбежности, которые становятся ясными только тому, кто уже занимался этими вещами обстоятельнее.

— Вот это-то и жульничество! Человеку просто разумному они не в состоянии изложить свои истории! Только если его десять лет промуштруют. А за такой срок он тысячи раз произведет вычисления на той основе и воздвигнет целые здания, где все будет правильно. И тогда он просто поверит в зло, как католик в богоявление, оно ведь всегда замечательно подтверждало себя... Велика ли хитрость навязать доказательство такому человеку? Напротив, никто не сможет убедить его, что хоть его здание и стоит, а каждый отдельный камень станет воздушным, если захочешь дотронуться до него!

Тёрлес почувствовал, что это байнебергское преувеличение неприятно ему.

— Ну, не так уж, вероятно, все скверно, как ты изображаешь. Я никогда не сомневался в правоте математики — в конце концов, успех убеждает в ней. Странно мне было

только то, что иное порой так противоречит разуму. А ведь возможно, что это только кажется.

— Что ж, подожди эти десять лет, может быть, у тебя и будет тогда надлежаще препарированный разум... Но я тоже размышлял об этом после нашего последнего разговора; и я твердо убежден, что тут есть загвоздка. Кстати, и ты тоже тогда говорил об этом совсем не так, как сегодня.

— О нет. У меня это и сегодня вызывает сомнения, только я не хочу сразу все так преувеличивать, как ты. *Странным* я нахожу все это тоже. Представление об иррациональном, мнимом, о линиях, которые параллельны и в бесконечности — значит, все-таки где-то — пересекаются, меня волнует. Когда я об этом думаю, я бываю оглушен, словно от удара по голове. — Тёрлес наклонился вперед, совсем ушел в тень, и голос его стал глуше. — Прежде в голове у меня все было очень ясно и четко распределено. А теперь мне кажется, что мои мысли — как облака, и когда я подхожу в них к определенным местам, кажется, что дальше — провал, через который виден какой-то бесконечный, не поддающийся определению мир. Математика-то, конечно, права. Но что с моей головой и что со всеми другими? Неужели они совсем не чувствуют этого? Как это отражается в них? Неужели совсем никак?

— По-моему, ты мог видеть это на примере своего учителя. Ты — ты, столкнувшись с таким, сразу оглядываешься и спрашиваешь: как согласовать это со всем прочим во мне? А *они* просверлили себе в собственном мозгу ходы и оглядываются не далее, чем на ближайший угол — цела ли еще нить, которую они за собой тянут. Твоя манера задавать вопросы загоняет их в тупик. Никто из них не способен вернуться назад. Как можешь ты, кстати, утверждать, что я преувеличиваю. Эти взрослые, эти умники целиком вплелись в какую-то сеть, одна петля держит другую, и все в целом кажется на диво естественным. Но где находится первая петля, благодаря которой все держится, никто не знает.

Мы с тобой никогда еще так серьезно об этом не говорили, в конце концов не очень-то хочется распространяться о таких вещах, но теперь ты видишь всю слабость того взгляда на мир, которым люди довольствуются.

Это обман, жульничество и слабоумие! Малокровие! Ведь разума у них хватает ровно настолько, чтобы выдумать в голове свое научное объяснение, но вне головы оно замерзает, ты понимаешь? Ха-ха! Все эти вершины, эти крайности, о которых учителя говорят нам, что они так тонки, что мы сейчас еще не способны до них дотронуться, — они мертвы... они замерзли... ты понимаешь? Во все стороны торчат острия этих боготворимых ледышек, и никто на свете не знает, что с ними делать, такие они безжизненные!

Тёрлес давно уже снова откинулся назад. Горячее дыхание Байнеберга застревало в шинелях и нагревало этот закуток. И как всегда, когда он бывал возбужден, Байнеберг был неприятен Тёрлесу. Тем более сейчас, когда он придвинулся так близко, что глаза его уперлись в Тёрлеса двумя зеленоватыми камешками, в то время как руки с какой-то особенно безобразной юркостью ходили ходуном в полумраке.

— Все спорно, что они утверждают. Все, говорят они, происходит естественным образом: если камень падает, то это, мол, сила тяжести. А почему не воля Бога и почему тот, кто угоден ему, не может быть избавлен им от участи камня? Но зачем я тебе это рассказываю?! Ты же навсегда останешься межеумком! Найти походя что-нибудь странное, немного покачать головой, немного ужаснуться — это по тебе. Но за эти пределы ты не сунешься. Впрочем, это не моя беда.

— Моя, что ли? Но ведь и твои-то утверждения не так уж беспорны.

— Как можешь ты это говорить? Они вообще — единственно бесспорная вещь на свете. Зачем мне, впрочем, ссориться с тобой из-за этого?! Ты это еще увидишь, дорогой Тёрлес. Готов даже пари держать, что ты еще чертовски заинтересуешься, в чем тут дело. Например, когда с Базини выйдет так, как я...

— Оставь это, пожалуйста, — прервал его Тёрлес, — как раз сейчас мне не хочется это припутывать.

— О, почему же?

— Ну, так. Просто не желаю. Мне это неприятно. Базини и это для меня — две разные вещи. А разное я не имею обыкновения валить в одну кучу.

У Байнеберга перекошилось лицо от этой непривычной решительности, даже грубости его младшего товарища.

Но Тёрлес чувствовал, что одно упоминание о Базини подкосило всю его уверенность, и чтобы скрыть это, он вознегодовал.

— Ты вообще утверждаешь какие-то вещи с прямо-таки сумасшедшей уверенностью. А ты не считаешь, что твои теории точно так же построены на песке, как другие? И ходы у тебя гораздо более извилистые, и гораздо больше доброй воли требуется, чтобы их понять.

Байнеберг удивительным образом не разозлился; он только улыбнулся — правда, немного криво, и глаза его сверкнули вдвое беспокойнее — и скороговоркой сказал:

— Увидишь еще, увидишь еще...

— Что же я увижу? А и увижу — так хотя бы увижу. Но меня это очень мало интересует, Байнеберг! Ты не понимаешь меня. Ты совершенно не знаешь, что меня интересует. Если меня мучит математика и если меня... — но он быстро одумался и ничего не сказал о Базини, — если меня мучит математика, то я ищу за ней чего-то совсем другого, чем ты, я не ищу ничего сверхъестественного, а ищу именно естественное... понимаешь? Ничего не ищу вне себя... я ищу что-то в себе. В себе! Что-то естественное! Чего я, несмотря на это, не понимаю! Но тебе это так же невдомек, как тому математику... ах, отстань от меня сейчас со своими рассуждениями!

Тёрлес, вставая, дрожал от волнения.

А Байнеберг повторил скороговоркой:

— Ну, увидим, увидим...

Лежа вечером в постели, Тёрлес не мог уснуть. Четверти часа украдкой, как медицинские сестры, удалялись от его ложа, ноги у него были ледяные, а одеяло давило его, вместо того чтобы греть.

В дортуаре слышалось лишь спокойное и ровное дыхание воспитанников, которые после труда учебных занятий, гимнастики и бега на воздухе уснули здоровым, животным сном.

Тёрлес прислушивался к дыханию спящих. Это было дыхание Байнеберга, это — Райтинга, это — Базини; которое? Он этого не знал; но одно из многих, равномерных, равно спокойных, равно уверенных, поднимавшихся и опускавшихся, как механическое устройство.

Одна из полотняных занавесок размоталась, опускалась, только на половину; ниже ее в комнату глядела светлая ночь, вычерчивая по полу бледный неподвижный четырехугольник. Шнурок ее то ли зацепился вверху, то ли выскочил и безобразно извивался, свисая, а тень его на полу ползла по светлому четырехугольнику, как червяк.

Во всем этом было какое-то пугающее, гротескное безобразие.

Тёрлес попробовал думать о чем-нибудь приятном. Ему вспомнился Байнеберг. Разве не перещеголял он его сегодня? Не нанес удар его превосходству? Разве не удалось ему сегодня впервые отстоять перед кем-то свою самобытность? Так подчеркнуть ее, что тот почувствовал бесконечную разницу в тонкости ощущений, отделявшую друг от друга их восприятие? Сумел ли тот еще как-то возразить? Да или нет?..

Но это «да или нет?» пузырилось в его голове и лопалось, «да или нет?.. да или нет?..» пузырилось опять и опять, не переставая, в ритме топота, как грохот поезда, как колыханье цветов на слишком высоких стеблях, как стук молотка, слышный через множество тонких стен в тихом доме... Это навязчивое, самодовольное «да или нет?» было противно Тёрлесу. Его радость была неправа, походила на какие-то смешные подскоки.

И в довершение, когда он встрепенулся, показалось, что это кивает его голова, перекачивается по плечам или ритмично поднимается и опускается...

Наконец в Тёрлесе все умолкло. Перед его глазами была только широкая черная плоскость, кругообразно расходившаяся во все стороны.

Вот издалека, от края... двинулись через стол... две маленькие шатающиеся фигурки. Это были явно его родители. Но такие маленькие, что он не мог испытывать к ним какие-либо чувства.

На другой стороне они исчезли.

Потом появились опять двое... Но вот кто-то сзади пробежал мимо них — шагами, которые были вдвое длинней его роста... и вот он уже скрылся за краем. Не был ли это Байнеберг?.. Ну, а те двое — ведь один из них был же учитель математики? Тёрлес узнал его по платочку, кокетливо выглядывавшему из кармана. А дру-

гой? С очень, очень толстой книгой под мышкой, книгой в половину его роста? Он еле тащил ее... Через каждые два шага они останавливались и клали книгу на землю. И Тёрлес услышал, как писклявый голос его учителя сказал: «Если дело обстоит так, мы найдем то, что нужно, на странице двенадцатой, страница двенадцатая отсылает нас дальше, на страницу пятьдесят вторую, но тогда остается в силе и то, что было замечено на странице тридцать первой, а при таком условии...» При этом они стояли, склонившись над книгой, и совали в нее руки, отчего страницы разлетались. Через некоторое время они опять выпрямились, и другой пять или шесть раз погладил учителя по щекам. Затем они вновь прошли несколько шагов, и Тёрлес снова услышал этот голос, в точности так, как если бы тот на уроке математики перечислял пункты какого-нибудь длинного доказательства. Это продолжалось до тех пор, пока другой опять не погладил учителя.

Этот другой?.. Тёрлес нахмурил брови, чтобы лучше видеть. Не носил ли он косичку? И довольно старинное платье? Очень старинное? Даже шелковые штаны до колен? Это уж не?.. О! Тёрлес проснулся с криком: «Кант!»

В следующий миг он улыбался; вокруг было очень тихо, дыхание свящих притихло. Он тоже спал. И в постели его тем временем стало тепло. Он сладко потянулся под одеялом.

«Мне, значит, снился Кант, — подумал он, — почему не дольше? Может быть, он мне все же что-нибудь выболтал бы?» Он вспомнил, как однажды, не подготовившись по истории, он всю ночь так живо видел во сне относящиеся к предмету лица и события, что на следующий день мог рассказать обо всем так, словно сам при этом присутствовал, и выдержал экзамен с отличием. И тут ему опять пришел на ум Байнеберг, Байнеберг и Кант — вчерашний разговор.

Медленно уходил от Терлеса сон — медленно, как шелковое одеяло, которое, сползая, скользит по коже голого тела и никак не кончается.

И все же улыбка его вскоре снова сменилась каким-то странным беспокойством. Разве в своих мыслях он действительно продвинулся хотя бы на шаг? Разве хоть

что-нибудь вычитал в этой книге, что содержало бы разгадку всех загадок? А его победа? Конечно, только его неожиданная живость заставила замолчать Байнеберга.

Опять им овладели глубокое отвращение и буквально физическая тошнота. Несколько минут он пролежал совершенно раздавленный омерзением.

Затем, однако, до его сознания вдруг снова дошло, что его тела всюду касается мягкое, теплое полотно постели. Осторожно, очень медленно и осторожно повернул Тёрлес голову. Верно, на каменному полу лежал еще тот тусклый четырехугольник, хоть и с немного смещенными сторонами, но по нему еще ползла та извивающаяся тень. Ему показалось, что там сидит на цепи какая-то опасность, за которой он из своей постели, как бы защищенный решеткой, может наблюдать со спокойствием неуязвимости.

В его коже, вокруг всего его тела, проснулось при этом некое чувство, которое вдруг превратилось в образ памяти. Когда он был совсем маленький — да, да, это было тогда, когда он еще носил платица и еще не ходил в школу, — бывали времена, когда ему невыразимо страстно хотелось быть девочкой. И это страстное желание шло тоже не от головы — о нет — и не от сердца, — оно вызывало щекотку во всем теле и зудело под кожей. Да, бывали мгновения, когда он настолько живо ощущал себя девочкой, что думал, что иначе и быть не может. Ибо тогда он ничего не знал о значении соматических различий и не понимал, почему ему со всех сторон твердили, что теперь он навсегда останется мальчиком. А когда его спрашивали, почему он считает, что лучше быть девочкой, он чувствовал, что выразить это нельзя...

Сегодня он впервые снова ощутил нечто подобное. Снова вот так, зудом под кожей...

Нечто, казавшееся и телом, и душой одновременно. Бег и спех, тысячами бабочек с бархатными щупальцами бившиеся в его теле. И одновременно то упорство, с каким убегают девочки, когда чувствуют, что взрослые все равно не поймут их, надменность, с какой они потом украдкой подсмеиваются над взрослыми, эту боязливую, всегда готовую к быстрому побегу надменность, чувствующую, что она в любой миг может улизнуть в какое-то ужасное глубокое укрытие в маленьком теле...

Тёрлес тихо засмеялся про себя и снова сладко потянулся под одеялом.

Этот суебливый человек, приснившийся ему, как жадно перебирал он страницы пальцами! А четырехугольник там внизу? Ха-ха. Замечали ли когда-нибудь в своей жизни что-либо подобные такие умные человечки? Он показался себе бесконечно защищенным от этих умников и впервые почувствовал, что его чувственность — ведь что это она, он давно уже знал — есть нечто такое, чего у него никто не сможет отнять и в чем подражать ему тоже никто не сможет, нечто такое, что, словно высочайшей, потаеннейшей стеной, защищает его от всякой чужой умности.

Лежали ли когда-нибудь в жизни, продолжал он эти мечты, такие умные человечки под уединенной стеной и пугались ли при каждом шорохе за известкой, словно там что-то мертвое искало слов, чтобы заговорить с ними? Чувствовали ли они когда-нибудь так музыку, которую заводит ветер в осенних листьях, — так до конца и насквозь, что за ней вдруг открывался какой-то ужас, который медленно, медленно превращался в чувственность. Но в такую странную чувственность, которая скорее походит на бегство и на взрыв смеха потом. О, легко быть умным, если не знаешь всех этих вопросов...

Но между тем то и дело казалось, что этот маленький человечек вырастает с неумолимо строгим лицом в исполина, и каждый раз дрожь, как от электрического удара, мучительно пробегала от мозга по телу Тёрлеса. Вся боль из-за того, что он все еще стоит перед запертой дверью, — то самое, что еще миг назад вытесняли теплые удары его крови, — вся эта боль пробуждалась тогда снова, и душу Тёрлеса наполняла бессловесная жалоба, как вой собаки, дрожащий над широкими ночными полями.

Так он уснул. Уже в полусне он еще несколько раз взглянул на пятно у окна, так машинально дотрагиваются до каната крепления, чтобы убедиться, что он еще натянут. Затем неясно всплыло намерение хорошенько поразмыслить о себе завтра — лучше всего с пером и бумагой, — затем, совсем под конец, была лишь приятная теплота — как ванна и чувственное возбуждение, — однако как таковая эта теплота уже не была им осознана, а каким-

то совершенно непостижимым, но очень явственным образом связалась с Базини.

Затем он спал крепко и без сновидений.

И все же это было первое, с чем Тёрлес проснулся на следующий день. Ему очень хотелось знать, что он, собственно, тогда под конец то ли думал, то ли видел во сне о Базини, но он не был в состоянии вспомнить это.

Осталось от всего только такое ласковое чувство, какое царит на Рождество в доме, где дети знают, что подарки уже доставлены, но еще заперты за той таинственной дверью, сквозь щели которой нет-нет да проникнет луч елочного сияния.

Вечером Тёрлес остался в классе; Байнеберг и Райтинг куда-то ушли, наверно, в каморку на чердаке; Базини сидел впереди на своем месте, подперев обеими руками склоненную над книгой голову.

У Тёрлеса была припасена тетрадь, и он тщательно приготовил перо и чернила. Затем написал на первой странице, немного помедлив: *De natura hominum**, он полагал, что философский предмет требует латинского названия. Затем нарисовал большую искусную виньетку вокруг заглавия и откинулся на стуле, чтобы подождать, пока она высохнет.

Но это произошло уже давно, а он все еще не брался за перо снова. Что-то удерживало его в неподвижности. Это было гипнотическое воздействие больших жарких ламп, животного тепла, исходившего от этой массы людей. Он всегда был подвержен этому состоянию, доходившему у него порой до физического ощущения жара, которое всегда бывало связано с чрезвычайной духовной чувствительностью. Так и сегодня. Он давно уже подспудно наметил, что, собственно, запишет: весь ряд впечатлений определенного рода от той встречи у Божены до той смутной чувственности, поторая появлялась у него в последние разы. Когда все это будет по порядку, факт за фактом, описано, надеялся он, само собой получится и правильное, разумно-закономерное построение, подобно тому, как из путаницы стократно пересекающихся кривых выступает форма обводящей их линии. И большего он не хотел. Но до сих пор с ним было так же, как с ры-

* О природе людей (лат.).

баком, который по дрожанию сети чувствует, что добыча попалась тяжелая, но, несмотря ни на какие усилия, не может вытащить ее на свет.

И вот Тёрлес все-таки начал писать — но торопливо и уже не обращая внимания на форму. «Я чувствую что-то в себе, — записал он, — и сам не знаю, что это такое». Однако он быстро зачеркнул эту строчку и написал вместо нее: «Наверно, я болен... безумен!» Тут у него мурашки пошли по телу, ибо в этом слове есть что-то приятно-патетическое. «Безумен — иначе почему меня изумляют вещи, которые кажутся другим обыкновенными? Почему это изумление мучит меня? Почему оно пробуждает во мне нечестивые чувства?» Он нарочно выбрал это полное библейской елейности слово, потому что оно показалось ему темнее и полновеснее. «Прежде я противостоял этому, как каждый молодой человек, как все мои товарищи...» Но тут он остановился. «Правда ли это? — подумал он. — У Божены, например, было ведь уже так странно. Когда же это, собственно, началось?.. Все равно, — подумал он, — когда-то, во всяком случае». Но фразу он так и не довел до конца.

«Какие вещи изумляют меня? Самые незначительные. Чаще всего неодушевленные предметы. Что изумляет меня в них? Что-то, чего я не знаю. Но то-то и оно! Откуда же я беру это «что-то»? Я ощущаю его присутствие. Оно воздействует на меня — так, словно оно хочет заговорить. Я испытываю волнение человека, который должен по движениям губ парализованного догадаться, что тот хочет сказать, и никак не догадывается. Словно у меня на одно чувство больше, чем у других, но чувство это не вполне развито, оно есть, оно напоминает о себе, но оно не работает. Мир для меня полон беззвучных голосов. Кто я поэтому — ясновидящий или одержимый галлюцинациями?»

Но воздействует на меня не только неодушевленное: нет, и это гораздо больше ввергает меня в сомнения, и люди тоже. До какой-то поры я видел их такими, какими они видят себя. Байнеберг и Райтинг, например, — у них имеется своя каморка, самая обыкновенная, потайная каморка на чердаке, потому что им доставляет удовольствие обладать таким убежищем. Одно они делают, потому что злы на кого-то, другое — чтобы предотвратить чье-

то влияние на товарищей. Все понятные, ясные причины. А сегодня они иногда предстают мне такими, словно я вижу сон и они — действующие лица этого сна. Не только их слова, их поступки, нет, все в них, связанное с их физическим присутствием, оказывает на меня такое же воздействие, как неодушевленные предметы. И все-таки я слышу, как они рядом со мной говорят совершенно по-прежнему, вижу, что их поступки и их слова все еще выстраиваются совершенно по тем же формам... Все это непрестанно пытается уверить меня, что ничего необычного не происходит. И тем не менее так же непрестанно что-то во мне против этого восстает. Перемена эта началась, если я не ошибаюсь, после того как Базини...»

Тут Тёрлес непроизвольно посмотрел на него.

Базини все еще сидел, склонившись над своей книгой, и, казалось, учил урок. При этом зрелище в Тёрлесе умолкли его мысли, и ему представился случай снова почувствовать те сладостные муки, которые он только что описывал. Ибо достаточно было ему отметить, как спокойно и невинно сидит перед ним Базини, решительно ничем не отличаясь от других, сидевших справа и слева, чтобы в Тёрлесе ожили унижения, которые Базини вынес. Ожили... то есть он и думать не думал — с той снизойдательностью, которая следует за морализированием, — говорить себе, что всякий, претерев унижения, старается поскорей обрести хотя бы внешнюю непринужденность, нет, в нем что-то безумно завертелось, сразу же сжав и извратив, а затем невидимым образом разорвав на части образ Базини так, что у него самого голова пошла кругом. Это, впрочем, были только сравнения, которые он придумал позднее. В этот миг у него было только чувство, что что-то в нем, как бешеная юла, вихрем поднимается из сдавленной груди к голове, чувство головокружения. Россыпью цветных точек вкраплялись в это ощущение чувства, которые Базини внушал ему в разное время.

По сути же это было всегда только одно и то же чувство. И по сути даже вообще не чувство, а землетрясение далеко в глубине, землетрясение это никаких заметных волн не отбрасывало, и все-таки вся душа вздрагивала от него с такой сдержанной мощью, что волны даже са-

мых бурных чувств кажутся по сравнению с этим безобидной рябью.

Если это одно чувство в разное время осознавалось им все же по-разному, то причина была в том, что для истолкования этой волны, захлестывавшей весь его организм, он располагал только теми образами, которые мог чувственно воспринять, — так из зыби, бесконечно простирающейся во мраке, взлетают лишь брызги у скал освещенного берега, чтобы сразу же снова беспомощно выпасть из пучка света и утонуть.

Эти впечатления были поэтому непрочны, изменчивы, сопровождалась сознанием их случайности. Тёрлесу никогда не удавалось задержать их, ибо приглядываясь к ним внимательно, он чувствовал, что эти представители на поверхности совершенно несопоставимы с мощью той темной, косной массы, которую они якобы представляли.

Никогда он не «видел» Базини в живой пластике той или иной позы, никогда у него не было настоящего видения, а всегда лишь иллюзия такового, как бы лишь видения его видений. Ибо всегда у него бывало такое ощущение, будто какая-то картина только что промелькнула по таинственной плоскости, и никогда не удавалось ему схватить сам этот миг. Поэтому в нем никогда не унималось то беспокойство, какое испытываешь в кинематографе, когда при иллюзии целостности нельзя все же избавиться от смутного ощущения, что за картиной, которую воспринимает твой глаз, мелькают сотни совсем других, если взять их в отдельности, картин.

Но где ему, собственно, искать в себе эту родящую иллюзию силу, эту силу, всегда недодающую неизмеримо малую долю иллюзии, Тёрлес не знал. Он лишь смутно догадывался, что она связана все с тем же загадочным свойством его души — чувствовать иногда, как и неодушевленные вещи, просто предметы атакуют ее сотнями молчаливых вопрошающих глаз.

Итак, Тёрлес сидел тихо и неподвижно, непрестанно поглядывая на Базини, целиком захваченный вихрем, бушевавшим внутри у него. И снова, и снова вставал все тот же вопрос: что это за особое свойство, которым я обладаю? Постепенно он перестал видеть и Базини, и пышущие жаром лампы, перестал чувствовать животное тепло вокруг себя, и жужжанье, и гул, которые поднима-

ются от множества людей, даже если они говорят только шепотом.

Жаркой, темной, пылающей массой все это неразличимо кружилось вокруг него. Он чувствовал только жжение в ушах и ледяной холод в кончиках пальцев. Он находился в том состоянии жара больше души, чем тела, которое очень любил. Все больше нарастало это настроение, пришеивавшее к себе и нежные чувства. В этом состоянии он раньше охотно предавался тем воспоминаниям, какие оставляет женщина, когда ее теплое дыхание впервые овеет такую юную душу. И сегодня тоже в нем проснулось это усталое тепло. Вот оно: одно воспоминание... Это было в поездке... в одном итальянском городке... он жил с родителями на постоялом дворе недалеко от театра, там каждый вечер давали одну и ту же оперу, и каждый вечер он слышал каждое слово, каждый звук, доносившийся оттуда. Но он не знал языка. И все же он каждый вечер сидел у открытого окна и слушал. Так влюбился он в одну из актрис, ни разу ее не увидев. Никогда не захватывал его театр так, как тогда; он ощущал страсть мелодий, как взмахи крыльев больших темных птиц, словно бы чувствуя линии, которые проводил в его душе их полет. Это были уже не человеческие страсти — то, что он слышал, нет, это были страсти, вылетевшие из людей, как из слишком тесных и слишком будничных клеток.

В этом волнении он никогда не думал о людях, что там, в театре — невидимые — исполняли эти страсти; стоило ему попытаться представить себе их, как тотчас перед глазами у него вспыхивало темное пламя или что-то неслыханно огромных размеров, наподобие того, как в темноте вырастают человеческие тела, а человеческие глаза светятся как зеркала глубоких колодцев. Это мрачное пламя, эти глаза в темноте, эти черные взмахи крыльев он любил тогда под именем той незнакомой ему актрисы.

А кто создал эту оперу? Он не знал. Может быть, либретто ее было пошлым, сентиментальным любовным романом. Чувствовал ли его создатель, что благодаря музыке оно станет чем-то другим?

Тёрлес весь сжался от одной мысли. Таковы ли и взрослые? Таков ли мир? Не общий ли это закон, что

в нас есть что-то, что сильнее, больше, прекраснее, страстнее, темнее, чем мы? Над чем мы настолько не властны, что можем лишь наудачу разбрасывать тысячи зерен, пока одно вдруг не прорастет темным пламенем, которое поднимется далеко выше нас?.. И в каждом нерве его тела дрожало в ответ нетерпеливое «да».

Тёрлес посмотрел вокруг блестящими глазами. Все еще были на месте лампы, тепло, свет, усердные люди. Но среди всего этого он показался себе каким-то избранником. Каким-то святым, которому являются небесные видения. Ибо об интуиции великих художников он ничего не знал.

Торопливо, с поспешностью страха он схватил перо и записал несколько строк о своем открытии, казалось, все это еще раз озарило его душу, как некий свет... а затем глаза ему застлало пепельно-серым дождем, и пестрый блеск в нем погас...

...Но эпизод с Кантом был почти полностью преодолен. Днем Тёрлес вообще не думал об этом больше; убежденность, что сам он уже близок к разрешению своих загадок, была слишком жива в нем, чтобы ему заботиться еще о чьих-то путях. После этого последнего вечера ему казалось, что он уже держал в руке ручку ведущей туда двери, только она вдруг выскользнула. Но поняв, что от помощи философских книг надо отказаться, да и не очень-то доверяя им, он пребывал в некоторой растерянности насчет того, как снова найти эту ускользнувшую ручку. Он несколько раз пытался продолжить свои записи, однако написанные слова оставались мертвы, оставались вереницей угрюмых, давно знакомых вопросительных знаков, не пробуждая снова того мгновения, когда он сквозь них заглядывал как бы в подвал, освещенный дрожащими огоньками свечей.

Поэтому он решил как можно чаще снова и снова искать ситуации, которые несли в себе это, такое необыкновенное для него содержание; и особенно часто останавливался его взгляд на Базини, когда тот, не подозревая, что за ним наблюдают, вращался среди других как ни в чем не бывало. «Уж когда-нибудь, — думал Тёрлес, — оно оживет снова и станет, может быть, живее и яснее, чем

прежде». И он совсем успокаивался от этой мысли, что по отношению к таким вещам находишься просто в темной комнате и, когда ускользает из-под пальцев нужное место, ничего другого не остается, как еще и еще раз ощупывать наобум темные стены.

Ночами, однако, эта мысль несколько блекла. Тут на него находил вдруг какой-то стыд из-за того, что он все увиливает от своего первоначального намерения постараться извлечь из книги, которую ему показал учитель, содержащееся там все-таки, может быть, объяснение. Тогда он спокойно лежал, прислушиваясь к Базини, чье поруганное тело дышало мирно, как тела всех других. Он лежал спокойно, как охотник в засаде, с чувством, что время, проведенное в таком ожидании, еще вознаградит себя. Но как только возникала мысль о книге, в это спокойствие мелкими зубками вгрызалось сомнение, подозрение, что он делает не то, нерешительное признание своего поражения.

Как только это неясное чувство заявляло о себе, внимание его утрачивало ту неприятную невозмутимость, с какой наблюдаешь за ходом научного эксперимента. Тогда казалось, что от Базини исходит какое-то физическое влияние, какое-то возбуждение, словно спишь близ женщины, с которой можешь в любой миг сорвать одеяло. Щекотка в мозгу, идущая от сознания, что достаточно только протянуть руку. То, что часто толкает молодые пары к излишествам, выходящим далеко за пределы их чувственной потребности.

В зависимости от того, насколько живо он ощущал, что его затея показалась бы ему, быть может, смешной, если бы он знал все то, что знает Кант, знает его учитель, знают все, прошедшие курс наук, в зависимости от силы этого потрясения ослабевали или усиливались чувственные стимулы, из-за которых глаза его не остывали и не закрывались, несмотря на тишину общего сна. А порой эти стимулы вспыхивали в нем даже с такой мощностью, что заглушали любую другую мысль. Когда он в эти мгновения полупокорно-полуотчаянно отдавался их нашептываниям, с ним происходило лишь то, что происходит со всеми людьми, которые тоже ведь никогда не бы-

вают так склонны к бешеной, разнузданной, разрывающей душу, сладострастно-намеренно разрывающей душу чувственности, как тогда, когда они потерпели неудачу, нарушившую равновесие их самоуверенности...

Когда он потом после полуночи лежал наконец в беспокойной дремоте, ему несколько раз казалось, что кто-то в стороне Райтинга или Байнеберга вставал с кровати, накидывал шинель и подходил к Базини. Затем они покидали зал... Но это могло и почудиться...

Наступили два дня праздника; поскольку они пришли на понедельник и вторник, директор отпустил воспитанников уже в субботу, и получились четырехдневные каникулы. Для Тёрлеса, однако, это был слишком малый срок, чтобы предпринять дальнюю поездку домой; поэтому он надеялся, что хотя бы родители известят его, но отца задерживали неотложные дела в министерстве, а мать чувствовала себя не совсем здоровой и не могла отправиться в утомительный путь одна.

Лишь получив письмо, в котором родители сообщали, что не приедут, и присовокупляли всякие нежные утешения, Тёрлес почувствовал, что так оно, собственно, и лучше для него. Он воспринял бы это чуть ли не как помеху, — во всяком случае, это привело бы его в большое смятение, — если бы ему пришлось предстать перед родителями именно сейчас.

Многие воспитанники получили приглашения из близлежащих имений. Джюш, у его родителей было прекрасное поместье на расстоянии одного дня езды на коляске от городка, тоже взял отпуск, и Байнеберг, Райтинг, Гофмайер сопровождали его. Базини Джюш тоже пригласил, однако Райтинг велел ему отказаться. Тёрлес сослался на то, что не знает, не приедут ли все же родители; он был совершенно не расположен к бесхитроственному праздничному веселью и развлечениям.

Уже в субботу во второй половине дня весь большой дом умолк и почти опустел.

Когда Тёрлес шагал по коридорам, гул проходил от одного их конца к другому; решительно никому не было до него дела, ибо и большинство учителей уехало на охоту или еще куда-нибудь. Только во время трапез, кото-

рые подавали теперь в маленькой комнатке возле покинутой столовой, виделись немногие оставшиеся воспитанники; после еды шаги их снова рассеивались в длинной чередой коридоров и комнат, безмолвие дома как бы поглощало их, они сейчас вели жизнь не более заметную, чем жизнь пауков и многоножек в подвале и на чердаке.

Из класса Тёрлеса остались только он и Базини, не считая тех, кто лежал в палатах для больных. При прощании Тёрлес обменялся с Райтингом несколькими тайными словами, которые касались Базини. Райтинг боялся, что Базини воспользуется случаем, чтобы поискать защиты у кого-нибудь из учителей, и очень просил Тёрлеса хорошенько следить за ним.

Однако в этом вовсе не было нужды, внимание Тёрлеса и так было сосредоточено на Базини.

Едва ушла из дома суета подъезжающих колясок, несущих чемоданы слуг, весело прощающихся воспитанников, как Тёрлесом властно овладело сознание, что он остался с Базини наедине.

Это было после первой обеденной трапезы. Базини сидел спереди на своем месте и писал письмо; Тёрлес сел в самом заднем углу комнаты и пытался читать.

То была впервые опять та самая книга, и Тёрлес тщательно продумал эту ситуацию заранее: Базини сидит впереди, он сзади, конечно, держа его глазами, входя в него, как бурав. И читать он хотел так. После каждой страницы глубже погружаясь в Базини. Так, должно быть, это получится; так должен был он найти истину, не выпустив из рук жизнь, живую, сложную, сомнительную жизнь...

Но это не получалось. Как всегда, когда он чересчур тщательно продумывал все заранее. Слишком мало было непосредственности, и нужное настроение пропадало, превращаясь в вязкую, как размазня, скуку, противно прилипавшую к каждой слишком нарочитой новой попытке.

Тёрлес со злостью швырнул книгу на пол. Базини испуганно обернулся, но сразу поспешно стал снова писать.

Так подползли часы к сумеркам. Тёрлес сидел в полном отупении. Единственным, что из какого-то общего чувства жужжащей, гудящей духоты поднималось до

его сознания, было тиканье его карманных часов. Как хвостик, виляло оно за вялым туловищем времени. В комнате все расплывалось... Базини, конечно, давно уже не мог больше писать... «а, наверно, он не осмеливается зажечь свет», подумал Тёрлес. Сидит ли он вообще еще на своем месте? Тёрлес глядел в окно на холодный, сумеречный пейзаж, и глаза его должны были сперва привыкнуть к темноте комнаты. Нет, сидит. Вон та неподвижная тень, это, наверно, он. Ах, он даже вздыхает — один раз... два раза, уж не уснул ли он?

Вошел служитель и зажег лампы. Базини встрепенулся и протер глаза. Затем вынул книгу из ящика и, казалось, принялся за чтение. Тёрлесу донельзя хотелось заговорить с ним, и во избежание этого он поспешно вышел из комнаты.

Ночью Тёрлес чуть не бросился на Базини. Такая ужасная чувственность проснулась в нем после муки бездумного, тупого дня. К счастью, подоспел избавительный сон.

Прошел следующий день. Он не принес ничего, кроме той же бесплодности тишины. Молчание, ожидание извели Тёрлеса... постоянное внимание поглотило все его умственные силы, он был не способен ни о чем думать.

Разбитый, разочарованный, до злейших сомнений недовольный собой, он рано лег в постель.

Он уже долго лежал в беспокойном, разгоряченном полусне, когда услышал, как вошел Базини.

Не шевелясь, он проводил глазами темную фигуру, которая прошла мимо его кровати; он слышал шорохи, вызываемые раздеванием, затем шелест натягиваемого на тело одеяла.

Тёрлес задержал дыхание, однако ничего больше не услышал. И все же его не покидало чувство, что Базини не спит, а так же напряженно, как он, прислушивается к темноте. Так проходили минуты... часы. Прерываемые лишь изредка тихим шорохом ворочающихся в постели тел.

Тёрлес находился в странном состоянии, не дававшем ему уснуть. Вчера его лихорадило от чувственных картин, которые ему рисовало воображение. Лишь совсем под

конец они повернули к Базини, как бы под неумолимой рукой сна, погасившего их, после того, как они вспыхнули напоследок, и как раз от этого у него и осталось только очень смутное воспоминание. А сегодня с самого начала было лишь инстинктивное желание встать и пойти к Базини. Пока у него было чувство, что Базини не спит и прислушивается к нему, выдержать это было почти невозможно; а теперь, когда тот, вероятно, все же уснул уже, и вовсе несносно хотелось напасть на спящего, как на добычу.

Тёрлес уже чувствовал, как во всех его мышцах дрожат движения, которые нужно сделать, чтобы приподняться и встать с постели. Однако он все еще не был в силах стряхнуть с себя свою неподвижность.

«Что мне, собственно, от него нужно?» — спросил он себя почти вслух от страха. И должен был признаться себе, что его жестокость и чувственность никакой настоящей цели совсем не имели. Он пришел бы в замешательство, если бы действительно бросился на Базини. Он же не хотел бить его? Боже упаси! Каким же образом должно было уняться его чувственное возбуждение? Он невольно почувствовал отвращение, подумав о разных мальчишеских пороках. Так позориться перед другим человеком? Никогда!..

Но по мере того как росло это отвращение, усиливалось и стремление пойти к Базини. Наконец Тёрлес целиком проникся сознанием бессмысленности такой затеи, но какая-то поистине физическая сила, казалось, тянула его, словно за веревку, с кровати. И в то время как все картины уходили у него из головы и он твердил себе, что самое лучшее сейчас — это постараться уснуть, он машинально приподнялся на своем ложе. Приподнялся очень медленно — прямо-таки чувствуя, как эта внутренняя сила лишь мало-помалу оттесняет препятствия. Сначала оперся на локоть, затем высунул из-под одеяла колено... затем... он вдруг босиком, на цыпочках, подбежал к Базини и сел на край его кровати.

Базини спал.

Вид у него был такой, словно ему снилось что-то приятное.

Тёрлес все еще не управлял своими действиями. Несколько мгновений он просидел тихо, оставившись в ли-

цо спящего. В мозгу его мелькали те короткие, отрывочные мысли, как бы лишь контрастирующие ситуацию, которые приходят, когда теряешь равновесие, падаешь или когда у тебя вырывают из рук какой-то предмет. И, не опомнившись, он схватил Базини за плечо и растормошил.

Спавший несколько раз вяло потянулся, затем приподнялся и посмотрел на Тёрлеса сонными глазами.

Тёрлес испугался; он был в полном смятении; его поступок впервые дошел до его сознания, и он не знал, что делать теперь. Ему было ужасно стыдно. Сердце громко стучало. На языке вертелись слова объяснения, отговорки. Он хотел спросить Базини, нет ли у него спичек, не может ли он сказать, который сейчас час...

Базини смотрел на него все еще непонимающе.

Тёрлес уже отнял руку, не выдавив из себя ни слова, уже соскользнул с кровати, чтобы бесшумно юркнуть в свою постель, — и тут Базини, кажется, уразумел ситуацию и выпрямился одним рывком.

Тёрлес нерешительно остановился у изножья кровати. Базини еще раз посмотрел на него вопросительным, испытующим взглядом, затем совсем поднялся с постели, накинул шинель, сунул ноги в домашние туфли и, шаркая ими, пошел вперед.

Тёрлесу мгновенно стало ясно, что это случается не в первый раз.

Проходя мимо, он захватил ключ от клетушки, который был спрятан у него под подушкой...

Базини шагал напрямиком к чердачной каморке. Он успел, казалось, хорошо усвоить дорогу, которую тогда ведь еще утаивали от него. Он поддержал ящик, когда Тёрлес влезал на него, он отодвигал кулисы в сторону, осторожно, сдержанными движениями, как вышколенный лакей.

Тёрлес отпер дверь, и они вошли. Он стал спиной к Базини и зажег фонарик.

Когда он обернулся, Базини стоял перед ним нагишом.

Он невольно сделал шаг назад. Внезапное зрелище этого голого, белого, как снег, тела, за которым красный цвет стен превращался в кровь, ослепило и потрясло его. Базини был хорошо сложен; в его теле не было почти ничего от мужских форм, в нем была целомудренная,

стройная, девичья худощавость. И Тёрлес почувствовал, как от вида этой наготы загораются белым пламенем его нервы. Он не мог уйти от власти этой красоты. Он не знал раньше, что такое красота. Ведь что ему в его возрасте было искусство, что он, в сущности, знал о нем?! Оно ведь любому выросшему на вольном воздухе человеку до известного возраста непонятно и скучно!

А тут оно пришло к нему дорогой чувственности. Тайно нагрнуло. Одурачающее, теплое дыхание шло от обнаженной кожи, мягкая, сладострастная угодливость. И все же было в этом что-то такое торжественное и покоряющее, что хотелось молитвенно сложить руки.

Но после первого изумления Тёрлес устыдился и того и другого. «Он же мужчина!» Эта мысль возмутила его, но у него было такое ощущение, словно и девушка не была бы иной.

Устыдившись, он прикрикнул на Базини:

— Ты что? Ну-ка, сейчас же!..

Теперь, казалось, смутился *тот*; медля и не спуская глаз с Тёрлеса, он поднял с пола шинель.

— Садись! — приказал Тёрлес Базини. Тот повиновался. Тёрлес прислонился к стене скрещенными за спиной руками.

— А почему ты разделся? Чего ты хотел от меня?

— Ну, я думал...

Заминка.

— Что ты думал?

— Другие...

— Что другие?

— Байнеберг и Райтинг...

— Что Байнеберг и Райтинг? Что они делали? Ты должен все рассказать мне! Я так хочу — понятно? Хотя я и слышал это уже от других.

Тёрлес покраснел от этой неуклюжей лжи. Базини кусал губы.

— Ну, долго еще?

— Нет, не требуй, чтобы я рассказывал! Пожалуйста, не требуй этого! Я ведь сделаю все, что ты захочешь. Но не заставляй меня рассказывать... О, у тебя такой особый способ мучить меня!..

Ненависть, страх и мольба боролись в глазах Базини. Тёрлес невольно уступил.

— Я вовсе не хочу тебя мучить. Я хочу только, чтобы ты сам сказал полную правду. Может быть, в твоих же интересах.

— Но я же не делал ничего, что стоило бы особо рассказывать.

— Вот как? А почему же ты тогда разделся?

— Они требовали этого.

— А почему ты делал то, что они требовали? Ты, значит, трус? Жалкий трус?

— Нет, я не трус! Не говори так!

— Заткнись! Если ты боишься получить от них взбучку, то тебе не вредно было бы получить ее и от меня!

— Да не боюсь я никакой взбучки.

— Вот как? А чего же?

Тёрлес опять говорил спокойно. Его уже коробило от собственной грубой угрозы. Но она вырвалась у него невольно, только потому, что ему показалось, что Базини ведет себя с ним вольнее, чем с другими.

— А если ты, как ты говоришь, не боишься, то в чем же дело?

— Они говорят, что если я буду им подчиняться, то через некоторое время мне все простят.

— Они оба?

— Нет, вообще.

— Как могут они это обещать? Есть ведь еще и я!

— Об этом уж они позаботятся, говорят они!

Это подействовало на Тёрлеса, как удар. Ему вспомнились слова Байнеберга, что при случае Райтинг обошелся бы с ним в точности так же, как с Базини. А если бы дело и впрямь дошло до интриги против него, как следовало бы ему действовать? В таких вещах он не мог тягаться с ними обоими, насколько далеко зашли бы они? Как с Базини?.. Все в нем восставало против этой язвительной мысли.

Несколько минут протекло между ним и Базини. Он знал, что ему недостает отваги и выдержки для таких козней, но только потому, что они слишком мало интересовали его, потому что он никогда не участвовал в них всей душой. Тут ему всегда приходилось больше проигрывать, чем выигрывать. Но случись однажды иначе, у него, чувствовал он, появилось бы и совсем другое упорство, совсем другая храбрость. Только следовало знать, когда надо все поставить на карту.

— Они говорили тебе подробнее?.. как это они представляют себе?.. насчет меня?

— Подробнее? Нет. Они говорили только, что уж позаботятся.

Однако... Опасность была налицо... она где-то затаилась... и поджидала Тёрлеса; каждый шаг мог завести в капкан, каждая ночь могла быть последней перед боями. Огромная ненадежность заключалась в этой мысли. Это было уже совсем не то, что спокойно отдаваться течению, совсем не то, что играть с загадочными видениями: это имело твердые углы и было осязаемой реальностью.

Разговор возобновился.

— А что они делают с тобой?

Базини промолчал.

— Если ты всерьез хочешь исправиться, ты должен сказать мне все.

— Они заставляют меня раздеваться.

— Да, да, это я видел же... а потом?..

Прошло несколько мгновений, и вдруг Базини сказал:

— Разное.

Он сказал это с женственной блудливой интонацией.

— Ты, значит, их... любов... ница?

— О нет, я их друг.

— Как ты смеешь это говорить!

— Они сами это говорят.

— Что?..

— Да, Райтинг.

— Вот как, Райтинг?

— Да, он очень любезен со мной. Обычно я должен, раздевшись, читать ему что-нибудь из книг по истории; о Риме и римских императорах, о семействе Борджиа, о Тимурхане... ну, тебе уже ясно, все такое кровавое, с таким размахом. Тогда он бывает даже ласков со мной.

— А после он обычно бьет меня...

— После чего?! Ах, вот как!

— Да. Он говорит, что если бы не бил меня, то непременно думал бы, что я мужчина, а тогда он и не смог бы быть со мной таким мягким и ласковым. А так, мол, я его вещь, и тут он не стесняется.

— А Байнеберг?

— О, Байнеберг ужасен. Ты не замечал, как отвратительно пахнет у него изо рта?

— Замолчи! Не твое дело, что я замечаю! Расскажи, чем Байнеберг занимается с тобой!

— Ну, тоже, как Райтинг, только... Но не ругайся опять...

— Говори.

— Только... другим, обходным путем. Он сперва читает мне длинные лекции о моей душе. Я ее замарал, но как бы лишь первое ее преддверие. По отношению к глубинному это нечто ничтожное и внешнее. Только это надо умертвить. Так уже многие превратились из грешников в святых. Грех поэтому в высшем смысле не так уж плох. Только его нужно довести совсем до крайности, чтобы он изжил себя. Байнеберг заставляет меня сидеть и глядеть на шлифованное стекло.

— Он гипнотизирует тебя?

— Нет, он говорит, что ему надо лишь усыпить и сделать бессильным все, что плавает на поверхности моей души. Только тогда он может войти в общение с самой душой.

— И как же он общается с ней?

— Это эксперимент, который ему еще ни разу не удавался. Он сидит, а я ложусь на пол, чтобы он мог поставить ноги на мое туловище. После стекла я становлюсь довольно вялым и сонным. Потом он вдруг приказывает мне лаять. Он дает подробные указания: тихо, больше скулежа, — как лает собака со сна.

— Зачем это?

— Неизвестно зачем. Он заставляет меня еще хрюкать, как свинья, и все повторяет мне, что во мне есть что-то от этого животного. Но не то чтобы он ругал меня, нет, он повторяет это очень тихо и ласково, чтобы — как он говорит — хорошенько вдолбить это в мои нервы. Ведь он утверждает, что таковым было, возможно, одно из моих прежних существований и что его нужно выманить, чтобы обезвредить.

— И ты во все это веришь?

— Упаси Боже. По-моему, он сам в это не верит. Да и он под конец всегда совсем другой. Как можно верить в такие вещи? Кто верит сегодня в какую-то душу?! А

тем более в такое переселение душ?! Что я провинился, я прекрасно знаю. Но я всегда надеялся загладить свою вину. Для этого вовсе не нужно никаких фокусов. И я совсем не ломаю себе голову по поводу того, как меня угораздило совершить подобный проступок. Такие вещи делаются быстро, сами собой, лишь потом замечаешь, что сделал какую-то глупость. Но если ему доставляет удовольствие искать за этим чего-то сверхчувственного, то, по мне, на здоровье. Ведь пока я должен подчиняться ему. Вот если бы он перестал колоть меня...

— Что?

— Да, иголкой — ну, не сильно, только чтобы посмотреть, как я на это реагирую... не будет ли что-нибудь заметно в каком-либо месте тела. Но все же больно. Он утверждает, что врачи в этом ничего не смыслят. Я не запомнил, чем он это доказывает, помню только, что он много говорит о факирах, которые, когда они смотрят в свою душу, будто бы не воспринимают физической боли.

— Ну да, я знаю эти идеи. Но ты же сам сказал, что это не все!

— Конечно, нет. Но я же сказал, что считаю это лишь обходным путем. Потом каждый раз следует четверть часа, когда он молчит, и я не знаю, что происходит в нем. А затем он вдруг поднимается и требует от меня услуг — как одержимый — гораздо хуже, чем Райтинг.

— И ты делаешь все, что от тебя требуют?

— Что мне остается? Я хочу снова стать порядочным человеком и чтобы меня оставили в покое.

— А то, что тем временем произошло, тебе будет совершенно безразлично?

— Я же ничего не могу поделать.

— Теперь хорошенько послушай и ответь на мои вопросы. Как ты мог красть?

— Как? Понимаешь, мне до зарезу нужны были деньги. Я задолжал трактирщику, и он не давал мне больше отсрочки. К тому же я был уверен, что деньги мне вот-вот пришлют. Никто из товарищей не давал мне займы; у одних не было и у самих, а бережливые просто ведь рады, если кто-то, кто не скупится, оказывается к концу месяца в затруднительном положении. Я, конечно, не хотел никого обманывать, я хотел только тайком взять в долг...

— Не то я имею в виду, — нетерпеливо прервал Тёрлес этот явно обегчавший Базини рассказ, — я спрашиваю: как... каким образом ты смог это сделать, как ты себя чувствовал? Что происходило в тебе в этот миг?

— Ну, да... ничего. Это же был только миг, я ничего не почувствовал, ничего не обдумал. Это просто случилось вдруг.

— А первый раз с Райтингом? Когда он впервые потребовал от тебя этих вещей? Понимаешь?..

— О, неприятно-то это уж было. Потому что все происходило по приказу. Ведь вообще... подумай, сколько людей делают такие дела добровольно, для удовольствия, а другие об этом не знают. Тогда это, вероятно, не так скверно.

— Но ты делал это по приказу. Ты унижался. Как если бы ты полез в дерьмо, потому что так захотел другой.

— Это я признаю. Но я был вынужден.

— Нет, ты не был вынужден.

— Они бы избили меня, донесли на меня. Весь позор пал бы на меня.

— Ну, ладно, оставим это. Я хочу узнать от тебя нечто другое. Слушай, я знаю, что ты оставлял много денег у Божены. Ты хвастался перед ней, хорохорился, бахвалился своей мужественностью. Ты, значит, хочешь быть мужчиной? Не только речами и... но и всей душой? Ну вот, и вдруг кто-то требует от тебя таких унижительных услуг, ты в тот же миг чувствуешь, что ты слишком труслив, чтобы сказать «нет», — не прошла ли тут какая-то трещина через все твое существо? Какой-то ужас — неопределенный, — словно в тебе только что совершилось что-то невыразимое?

— Господи, я не понимаю тебя. Я не знаю, чего ты хочешь. Я не могу сказать тебе ничего, совсем ничего.

— Ну, так слушай. Я сейчас прикажу тебе снова раздеться.

Базини улыбнулся.

— Лечь ничком на землю передо мной. Не смейся! Я действительно приказываю это тебе! Слышишь?! Если ты сейчас же не повинешься, увидишь, что с тобой будет, когда вернется Райтинг!.. Так. Видишь, теперь ты лежишь голый передо мной на земле. Ты даже дрожишь. Тебе холодно? Я мог бы сейчас плюнуть на твое голое тело, если бы захотел. Прижмись плотней головой к земле. Не

странно ли выглядит пыль на полу? Как пейзаж с облаками и скалами высотой с дом? Я мог бы колоть тебя иголками. Там, в нише, возле фонаря, есть еще несколько. Ты же чувствуешь их кожей?.. Но я не хочу... я мог бы заставить тебя лаять, как это делает Байнеберг, жрать пыль, как свинья, мог бы заставить тебя делать движения — сам знаешь, — и ты должен был бы в лад им стонать: о моя мамоч... — Тёрлес, однако, резко оборвал эти поношения. — Но я не хочу, не хочу, понимаешь?!

Базини заплакал:

— Ты мучишь меня...

— Да, я мучу тебя. Но не это мне нужно. Я только одно хочу знать. Когда я все это вонзаю в тебя, как нож, что происходит в тебе? Что творится в тебе? В тебе что-то разбивается? Скажи! Стремительно, как стекло, которое вдруг разлетается на тысячи осколков, прежде чем на нем покажется трещина? Твой образ, который сложился у тебя, — не гаснет ли он, словно от одного дуновения? Не выскакивает ли на его место другой, как выскакивают из темноты картины волшебного фонаря? Неужели ты совсем не понимаешь меня? Точнее я это не могу тебе объяснить. Ты должен сам мне сказать!..

Базини плакал, не переставая. Его девические плечи дрожали; он твердил только одно и то же:

— Я не знаю, чего ты хочешь! Я не могу тебе ничего объяснить. Это происходит сейчас. Это и тогда не может происходить иначе. Ты поступил бы так же, как я.

Тёрлес молчал. Изнуренный, он неподвижно стоял, прислонясь к стене, и смотрел прямо перед собой в пустоту.

«Окажись ты в моем положении, ты поступил бы так же», — сказал Базини. Случившееся принималось им как простая неизбежность, спокойно и искаженно.

Тёрлесовское чувство собственного достоинства с великим презрением бунтовало даже против самого такого допущения. И все же этот бунт всего его естества не казался ему достаточной гарантией. «... Да, у меня характер оказался бы тверже, чем у него, я бы таких допущений не потерпел — но разве это важно? Разве важно то, что я по своей твердости, по своей порядочности, сплошь по причинам, которые сейчас для меня совсем несущественны, поступил бы иначе? Нет, дело не в том, как я поступил бы, а в том, что если бы я действительно поступил, как

Базини, я бы, как и он, не усматривал в этом ничего чрезвычайного. Вот в чем суть: мое самоощущение было бы точно таким же простым и далеким от всего сомнительного, как самоощущение Базини...»

Эта мысль — она думалась отрывочными, захлестывавшими друг друга, все снова и снова начинавшимися сначала фразами, — мысль эта, дополнявшая презрение к Базини какой-то очень интимной, тихой, но гораздо глубже, чем то смогла бы мораль, затрагивающей душевное равновесие болью, мысль эта пришла от памяти об одном только что испытанном ощущении, которое не отпускало Тёрлеса. Когда он узнал от Базини об опасности, грозившей ему, возможно, со стороны Райтинга и Байнеберга, он просто испугался. Просто испугался, как при нападении, и мгновенно, не размышляя, стал искать защиты и укрытий. Было это, значит, в момент действительной опасности; и ощущение, испытанное при этом, возбуждало его. Эти быстрые, бездумные импульсы. Он тщетно пытался снова вызвать их в себе. Но он знал, что они мгновенно лишили опасность всякой странности и двусмысленности.

И все-таки это была бы та же опасность, которую он не далее как несколько недель назад почувствовал на этом же месте. Тогда, когда он пришел в такой странный испуг из-за каморки, которая, как забытое средневековье, таилась вдаль от теплой и светлой жизни, учебных залов, и из-за Байнеберга и Райтинга, потому что те из людей, которыми они там были, вдруг стали, казалось, чем-то другим, чем-то мрачным, кровожадным, лицами совсем из другой жизни. Тогда это было для Тёрлеса метаморфозой, прыжком, словно картина его окружения вдруг предстала другим, проснувшимся от столетнего сна глазам.

И все-таки это была та же опасность... Он непрестанно повторял себе это. И снова пытался сравнить друг с другом воспоминания об этих двух разных ощущениях...

Базини тем временем давно поднялся; он заметил осоловелый, отсутствующий взгляд своего спутника, тихо собрал свою одежду и улизнул.

Тёрлес видел это — как сквозь туман, — но не сказал ни слова.

Внимание его было целиком поглощено стремлением снова отыскать в себе ту точку, где вдруг произошла та перемена внутренней перспективы.

Но как только он приближался к ней, с ним происходило то, что происходит при сравнении близкого с далеким: он никак не мог поймать запомнившиеся образы своих чувств одновременно, каждый раз словно бы каким-то тихим щелчком вторгалось чувство, которое в физическом мире соответствует примерно едва заметным мышечным ощущениям, сопровождающим настройку взгляда. И каждый раз это в решающий миг отвлекало все внимание на себя, работа сравнения заслоняла собою предмет сравнения, происходил едва ощутимый толчок — и все останавливалось.

И снова, и снова Тёрлес начинал все сначала.

Этот механически однообразный процесс усыпил его, привел в ледяное оцепенение полусна, который долго держал его в неподвижности. Неопределенно долго.

Разбудила Тёрлеса одна мысль — как тихое прикосновение теплой руки. Такая с виду естественная мысль, что Тёрлес удивился, что давно не напал на нее.

Мысль, которая всего-навсего регистрировала только что узнанное: простым, неискаженным, в естественных, обыденных пропорциях приходит всегда то, что издали кажется таким большим и таинственным. Словно вокруг человека проведена невидимая граница. То, что готовится вне его и приближается издали, — оно как туманное море, полное исполинских, меняющихся обличий; то, что подступает к нему, становится действием, сталкивается с его жизнью, — оно ясно и мало, имеет человеческие измерения и человеческие очертания. А между жизнью, которой живешь, и жизнью, которую чувствуешь, предчувствуешь, видишь издали, встает, как узкая дверь, где образы событий должны сжаться, чтобы войти в человека, эта невидимая граница.

И все же, хотя это как нельзя более соответствовало его опыту, Тёрлес задумчиво склонил голову.

«Странная мысль...», — почувствовал он.

Наконец он лежал в своей постели. Он уже ни о чем больше не думал, ибо это давалось с таким трудом и было так бесплодно. То, что он узнал о тайнах своих друзей, хоть и мелькало в его уме, но так же безразлично и без-

жизненно, как новость, прочитанная в какой-то чужой газете.

От Базини уже нечего было ждать. Однако сама проблема!.. Но она была так запутана, а он так устал и так разбит. Может быть, все это — иллюзия.

Только зрелище Базини, его светящейся наготы, благоухало, как куст сирени, в сумраке ощущений, который предшествовал сну. Даже всякое нравственное отвращенье ушло. Наконец Тёрлес уснул.

Никакие сны не нарушали его покоя. Но бесконечно приятное тепло расстилало мягкие ковры под его телом. В конце концов он проснулся из-за этого. И чуть не вскрикнул. У его кровати сидел Базини! И с бешеным проворством тот в следующее мгновение снял рубашку, подлез под одеяло и прижал к Тёрлесу свое голое, дрожащее тело.

Едва придя в себя от этого нападения, Тёрлес оттолкнул от себя Базини.

— Ты что?..

Но Базини взмолился.

— О, не будь снова таким! Таких, как ты, больше нет. Они презирают меня не так, как ты. Они делают это только для вида, чтобы самим казаться совсем другими. Но ты? Именно ты?! Ты даже младше меня, хотя и сильнее... мы оба младше, чем другие... ты не такой грубый, не такой хвастливый, как они... ты ласковый, я люблю тебя!

— Что — что ты говоришь? Что мне с тобой делать? Ступай — сейчас же ступай отсюда!

И Тёрлес страдальчески уперся рукой в шею Базини. Но горячая близость мягкой чужой кожи преследовала его, охватывала, душила. И Базини скороговоркой зашептал:

— Да... да... пожалуйста... о, мне было бы наслаждением тебе услужить...

Тёрлес не находил ответа. Пока Базини говорил, в эти секунды сомнения и размышления его органы чувств опять как бы затопило густо-зеленое море. Лишь быстрые слова Базини вспыхивали в нем, как сверканье серебряных рыбок.

Он все еще упирался руками в туловище Базини. Но их обволакивало как бы влажным, тяжелым теплом, их мускулы ослабели; он забыл о них... Только когда до него дошло какое-то новое из этих трепещущих слов, он очнулся, потому что почувствовал, как что-то ужасное, непостижимое, что только что — словно во сне — его руки притянули к себе Базини.

Он хотел встрепенуться, крикнуть себе: Базини обманывает тебя, он хочет только стянуть тебя вниз к себе, чтобы ты уже не мог презирать его. Но крик этот захлебнулся. Во всем просторном доме стояла мертвая тишина; во всех коридорах, казалось, неподвижно уснули темные потоки молчания.

Он хотел найти самого себя, но они, как черные сторожа, заградили все двери.

Тёрлес уже не искал слов. Чувственность, которая мало-помалу прокрадывалась в него из отдельных мгновений отчаянья, проснулась теперь в полном своем объеме. Она лежала рядом с ним голая и закрывала ему голову своим мягким черным плащом. И нашептывала ему на ухо сладостные слова смирения, и отметала своими теплыми пальцами, как пустые, все вопросы и все задачи. И шептала: в одиночестве позволено все.

Лишь в мгновение, когда егохватило, он на миг очнулся и отчаянно уцепился за одну мысль: это не я!.. не я!.. Завтра я опять буду собой!.. Завтра...

Во вторник вечером вернулись первые воспитанники. Другая часть прибыла лишь с ночными поездами. В доме царил суматоха.

Тёрлес встретил своих друзей неприветливо и хмуро; он все помнил. К тому же они принесли с собой из внешнего мира какую-то свежесть и светскость. Это заставляло его, любившего теперь спертый воздух тесных комнат, испытывать чувство стыда.

Ему теперь вообще часто бывало стыдно. Но не из-за того, в сущности, на что он дал себя совратить — ведь это в закрытых заведениях не такая уж редкость, — а потому, что он действительно не мог избавиться от какой-то нежности к Базини, а с другой стороны, острее, чем когда-либо, чувствовал, в каком презрении и унижении пребывал этот человек.

У него часто бывали тайные встречи с ним. Он водил его во все закоулки, которые знал благодаря Байнебергу, и так как сам он не отличался ловкостью при таких тайных походах, Базини сориентировался быстрее и вскоре стал вожаком.

А ночами ему не давала покоя ревность, с какой он следил за Байнебергом и Райтингом.

Оба, однако, держались в стороне от Базини. Может быть, он им уже наскучил. Во всяком случае, с ними как будто произошла какая-то перемена. Байнеберг был мрачен и замкнут; когда он говорил, то это бывали обычные таинственные намеки на что-то предстоящее. Райтинг, казалось, направил свой интерес уже на что-то другое; с привычной ловкостью плел он сеть какой-то интриги, стараясь задобрить одних мелкими любезностями и запугать других тем, что с помощью тайной хитрости завладел их секретом.

Когда они собрались втроем, оба настаивали на том, чтобы вскоре опять вызвать Базини в клетушку или на чердак.

Тёрлес пытался под всякими предлогами отложить это, но сам страдал от такого тайного участия.

Еще несколько недель назад он вообще не понял бы подобного состояния, будучи от природы силен, здоров и безыскусствен.

Но и правда не следует думать, что Базини вызывал у Тёрлеса настоящее и — при всей мимолетности и сумбурности — истинное вожделение. В нем хоть и проснулось какое-то подобие страсти, но назвать это любовью можно было, конечно, лишь случайно, вскользь, и, как человек, Базини был не более чем заменительной и временной целью этой потребности. Ибо хотя Тёрлес и был с ним в близких отношениях, его, Тёрлеса, желание никогда не насыщалось им, а возрастало в новый, нецеленаправленный голод, выходивший за пределы Базини.

Ослепила его сперва вообще только нагота стройного отроческого тела.

Впечатление было таким же, как если бы перед ним предстали только красивые, еще далекие от всего связанного с полом формы совсем юной девушки. Потрясение. Изумление. И чистота, невольна исходившая от такого

состояния, — она-то и внесла в его отношение к Базини иллюзию влечения, это новое, дивно-беспокойное чувство. А все прочее имело мало общего с этим. Это остальное, входящее в вождление, присутствовало уже давно — уже в отношениях с Боженой и еще гораздо раньше. Это была тайная, нецеленаправленная, ни к чему не относящаяся, меланхолическая чувственность созревания, подобная влажной, черной, плодородной земле весной и темным подземным водам, которым нужен только случайный повод, чтобы прорваться через свои преграды.

Явление, представшее Тёрлесу, стало таким поводом. Неожиданность, непонятность, недооцененность этого впечатления распахнула тайники, где собралось все скрытое, запретное, душное, смутное и одинокое, что было в душе Тёрлеса, и направила эти темные чувства на Базини. Ибо тут они сразу напали на что-то теплое, что дышало, благоухало, было плотью, что придавало этим туманным мечтам какие-то очертания и отдавало им часть своей красоты вместо того глумливого безобразия, которым их в одиночестве бичевала Божена. Это одним махом открыло им дверь к жизни, и все смешалось в возникшем полумраке — желания и действительность, буйные фантазии и впечатления, еще сохранявшие теплые следы жизни, ощущения, шедшие извне, и пламя, которое рвалось изнутри им навстречу и, охватив, изменяло их до неузнаваемости.

Но для самого Тёрлеса все это было уже неразлично, соединялось в одном-единственном, неясном, нерасчлененном чувстве, которое он в первом изумлении вполне мог принять за любовь.

Вскоре, однако, он научился оценивать это правильнее. С этой поры его не отпускало какое-то беспокойство. Едва дотронувшись до какой-нибудь вещи, он тут же клал ее на место. При любом разговоре с товарищами он без причины умолкал или в рассеянности неоднократно менял тему. Случалось также, что среди речи его захлестывала волна стыда, отчего он краснел, начинал заикаться, отворачиваться...

Он избегал днем Базини. Если ему случалось все же взглянуть на него, его почти всегда охватывало какое-то отрешение. Каждое движение Базини наполняло

его отвращением, расплывчатые тени его иллюзий уступали место холодной, тупой ясности, душа его, казалось, сжималась настолько, что ничего уже не оставалось, кроме воспоминания о прежнем вожделии, которое представлялось ему донельзя неразумным и отвратительным. Он топал ногой и скрючивался, только чтобы избавиться от этого мучительного стыда.

Он спрашивал себя, что сказали бы ему другие, узнай они его тайну, родители, учителя?

Но эта последняя мысль, как правило, прекращала его муки. Им овладевала прохладная усталость; его горячая и одрябнувшая кожа снова напрягалась в приятном ознобе. Тогда он всех тихо пропускал мимо. Но ко всем испытывал какое-то неуважение. Втайне он подозревал всех, с кем говорил, в самых скверных делах.

А сверх того, ему недоставало в других стыда. Он не думал, что они так страдали, как это он знал о себе. Терновый венец его угрызений совести у них, казалось, отсутствовал.

А себя он чувствовал так, словно очнулся от глубокой агонии. Так, словно его коснулись потаенные руки распада. Так, словно не мог забыть тихую мудрость долгой болезни.

В этом состоянии он чувствовал себя счастливым, и то и дело повторялись мгновения, когда он о нем тосковал.

Начинались они с того, что он снова мог равнодушно глядеть на Базини и с улыбкой выдерживал отвратительное и низкое. Тогда он знал, что унижится, но вкладывал в это новый смысл. Чем гнуснее и недостойнее было то, что ему предоставлял Базини, тем больше был контраст с тем чувством страдающей утонченности, которое обычно появлялось потом.

Тёрлес удалялся в какой-нибудь уголок, откуда мог вести наблюдение, оставаясь невидимым. Когда он закрывал глаза, в нем поднималось какое-то неясное теснение, а когда он открывал их, не находил ничего, что мог бы с этим сравнить. А потом вдруг вырастала мысль о Базини и все тянула к себе. Вскоре она теряла всякую определенность. Казалось, она уже не принадлежала Тёрлесу и уже, казалось, не относилась к Базини. Вокруг нее шумели чувства, как похотливые женщины в доверху закрытых одеждах, открытые под масками.

Ни одного Тёрлес не знал по имени, ни об одном не знал, что скрыто за ним; но в этом-то как раз и был пьянящий соблазн. Он уже не знал себя самого; и из этого-то как раз и выросло его желание дикого, презрительного распутства, как на галантном празднике, когда вдруг погаснут огни и никто уже не знает, кого он тянет на землю и осыпает поцелуями.

Тёрлес стал позднее, когда преодолел события своей юности, молодым человеком с очень тонким и чувствительным умом. Он принадлежал тогда к тем эстетически-интеллектуальным натурам, которым следование законам, а отчасти, пожалуй, и общественной морали дает некое успокоение, избавляя их от необходимости думать о чем-то грубом, далеко от душевных тонкостей, к натурам, которые, однако, соединяют какое-то скучающее безразличие с этой большой внешней, немного ироничной корректностью, стоит лишь потребовать от них более личного интереса к ее объектам. Ибо этот действительно захватывающий их интерес сосредоточен у них исключительно на росте души, духа или как там назвать то, что то и дело умножается в нас от какой-нибудь мысли между словами книги или перед замкнутыми устами картины; то, что подчас пробуждается, когда какая-то одинокая, своенравная мелодия дергает ту тонкую красную нить, нить нашей крови, которую она за собой тянет; но что всегда исчезает, когда мы пишем канцелярские бумаги, строим машины, ходим в цирк или занимаемся сотнями других подобных дел...

Предметы, стало быть, взывающие лишь к их моральной корректности, этим людям в высшей степени безразличны. Поэтому в позднейшей своей жизни Тёрлес и не сожалел о том, что случилось тогда. Его потребности обладали такой односторонне эстетической сосредоточенностью, что если бы, например, ему рассказали очень похожую историю о распутстве какого-нибудь развратника, ему наверняка и в голову не пришло бы направить свое возмущение против случившегося. Он презирал бы такого человека как бы не за то, что он развратник, а потому, что он ничего лучшего не представляет собой; не за его распутство, а за то психологическое состояние, ко-

торое заставляет его распутничать; потому что он глуп или потому, что его разум не знает психологического противовеса... — во всех случаях, стало быть, только за тот грустный, ущербный, жалкий вид, в котором он предстает. И он презирал бы его одинаково независимо от того, состоял ли бы его порок в половом распутстве, или в маниакальном курении, или в алкоголизме.

И как для всех, кто настолько сосредоточен исключительно на развитии своего ума, для него само существование душевных и бурных чувств еще мало что значило. Он готов был считать, что способность наслаждаться, художественный талант, всякая утонченная духовная жизнь — это украшение, о которое легко пораниться. Он полагал, что у человека с богатой и подвижной внутренней жизнью непременно должны быть мгновения, когда ему дела нет до других, и воспоминания, которые он хранит в потайных ящиках. И требовал он от него только, чтобы тот впоследствии умел ими тонко пользоваться.

И когда однажды кто-то, кому он поведал историю своей юности, спросил его, не стыдно ли бывает порой этого воспоминания, он с улыбкой дал следующий ответ:

— Я, конечно, не отрицаю, что тут было унижение. А почему бы и нет? Оно прошло. Но что-то от него навсегда осталось — та малая толика яда, которая нужна, чтобы отнять у души слишком уверенное и успокоенное здоровье и дать ей взамен более тонкое, обостренное, понимающее.

Смогли бы вы, кстати, сосчитать часы унижения, которые вообще выжигает в душе, как клеймо, каждая большая страсть? Подумайте только о часах нарочитого унижения в любви! Об этих отрешенных часах, когда любящие склоняются над некими глубокими колодцами или прикладывают ухо друг другу к сердцу — не услышат ли там, как когти больших, беспокойных кошек нетерпеливо скребутся о тюремные стены? Только чтобы почувствовать, как дрожись! Только чтобы испугаться своего одиночества над этими темными, клеймящими безднами! Только чтобы внезапно — в стране одиночества с этими мрачными силами — совсем убежать друг в друга!

Загляните-ка в глаза молодым супружеским парам. Ты думаешь?... — написано там, — но ты же не подозреваешь, как глубоко можем мы погрузиться! В этих глазах видна веселая насмешка над тем, кто о стольком не знает,

и нежная гордость тех, кто друг с другом прошел через все круги ада.

И как эти любящие друг с другом, так я тогда прошел через это с самим собой.

Однако, хотя позднее Тёрлес судил так, в ту пору, когда он пребывал в буре одиноких, чувственных ощущений, в нем отнюдь не всегда была эта уверенность, убежденная в благом конце. От загадок, недавно лишь его мучивших, оставался еще смутный отголосок, различимый в глубине происходившего с ним, как глухой далекий звук. Как раз об этом ему не хотелось теперь думать.

Но порой приходилось. И тогда им овладевала глубочайшая безнадежность, и совсем другой, усталый, безысходный стыд охватывал его при этих воспоминаниях.

Однако и в этом стыде он тоже не отдавал себе отчета.

Тому способствовали особые условия училища. Там, где молодые, настойчивые силы сдерживались за серыми стенами, они без разбора заполняли воображение сладострастными картинами, которые у многих отнимали рассудок.

Известная степень распутства считалась даже чем-то мужественным, отважным, смелостью в получении запретных удовольствий. Особенно когда сравнивали себя с почтенно-хилыми по большей части учителями. Ибо тогда призыв к морали приобретал смешную связь с узкими плечами, острыми животиками на тонких ножках и глазками, которые невинными овечками паслись за стеклами своих очков, словно мир не что иное, как поле, полное цветов строгой назидательности.

В конце концов в училище еще не знали жизни и не подозревали обо всех тех градациях от подлости и беспутства до болезни и комизма, которые наполняют взрослого прежде всего отвращением, когда он слышит о подобных вещах.

Все эти тормоза, чью действенность мы и ценить не способны, у него отсутствовали. Он поистине наивно угодил в свои прегрешения.

Ведь и этической сопротивляемости, этой тонкой чувствительности духа, которую он так высоко позднее ценил, у него тогда еще не было. Но она уже давала о себе знать. Тёрлес заблуждался, он видел лишь тени, падавшие

от чего-то еще неведомого ему в его сознание, и принимал их ошибочно за действительность, но он должен был выполнить на самом себе некую задачу, некую задачу души, — хотя задача эта была ему еще не по силам.

Он знал только, что последовал за чем-то еще неясным дорогой, которая вела в глубь его души, и он при этом устал. Он привык надеяться на необычайные, тайные открытия, а попал в тесные заколуки чувственности. Не от извращенности, а вследствие бесцельного в данное время состояния души.

И именно эта измена чему-то серьезному, уже достигнутому в себе наполняла его неясным сознанием вины; никогда его полностью не покидало какое-то неопределенное, подспудное отвращение, и смутный страх преследовал его так, словно он не знал в темноте, идет ли он еще своей дорогой или где-то уже потерял ее.

Он старался тогда вообще ни о чем не думать. Он молча и отупело влачил бездумное существование, забывая обо всех прежних вопросах. Тонкое наслаждение своими унижениями случалось все реже и реже.

Оно еще не ушло от него, однако в конце этой поры Тёрлес уже не сопротивлялся, когда принимались дальнейшие решения о судьбе Базини.

Это произошло через несколько дней, когда они втроем собрались в клетушке. Байнеберг был очень серьезен.

Начал говорить Райтинг.

— Байнеберг и я считаем, что дальше так быть с Базини нельзя. Он смирился с тем, что обязан нам подчиняться, и уже не страдает от этого. Он нагло фамильярен, как слуга. Пора, значит, двинуться с ним дальше. Ты согласен?

— Я не знаю, что вы хотите с ним сделать.

— Это нелегко и придумать. Нам нужно еще поунижать его и поприжать. Мне интересно, насколько далеко тут можно зайти. Каким образом, это, конечно, другой вопрос. У меня, впрочем, есть на этот счет несколько славных идей. Можем, например, отстегать его кнутом, а он пусть поет при этом благодарственные псалмы. Недурно бы послушать, с каким выражением он будет петь — по каждому звуку пробежали бы как бы мурашки. Можем

заставить его подавать, как собаку, всякую грязную дрянь. Можем взять его к Божене, заставить там читать все письма его матери, а уж тут Божена сумеет нас позабавить. Но все это от нас не уйдет. Мы можем все спокойно обдумать, разработать и найти еще что-нибудь новое. Без соответствующих деталей это пока еще скучно. Может быть, мы вообще выдадим его классу. Это, пожалуй, самое умное. Если каждый из такого множества людей внесет свою долю, пусть маленькую, этого хватит, чтобы растерзать его на части. Мне вообще нравятся эти массовые движения. Никто не хочет особенно усердствовать, и все же волны поднимаются все выше и покрывают всех с головой, увидите, никто не пошевелится, а буря поднимется страшная. Поставить такую сцену — для меня огромное удовольствие.

— Но что вы хотите сделать сначала?

— Я же сказал, мне хотелось бы решить это потом, пока мне хватило бы довести его до того — угрозами и битьем, что он снова согласится на все.

— На что? — вырвалось у Тёрлеса. Они пристально посмотрели друг другу в глаза.

— Ах, не притворяйся, я же прекрасно знаю, что ты об этом осведомлен.

Тёрлес промолчал. Узнал ли Райтинг что-нибудь? Или он только сказал это наугад?

— ...Еще с тех пор. Байнеберг сказал же тебе, на что идет Базини.

Тёрлес облегченно вздохнул.

— Ну, не делай такие большие глаза. Тогда ты тоже их вытаращил, а дело-то не такое уж страшное. Кстати, Байнеберг признался мне, что делает с Базини то же самое.

При этом Райтинг с иронической гримасой взглянул на Байнеберга. Такова была его манера — подставлять ножку другому совершенно открыто и не стесняясь.

Но Байнеберг ничего не ответил; он остался сидеть в своей задумчивой позе и едва приоткрыл глаза.

— Ну, не пора ли тебе выкладывать?! У него, понимаешь, есть одна сумасшедшая идея насчет Базини, и он хочет непременно осуществить ее, прежде чем мы предпримем что-то другое. Но идея очень забавная.

Байнеберг сохранял серьезность; он посмотрел на Тёрлеса настойчивым взглядом и сказал:

— Помнишь, о чем мы говорили тогда за шинелями?

— Да.

— Я больше об этом не заговаривал, потому что от разговоров нет толку. Но я об этом думал — можешь мне поверить — часто. И то, что Райтинг сказал тебе сейчас, правда. Я делал с Базини то же, что он. Может быть, и еще кое-что. Потому что, как я уже сказал, верил, что чувственность — это, возможно, верная дверь. Это был такой опыт. Я не знал другого пути к тому, чего я ищу. Но эта непланомерность бессмысленна. Я думал — ночами думал — о том, как заменить ее чем-то систематическим. Теперь я, мне кажется, нашел — как, и мы проделаем этот опыт. Теперь ты тоже увидишь, насколько ты был тогда не прав. Все, что утверждают о мире, сомнительно, все происходит иначе. Тогда мы узнавали это как бы только с обратной стороны, отыскивая точки, где все это естественное объяснение споткнется о собственные ноги, а теперь я надеюсь, что смогу показать нечто позитивное... нечто другое!

Райтинг раздал чашки с чаем; при этом он с удовольствием толкнул Тёрлеса.

— Следи хорошенько... Он очень лихо придумал.

А Байнеберг быстрым движением погасил фонарь. В темноте только пламя спиртовки бросало беспокойные, синеватые блики на три эти головы.

— Я потушил фонарь, Тёрлес, потому что так лучше говорить о таких вещах. А ты, Райтинг, можешь и соснуть, если ты слишком глуп, чтобы понимать всякие сложности.

Райтинг весело рассмеялся.

— Ты, значит, помнишь еще наш разговор. Ты сам тогда выкопал эту маленькую странность в математике. Этот пример, что наша мысль лишена твердой, надежной почвы и проходит над дырами... Она закрывает глаза, она на миг перестает существовать и все же благополучно переносится на другую сторону. Нам следовало бы, в сущности, давно отчаяться, ибо во всех областях наше знание испещрено безднами, это обломки, дрейфующие в бездонном океане.

Но мы не отчаялись, мы тем не менее чувствуем себя так же уверенно, как на твердой почве. Не будь у нас этого чувства уверенности, надежности, мы бы, отчаяв-

шись в своем разуме, наложили на себя руки. Это чувство сопровождает нас постоянно, оно не дает нам распасться, каждое второе мгновение оно берет наш разум, как малое дитя, на руки, оно защищает его. Отдав себе в этом отчет, мы уже не можем отрицать существование души. Расчленив свою духовную жизнь и познавая недостаточность разума, мы это поистине чувствуем. Чувствуем — понимаешь, — ибо не будь этого чувства, мы бы опали, как пустые мешки.

Мы только разучились обращать внимание на это чувство, а оно — одно из древнейших. Уже тысячи лет назад народы, жившие в тысячах миль друг от друга, знали о нем. Однажды занявшись им, уже нельзя отрицать эти вещи. Однако я не хочу убеждать тебя словами, я скажу тебе только самое необходимое, чтобы ты не был совсем не подготовлен. Доказательство представят факты.

Предположим, что душа существует, тогда само собой разумеется, что у нас не может быть более пылко устремления, чем восстановить утраченный с ней контакт, снова сблизиться с ней, вновь научиться лучше пользоваться ее силами, склонить на свою сторону частицы сверхчувственных сил, дремлющих в ее глубине.

Ибо все это возможно, это уже не раз удавалось; чудеса, святые, индийский священный трепет — это все свидетельства таких явлений.

— Послушай, — вставил Тёрлес, — ты немного подогреваешь в себе эту веру своими речами. Для этого-то тебе и надо было погасить фонарик. Но стал бы ты так говорить, если бы мы сидели сейчас внизу, среди других, учили географию, историю, писали письма домой, а лампы ярко горели бы и мимо скамей, может быть, ходил надзиратель? Не показались бы тебе тогда твои слова немного рискованными, немного самоуверенными, словно мы на особом положении, живем в другом мире, лет на восемьсот раньше?

— Нет, дорогой Тёрлес, я утверждал бы то же самое. Кстати, это твоя ошибка — всегда оглядываться на других. Ты слишком несамостоятелен. Писать письма домой! За такими делами ты думаешь о своих родных! Кто тебе сказал, что они вообще способны понять нас? Мы молоды, мы следующее поколение, может быть, нам угото-

ваны вещи, о которых они и не подозревали никогда в жизни. Я, во всяком случае, чувствую это в себе.

Но зачем долго говорить? Я же докажу вам это.

После того как они некоторое время помолчали, Тёрлес сказал:

— Как же ты примешься овладевать своей душой?

— Не буду сейчас это тебе растолковывать, мне же все равно придется сделать это при Базини.

— Но пока хотя бы скажи.

— Ну, ладно. История учит, что для этого есть только один путь — погрузиться в себя. Но в том-то и трудность. В старину, например, во времена, когда душа еще выражалась в чудесах, святые могли достичь этой цели усердной молитвой. В те времена душа-то как раз и была иного рода, ибо сегодня этот путь ничего не дает. Сегодня мы не знаем, что нам делать. Душа изменилась, и, к сожалению, прошло много времени с тех пор, как на это не обратили должного внимания, и связь безвозвратно пропала. Новый путь мы можем найти только тщательным размышлением. Этим я усиленно занимался в последнее время. Ближе всего к цели, вероятно, гипноз. Только таких попыток еще не предпринималось. Тут всегда только показывают маленькие, немудреные фокусы, а потому эти методы еще не испытаны, еще неизвестно, ведут ли они к высшему. Последнее, что я скажу об этом уже сейчас, вот что: Базини я буду гипнотизировать не этим общепринятым способом, а своим собственным, который, если не ошибаюсь, походит на способ, уже применявшийся в средневековье.

— Не сокровище ли этот Байнеберг? — засмеялся Райтинг. — Только ему следовало бы жить во времена пророчеств о конце мира, тогда он и впрямь поверил бы, что мир уцелел благодаря его магическим манипуляциям с душой.

Когда Тёрлес после этой насмешки взглянул на Байнеберга, он заметил, что его лицо исказилось, застыв как бы в напряженном внимании. В следующий миг он почувствовал хватку ледяных пальцев. Тёрлес испугался этого повышенного волнения; затем напряжение сжавшей его руки ослабло.

— О, пустяк. Всего только мысль. Мне показалось, что меня осенило, что мелькнуло указание, как это сделать...

— Слушай, ты действительно немного переутомился, — покровительственно сказал Райтинг, — ты же всегда был железный малый и занимался такими вещами только для спорта. А сейчас ты как какая-то баба.

— Ах, что там... ты ведь понятия не имеешь, каково это — знать, до чего близки такие вещи, каждый день ждать, что вот-вот будешь ими владеть!

— Не спорьте, — сказал Тёрлес, за несколько недель он стал гораздо тверже и энергичнее, — по мне; пусть каждый поступает, как хочет. Я ни во что не верю. Ни твоему изощренному мучительству, Райтинг, ни надеждам Байнеберга. А самому мне нечего сказать. Подожду, что вы выкинете.

— Когда же?

Назначили через ночь.

Тёрлес уступил им, не сопротивляясь. В этой новой ситуации его чувство к Базини тоже совсем остыло. Это было даже наилучшее решение, оно, по крайней мере, одним махом освобождало от колебаний между стыдом и вожделением, от которых Тёрлес собственными силами не мог отделаться. Теперь у него было хотя бы прямое, ясное отвращение к Базини, словно уготованные тому унижения еще и марали его.

Вообще же он был рассеян и не хотел ни о чем думать серьезно — особенно о том, что когда-то так его занимало.

Только когда он с Райтингом поднимался по лестнице на чердак, куда Байнеберг уже прошел с Базини, в нем ожило воспоминание о том, что было в нем некогда. У него не выходили из головы самоуверенные слова, которые он бросил по поводу этой истории Байнебергу, и ему страстно хотелось вновь обрести такую уверенность. Медля, он задерживал ногу на каждой ступеньке. Но прежняя уверенность не возвращалась. Хоть он и вспоминал все мысли, которые у него были тогда, они, казалось, проходили мимо где-то вдалеке от него, словно были лишь тенью того, что когда-то думалось.

Наконец, поскольку он ничего в себе так и не нашел, его любопытство снова устремилось к событиям, которые надвигались извне, и погнало его вперед.

Быстрым шагом он поднялся вслед за Райтингом по оставшимся ступенькам.

Когда за ним со скрежетом закрывалась железная дверь, он со вздохом почувствовал, что байнеберговская затея — всего лишь смешной фокус, но зато хотя бы что-то твердое и обдуманное, тогда как в нем самом все неразлично смешалось.

Они сели на одну из поперечных балок — в напряжении ожидая, как в театре.

Байнеберг был уже здесь с Базини.

Обстановка, казалось, благоприятствовала его замыслу. Темнота, затхлый воздух, гнилой, сладковатый запах, исходивший от бочек с водой, создавали чувство погружения в беспробудный сон, усталую, ленивую вялость.

Байнеберг велел Базини раздеться. В этой темноте нагота отдавала мертвенной синевой и нисколько не волновала.

Вдруг Байнеберг вынул из кармана револьвер и направил его на Базини.

Даже Райтинг наклонился вперед, чтобы в любой миг вскочить и вмешаться.

Но Байнеберг улыбался. По сути, криво; словно он вовсе этого не хотел, а лишь под напором каких-то фантастических слов губы его сдвинулись в сторону.

Базини, как подкошенный, упал на колени и широко раскрытыми от страха глазами глядел на револьвер.

— Встань, — сказал Байнеберг, — если ты точно исполнишь все, что я тебе скажу, с тобой ничего не случится. Но если ты хоть малейшим возражением перебежешь меня, я тебя застрелю. Запомни.

Я, впрочем, и так тебя убью, но ты снова вернешься к жизни. Смерть не так чужда нам, как ты думаешь. Мы умираем каждый день — в глубоком, без сновидений сне.

Рот Байнеберга снова исказила эта неясная улыбка.

— Стань теперь на колени вон там повыше, — на высоте половины их роста проходила широкая горизонтальная балка, — так, прямее... держись совершенно прямо... Втяни живот. А теперь смотри вот сюда. Но не моргая, глаза раскрой как только можешь шире!

Байнеберг поднес к нему огонек спиртовки таким образом, что Базини должен был чуть откинуть назад голову, чтобы хорошенько смотреть во все глаза.

Мало что было видно, но через некоторое время тело Базини словно бы закачалось, как маятник, туда-сюда. Синеватые блики на его коже двигались взад-вперед. Порой Тёрлесу казалось, что он видит перекошенное страхом лицо Базини.

Через некоторое время Байнеберг спросил:

— Ты устал?

Вопрос этот был задан в обычной гипнотизерской манере.

Затем он стал объяснять тихим, приглушенным голосом:

— Умирание — это лишь следствие нашего способа жить. Мы живем от одной мысли к другой, от одного чувства к следующему. Ибо наши мысли и чувства не текут спокойно, как река, а западают в нас, падают в нас, как камни. Если ты хорошенько понаблюдаешь за собой, ты почувствуешь, что душа меняет свои краски не постепенными переходами, а что мысли выскакивают, как цифры, из черной дыры. Сейчас у тебя одна мысль или одно чувство, а вот уже, словно выскочив из ниоткуда, появилось другое. Прислушавшись, ты можешь даже уловить тот миг между двумя мыслями, когда все черно. Этот миг — если только схватить его — для нас равнозначен смерти. Ибо наша жизнь — это не что иное, как расставлять вехи и прыгать от одной к другой, каждый день через тысячи секунд умирания. Мы живем, так сказать, лишь в мгновения покоя. Потому-то мы и испытываем такой смешной страх перед окончательным умиранием, что это просто полное отсутствие вех, бездонная пропасть, куда мы проваливаемся. Для такого способа жить это действительно полное отрицание. Но только с точки зрения такой жизни, только для того, кто не научился чувствовать себя иначе, чем от мгновения к мгновению. Я называю это скачущим злом, и весь секрет в том, чтобы его преодолеть. Надо пробуждать в себе чувство, что твоя жизнь есть нечто спокойно скользящее. В тот момент, когда это удастся, мы к смерти так же близки, как к жизни. Мы уже не живы — по нашим земным понятиям, — но и умереть мы уже не можем, ибо вместе с жизнью уничтожили и смерть. Это миг бессмертия, миг, когда душа выходит из нашего тесного мозга в замечательные сады своей жизни. Итак, теперь точно выполняй все, что я скажу. Усыпи свои

мысли, пристально смотри на этот огонек... не перескакивай мыслью с одного на другое... Направь все внимание внутрь... Смотри на пламя... твоё мышление становится похоже на машину, которая движется все медленней... все медленней... медленней... Смотри внутрь... до тех пор, пока не найдешь точку, когда ты ощутишь себя, не ощущающая никаких мыслей, никаких чувств... Твое молчание будет мне ответом. Не отклоняй взгляда, направленного внутрь...

Прошло несколько минут.

— Чувствуешь эту точку?..

Нет ответа.

— Слушай, Базини, удалось тебе это?

Молчание.

Байнеберг встал, и его тощая тень вытянулась вверх рядом с балкой. Вверху, опьяненное темнотой, заметно покачивалось тело Базини.

— Повернись в сторону, — приказал Байнеберг. — Слушается сейчас только мозг, — бормотал он, — который еще некоторое время механически функционирует, пока не сойдут на нет последние следы, отпечатанные на нем душой. Сама она где-то — в следующем своем существовании. Она уже не скована законами природы... — он обращался теперь к Тёрлесу, — она уже не осуждена на наказание придавать тяжесть телу, сохранять его целостность. Наклоняйся вперед, Базини... так... постепенно... туловищем все дальше... как только погаснет последний след в мозгу, мышцы расслабятся, и пустое тело рухнет. Или повиснет. Я этого не знаю. Душа самовольно покинула тело, это не обычная смерть, может быть, тело повиснет в воздухе, потому что ничто, никакая сила, ни жизни, ни смерти, уже не печется о нем... наклоняйся... еще ниже.

В этот миг тело Базини, которое от страха исполнило все приказанья, с грохотом свалилось к ногам Байнеберга.

От боли Базини вскрикнул. Райтинг громко засмеялся. Байнеберг же, отпрянувший на шаг назад, издал гор-танный крик ярости, распознав обман. С быстротой молнии он сорвал с себя кожаный пояс, схватил Базини за волосы и стал бешено стегать его. Все невероятное напря-

жение, в котором он находился, выливалось в эти яростные удары. А Базини вопил под ними от боли, и вопли его отдавались во всех углах, как вой собаки.

В течение всей предшествующей сцены Тёрлес оставался спокоен. Он втайне надеялся, что, может быть, все же случится что-то, что перенесет его снова в утраченный круг чувств. Это была глупая надежда, он сознавал это, но она его все-таки удерживала. Теперь, однако, ему показалось, что все прошло. Эта сцена вызвала у него отвращение. Без каких-либо мыслей; немое, мертвое отвращение.

Он тихо поднялся и, не говоря ни слова, ушел. Не задумываясь.

Байнеберг все еще бил Базини, не щадя сил.

Лежа в постели, Тёрлес почувствовал: конец. Что-то миновало.

В следующие дни он спокойно выполнял свои обязанности в школе; он ни о чем не беспокоился; Райтинг и Байнеберг, возможно, тем временем осуществляли пункт за пунктом свою программу. Тёрлес избегал встречаться с ними.

А на четвертый день, как раз когда никого поблизости не было, к нему подошел Базини. Вид у него был несчастный, лицо побледнело и осунулось, в глазах сверкала лихорадка постоянного страха. Робко оглядываясь, скороговоркой он выпалил:

— Ты должен помочь мне! Только ты можешь! Я долго не выдержу, так они меня мучат. Все прежнее я сносил... но теперь они убьют меня!

Тёрлесу было неприятно что-либо отвечать на это. Наконец он сказал:

— Я не могу тебе помочь. Ты сам виноват во всем, что с тобой происходит.

— Но еще недавно ты был так мил со мной.

— Никогда не был.

— Но...

— Молчи об этом. Это был не я... Мечта... Каприз... Я даже рад, что твой новый позор оторвал тебя от меня... Мне так лучше...

Базини опустил голову. Он почувствовал, что между ним и Тёрлесом пролегло море серого, трезвого разочарования. Тёрлес был холодный, другой.

Тогда он упал перед ним на колени, стал биться головой о пол и кричать:

— Помоги мне! Помоги мне!.. Ради Бога, помоги мне!

Тёрлес помедлил мгновение. В нем не было ни желания помочь Базини, ни достаточно возмущения, чтобы оттолкнуть его от себя. И он послушался первой мелькнувшей у него мысли.

— Приходи сегодня ночью на чердак, я еще раз поговорю с тобой об этом.

В следующий миг он, однако, уже пожалел о сказанном.

«Зачем еще раз трогать это?» — подумалось ему и он, размышляя, сказал:

— Они же увидят тебя. Так нельзя.

— О нет, в прошлую ночь они до утра оставались там со мной... Сегодня они будут спать.

-- Ну, что ж. Только не жди, что я тебе помогу.

Тёрлес назначил Базини встречу вопреки своему истинному убеждению. Ибо оно состояло в том, что внутренне все прошло и ничего больше извлечь нельзя. Только какая-то педантичность, какая-то заранее безнадежная, упрямая добросовестность внушила ему еще раз перебрать эти события.

У него была потребность сделать это быстро.

Базини не знал, как ему вести себя. Он был так избит, что еле шевелился. Все индивидуальное, казалось, ушло из него; только какой-то остаток этого, сжавшийся в его глазах, в страхе и мольбе цеплялся за Тёрлеса.

Он ждал, что сделает тот.

Наконец Тёрлес нарушил молчание. Он говорил быстро, скупающе, так, словно надо ради проформы еще раз уладить какое-то давно уже завершённое дело.

— Я не помогу тебе. У меня одно время, правда, был интерес к тебе, но теперь это в прошлом. Ты действительно самый настоящий негодяй и трус. Конечно, самый настоящий. Что уж может еще привязать меня к тебе? Рань-

ше я всегда думал, что найду для тебя какое-то слово, какое-то чувство, которое определит тебя иначе. Но действительно нет лучшего определения, чем сказать, что ты негодяй и трус. Это так просто, так невыразительно, и все-таки ничего больше сказать нельзя. Все другое, чего я раньше хотел от тебя, я забыл, после того как ты влез со своими похотливыми просьбами. Я хотел найти точку, вдали от тебя, чтобы взглянуть на тебя оттуда... в этом был мой интерес к тебе. Ты сам уничтожил его... но довольно, я же не обязан давать тебе объяснения. Только вот что еще: каково тебе сейчас?

— Каково мне может быть? Я не вынесу этого больше.

— Они, наверно, делают теперь с тобой очень скверные вещи и тебе больно?

— Да.

— Просто-напросто боль? Ты чувствуешь, что страдаешь, и хочешь уйти от этого? Совсем просто, без всяких сложностей?

Базини не нашел ответа.

— Ну, да, я спрашиваю так, между прочим, недостаточно точно. Но это ведь все равно. Я с тобой больше не имею дела. Я тебе уже сказал это. Я ничего уже не чувствую в твоём обществе. Делай что хочешь.

Тёрлес хотел уйти.

Тут Базини сорвал с себя одежду и прижался к Тёрлесу. Его тело было исполосовано ссадинами — отвратительно. Движение было жалким, как движение неловкой проститутки. Тёрлес с омерзением отвернулся.

Но едва сделав первые шаги в темноте, он наткнулся на Райтинга.

— Это что, у тебя тайные свидания с Базини?

Тёрлес последовал за взглядом Райтинга и оглянулся на Базини. Как раз на том месте, где тот стоял, через слуховое окно падал широкий брус лунного света. Отдававшая синевой кожа в ссадинах походила при этом освещении на кожу прокаженного. Тёрлес невольно попытался извиниться за эту сцену.

— Он попросил меня об этом.

— Чего он хочет?

— Чтобы я защитил его.

— Ну, в таком случае он напал как раз на того, кто нужен.

— Может быть, я все же и сделал бы, но мне наскучила вся эта история.

Неприятно пораженный, Райтинг вскинул глаза, затем злобно набросился на Базини.

— Мы тебе покажем, как секретничать у нас за спиной! Твой ангел-хранитель Тёрлес сам будет при этом присутствовать и позабавится тоже.

Тёрлес уже повернулся было, но из-за этой колкости, явно по его адресу, не раздумывая, задержался.

— Нет, Райтинг, не буду. Не хочу больше иметь с этим дела. Мне все это опротивело.

— Вдруг?

— Да, вдруг. Ведь раньше я за всем этим чего-то искал...

Зачем только это сорвалось у него с языка?!

— Ага, ясновидения...

— Да, именно. А теперь я вижу только, что ты и Байнеберг пошло жестоки.

— О, надо тебе поглядеть, как Базини жрет дерьмо, — неудачно пошутил Райтинг.

— Теперь это меня уже не интересует.

— Но интересовало же...

— Я уже сказал тебе, лишь до тех пор, пока состояние Базини было загадкой для меня.

— А теперь?

— Никаких загадок больше нет. Все бывает — вот и вся мудрость.

Тёрлес удивился, что ему вдруг снова приходят на ум сравнения, приближающиеся к тому утраченному кругу чувств. Когда Райтинг насмешливо ответил: «Ну, за этой мудростью далеко не надо ходить», в нем взыграло поэтому гневное чувство превосходства и подсказало ему резкие слова. Какое-то мгновение он презирал Райтинга до такой степени, что готов был пинать его ногами.

— Можешь смеяться надо мной. Но то, что творите *вы*, это не что иное, как пустое, скучное, мерзкое мучительство!

Райтинг покосился на прислушивавшегося Базини.

— Придержи язык, Тёрлес!

— Мерзкое, грязное — ты это слышал!

Теперь вскипел и Райтинг.

— Я запрещаю тебе оскорблять нас здесь при Базини!

— Ах, что там. Ты ничего не можешь запретить! Прошло это время. Я когда-то уважал тебя и Байнеберга, а теперь вижу, что вы такое по сравнению со мной. Тупые, гадкие, жестокие дураки!

— Заткнись, Тёрлес, а то...

Райтинг, казалось, хотел броситься на Тёрлеса. Тёрлес отступил на шаг и крикнул ему:

— Думаешь, я буду с тобой драться?! Базини того не стоит. Делай с ним что хочешь, а мне сейчас дай пройти!!

Райтинг, казалось, одумался и отошел в сторону. Он не тронул даже Базини. Но Тёрлес, зная его, понимал, что за спиной у него притаилась какая-то коварная опасность.

Уже на второй день в послеобеденное время Райтинг и Байнеберг подошли к Тёрлесу.

Он заметил злобное выражение их глаз. Байнеберг явно не прощал ему теперь смешного провала своих пророчеств, а к тому же, наверно, был уже обработан Райтингом.

— Ты, как я слышал, поносил нас. Да еще при Базини. С какой стати?

Тёрлес не ответил.

— Ты знаешь, что мы таких вещей не терпим. Но поскольку речь идет о тебе, чьи капризы, к которым мы привыкли, не очень нас задевают, мы это дело замнем. Но одно ты должен исполнить.

Вопреки этим приветливым словам в глазах Байнеберга было какое-то злое ожидание.

— Базини сегодня ночью придет в нашу клетушку. Мы накажем его за то, что он тебя подзуживал. Когда увидишь, что мы уходим, ступай следом.

Но Тёрлес сказал «нет».

— Делайте что хотите, а меня увольте.

— Сегодня ночью мы еще насладимся Базини, завтра мы его выдадим классу, ибо он начинает восставать.

— Делайте что хотите.

— Но ты будешь при этом присутствовать.

— Нет.

— Именно при тебе Базини поймет, что ему ничто не поможет, что ничто не защитит его от нас. Вчера он

уже отказался выполнять наши приказы. Мы избили его до полусмерти, а он не уступал. Мы должны снова прибегнуть к моральным средствам, унижить его сперва перед тобой, затем перед классом.

— Но я не буду при этом присутствовать!

— Почему?

— Не буду.

Байнеберг перевел дух; казалось, он собирал весь свой яд, затем он подошел к Тёрлесу совсем вплотную.

— Неужели ты думаешь, что мы не знаем — почему? Думаешь, мы не знаем, как далеко ты зашел с Базини?

— Не дальше, чем вы.

— Так. Неужели же он выбрал бы тогда в покровители именно тебя? Что? Неужели бы именно к тебе проникся таким доверием? Ты же не можешь считать нас такими глупенькими.

Тёрлес разозлился.

— Знайте что хотите, только меня избавьте от ваших грязных историй.

— Опять начинаешь грубить?

— Меня от вас тошнит! Ваша подлость бессмысленна! Вот что отвратительно в вас.

— Ну, так слушай. Тебе за многое следовало бы быть нам благодарным. Если ты думаешь, что все-таки сможешь теперь над нами, у которых ты учился, возвыситься, то ты жестоко ошибаешься. Придешь сегодня вечером или нет?!

— Нет!

— Дорогой Тёрлес, если ты восстанешь против нас и не придешь, с тобой будет совершенно так же, как с Базини. Ты знаешь, в какой ситуации застал тебя Райтинг. Этого достаточно. Больше мы сделали или меньше — тебе от этого пользы мало. Мы повернем все против тебя. Ты в таких вещах слишком глуп и нерешителен, чтобы справиться с нами. Итак, если ты вовремя не опомнишься, мы выставим тебя перед классом соучастником Базини. Пусть он тебя тогда защищает. Понятно?

Как буря, прошумел над Тёрлесом этот поток угроз, которые выкрикивали то Байнеберг, то Райтинг, то оба сразу. Когда они ушли, он протер себе глаза, словно это был сон. Но Райтинга он знал. Тот, разозлившись, способен был на любую гнусность, а тёрлесовские оскорбле-

ния и бунт задела его, казалось, глубоко. А Байнеберг? Вид у него был такой, словно он дрожал от годами таившейся ненависти... а все только потому, что осрамился перед Тёрлесом.

Но чем трагичнее сгущались события над его головой, тем безразличнее и машинальнее казались они Тёрлесу. Он боялся угроз. Это да; но ничего сверх того. Опасность втянула его в водоворот реальности.

Он лег в постель. Он видел, как уходили Байнеберг с Райтингом, видел, как устало прошаркал мимо Базини. Сам он с ними не пошел.

Однако его мучили какие-то страхи. Впервые он снова думал о родителях с некоторой теплотой. Он чувствовал, что ему нужна эта спокойная, надежная почва, чтобы укрепить и довести до зрелости то, что до сих пор только смущало его.

Но что это было? У него не было времени думать об этом и размышлять о происшедших событиях. Он чувствовал только страстное стремление вырваться из этой смуты, в нем была тоска по тишине, по книгам. Словно душа его — черная земля, под которой уже шевелятся ростки, а еще неизвестно, как они пробьются. К нему привязался образ садовника, который ежеутренне поливает свои грядки — с равномерной, терпеливой приветливостью. Эта картина не отпускала его, ее терпеливая уверенность, казалось, сосредоточивала всю тоску на себе. Только так надо! Только так! — чувствовал Тёрлес, и через все страхи и все опасения перепрыгивала убежденность, что нужно любыми усилиями достичь этого душевного состояния.

Только насчет того, что должно произойти первым делом, у него еще не было ясности. Ибо прежде всего от этой тоски по мирной созерцательности лишь усиливалось его отвращение к предстоящей игре интриги. Да он и в самом деле боялся подстерегавшей его мести. Если они действительно попытаются очернить его перед классом, то противодействие этому потребует от него огромного расхода энергии, которого ему именно сейчас было жаль. И потом — стоило ему хотя бы только подумать об этой сумятице, об этой лишенной какого бы то ни было высшего смысла стычке с чужими намерениями и силами воли, его охватывало отвращение.

Тут ему вспомнилось одно давнее письмо, которое он получил из дому. Это был ответ на его письмо родителям, где он тогда как умел сообщал о своем странном душевном состоянии, еще до того, как произошел этот эпизод с чувственностью. То был опять-таки довольно топорный ответ, полный добропорядочной, скучной этики, где ему советовали убедить Базини явиться с повинной, чтобы покончить с этим недостойным, опасным состоянием своей зависимости.

Письмо это Тёрлес позднее читал снова, когда Базини лежал рядом с ним нагишом на мягких одеялах клетушки. И он испытывал особое удовольствие, когда эти неуклюжие, простые, трезвые слова таяли у него на языке, а сам он думал, что, наверно, из-за слишком светлого своего существования родители его слепы в том мраке, где сейчас гибкой хищной кошкой прикорнула его душа.

Но сегодня он совсем по-другому потянулся к этому месту, когда оно ему вспомнилось.

По нему растеся приятный покой, словно от прикосновения твердой, доброй руки. Решение было принято в этот миг. В нем сверкнула одна мысль, и он схватил ее, не раздумывая, словно под заступничеством родителей.

Он не засыпал, пока не вернулись те трое. Затем подождал, пока по их равномерному дыханию не услышал, что они уснули. Теперь он торопливо вырвал листок из своей записной книжки и при неверном свете ночника написал большими, нетвердыми буквами:

«Завтра они выдадут тебя классу, и тебе предстоит что-то ужасное. Единственный для тебя выход — самому признаться директору. До него ведь это и так дойдет, только сначала тебя избьют до полусмерти. Свали все на Р. и Б., умолчи обо мне.

Видишь, я хочу спасти тебя».

Эту записку он сунул спящему в руку.

Затем, без сил от волнения, уснул и он.

Следующий день Байнеберг и Райтинг решили, видимо, еще оставить Тёрлесу на размышление.

А с Базини дело приняло серьезный оборот.

Тёрлес видел, как Байнеберг и Райтинг подходили к отдельным воспитанникам и как там вокруг них возникали группы, в которых взволнованно шептались.

При этом он не знал, нашел ли Базини его записку, поговорить с ним не было возможности, поскольку Тёрлес чувствовал, что находится под наблюдением.

Сначала он вообще боялся, что речь идет уже и о нем. Но он был теперь, перед лицом опасности, так подавлен ее омерзительностью, что палец о палец не ударил бы.

Лишь позднее, готовый к тому, что сейчас все будут против него, он несмело смешался с одной из групп.

Но его и не заметили. Все пока касалось Базини.

Волнение росло. Тёрлес мог это отметить, Райтинг и Байнеберг, наверно, еще приврали что-нибудь.

Сперва улыбались, затем некоторые стали серьезны, и мимо Базини зашмыгали злые взгляды, наконец над классом что-то повисло темным, жарким, беременным мрачными страстями молчанием.

Случайно вторая половина дня была свободна.

Все собрались сзади возле шкафов; затем вызвали Базини.

Байнеберг и Райтинг стояли, как два укротителя, по обе стороны от него.

Испытанный способ — раздевание — после того как заперли двери и поставили дозор — вызвал всеобщее удовольствие.

Райтинг держал в руке пачку писем, полученных Базини от матери, и начал читать их вслух.

— Дорогое дитя мое...

Всеобщий рев.

— Ты знаешь, что при небольших деньгах, которыми я, будучи вдовой, располагаю...

Непристойный смех, необузданные шутки вылетают из толпы. Райтинг хочет читать дальше. Вдруг кто-то толкает Базини. Другой, на которого он при этом падает, полусуто-полувозмущенно отталкивает его назад. Третий передает его дальше. И вот уже Базини, голый, с разинутым от страха ртом, как вертящийся мяч, под смех, улюлюканье, толчки, летает по залу — от одной стороны к другой, — больно ударяется об острые углы скамеек, падает на колени, раздирая их в кровь, и наконец валится наземь, окровавленный, весь в пыли, с нечеловеческими, остекленевшими глазами, и мгновенно наступает молчание, и все теснятся вперед, чтобы увидеть, как он лежит на полу.

Тёрлес содрогнулся. Он воочию увидел силу этой ужасной угрозы.

И он все еще не знал, как поступит Базини.

Решено было в следующую ночь привязать Базини к кровати и отколошматить его клинками рапир.

Но, ко всеобщему удивлению, уже рано утром в классе появился директор. Его сопровождали классный наставник и два учителя. Базини удалили из класса и отвели в отдельную комнату.

А директор произнес гневную речь по поводу проявленной жестокости и назначил строгое расследование.

Базини сам пришел с повинной.

Кто-то, должно быть, уведомил его о предстоящем.

Тёрлеса не заподозрил никто. Он притих и ушел в себя, словно все это совершенно не касалось его.

Даже Райтинг и Байнеберг не искали в нем предателя. Свои угрозы ему они сами не принимали всерьез; они выкрикнули их, чтобы запугать его, чтобы показать свое превосходство, а может быть, и с досады; теперь, когда злость их прошла, они уже вряд ли об этом думали. Обязательства перед его родителями уж удержали бы их от действий, направленных против Тёрлеса. Это было для них так несомненно, что и с его стороны они ничего не опасались.

Тёрлес не раскаивался в своем поступке. Скрытность, трусливость этого шага скрадывало чувство полного освобождения. После всех волнений на душе у него стало удивительно ясно и просторно.

Он не участвовал во взволнованных разговорах о том, чего теперь ждать, которые повсюду велись; он спокойно прожил весь день наедине с собой.

Когда наступил вечер и зажглись лампы, он сел на свое место, положив перед собой тетрадь, где были те беглые записи.

Но он долго не читал их. Он поглаживал рукой страницы, и ему казалось, что от них отдает чем-то душистым, как лавандой от старых писем. Это была смешанная с грустью нежность, которую мы испытываем к закончив-

шейся полосе прошлого, когда в легкой, бледной тени, встающей из нее с покойницкими цветами в руках, вновь обнаруживаем забытые признаки сходства с собой.

И эта грустная легкая тень, это бледное благоухание, казалось, терялись в широком, полном, теплом потоке — жизни, открывавшейся перед Тёрлесом.

Какой-то отрезок развития кончился, душа, как молодое дерево, прибавила себе новое годовое кольцо — это еще бессловесное, захватывающее чувство прощало все, что случилось.

Тёрлес стал перелистывать свои воспоминания. Фразы, в которых он беспомощно констатировал случившееся — это всяческое удивление и смущение перед жизнью, — снова ожили, казалось, зашевелились и обрели связь. Они лежали перед ним, как светлая дорога, на которой отпечатались следы его прощупывающих почву шагов. Но им чего-то, казалось, еще не хватало; не новой мысли, о нет; но они еще не захватывали Тёрлеса со всей силой живого.

Он почувствовал себя неуверенно. И тут он испугался, что завтра ему придется стоять перед учителями и оправдываться. Чем?! Как ему объяснить им это? Этот темный, таинственный путь, которым он шел. Если бы они спросили его: почему ты издевался над Базини, он ведь не смог бы ответить им — потому что интересовало меня при этом происходившее в моем мозгу, нечто такое, о чем я и сегодня, несмотря ни на что, еще мало знаю и по сравнению с чем все, что я об этом думаю, кажется мне неважным.

Этот шаг, еще отделявший его от конечной точки духовного процесса, через который он должен был пройти, пугал его, как страшная бездна.

И еще до наступления ночи Тёрлес находился в лихорадочном боязливом волнении.

На следующий день, когда воспитанников поодиночке вызывали на допрос, Тёрлес исчез.

В последний раз его видели вечером, он сидел за тетрадью, как будто читал.

Искали по всему училищу, Байнеберг тайком заглянул в клетушку, Тёрлеса нигде не было.

Стало ясно, что он убежал из училища, и об этом оповестили все окрестные власти с просьбой бережно доставить его.

Расследование тем временем началось.

Райтинг и Байнеберг, полагавшие, что Тёрлес бежал от страха перед их угрозой выдать его, чувствовали себя обязанными отвести от него всякие подозрения и усиленно за него заступались.

Они свалили всю вину на Базини, и весь класс, один воспитанник за другим, свидетельствовал, что Базини — вороватый, ничтожный малый, который на самые доброжелательные попытки исправить его отвечал только новыми возвратами к старому. Райтинг уверял, что они признают свою ошибку, но поступили так лишь потому, что жалость не позволяла им выдавать товарища на расправу, не исчерпав всех способов вразумить его по-хорошему, и весь класс опять клялся, что издевательство над Базини было вызвано только тем, что он с величайшим, гнуснейшим презрением отнесся к людям, которые из благороднейших побуждений щадили его.

Короче, это была хорошо согласованная комедия, блестяще поставленная Райтингом, и для оправдания были подпущены все этические нотки, которые ценил учительский слух.

Базини по поводу всего тупо молчал. С позавчерашнего дня он еще пребывал в смертельном страхе, и одиночество его комнатного ареста, спокойный, деловитый ход расследования были для него уже избавлением. Он ничего не желал себе, кроме скорого конца. К тому же Райтинг и Байнеберг не преминули пригрозить ему чудовищной мезьтю на случай, если он даст показания против них.

Тут был доставлен Тёрлес. До смерти усталым и голодным его схватили в ближайшем городе.

Его бегство казалось теперь единственно загадочным во всем этом деле. Но ситуация была благоприятна для него. Байнеберг и Райтинг проделали большую подготовительную работу, они говорили о нервозности, которую он будто бы проявлял в последнее время, о его нравственной деликатности, которая возводила в преступление уже одно то, что он, с самого начала обо всем знавший, не заявил сразу же об этом деле и стал таким образом совиновником катастрофы.

Тёрлес был поэтому встречен уже с какой-то растроганной доброжелательностью, и товарищи вовремя подготовили его к этому.

Тем не менее он был страшно взволнован, и боязнь, что он не сумеет объясниться, вконец его извела...

По соображениям такта, поскольку опасались еще каких-нибудь разоблачений, расследование велось на частной квартире директора. Кроме него, присутствовали еще классный наставник, учитель закона божьего и преподаватель математики, которому, как младшему в этой учительской коллегии, выпало на долю вести протокольные записи.

На вопросы о мотивах своего бегства Тёрлес ответил молчанием.

Со всех сторон — понимающие кивки.

— Ну, хорошо, — сказал директор, — об этом нам известно. Но скажите нам, что заставляло вас скрывать проступок Базини.

Тёрлес смог бы теперь солгать. Но его робость ушла. Его прямо-таки соблазнило заговорить о себе и испытать свои мысли на этих умах.

— Сам не знаю, господин директор. Когда я услышал об этом впервые, мне показалось это чем-то чудовищным... чем-то невообразимым...

Учитель закона божьего кивал Тёрлесу удовлетворенно и ободряюще.

— Я... я думал о душе Базини...

Учитель закона божьего просиял, математик протер пенсне, надел его, сощурился...

— Я не мог представить себе тот миг, когда обрушилось на Базини такое унижение, и поэтому меня все время влекло к нему...

— Ну, да... вы, вероятно, хотите этим сказать, что испытывали естественное отвращение к проступку своего товарища и что зрелище порока вас в какой-то мере завораживало, как завораживает, утверждают, взгляд змеи ее жертву.

Классный наставник и математик поспешили одобрить это сравнение энергичными жестами.

Но Тёрлес сказал:

— Нет, это не было в сущности отвращение. Было так: сперва я говорил себе: он провинился и надо передать его тем, кому положено наказать его...

— Так бы и следовало вам поступить.

— ...А потом он казался мне таким странным, что я ни о каких наказаниях уже не думал, смотрел на него совсем с другой стороны. Каждый раз во мне что-то давало трещину, когда я так о нем думал...

— Вы должны выражаться яснее, дорогой Тёрлес.

— Это нельзя сказать иначе, господин директор.

— Ну, все-таки. Вы взволнованы, мы же видим, в замешательстве... То, что вы сейчас сказали, было очень туманно.

— Ну, да, я сейчас в замешательстве. У меня уже были для этого гораздо лучшие слова. Но все равно получается одно и то же — что во мне было что-то странное...

— Хорошо... но ведь это же, наверно, естественно при всех этих обстоятельствах.

Тёрлес минуту подумал.

— Может быть, можно сказать так: есть какие-то вещи, которым суждено вторгаться в нашу жизнь как бы в двойном виде. Такими мне представляли отдельные лица, события, темные, запыленные углы, высокая, холодная, молчащая, вдруг оживающая стена...

— Но помилуйте, Тёрлес, куда вас заносит?

Но Тёрлесу доставляло удовольствие выговориться до конца.

— ...Мнимые числа...

Все то переглядывались, то глядели на Тёрлеса. Математик кашлянул.

— Для лучшего понимания этих туманных заявлений я должен добавить, что воспитанник Тёрлес однажды приходил ко мне с просьбой объяснить ему некоторые основные математические понятия, — в том числе мнимого, — которые и в самом деле могут быть затруднительны для неподготовленного ума. Должен даже признаться, что он проявил тут несомненное остроумие, однако он поистине маниакально выбирал только такие вещи, которые — для него по крайней мере — означали как бы пробел в каузальности нашего мышления. Помните, Тёрлес, что вы тогда сказали?

— Да. Я сказал, что мне кажется, что одним лишь мышлением мы через эти места перейти не можем и нуждаемся в другой, более глубокой уверенности, которая нас как бы перенесет через них. Что одним мышлением обойтись нам нельзя, я почувствовал и на примере Базини.

Директор при этом уклонении следствия в философию уже терял терпение, зато преподаватель закона божьего был очень доволен ответом Тёрлеса.

— Вы, значит, чувствуете, — спросил он, — что вас тянет прочь от науки к религиозным точкам зрения? Видимо, и по отношению к Базини было что-то подобное, — обратился он к остальным, — душа его, кажется, чувствительна к высшей, я сказал бы, к божественной и трансцендентной сущности нравственности.

Тут директор почувствовал, что он все же обязан вмешаться.

— Послушайте, Тёрлес, так ли обстоит дело, как говорит его преподобие? Вы склонны искать за событиями или вещами — как вы довольно общо выражаетесь — религиозную подоплеку?

Он сам был бы уже рад, если бы Тёрлес ответил наконец утвердительно, дав твердую почву для суждения о нем; но Тёрлес сказал:

— Нет, и не это.

— Ну, тогда скажите наконец без обиняков, — выпалил директор, — что это было. Мы же не можем сейчас пускаться с вами в философские споры.

Тёрлес, однако, заупрямился. Он сам чувствовал, что говорил плохо, но и это возражение, и тот основанный на недоразумении одобрительный отклик дали ему чувство высокомерного превосходства над этими старшими, которые, казалось, так мало знали о состояниях человеческой души.

— Я не виноват, что это совсем не то, что вы имеете в виду. Но я сам не могу точно описать, что я ощущал каждый раз. Но если я скажу, что думаю об этом теперь, вы, может быть, и поймете, почему я так долго не мог освободиться от этого.

Он выпрямился, так гордо, словно он здесь судья, его глаза прямо проходили мимо этих людей; ему не хотелось глядеть на эти смешные фигуры.

За окном сидела на ветке ворона, больше ничего не было, кроме белой равнины.

Тёрлес чувствовал, что пришло мгновение, когда он ясно, внятно, победительно заговорит о том, что сначала неясно мучило его, затем омертвело и обессилело.

Не то чтобы какая-то новая мысль дала ему эту уверенность и ясность, нет, он весь, выпрямившийся сейчас

во весь рост, словно вокруг него ничего не было, кроме пустого пространства, — он всей своей человеческой целостностью чувствовал это, как почувствовал тогда, когда его изумленные глаза блуждали среди пишущих, занятых учеников, корпящих над работой товарищей.

Ведь с мыслями дело обстоит особо. Они часто всего-навсего случайность, которая приходит, не оставляя следа, и у мыслей есть свои мертвые и свои живые моменты. Может прийти гениальное озарение, и оно все же увянет, медленно, исподволь, как цветок. Форма останется, а краски, аромат исчезнут. То есть помнишь-то его слово в слово, и логическая ценность найденной фразы полностью сохраняется, но она только все вертится по поверхности нашего внутреннего мира, и мы не чувствуем себя богаче из-за нее. Пока — может быть, через много лет — вдруг снова не приходит мгновение, когда мы видим, что все это время совершенно не помнили о ней, хотя логически все помнили.

Да, есть мертвые и живые мысли. Мышление, которое движется по освещенной поверхности, которое всегда можно проверить нитью причинности, — это еще не обязательно живое мышление. Мысль, которую встречаешь на этом пути, остается безразличной, как любой человек в колонне марширующих солдат. Мысль — пусть она уже давно приходила нам на ум — становится живой только в тот момент, когда к ней прибавляется нечто, уже не являющееся мышлением, уже не логическое, так что мы чувствуем ее истинность по ту сторону любых оправданий, как якорь, которым она врезалась в согретое кровью, живое мясо... Великое понимание вершится только наполовину в световом кругу ума, другая половина — в темных недрах естества, и оно есть прежде всего душевное состояние, самое острое которого мысль только увенчивает как цветок.

Только потрясение души нужно было еще Тёрлесу, чтобы взметнулся этот последний побег.

Не обращая внимания на озадаченные лица вокруг, словно лишь для себя, он продолжил и, не переводя дыхания, глядя прямо вперед, договорил до конца:

— ...Я, может быть, еще слишком мало учился, чтобы правильно выразаться, но я это опишу. Только что это снова было во мне. Не могу сказать иначе, чем что вижу вещи в двух видах. Все вещи; и мысли тоже. Сегодня они такие же, как вчера, когда я пытаюсь найти разли-

чие между ними, но стоит мне только закрыть глаза, как они оживают в другом свете. Возможно, я и ошибался в случае с иррациональными числами. Когда я смотрю на них как бы по линии математики, они для меня естественны, когда я подхожу к их странности прямо, они мне кажутся невыносимыми. Но тут я могу и ошибаться, я слишком мало знаю о них. Но я не ошибался с Базини, не ошибался, когда не мог отвернуть своего слуха от тихого журчания высокой стены, своего зрения от беззвучной жизни пыли, которую внезапно осветил фонарь. Нет, я не ошибался, когда говорил о второй, тайной, незамеченной жизни вещей!.. Я... я это не в буквальном смысле... не то что эти вещи живые, не то что у Базини было два облика... но во мне было что-то второе, что на все это не смотрело глазами разума. Так же, как я чувствую, что во мне оживает какая-то мысль, я чувствую, что при виде вещей что-то живет во мне, когда мысли молчат. Есть во мне, под всеми мыслями, что-то темное, чего я не могу вымерить мыслями, жизнь, которая не выражается словами и которая все-таки есть моя жизнь... Эта молчащая жизнь угнетала, теснила меня, меня всегда тянуло всмотреться в нее. Я страдал от страха, что вся наша жизнь такова, а я лишь от случая к случаю частями о том узнаю... о, мне было ужасно страшно... я сходил с ума...

Эти слова и сравнения, Тёрлесу совсем не по возрасту, в огромном волнении, в минуты почти поэтического вдохновения слетели с его губ легко и естественно. Теперь он понизил голос и, словно объятый своим страданием, прибавил:

— ...Теперь это прошло. Я знаю, что я все-таки ошибался. Я уже ничего не боюсь. Я знаю: вещи — это вещи и таковыми, вероятно, останутся навсегда. И я, вероятно, буду смотреть на них то так, то этак. То глазами разума, то другими... И я больше не буду пытаться сравнивать одно с другим...

Он умолк. Он счел совершенно естественным теперь уйти, и никто ему не помешал это сделать.

Когда он вышел, оставшиеся озадаченно переглянулись.

Директор в нерешительности качал головой. Классный наставник первым нашел слова:

— Ну, этот маленький пророк решил нам, видно, прочитать лекцию. Но тут черт ногу сломит. Это волнение! И при этом такая путаница в простейших вещах!

— Рецептивность и спонтанность мышления, — подхватил математик. — Похоже, что он слишком много внимания уделил субъективному фактору всех наших впечатлений и что это смутило его и толкнуло на туманные сравнения.

Только учитель закона божьего промолчал. Он не раз выхватывал из речей Тёрлеса слово «душа» и с удовольствием взялся бы за этого молодого человека.

Но он все-таки толком не знал, что имелось в виду. Директор, однако, положил конец этой ситуации.

— Не знаю, что, в сущности, в голове у этого Тёрлеса, но во всяком случае он находится в такой степени возбуждения, что пребывание в училище ему, пожалуй, уже не на пользу. Нужно более тщательное наблюдение за его духовной пищей, чем то в силах осуществить мы. Не думаю, что мы можем нести ответственность далее. Тёрлесу нужно домашнее воспитание. Я напишу на этот счет его отцу.

Все поспешно согласились с этим хорошим предложением добропорядочного директора.

— Он действительно был такой странный, что я уж подумывал, что он предрасположен к истерии, — сказал математик своему соседу.

Одновременно с письмом директора к родителям пришло письмо Тёрлеса, где тот просил взять его из училища, потому что он больше не чувствует себя там на месте.

Базини тем временем был в наказание исключен. В школе все шло привычным ходом.

Было решено, что Тёрлеса заберет мать. Он равнодушно прощался с товарищами. Он уже начинал забывать их фамилии.

В красную клетушку он больше не поднимался. Все это, казалось, ушло от него далеко-далеко.

После удаления Базини это было мертво. Словно тот человек, который приковал к себе все эти отношения, унес с собою и их.

Что-то тихое, подернутое сомнением объяло Тёрлеса, но отчаяние прошло. «Оно было таким сильным, наверное, только из-за тех тайных дел с Базини», — думал он. Никаких других причин он не усматривал.

Но ему было стыдно. Как бывает стыдно утром, когда тебе ночью, в лихорадке, мерещилось во всех углах темной комнаты что-то ужасное.

Его поведение перед комиссией — оно казалось ему чудовищно смешным. Столько шума! Разве они не были правы? Из-за такого пустяка? Было, однако, в Тёрлесе что-то, что делало этот стыд не таким жгучим. «Конечно, я вел себя неразумно, — размышлял он, — однако все это вообще вряд ли имело отношение к моему разуму». В этом и состояло теперь его новое чувство. В его памяти осталась страшная душевная буря, для объяснения которой было далеко не достаточно тех причин, что он теперь еще находил в себе для этого. «Значит, было, наверно, что-то более необходимое и более глубокое, — заключал он, — чем то, что можно объяснить с помощью разума и понятий...»

А то, что присутствовало до страсти и было страстью только заглушено, суть дела, проблема, осталось незабываемо. Эта меняющаяся по мере удаления и приближения психологическая перспектива, которую он увидел. Эта непостижимая связь, которая в зависимости от нашего взгляда придает внезапную ценность событиям и вещам, совершенно не сравнимым друг с другом и чуждым друг другу...

Это и прочее... он видел это удивительно ясно и четко — и уменьшенно. Как видишь утром, когда первые чистые лучи солнца высушат холодный пот и когда стол, и шкаф, и враг, и судьба опять влезают в свои естественные размеры.

Но тогда остается тихая, задумчивая усталость, и так и случилось с Тёрлесом. Он теперь умел делать различие между днем и ночью — собственно, он всегда это умел, и только нахлынувший тяжелый сон размыл эти границы, и он стыдился такого смещения. Но память о том, что все может быть иначе, что есть вокруг человека тонкие, легко стираемые границы, что вокруг души витают лихорадочные сны, которые истачивают крепкие стены и открывают жутковатые улочки, — эта память тоже глубоко в нем засела и излучала бледные тени.

Из этого он мало что мог объяснить. Но ощущение этой бессловесности было восхитительно, как уверенность оплодотворенного тела, которое уже чувствует в своей крови тихую тягу будущего. И в Тёрлесе смешивались усталость и вера.

Поэтому он и ждал прощанья тихо и задумчиво...

Его мать, думавшую, что встретит возбужденного и смущенного молодого человека, поразило его холодное спокойствие.

Когда они ехали на вокзал, справа от них была рошица с домом Божены. Она казалась очень незначительной и безобидной — пыльное сплетение деревьев, ива, ольха.

Тёрлес тут вспомнил, как невообразима была для него тогда жизнь родителей. И он украдкой посмотрел сбоку на мать.

— В чем дело, мой мальчик?

— Ничего, мама, просто подумалось что-то.

И он принялся к слабому запаху духов, который донесся от талии матери.

СОЕДИНЕНИЯ

Перевод И. Алексеевой

Vereinigungen

Die Vollendung der Liebe

1911

Die Versuchung der stillen Veronika

1911

СОЗРЕВАНИЕ ЛЮБВИ

— Ты действительно не можешь со мной поехать?

— Нет, не могу; ты же знаешь, мне приходится из кожи вон лезть, чтобы именно сейчас все быстро закончить.

— Но Лили была бы так рада...

— Конечно, конечно, но это невозможно.

— А без тебя мне ехать совсем не хочется...

Его жена говорила это, разливая чай, и при этом смотрела на него, а он сидел в углу комнаты, в кресле, обитом светлой тканью в цветочек, и курил сигарету. Был вечер, и темно-зеленые жалюзи выглядывали на улицу, составляя длинный ряд вместе с темно-зелеными жалюзи в других окнах и ничем от них не отличаясь. Словно две пары спокойно и плотно сомкнутых век, они скрывали сияние этой комнаты, в которой из матово поблескивающего серебряного чайника струя чая лилась в чашки, с тихим звоном разбивалась о фарфор, и в пронизывающем ее свете казалась замершей, словно прозрачная витая колонна из золотисто-коричневого легкого топаза... На слегка выпуклую поверхность чайника ложились блики — зеленые и серые, синие и желтые; они были неподвижны, как будто слились воедино и им некуда деться. А рука женщины уходила куда-то вверх и вместе со взглядом, направленным на мужа, образовывала резкий, жесткий угол.

Разумеется, со стороны хорошо видно было, что это угол; но его другую, почти телесную суть могли ощутить в нем только эти двое, которым казалось, что стороны угла скреплены оттяжкой из прочнейшего металла, и она удерживает их на своих местах и, хотя они находятся далеко друг от друга, связывает их воедино, в такое

Die Vollendung der Liebe.

единство, которое даже можно воспринять с помощью органов чувств; конструкция опиралась на их тела, и они чувствовали ее давление где-то под ложечкой. Она заставила их неподвижно замереть, прислонившись к спинкам своих кресел и вытянувшись вверх, с неподвижными лицами и остановившимся взглядом, но все же там, где было давление, они замечали нежнейший трепет, что-то легкое, едва осязаемое, словно их сердца, как два роя маленьких мотыльков, перелетают одно в другое...

На этом слабом, почти невероятном и все же столь хорошо осязаемом чувстве, как на тихонько подрагивающей оси, держалась вся комната, и еще на этих двух людях, на которых эта ось опиралась. Предметы вокруг затаили дыхание, свет на стене обратился в застывшие золотые кружева... и все молчало вокруг, замерло в ожидании, было здесь только благодаря им; ...время, которое, как бесконечно поблескивающая нитка, тянется через весь мир, казалось, проходит прямо через эту комнату, проходит через этих людей, а потом вдруг внезапно останавливается и становится твердым, совсем твердым, и неподвижным, и сияющим. И предметы немного придвигаются друг к другу. Это было такое замирание, а затем беззвучное оседание, какое бывает, когда внезапно начинают образовываться поверхности и возникает кристалл... Вокруг этих двоих, через которых проходил его центр и которые внезапно посмотрели друг на друга сквозь это задержанное дыхание, это нагромождение, это примыкание к предметам, как сквозь тысячи зеркальных граней, а затем смотрели все вновь и вновь, словно видели друг друга в первый раз...

Женщина поставила чайник, ее рука легла на стол; словно утомившись от тяжести своего счастья, оба откинулись на подушки и, не отрывая взгляда друг от друга, улыбались, забыв обо всем на свете, они ощущали потребность ничего не говорить друг о друге: и вновь заговорили о больном, об одном больном из книги, которую они прочитали, и одновременно начали с совершенно определенного места и определенного вопроса, словно все время думали об этом, хотя это было не так, ибо они тем самым лишь продолжили разговор, который она вот уже много дней подряд вела в особой манере, словно его лицо было тому виной, и пока речь шла о книге, она смотрела куда-то в сторону; но через некоторое время они, сами того не

замечая, переступили через эту неосознанную преграду, и их мысли вновь вернулись к ним самим.

— Как мог такой человек, как этот Г., считать, что у него все хорошо? — спросила женщина и, погруженная в размышления, продолжала, как бы обращаясь только к самой себе: — Он совращает детей, толкает молодых женщин на путь позора, а потом стоит, улыбается и, как зачарованный, смотрит на ту капельку эротики, которая слабой зарницей вспыхивает в нем. Ты думаешь, он считает, что поступает неправильно?

— Считает ли он?.. Возможно — да, а возможно и — нет, — ответил мужчина, — а может быть, когда имеешь дело с такими чувствами, подобный вопрос неуместен.

— Но мне кажется, — сказала женщина, и теперь из ее слов становилось ясно, что она имеет в виду вовсе не этого случайного человека, а нечто совершенно определенное, смутно всплывающее из разговора о нем, — мне кажется, он считает, что поступает правильно.

Теперь мысли некоторое время беззвучно перетекали от одного к другому, затем, отлетев уже далеко, вновь появлялись, уже облеченные в слова; но, как ни странно, было такое ощущение, будто они до сих пор еще молча держали друг друга за руку и все основное было уже сказано.

— Он поступает плохо, он приносит зло и страдания своим жертвам, он должен знать, что он их деморализует, извращает их чувственность и приводит ее в состояние такого беспокойства, что она вечно обречена будет стремиться все к новой и новой цели; ...и все же такое ощущение, будто видишь, как он улыбается при этом. Лицо все размягченное и бледное, исполненное печали, но решительное, полное нежности... с улыбкой, полной нежности, которая плывет над ним и над его жертвой, словно дождливый день над землей, посланный небом; непостижимо, но в его печали таится прощение, в способности чувствовать, открывающейся в нем, когда он разрушает... Ведь наверное всякий мозг — это нечно одинокое и отдельное ото всех...

— Да, действительно, разве не всякий мозг одинок?

Эти двое, которые теперь замолчали, думали вместе о том третьем, неизвестном, об одном из многих третьих, словно прогуливались вместе где-то за городом: ...дере-

вья, дуга, небо, и вдруг — незнание того, почему оно здесь синее, а там — сплошные облака, они чувствовали, как все эти третьи стоят вокруг них, как тот огромный шар, который смыкается вокруг нас и взирает на нас иногда отчужденным стеклянным взором, и заставляет нас зябнуть, если полет какой-нибудь птицы процарапает в нем непонятную извилистую линию. И внезапно в вечерней комнате наступило холодное, просторное, светлое, как день, одиночество.

Тогда один из них произнес слова, и показалось, что тихо запела скрипка:

— ...Он как дом с запертыми дверьми. То, что он сделал, звучит в нем, наверное, как тихая музыка, но кто ее услышит? Наверное, она-то и превращает все в сладостную печаль...

А другой отвечал:

— Наверное, он вновь и вновь пытается на ощупь пройти сквозь самого себя, силясь отыскать выход, и наконец останавливается, прижимается лицом к стеклу плотно закупоренных окон, издали смотрит на возлюбленные жертвы и улыбается...

Больше ничего не было сказано, но в этом блаженно затаенном молчании всякое новое слово звучало звонче и раздавалось далеко.

— ...И лишь его улыбка летит за ними вдогонку, парит над ними и из вздрагивающего уродства их окровавленных тел сплетает изящный букет... И он трогательно волнуется, не зная, чувствуют ли они его присутствие, и роняет букет, и, как неведомое животное, решительно взмывает ввысь на дрожащих крыльях тайны своего одиночества в полную чудес пустоту пространства.

Они чувствовали, что это одиночество объясняет тайну того, что они вместе. И влекло их друг к другу смутное ощущение мира вокруг них, фантастическое чувство холода со всех сторон, кроме одной — той, с которой они прислонялись друг к другу, снимали друг с друга тяжесть, прикрывали друг друга, как две удивительно подходящие друг к другу половинки, которые, соединившись, сразу сокращают свою границу с внешним миром, а внутренний мир одного и внутренний мир другого мощным потоком устремляются навстречу друг другу. Иногда они чувствовали себя несчастными, потому что им не удавалось все до конца соединить.

— Помнишь, — неожиданно сказала женщина, — когда ты целовал меня несколько дней назад — ты понял тогда, что между нами что-то произошло? Я задумалась о чем-то, как раз в этот момент, о чем-то совершенно неважном, но не о тебе, и я вдруг так пожалела, что пришлось думать не о тебе. А сказать тебе об этом я не могла и сначала невольно улыбнулась, забавляясь тем, что ты об этом ничего не знаешь, а уверен, что мы сейчас очень близки, а после этого мне и вовсе расхотелось говорить, и я рассердилась на тебя, потому что ты не почувствовал всего этого сам, и твои ласки я сразу перестала воспринимать. И я не решалась попросить тебя, чтобы ты сейчас оставил меня в покое, потому что на самом деле все это была ерунда, и я действительно была близка тебе, но тем не менее словно пробежала какая-то неясная тень; ведь оказывалось, что я как будто могла существовать вдали и отдельно от тебя. Ты ведь знаешь это чувство, когда внезапно все предметы удваиваются: вот их очертания, ясные и четкие, а вот те же предметы еще раз, бледные, прозрачные, испуганные, как будто уже кто-то тайком и отчужденно на них посмотрел? Так и хочется схватить тебя и слить со мной... а потом опять оттолкнуть и броситься на землю, потому что это осуществилось...

— И тогда было так?

— Да, именно так тогда и было, и я внезапно заплакала в твоих объятиях; а ты думал, что это от заполнившего меня желания всеми чувствами еще глубже проникнуть в твои ощущения. Не сердись на меня, я должна была сказать тебе об этом, сама не знаю, почему, ведь это были всего лишь мои фантазии, но от этого было так больно, и, мне кажется, я только из-за этого вспомнила про Г. А ты?..

Мужчина в кресле положил сигарету и встал. Их взгляды прочно сцепились, напряженно подрагивая, словно два тела рядом на одном канате. Они ничего больше не говорили, они подняли жалюзи и посмотрели на улицу; они словно прислушивались к скрежету внутреннего напряжения, которое что-то перекраивало в них и затем стихало. Они чувствовали, что не могут жить друг без друга, и только вместе, как хитроумная система, опирающаяся на самое себя, могли нести то, что они хотели. Думая друг о друге, они испытывали болезненное, страдальческое чувство, настолько тонкими, точными и не-

уловимыми были ощущения их связи в этой системе, чувствительной к малейшим колебаниям в ее глубинах.

Через некоторое время, когда, глядя на чуждый им внешний мир за окном, они вновь обрели уверенность в себе, оба почувствовали усталость, и им захотелось уснуть рядом друг с другом. Они чувствовали только друг друга, и все же это было — хотя и едва ощутимое, тающее в темноте — чувство, охватывающее простор поднебесья до самого горизонта.

На следующее утро Клодина поехала в маленький городишко, где был институт, в котором воспитывалась ее тринадцатилетняя дочь Лили. Ребенок был от первого брака, но отцом ребенка на самом деле был американский зубной врач, к которому Клодина однажды обратилась, когда во время поездки в Америку у нее разболелись зубы. Тогда она понапрасну ждала приезда одного своего друга, и приезд его все задерживался, и уже не было сил ждать, и в состоянии странного опьянения — от гнева, боли, эфира и круглого белого лица дантиста, которое день за днем неотступно склонялось над ее лицом — все это и произошло. Это происшествие, эта первая, утраченная часть ее жизни никогда не пробуждали в ней мук совести; через несколько недель, когда ей еще раз нужно было прийти к врачу, чтобы закончить лечение, она явилась в сопровождении своей горничной, и инцидент был таким образом исчерпан; ничего от него не осталось, кроме воспоминания о странном облаке ощущений, в дурмане которого она вдруг задохнулась, как будто ей на голову накинули одеяло, и оно возбудило ее, а потом стремительно соскользнуло на землю.

Но в ее тогдашних действиях и впечатлениях оставалось нечто странное. Случалось, она не могла добиться столь же быстрой и чинной развязки, как в тот раз, и подолгу оставалась с виду полностью во власти разных мужчин, доходя до самопожертвования и полной утраты силы воли, и в этом состоянии готова была сделать все, что они требовали, но впоследствии у нее никогда не оставалось чувства, что происшедшее было для нее сильным и значительным переживанием; ей приходилось совершать и переносить такие вещи, которые обладали силой страсти, доходящей до уничтожения, но она

всегда сознавала, что все это не затрагивает ее глубоко и по существу не имеет с ней ничего общего. Словно ручей, журчали потоки событий, происходящих с этой несчастной, будничной, неверной женщиной, и уносились прочь, оставляя у нее такое чувство, будто она, задумавшись, неподвижно сидит на берегу.

У нее было никогда не становящееся отчетливым сознание протекающей где-то отдельно от нее затаенной внутренней жизни, и оно заставляло ее, не колеблясь, отдавать людям в виде самой себя эту последнюю опору своей скромности и уверенности в себе. За цепью событий действительности скрыто струилось что-то невидимое, и, хотя ей еще ни разу не удалось постигнуть эту потаенную сущность собственной жизни, и, возможно, она даже считала, что никогда не сможет до нее добраться, у нее всегда, что бы ни происходило, появлялось чувство, будто она — гость, в первый и последний раз ступающий на порог чужого дома, гость, который, особенно не задумываясь и с некоторой скукой, отдается во власть всего, что ему там встречается.

И тогда все, что она делала и ощущала, оказывалось погружено во мгновение ее знакомства с очередным мужчиной. Она сразу обретала покой и одиночество, и больше не имело никакого значения, что происходило с ней раньше, важно было лишь то, что случится сейчас, и, казалось, все окружающее здесь для того, чтобы они сильнее ощущали друг друга, или же оно вовсе для нее не существовало. Одурачающее ощущение роста вздымалось вокруг нее, словно горы цветов, и лишь далеко-далеко оставалось чувство преодоленного несчастья, и это было фоном, и все постепенно освобождалось от него, словно онемев от мороза, а потом оттаивая в тепле.

И только что-то тонкое, бледное, едва уловимое тянулось из ее тогдашней жизни в нынешнюю. И то, что она именно сегодня вспомнила обо всем, могло быть делом случая, причиной могла быть и поездка к дочери, или какой-нибудь посторонний пустяк, но началось это на вокзале, когда большое скопление людей ввергло ее в состояние угнетенности и беспокойства, и она вдруг почувствовала легкое прикосновение какого-то чувства, которое, то появляясь, то исчезая, полужаметное, скользнуло куда-то, смутное и далекое, но каким-то почти фи-

зически ощутимым сходством заставило вспомнить полузабытые события прошлого.

У мужа Клодины не было времени проводить ее на вокзал, ей пришлось в одиночестве ждать поезда, вокруг теснилась и напирала толпа и медленно несла ее туда и обратно, словно большая, тяжелая волна помоев. Чувства, запечатленные на распахнутых, бледных утренних лицах, плыли по их поверхности сквозь темное пространство, как рыбаья икра по тусклой водной глади. Ей стало противно. Появилось желание брезгливо отогнать со своего пути все то, что ползло и шевелилось вокруг, однако — ужаснуло ли ее физическое превосходство того, что было вокруг, или только этот сумрачный, ровный, равнодушный свет под гигантской крышей, состоящей из грязного стекла и беспорядочных железных рек, — но пока Клодина с виду спокойно и сдержанно шла в толпе людей, она почувствовала, что вынуждена поступать именно так, и ощутила в глубине души муку унижения. Она тщетно пыталась отыскать защиту в себе самой; ей казалось, что, медленно покачиваясь, она теряется в этой сутолоке, глаза не могли ни на чем остановиться, она уже не могла сосредоточить внимание на себе самой и как ни силилась сосредоточиться, обнаруживала всякий раз тоненькую, тягучую струнку головной боли, которая мешала думать.

Мысли ее уклонялись в сторону и пытались вернуться ко вчерашнему; но эти попытки просто помогли Клодине осознать, что она таит в себе нечто драгоценное и нежное. И не имеет права все это предавать, потому что другие люди не в состоянии понять ее, а она слабее их, не может защититься и ей страшно. Вытянувшись, подобравшись, шла она между ними, полная высокомерия, и вздрагивала, если кто-нибудь подходил к ней слишком близко, и пряталась за маской скромности. И чувствовала при этом, втайне радуясь, как она счастлива, насколько лучше стало, когда она смирилась и отдалась этому тихо буйствующему в ней страху.

И по этой примете она узнала то самое ощущение. Ведь так было и тогда; она вдруг вспомнила: когда-то ей уже казалось, будто ее долго не было, и одновременно — что она никогда никуда не девалась. Что-то смутное окутало ее, что-то неопределенное, похожее на боязливое стремление больных скрывать свои страдания; ее по-

ступки, расчлняясь на части, отделялись от нее, и память других людей уносила их прочь, и ничто не оставляло в ней такого осадка страха, который начинает тихо наполнять душу, в то время как другие думают, что обескровили ее целиком и с сытым видом отворачиваются; и однако на все, что она выстрадала, бледным светом ложился отблеск некоего венца, и глухие, зудящие муки, которые сопутствовали ее жизни, излучали сияние. И тогда ей порой казалось, что ее страдания пылают в ней, как маленькие языки пламени, и что-то заставляло ее зажигать все новые и новые, не зная покоя; при этом ей казалось, что в лоб ей врезается какой-то обруч, невидимый и невероятный, словно пришедший из снов, словно стеклянный, а иногда у нее в голове лишь кружилось далекое пение...

Клодина сидела, не двигаясь, а поезд катил вперед. Ее попутчики вели между собой беседу, для нее это был лишь какой-то шум. И когда она думала теперь о своем муже, и мысли ее окутывались мягким, усталым счастьем, словно морозным снежным воздухом, то при всей мягкости было что-то, что почти мешало двигаться, как будто выздоравливающему, привыкшему к комнатной неподвижности человеку приходилось сделать свои первые шаги по улице. Это было счастье, которое сковывает и от которого даже больно; а за всем этим все еще пронзительно звучал тот неопределенный, колеблющийся звук, который она не могла постичь, далекий, забытый, как детская песенка, как боль, как она сама, и, расходясь широкими дрожащими кругами, он притягивал ее мысли к себе, и они не могли заглянуть в его лицо.

Она откинулась назад и посмотрела в окно. У нее не было сил думать об этом дольше; все чувства ее были напряжены и очень восприимчивы, но что-то, что стояло за этими чувствами, хотело покоя, хотело вытянуться, хотело, чтобы мир проскользнул мимо. Телеграфные столбы косо падали назад, поля с бесснежными бурыми бороздами поворачивали в сторону, кусты словно делали стойку на голове, вскинув вверх сотни ножек, на которых висели тысячи колокольчиков воды, и они катились, падали, они блестили и сверкали. И было в этом что-то веселое и легкое, ощущение какого-то простора, как будто рухнули стены, какое-то освобождение и облегчение, исполненное нежности. И даже с ее тела снялась

мягкая тяжесть, оставив в ушах ощущение тающего снега, и постепенно от него не осталось ничего, кроме немолчного прерывистого звона. У нее было такое чувство, будто она живет с мужем в этом мире, как в искрящемся шаре, наполненном жемчужинами, пузырьками и легкими, как перышко, прозрачными облачками. Клодина закрыла глаза и отдалась этому чувству.

Но через некоторое время она вновь задумалась. Легкое, равномерное покачивание поезда, какая-то распахнутость, таяние в природе за окном — Клодина словно избавилась от какого-то давления, ей внезапно пришло в голову, что она одна. Клодина невольно подняла глаза; она по-прежнему ощущала, как что-то в тихом кружении с шумом пронесется мимо; было такое же чувство, какое бывает, если однажды вдруг увидишь открытую дверь, которую нельзя себе представить иначе, как только закрытой. Возможно, она давно уже испытывала такое желание; возможно, что-то незаметно пошатнулось в их любви, но она знала только, что их все сильнее притягивало друг к другу, а теперь внезапно ощутила, как что-то, долгое время остававшееся втайне замкнутым, вскрылось; медленно поднимались, словно из почти незаметной, но глубоко проникающей раны, маленькими, непрерывно сочащимися каплями и выходили наружу мысли и чувства, и, ширясь, завоевывали себе место.

Существует так много вопросов в отношениях с любимыми людьми, поверх которых приходится возводить постройку совместной жизни, не дожидаясь, пока эти вопросы будут продуманы до конца, а позже совершившееся уже не оставляет сил на то, чтобы хотя бы вообразить себе нечто другое. А еще бывает так: стоит где-то у дороги какой-нибудь примечательный столб, встречается какое-то лицо, веет аромат, среди травы и камней вьется тропка, на которую никто никогда не ступал, и ты знаешь, что нужно вернуться, рассмотреть все это, но все толкает тебя вперед, и лишь сны, как паутинки, да хрустнувшая ветка немного замедляют твой шаг, а от каждой несостоявшейся мысли исходит тихое оцепенение. В последнее время изредка, но может быть чаще, чем раньше, появлялся этот взгляд назад, более сильный изгиб туда, в прошлое. Верность Клодины противилась этому, именно потому, что сама была не покоем, а высвобождением сил, взаимной поддержкой, равновесием в постоянном продвижении

вперед. Был бег рука об руку, но иногда прямо на бегу появлялось внезапно это искушение — остановиться и постоять так, совсем одной, и оглядеться вокруг. Тогда она ощущала их страсть как нечто насильственное, принуждающее, отнимающее у нее что-то; и даже когда искушение было преодолено, и она ощущала стыд, и сознание красоты их любви вновь охватывало ее, то прежнее чувство становилось цепенящим и тяжким, как опьянение, и под его действием она восторженно и боязливо постигала каждое свое движение, как что-то величественное и чинное, словно в золотом парчовом платье со шнуровой; но где-то оставалось нечто, и оно манило, тихо ложась бледными тенями под мартовским солнцем на весеннюю землю, распахнутую, как открытая рана.

Хотя Клодина была вполне счастлива, ее иногда охватывало состояние неприкрытой деловитости, осознание случайности этого счастья; она думала иногда, что для нее явно уготована еще какая-то другая, неведомая жизнь. Это была, видимо, всего лишь иная форма какой-то мысли, которая осталась в ней от прежних времен, не настоящая мысль в полном смысле этого слова, а всего лишь чувство, которое когда-то могло сопутствовать этой мысли, опустошенное, непрерывное шевеление, подкрадывание и подсматривание, которое, отступая назад и никогда до конца не проявляясь, — давно уже потеряло свое содержание и оставалось в ее снах, как ход в темный коридор.

Но может быть это было одинокое счастье, самое удивительное из всего, что бывает на свете? Что-то зыбкое, подвижное и смутно чувствительное с той стороны их отношений, где в любви других людей находится костистый и бездушный, прочный несущий каркас. Тихое беспокойство одолевало ее, почти болезненная тоска по крайнему напряжению чувств, предчувствием последнего взлета. А иногда ей казалось, что она ближе к этим внешним границам, чем обычно. В эти нагие, обессиленно висящие между жизнью и смертью дни она чувствовала тоску, которая не могла быть связана с обычной потребностью в любви, это было почти страстное стремление оставить ту великую любовь, которой она владела, словно перед нею забрезжил путь, связывающий ее последней связью, и вел он вовсе не к любимому, а прочь, в беззащитность, в мягкое, сухое увядание мучительной дали. И она заметила, что шла эта тоска откуда-то издалека, где их любовь

уже не просто связывала их двоих, а вращала бледными слабыми корнями в окружающий мир.

Когда они шли вдвоем, тени их едва намечались и так непрочно крепились к телам, словно не хотели связывать их с землей, и шорох сухой глины под ногами звучал так коротко и так быстро умолкал, и голые кусты глядели в небо с такой неподвижностью, что в эти часы, пронизанные величием грандиозной обнаженности, возникало чувство, будто весь податливый мир немых вещей разом отделился и отстранился от них двоих, а они оказались в вышине, и фигуры их распрямились в этом половинчатом свете, как нечто фантастическое, как чужаки, как несуществующие существа, охваченные собственным угасанием, наполненные обломками непостижимого, которое не находило ответа, которое все предметы старались с себя стряхнуть, и это непостижимое отбрасывало на окружающее осколки своих лучей, и они одиноко и бессвязно вспыхивали то в каком-то предмете, то в какой-нибудь ускользающей мысли.

Затем ей пришло в голову, что она могла бы принадлежать и кому-нибудь другому, и это представлялось ей не как неверность, а как последнее обручение, где-то там, где их не было, где они были только музыкой, где они были никем не слышимой и ни от чего не отраженной музыкой. И тогда она ощущала собственное существование всего лишь как некую линию, которую она с усилием прочерчивала, чтобы в этом отчаянном молчании услышать саму себя, как нечто такое, где одно мгновение влечет за собой другое и где она становилась тем, что делала — неудержимо и незаметно, — и все же оставалась чем-то, что она никогда не могла сделать. И в то время как внезапно у нее появилось такое чувство, будто могло так оказаться, что они любят друг друга только тогда, когда помимо их воли во всю мощь начинает звучать тихий, до невероятности проникновенный, мучительный звук, — более глубокие связи и чудовищные сплетения, свершавшиеся в промежутках, среди тех беззвучностей, тех мгновений пробуждения от бури в безбрежной действительности, порождали смутное предчувствие того, будто она стоит среди бессознательно свершающегося и ощущает все это; и с болью одинокого, раз за разом повторяющегося порыва туда, вовне, — перед которым

все прочее, что она делала, было лишь одурманиванием, замыканием в себе, усыплением в этом шуме самой себя, — она любила его, когда думала, что принесет ему последнюю, обремененную земной тяжестью боль.

Еще несколько недель после того ее любовь несла на себе эту окраску; затем все прошло. Но часто, когда она ощущала близость какого-нибудь другого человека, это возвращалось, хотя и становилось слабее. Достаточно было присутствия любого, не важно какого, человека, причем безразлично, что он говорил, — чтобы она ощутила на себе взгляд оттуда... и в нем было удивление... почему ты еще здесь? Нет, она никогда не стремилась к этим чужим ей существам; ей было больно думать о них; она испытывала к ним отвращение. Но вокруг нее тут же возникала бесплотная зыбь тишины; и она не понимала тогда, поднимается ли она или опускается вниз.

Клодина снова посмотрела в окно. За окном все было так же, как и раньше. Но — было ли это следствием ее размышлений, или по какой-то другой причине — бесцветное и упорное сопротивление лежало на всем, словно она смотрела сквозь тонкую, студенистую, отталкивающую пелену. Та беспокойная, легкая как пух тысячаголая резвость обратилась в невыносимую напряженность; все как бы семеняло и текло, раздражаясь и кривляясь, словно что-то чересчур подвижное бежало там мелкими шагами карлика, оставаясь при этом немым и мертвым; то тут, то там звук шагов прерывался подобно гулким хлопкам, скользя прочь, будто невообразимый шум трения предмета о предмет.

Ей доставляло физические муки вглядываться в движение, которому она больше не соперничала. Она еще по-прежнему видела перед собой, за окном, эту жизнь, которая незадолго до того ворвалась в нее и обратилась в чувство, жизнь одержимую, наполненную самой собой, но как только она попыталась притянуть ее к себе, все стало крошиться и распалось на части под ее взглядом. Возникло нечто отвратительное, и оно мешало, словно соринка в глазу, как будто душа ее выбивалась оттуда прочь, тянулась с усилием вдаль, пыталась ухватиться за что-то и обнаруживала пустоту...

И внезапно ей пришло в голову, что и она — точно так же, как и все это, — пленница самой себя, которая

живет, прикованная к одному месту, в одном, определенном городе, в некоем доме, в определенной квартире, погруженная в одно-единственное собственное чувство, годы напролет в этом крохотном уголке, и тогда ей показалось, что и ее счастье, если она на мгновение остановится и подождет, может унести прочь, как такая вот груда гремящих вещей.

Но эта мысль не казалась ей просто случайной, нет, в ней было что-то от этой бескрайней, убегающей вдаль пустой равнины, в которой ее чувство тщетно пыталось найти опору, и вот что-то едва ощутимо коснулось ее, словно скалолаза на отвесной стене, и настало мгновение, веющее холодом и тишиной, когда она начала воспринимать себя, как слабый, невнятный шорох среди необъятного пространства, и по тому, как все внезапно смолкло, поняла, как неслышно она туда просочилась и как велик, насколько полон до жути забытыми шорохами был каменный лоб пустоты.

И когда эта пустота содрогнулась перед нею, словно чувствительная кожа, и она ощутила в кончиках пальцев безмолвный страх перед мыслями о себе, и когда ее ощущения начали вязнуть в ней, как крупинки на клейкой поверхности, а чувства заструились, как песок, — тогда она вновь услышала тот странный звук; словно маленькая точка, словно птица парил он в пустоте.

И тогда она внезапно ощутила все происходящее как судьбу. То, что она уехала, то, что природа ускользала от нее, то, что сразу, с самого начала этой поездки она так робко себя вела и так боялась самой себя, окружающих, своего счастья; и прошлое сразу показалось ей всего лишь несовершенным воплощением чего-то, чему еще только суждено произойти.

Она по-прежнему боязливо смотрела в окно. Но постепенно, под давлением чего-то невероятно чуждого ей, дух ее начинал стыдиться любого сопротивления и любых усилий обуздать себя, и у нее было такое чувство, будто он наконец приходит в себя, и его тихо охватывала тончайшая, последняя, дающая волю происходящему сила слабости, и он становится прозрачнее и меньше ребенка, и мягче пожелтевшего листка папиросной бумаги; и только скорее с каким-то нежно разгорающимся восторгом ощутила она это глубочайшее, прощальное человеческое счастье чужеродности в мире вместе с ощу-

щением того, что проникнуть в нее невозможно, что среди ее решений невозможно найти то, которое предназначено для нее, и что, оттесненная сутолокой этих решений к самому краю жизни, она чувствует мгновение перед падением в слепую грандиозность пустого пространства.

И она ощутила внезапную, очень смутную тоску по своей прежней жизни, которой злоупотребляли и которую использовали для своих надобностей чужие люди, словно после болезни, во время которой человеку бывает свойственна какая-то особая, стертая, бессильная чуткость, когда шорохи гуляют по дому из одной комнаты в другую, а ты не имеешь к ним уже никакого отношения и, избавленный от давящей тяжести собственной души, ведешь жизнь, парящую неведомо где.

За окном беззвучно бушевала природа. В своих мыслях она ощущала людей, как нечто большое, звучное, обретающее уверенность, она же ускользала от всего этого в саму себя, и от нее не оставалось ничего больше, кроме того, что ее нет, кроме бесплотности и стремления к чему-то. А поезд тем временем совсем незаметно переместился в другую местность и, мягко, неторопливо покачиваясь, покатил через поля, еще скрытые глубоким снегом; все ниже опускалось небо, и очень скоро совсем рядом, в двух шагах, за окном оно начало стлаться по земле темными, серыми завесами из медленно слетающих вниз снежинок. Вагон наполнился желтоватыми сумерками, очертания спутников Клодины рисовались ей лишь как нечто неопределенное, они медленно покачивались, словно призраки. Она уже не понимала, о чем думает, она молча отдавалась тихой радости быть наедине с незнакомыми переживаниями; это было похоже на переливы легчайших, неуловимейших замутнений и величественных, тянущихся к ним, расплывчатых движений души. Она попыталась вспомнить своего мужа, но почти полностью ушедшая в прошлое любовь оставила после себя лишь странное воспоминание в образе комнаты с давно затворенными окнами. Она силилась стряхнуть с себя этот образ, но он не поддавался и, отлетев, застрял где-то поблизости. А мир был так приятно прохладен, словно постель, в которой остаешься одна... Возникло такое чувство, будто ей предстоит принять какое-то решение, и она не знала, почему у нее такое чувство; не было ни счастья, ни воз-

мущения, она просто чувствовала, что ей не хочется ничего предпринимать и ничему препятствовать, и мысли ее медленно ползли туда, в снежную пелену, без оглядки, все дальше и дальше, как бывает, когда человек слишком устал, чтобы повернуть назад, и вот он все идет и идет.

Когда они уже подъезжали, тот господин сказал:

— Какая-то идиллия, заколдованный остров, прекрасная женщина, погруженная в сказку белых кружев и тончайшего белья, — и он сделал движение, указывая за окно. «Какая чушь», — подумала Клодина, но не сразу нашлась, что ответить.

Было такое чувство, какое бывает, когда кто-то постукал, и за мутными стеклами угадывается чье-то крупное темное лицо. Она не знала, кто этот человек; ей было безразлично, кто он; она лишь чувствовала, что он стоит там и что ему что-то нужно. И что теперь кое-какие из прежних предчувствий начинали обращаться в действительность.

И как бывает, когда облака подхватывает легкий ветерок, вытягивает их в вереницу и медленно увлекает прочь, так же точно и она почувствовала в безжизненной облачной вате своих чувств некое движение становления, воплощения, и в этом движении не было причины, которая таилась бы в ней самой, и оно происходило помимо нее... И как некоторые восприимчивые люди, она любила в этом непонятном чередовании событий то, что не касалось ее души, небытие самой себя, тот обморок, тот стыд и ту боль собственной души; это было похоже на порыв ударить слабого из нежности к нему — ребенка, женщину, а потом захотеть сделаться бесчувственным платьем, висящем в темном шкафу наедине со своими печальями.

Наконец они прибыли, уже к вечеру; поезд шел полупустой, и немногочисленные пассажиры, как отдельные капли, вытекали из вагонов; в дороге постепенно, с каждой станцией, она словно бы понемногу вытягивала что-то из окружающих, и теперь сгребала все это в кучу, торопливо, ибо от вокзала до города был еще час езды, а саней было всего трое и пришлось разделить на группы. Пока Клодина постепенно обретала способность размышлять, она оказалась с другими четверьяма попутчика-

ми в одной из тесных санных повозок. Спереди доносился незнакомый запах лошадей, от которых на морозе шел пар, и лились волны рассеянного света, падающего от фонарей, иногда же тьма подступала к повозке и пронизывала ее насквозь; тогда Клодина видела, что они едут между двух рядов деревьев, как по темному коридору, который по мере приближения к цели становился все уже и уже.

Из-за холода она села спиной к лошадям, и перед нею оказался тот человек, большой, широкоплечий, закутанный в шубу. Он преграждал путь ее мыслям, которые хотели обратно. Каждый ее взгляд стал наткаться на его темную фигуру, будто вдруг затворились железные ворота, она обратила внимание на то, что уже не первый раз рассматривает его, чтобы узнать, как он выглядит, словно дело сейчас только в этом и все остальное уже решено. Но она с радостью ощутила, что он оставался совершенно неопределенным, он был любим, он представлял собою смутный простор неведомого. Но иногда это неведомое, казалось, становилось ближе к ней, словно странствующий лес с путаницей деревьев. Неизвестность тяжелой ношей навалилась на нее.

Словно нити единой сети, завязывались беседы между спутниками, которые ехали в этих тесных крытых санях. Он тоже принимал в них участие и давал житейски умные советы; некоторые мужчины умеют так ответить, с тем пряным остроумием, которое, словно резкий, определенный запах, отличает слова мужчины в присутствии женщин. В эти мгновения она подвергалась самым естественным мужским притязаниям и со стыдом вспоминала, что не дала тогда более решительный отпор в ответ на его намеки. И когда ей, в свою очередь, приходилось говорить, ей казалось, что она делает это со слишком явной готовностью, и у нее внезапно появилось бессильное, куцее чувство по отношению к самой себе, словно она размахивает культей.

Потом она, конечно, заметила, что ее, помимо ее воли, мотает в разные стороны и при любом повороте дороги она то локтями, то коленями, то всем телом касается этого чужого и незнакомого, и она воспринимала это сквозь какое-то отдаленное сходство, словно эти маленькие санки были затемненной комнатой, а эти люди сидели там

вплотную к ней, разгоряченные и назойливые, и она боязливо терпела непристойности, которые они говорили, улыбаясь, словно ничего не заметила, а глаза глядели прямо, прочь от самой себя.

Но все это было, как тяжелое сновидение в полусне, когда человека не покидает сознание того, что это не на самом деле, и она удивлялась только тому, как сильно она его ощущает, пока этот человек не высунулся наружу и не посмотрел на небо со словами: «А нас, пожалуй, занесет снегом».

Тут ее мысли словно одним рывком переметнулись в настоящее. Она подняла глаза, люди шутили весело и безобидно, и было такое ощущение, будто стоишь и смотришь в туннель, а в конце его видишь свет и маленькие фигурки людей. И в тот же миг у нее появилось до странности равнодушное, трезвое осознание действительности. Она с удивлением замечала, что тем не менее тронута и сильно ощущает все это. Это почти напугало ее, ибо перед ней был белый, даже излишне яркий свет сознания, под лучами которого ничто не может кануть в неопределенность снов, сквозь которую не пробивается ни одна подвижная мысль и в которой люди иногда становятся угловатыми и безмерно огромными, как холмы, словно начинают вдруг скользить сквозь невидимый туман, в котором все действительное, разрастаясь, принимает огромные, призрачные очертания. Тогда она ощутила страх и почти покорность по отношению к ним, и все же до конца не теряла ощущения, что эта слабость была лишь особенной способностью; казалось, будто границы ее бытия незаметно и ощутимо вышли за пределы ее существа, и все вокруг тихо наталкивалось на нее и вгоняло ее в дрожь. И она впервые испугалась этого необычного дня, одиночество которого с нею вместе, подобно подземной тропинке, постепенно погружалось в безумный шепот сумерек души и теперь, в дальней дали, внезапно поднялось до неподатливо реального происходящего, оставляя ее наедине с огромной, незнакомой и нежеланной действительностью.

Она украдкой посмотрела на незнакомца. Он в этот момент зажигал спичку; осветились его борода и глаза; и эти его действия, ни о чем не говорящие, вдруг показались ей такими важными, она внезапно ощутила не-

рушимость происходящего сейчас, то, как естественно одно событие смыкалось с другим, никуда не деваясь, бездумно и спокойно, но вместе с тем — как единая, мощная, несокрушимая сила. Она думала о том, что он, бесспорно, самый обыкновенный человек. И тогда ее постепенно захватило робкое, размытое, неуловимое ощущение самой себя; ей представлялось, что она расплывается перед ним в темноте, растворяясь и разлетаясь в клочья, как белесые хлопья пены. Ей доставляло теперь странное удовольствие приветливо отвечать ему; при этом она бессильно, с замершей душой следила за своими собственными действиями, и наслаждение, которое она при этом испытывала, было смесью радости и страдания, она словно канула во внезапно разверзшуюся в ней пропасть истощения всех сил.

Но потом ей показалось, что и раньше уже это началось именно так. И при мысли о том, что все повторяется, ее на мгновение коснулся леденящий, невольный желанный ужас, словно перед безымянным пока грехом; она вдруг задумалась о том, замечает ли он, что она на него смотрит, и от этого ее тело наполнилось робкой, почти раболопной чувственностью, словно появилось смутное прибежище для таинства ее души. Незнакомец же, такой большой и спокойный, сидел в темноте и лишь иногда улыбался, а может быть и это ей только чудилось.

Так они ехали совсем рядом в глубоких сумерках. И постепенно в ее мысли вновь начинало проникать незаметно нарастающее беспокойство. Она пыталась убедить себя, что это всего лишь запутанная до иллюзии внутренняя тишина внезапной поездки среди чужих людей, а иногда ей казалось, что все дело в ветре, и что, укутанная его студеным, обжигающим холодом, она замирала и теряла волю, но время от времени возникало и совсем странное ощущение, словно ее муж сейчас снова очень близко, а эта слабость и чувственность — особое, полное удивительного блаженства чувство их любви. А однажды, — она как раз тогда опять взглянула на незнакомца и ощутила этот призрачный отказ от собственной воли, твердости и неприкосновенности, — над ее прошлым вдруг разгорелось сияние, как над несказанной, незнакомой далью; это было особое чувство будущего, как будто давно ушедшее еще живо. Через мгновение, однако,

это был уже скорее лишь угасающий луч понимания среди тьмы, и только в ней самой что-то реяло вослед, как-то так, словно это был еще ни разу не виданный пейзаж их любви, где все предметы были огромны, и раздавался тихий свист, странный и незнакомый, — как, она в точности не могла сказать, и ей казалось, что она мягко и робко закуталась в саму себя, полная особенных, еще не постижимых решений, пришедших отсюда.

И она невольно подумала о днях, странным образом отделенных ото всех прочих, которые ложились перед ней, как разбег анфилады комнат, и вливались один в другой, и попутно слушала цокот лошадиных копыт по мостовой, который приближал ее, беспомощную, брошенную в этих санях в беспощадное настоящее этого случайного соседства, к тому, что должно произойти; и она с поспешным смехом вмешалась в какой-то разговор, и ощущала себя внутренне огромной и разносторонней, но была бессильна перед этой необозримостью, словно затянута глухим сукном.

Затем среди ночи она проснулась, словно от звона колокольчиков. Клодина вдруг почувствовала, что пошел снег. Она посмотрела в окошко; словно какая-то стена мягко и тяжело стояла в воздухе. Она шла на цыпочках, переступая босыми ногами. Все происходило так быстро, при этом она смутно понимала, что ступала босыми ногами по земле, как какое-то животное. Потом, подойдя близко, замерев, она стала вглядываться в густую сеть снежинок. Все это она проделывала, как бывает во сне, каким-то узким участком своего сознания, которое всплывало, подобно маленькому необитаемому острову. Ей казалось, что она находится очень далеко от самой себя. И внезапно она вспомнила слова, и вспомнила интонацию, с которой они были сказаны: а нас, пожалуй, занесет снегом.

Она попыталась прийти в себя и оглянулась. В комнате за ее спиной было тесно, и было что-то особенное в этой тесноте, что-то, похожее на клетку, — или на признание чужой победы. Клодина зажгла свечу и осветила окружающие предметы; с них медленно начинал сползать сон, они выглядели так, как будто еще окончательно не пробудились, — шкаф, сундук, кровать, и все же что-то было в избытке, или чего-то не хватало, было Ничто, грубое, струящее Ничто; слепо и вяло стояли

они в голом полумраке мятущегося света, на столе и стенах еще лежало неотступное ощущение покрова пыли и того, что по ней придется ступать босыми ногами. Из комнаты вел узкий коридор с дощатым полом и белеными стенами; она знала, что там, где начинается лестница вверх, висит слабая лампа в проволочном кольце, она отбрасывала на потолок пять светлых, колеблющихся кругов, и затем свет ее, как следы грязных шарящих по стене пальцев, расползлся по белой извештке. Словно стража у края странно беспокойной пустоты были эти пять светлых, бессмысленно колеблющихся кругов... Вокруг спали чужие люди. Клодина почувствовала внезапно накатившую волну ужасной жары. Ей хотелось тихо вскрикнуть, как кричат кошки от страха и вожделения, стоя вот так, встрепенувшись в ночи, пока последняя тень того, что она делала, так странно ощущаемого ею, не ускользнула беззвучно за вновь ставшие гладкими стенки ее души. И вдруг она подумала: а что, если бы он сейчас подошел ко мне и просто попытался сделать то, что он ведь и так явно хочет сделать...

Она сама не знала, как перепугалась. Что-то прокатилось по ней, словно раскаленный шар; на несколько минут все заслонил этот странный испуг, и следом — эта прямая, как струна, молчаливая теснота. Она попыталась представить себе этого человека. Но ничего не вышло; она чувствовала лишь медлительно осторожную, звериную поступь собственных мыслей. Только иногда ей удавалось разглядеть кое-что в той стороне, где он на самом деле сидел, его бороду, его освещенные глаза... Тогда она чувствовала отвращение. Она понимала, что никогда больше не смогла бы принадлежать никакому другому человеку. Но именно в этот момент, одновременно с этим отвращением ее тела, странным образом страждущего только по одному-единственному, — с отвращением ко всякому другому, она почувствовала, словно на втором, более глубоком уровне, — какое-то стремление склониться, какое-то кружение, что-то вроде слабого отзвука человеческой неуверенности, может быть — необъяснимый страх перед собой, пусть лишь неуловимый, неосмысленный, робкий, перед тем, что тот, другой, все-таки остается желанным, и страх ее разливался по телу ледящим холодом, несущим с собой мгновенную радость разрушения.

Вот где-то ровным голосом заговорили сами с собой часы, шаги прозвучали у нее под окном и стихли, а вот спокойные голоса... В комнате было прохладно, сонное тепло струилось от ее кожи, бесформенное и податливое, оно окутывало ее и переползало за ней во мраке, словно облако слабости, с места на место. Она испытывала стыд перед вещами, которые, сурово выпрямившись и давно уже обретя свой бесстрастный, обычный облик, смотрели на нее в упор со всех сторон, в то время как ее сводило с ума сознание того, что она стоит среди них в ожидании какого-то незнакомца. И все же она смутно понимала, что манил ее вовсе не тот чужой человек, а лишь сама по себе возможность стоять здесь и ждать, это изощренное, безумное, забытое блаженство быть самой собой, быть человеком и, пробуждаясь, раскрыться среди этих безжизненных вещей, как рана. И когда она почувствовала, как бьется ее сердце, словно в груди у нее метался зверь, — испуганный, неизвестно как туда забредший, — тело ее, тихо покачиваясь, как-то странно приподнялось и сомкнулось, как большой, неведомый, понижающий цветок, сквозь лепестки которого в невидимой дали трепетно заструился дурман таинственного соединения, и она услышала, как тихо блуждает далекое сердце возлюбленного, наполненное тревожным, беспокойным, бесприютным звоном, который разливается в тиши подобно безгранично льющейся, трепещущей чужеродным звездным светом музыке, охваченное нестерпимым одиночеством поиска созвучия именно в ней, словно жаждой теснейшего сплетения, и звуки эти уносились далеко за пределы обители человеческих душ.

Тут она почувствовала, что здесь что-то должно закончиться, и не знала, как долго она здесь вот так стоит: четверть часа, несколько часов... Время покоилось неподвижно, питаемое невидимыми источниками, словно бескрайнее озеро без притока и оттока. Только однажды, в какой-то определенный момент, из какой-то точки этого безграничного горизонта что-то смутное добралось до сознания, какая-то мысль, какая-то идея... и как только она промелькнула, Клодина узнала в ней воспоминание о давно канувших в прошлое снах из ее прежней жизни — ей снилось, что ее поймали какие-то враги и заставляли выполнять что-то унижительное, — и тут же сны эти пропали, скомкались, и из неясности туман-

ных далей в последний раз поднялись эти воспомина- ния, как корабли, как призрачно ясно видимые, прочно скрепленные сооружения из рей и канатов, один за дру- гим, и Клодина вспомнила, что никогда не умела сопро- тивляться: как она тогда кричала во сне, как она боро- лась, неуклюже и нелепо, пока хватало сил и разума, вспомнила весь безмерный, бесформенный ужас своей жизни. А потом все это ушло, и во вновь смыкающейся тишине осталось лишь какое-то свечение, какая-то охва- тывающая ее на выходе волна, как будто там было нечто невыразимое. И вдруг оттуда что-то стало наползать на нее — как когда-то эта ужасная беззащитность ее су- ществования, которая за теми снами, далекая, неулови- мая, нереальная, обретала вторую жизнь, — и это было искушение, слабый свет страстного стремления к чему- то, небывалая мягкость, ощущение собственного «я», кото- рое, оголившись, лишившись ужасающей невозможности повернуть вспять свою судьбу, освобожденное от соб- ственных одежд, — в то время как это «я», шатаясь от изнеможения, все же требовало все более опустошитель- ной затраты сил, — оно до странности сбивало ее с тол- ку, как заблудившаяся в ней, с бесцельной нежностью ищущая своего воплощения частица той любви, для кото- рой в языке повседневности и языке сурового, пра- вильного пути еще не было названия.

В этот миг она уже не знала, не приснился ли ей этот сон в последний раз перед самым ее пробуждением. Дол- гие годы она считала, что забыла его, и вот внезапно время, когда он снился, оказалось совсем рядом, у нее за спиной; словно оглядываешься, и взгляд твой неожидан- но падает на чье-то лицо. И на душе у нее сделалось так странно, словно в этой одинокой, отделенной ото всего комнате жизнь ее втекала обратно в саму себя, терялась, как теряются следы на вскопанной земле. За спиной Клодины горел маленький огонек, который зажгла она сама, лицо ее оставалось в тени; и постепенно она пере- стала ощущать, как выглядит, свои очертания представ- лялись ей какой-то особой дырой во мраке настоящего. И медленно-медленно в ней зарождалось ощущение, буд- то на самом деле она вовсе не здесь, словно какая-то часть ее все скиталась и скиталась сквозь пространство и годы, а теперь проснулась, вдали от самой Клодины, очень изменившись, а то чувство, испытанное во сне и

потом исчезнувшее, на самом деле так и осталось при ней... где-то... вот всплывает какая-то квартира... люди... гадкий, обволакивающий страх... А затем краска стыда, теплые, размягченные губы... и внезапно — знание того, что кто-то снова придет, и другое, забытое ощущение распущенных волос, ощущение собственных рук, словно все это говорит о ее неверности... И тут же, сразу, сквозь боязливо сковывающее ее желание сохранить себя для возлюбленного, медленно, доходя до изнеможения с поднятыми в мольбе руками, — мысль: мы были неверны друг другу до того, как друг друга узнали... Это была всего лишь мысль, вспыхнувшая в тихом полубытии, почти чувство; удивительно приятная горечь, подобно тому терпкому, прерывистому дыханию, которое иногда приносит ветер, веющий с моря; почти та же самая мысль: мы любили друг друга еще до того, как познакомились, — как вдруг внезапно бесконечное напряжение их любви протянулось далеко через настоящее в ее неверность, из которой она когда-то пришла к ним обоим, словно из какой-то более ранней формы ее вечного стояния между ними.

И она поникла и, оглушенная, долго ничего не чувствовала, кроме того, что сидит на голым стуле у пустого стола. А потом, наверное, она вспомнила как раз об этом Г., и был разговор о поездке, и слова со скрытым смыслом, и ни разу эти слова вслух не произносились. А потом, однажды, сквозь щели в оконной раме проник мягкий, влажный воздух заснеженной ночи и молча и нежно провел по ее голым плечам. И вот тогда, мучительно, издали, так, как пролетает ветер над потемневшими от дождя полями, она начала думать о том, что неверность — это тихое, как дождь, подобное радости неба, раскинувшегося над мирными полями, наслаждение, таинственно завершающее жизнь...

Начиная со следующего утра особенный воздух прошлого окутывал все.

Клодина собиралась идти в институт; она проснулась рано и словно всплыла из толщи прозрачной тяжелой воды; она не вспоминала больше о том, что волновало ее минувшей ночью; она прислонила зеркало к створке окна и принялась закалывать волосы; в комнате было еще темно. Пока Клодина причесывалась, напряженно вглядываясь в слепое маленькое зеркало, она почувство-

вала себя деревенской девушкой, которая прихорашивается перед воскресной прогулкой, она хорошо понимала, что делает это для учителей, с которыми она увидится, а может быть — и для незнакомца, и ощутив это, она больше никак не могла избавиться от того глупого образа. В глубине души она, вполне возможно, искренне хотела от него избавиться, но он цеплялся за все, что бы она ни делала, и каждое движение приобретало оттенок глупо-чувственного, неуклюжего охорашивания, которое медленно, отвратительно и неуклонно просачивалось вглубь. Через некоторое время она действительно перестала суесться и спокойно опустила руки; но в конце концов все это было слишком неразумно, если она будет и дальше препятствовать тому, что неизбежно произойдет, и пока все просто оставалось, как есть, в том же шатком состоянии и с неуловимым ощущением того, что она ничего не должна делать с тем, что она желает, и тем, чего не желает, складывавшимся в другую, более призрачную и менее прочную цепь, чем цепь действительных решений; она просто шла вслед за происходящим, и когда руки Клодины касались ее мягких волос, а рукава пеньюара соскальзывали по белым рукам до плеч, ей казалось, что все это с ней уже было — когда-то или всегда, и тут же ей показалось странным, что теперь, когда она бодрствует, в пустоте утра, руки ее совершают какие-то движения, то вверх, то вниз, словно находятся не в ее воле, а подчиняются какой-то равнодушной, посторонней власти. И тогда к ней медленно начало возвращаться ее ночное состояние, воспоминания волной вздымались вверх, но не до конца, и вновь откатывались, и перед этими почти совсем не тронутыми забвением событиями вставала дрожащая завеса какого-то напряжения. За окнами стало светло, и у Клодины появилось чувство боязни; когда она вглядывалась в этот ровный, слепящий свет, то ощущала движение, напоминающее движение расслабленной руки и медленное, влекущее ускользание как бы между серебристыми светящимися пузырьками и неведомыми, замершими, большеглазыми рыбами; день начался.

Она взяла лист бумаги и написала мужу слова: «...Все странно. Это длится, наверное, лишь несколько дней, но мне кажется, будто меня что-то поглотило, и я

погрузилась туда глубоко. Скажи мне, что такое наша любовь? Помоги мне, я должна слышать тебя. Я знаю, она как башня, но мне кажется, что я ощущаю лишь дрожь вокруг какой-то стройной вершины...»

Когда она хотела отправить это письмо, почтовый служащий сказал ей, что связь, к сожалению, прервана.

Потом она пошла посмотреть, что делается за городом. Вокруг маленького городка далеко простирались белые, бескрайние, как море, дали. Иногда пролетала ворона, изредка кое-где торчал куст. И лишь далеко, там, где были первые дома и виднелись маленькие, темные, беспорядочные точки, вновь начиналась жизнь.

Она вернулась назад и принялась в беспокойстве бродить по улицам города, и бродила так, наверное, около часа. Она заворачивала в каждый переулок, шла через некоторое время по тем же улицам, но в противоположном направлении, потом переходила на другие улицы, шла в другую сторону, пересекала площади, ощущая, что всего несколько минут назад уже проходила здесь; повсюду белая фантазмагория лихорадочно пустых далей скользила по этому маленькому, отрезанному от действительности городу. Перед домами высились снежные сугробы; воздух был прозрачен и сух; снег, правда, до сих пор еще шел, но все реже и реже, и теперь падали с неба плоские, сухие, сверкающие пластиночки. Казалось, что снегопад вот-вот кончится. Порой окна домов над затворенными дверями поглядывали на улицу ясным голубым стеклянным взором, и под ногами тоже, казалось, похрустывали стекла. Но иногда ком смерзшегося снега лавиной обрушивался вниз; тогда еще целую минуту чудилось, будто зияет рваная дыра, которую он прорвал в полной тишине. И тут внезапно где-нибудь розовато-красным ослепительным светом вспыхивала стена дома, а там — нежно-желтым, канареечным... И тогда все, что она делала, казалось Клодине странным, и это чувство охватывало ее с невероятной силой; в беззвучной тишине на мгновение казалось, что все видимое повторяется, как эхо в каком-то другом видимом. Затем все кругом вновь сливалось воедино; дома стояли вокруг нее в непонятных переулках, как стоят в лесу рядочком грибы, или как среди бескрайнего простора стоят, насупившись, заросли кустов, и все представлялось ей огромным и кружило голову. В ней словно был какой-

то огонь, какая-то обжигающе горькая жидкость, и пока она так шла и думала, казалось, что она пронесит по улицам невиданный таинственный сосуд с тончайшими стенками, пронизанный пламенем.

Она порвала письмо и до самого обеда проговорила с учителями в институте.

В учебных комнатах было тихо; если, сидя в какой-нибудь из них, она через грозные снежные наплывы за окном смотрела вдаль, то заснеженное пространство казалось ей далеким, туманным, словно занавешенным серым снежным свечением. Тогда и люди выглядели странно внушительными, мощными и тяжелыми, а контуры четко обрисовывались. Она говорила с ними о вещах посторонних, не касающихся лично их, и слова, звучавшие в ответ, были того же рода, но ведь иногда даже это бывает поступком самоотверженным. То, с чем она столкнулась, удивляло ее, потому что люди эти ей не нравились, ни у одного из них она не заметила какой-либо особенности, которая бы ее привлекла, все они отталкивали ее уже хотя бы тем, что принадлежали к более низкому сословию, и несмотря на это, она ощущала их мужское начало, их принадлежность к другому полу, как ей казалось, с не испытанной ею прежде или же давно забытой отчетливостью. Она поняла, почему было такое впечатление, будто от этих людей веет дразнящим запахом крупных, неуклюжих пещерных зверей; дело было в том, что выражения их лиц в сумеречном полусвете становились резче, этот свет подчеркивал их тупую обыкновенность, которая, благодаря своей мерзостности, приобретала непостижимую возвышенность. Постепенно и тут у нее появилось знакомое чувство незащитности, которое то и дело возвращалось к ней с тех пор, как она оказалась одна, и своеобразное ощущение покорности начало преследовать ее в любой мелочи, в каждой детали разговора, в том внимании, с которым ей приходилось слушать, хотя бы уже потому, что она вообще там сидела и говорила.

Это стало раздражать Клодину, она решила, что провела здесь уже слишком много времени; полумрак и сам воздух этого помещения вызывали ощущение подавленности и духоты. Вдруг она впервые подумала, что она, женщина, которая просто никогда раньше не разлучалась со своим мужем, едва оказавшись одна, похоже, сразу оказалась готова вновь погрузиться в свое прошлое.

То, что она теперь ощущала, больше не было неопределенно-блуждающим чувством, оно связывалось с конкретными людьми. И все же у нее был страх не перед ними, а перед ощущениями, которые у нее могли быть связаны с ними; ей казалось, что, когда слова, сказанные этими людьми, раскрывали их сущность, в ней потаенно начинало что-то шевелиться и трепетать; не какое-то отдельное чувство, а как бы общий фон, который вмещал их всех, — как бывает иногда, когда проходишь по комнатам в чужой квартире, и они вызывают неприятие, но из окружающей тебя обстановки постепенно, незаметно складывается представление, что люди здесь, должно быть, очень счастливы, и тут же настает тот миг, когда это чувство накатывает на человека, как будто он — это они, те, и человек рвется отскочить назад и не может, обнаружив, что он оцепенел, а мир замкнулся со всех сторон и спокойно замер в этой точке.

В сером утреннем свете эти черные бородатые люди казались ей великанами, заключенными в туманные шары того, неведомого чувства, и она силилась представить себе, как это — ощутить смыкание мира вокруг себя. И в то время, как мысли ее быстро исчезали, словно тонули в мягкой бесформенной плодородной почве, в ее ушах звучал один только голос, охрипший от курения, а слова были упакованы в сигаретный дым, который то и дело касался ее лица, когда слова произносились, — и еще один голос слышался, высокий и звонкий, как медная труба, и она пыталась представить себе тот звук, с которым ей, разбитой половым возбуждением, приходилось соскальзывать вглубь, а затем неловкие движение странным образом вновь обратили ее ощущения к самой себе, и она пыталась нащупать кого-то по-олимпийски смехотворного, — она, женщина, которая в него верит... Некто чужеродное, что не имело ничего общего с ее жизнью, распрямлялось и вздымалось перед ней подавляющей ее громадой, словно косматый зверь, распространяющий вокруг себя едкий запах; ей казалось, будто она едва только собралась стегнуть его кнутом, как вдруг заметила, внезапно остановившись и не разбираясь в причинах, целую гамму чувств, выражающих доверие, в его лице, которое почему-то очень похоже на ее собственное.

Тогда она втайне подумала: «Такие люди, как мы, могут, наверное, жить даже с этими людьми...» Это был

своеобразный мучительный раздражитель, протяжная улада для мозга, появилось что-то вроде тоненькой стеклянной пластинки, к которой болезненно прижимались ее мысли, чтобы всматриваться в смутный мрак по ту сторону стекла; она радовалась, что может при этом ясно и открыто смотреть людям в глаза. Затем она попыталась представить своего мужа отстраненно, как бы посмотрев на него оттуда. Ей удавалось оставаться очень спокойной, когда она думала о нем; он был по-прежнему удивительным, несравненным человеком, но того, что ничем не измеришь, не постигнешь рассудком, уже не было в нем, и он представлялся ей теперь несколько блеклым и не таким близким; порой, когда тяжелая болезнь идет на свой последний приступ, человек испытывает состояние такого же холодного, ни с чем не связанного просветления. Но тут она подумала: как странно, ведь подобное тому, чем она сейчас забавлялась, она когда-то однажды испытывала на самом деле, ведь было время, когда она, уверенно и не мучась никакими вопросами, воспринимала своего мужа так, как она пытается заставить себя вообразить его сейчас, и все это сразу показалось ей крайне странным.

Мы ежедневно проходим мимо каких-то определенных людей или по какой-то местности, и город, дом, эта местность или же эти люди всегда идут с нами, сопровождают нас ежедневно, каждый наш шаг, каждую мысль, и не противятся этому. Но однажды они вдруг делают последний бесшумный рывок и останавливаются, и стоят с непостижимой оцепенелостью и спокойствием, освободившись от связи с нами, с чувством упрямой отчужденности. И если мы оглянемся на самих себя, то окажется, что за спиной у нас стоит незнакомец. Значит, у нас есть прошлое.

Но что это? — спросила себя Клодина и никак не могла сообразить, что же переменялось.

И в этот миг она, как всегда, помнила, что самый простой ответ: переменялся ты сам, но тут она ощутила странное внутреннее сопротивление попытке осознать возможность такого ответа; и очень может быть, что важные, определяющие взаимосвязи познает лишь особенным образом перевернутый разум; и в то время, как она то не могла понять легкость, с которой она ощутила чужеродность прошлого, которое раньше было таким близким,

как ее собственное тело, — то ей непостижимым казалось то обстоятельство, что вообще когда-то все могло быть и по-другому, — в то же самое время она пыталась сообразить, как это бывает, когда порой что-то издали представляется тебе чужим, а потом ты приближаешься и вдруг в каком-то определенном месте вступаешь в круг собственной жизни, но то место, в котором ты находился до сих пор, выглядит теперь таким удивительно пустым; или достаточно просто представить себе, что вчера я делал то-то и то-то — и одна какая-то секунда всегда — как пропасть, на краю которой остается больной, незнакомый, стирающийся из нашей памяти человек, просто мы об этом не задумываемся, — и вдруг во внезапном молниеносном просветлении открылась ей вся ее жизнь, вся во власти этого непонятого, непрерывного предательства, из-за которого человек, оставаясь для других все тем же, каждое мгновение отрывается от самого себя, сам не зная, почему, предчувствуя в этом, однако, последнюю, нескончаемую, неподвластную сознанию нежность, которая глубже, чем все, что человек делает, связывает его с самим собой.

И как только это чувство в его обнажившейся глубине ясно просияло в ней, у нее появилось такое ощущение, будто та надежность, которая снаружи поддерживала ее жизнь, окружая ее со всех сторон, казалось, внезапно перестала ее поддерживать, и жизнь расслоилась на сотню возможностей, раздвинула кулисы, за которыми все эти жизни были нагромождены; и в белом, пустом, беспокойном пространстве между ними возникли учителя, как смутные, неясные тела, которые опускались, что-то ища, смотрели на нее и тяжело вставали каждый на свое место. Для нее было каким-то особым грустным удовольствием, сидя перед ними здесь с неприступной улыбкой посторонней дамы, замкнувшись в своей внешности, оставаться при самой себе лишь чем-то случайным и быть отделенной от них одной только переменчивой оболочкой случайности и факта. И пока ничего не значащие слова живо слетали с ее губ и с безжизненной быстротой бесконечной нити убегали прочь, ее постепенно начинала беспокоить мысль о том, что если бы вокруг нее сомкнулся мгlistый круг одного из этих людей — то, что она тогда делала бы, тоже относилось бы к действительности, только эта действительность была

бы чем-то незначительным, тем, что порой проскакивает в отверстие мгновения, проткнутое равнодушной рукой, под которым, недостижимый для самого себя, человек уплывает прочь, несомый потоком того, что никогда не обратится в действительность, и творимый им одинокий звук, наполненный отстраненной от мира нежностью, не слышит никто. Ее уверенность, эта наполненная страхом любви прикрепленность к тому, Единственному, показалась ей в этот момент чем-то насильственным, несущественным и даже поверхностным по сравнению с почти неподвластным рассудку чувством невесомой принадлежности друг другу, возникшем благодаря этому ее одиночеству в последней, лишенной событий сокровенности.

Возбуждение ее было так велико, что она внезапно вспомнила о министерском советнике. Она понимала, что он желал ее, что с ним и вправду в действительность обратится то, что здесь было пока еще только игрой возможностей.

На миг что-то заставило ее содрогнуться, это было какое-то предупреждение; слово «содомия» пришло ей на ум; неужели я собираюсь заниматься содомией?! Но за этим скрывалось искушение ее любви: ты должна на самом деле почувствовать: я, я — под этим животным. Нечто непредставимое. Чтобы ты, находясь там, больше никогда не смог верить в меня сурово и просто. Чтобы я стала для тебя неуловимой и ускользающей, как луч света, но вовсе не для того, чтобы ты меня отпустил. Только луч света — ты же знаешь, я ведь только нечто, что находится внутри тебя, и этот луч мог возникнуть только благодаря тебе, только пока ты крепко держишь меня, а помимо него, любимый, еще что-то соединяет нас так странно...

И ее охватила тихая переменчивая печаль искателя приключений, тоска по действиям, которые совершаются не ради кого-то, а просто ради самого процесса действия. Она чувствовала, что министерский советник стоял сейчас где-то и ждал ее. Ей казалось, что сузившееся поле зрения вокруг нее уже наполняется его дыханием, а воздух — его запахом. Она забеспокоилась и стала прощаться. Она чувствовала, что подойдет к нему, представила себе этот момент, и по телу, с которым все это произойдет, пробежал холодок. У нее было такое ощущение, будто что-то схватило ее в охапку и потащило к двери, и она

знала, что дверь захлопнется, и противилась этому, и все же уже заранее прислушивалась, напрягая все органы чувств.

Когда она встретилась с этим человеком, он находится для нее уже не на первой, начальной ступеньке знакомства, а непосредственно на пороге решительного штурма. Она знала, что и он, в свою очередь, думал о ней, и у него сложился определенный план. Она услышала его слова: «Мне пришлось привыкнуть к тому, что вы меня отвергаете, но никогда ни один человек не будет чтить вас так самозабвенно, как я». Клодина не ответила. Он произносил слова медленно, с нажимом; она чувствовала, как все было бы, если бы они возымели действие. Тогда она сказала: «Знаете ли вы, что нас действительно засыпало снегом?» Ей чудилось, что все это она уже однажды испытала, и слова ее, казалось, попадали точно в следы тех слов, которые она когда-то раньше уже произнесла. Она обращала внимание не на то, что она делает, а на отличия; ведь то, что она делала сейчас, относилось к настоящему, а нечто такое же — к прошлому; на это насильственное, на это случайное, близкое дыхание чувства, лежащего на всем, обращала она внимание. И у нее появилось огромное, неподвижное ощущение самой себя, и как будто маленькие волны, повторяясь, вздымались и над прошлым, и над настоящим.

Через некоторое время министерский советник вдруг сказал: «Я чувствую, что-то заставляет вас колебаться. Мне знакомы такие колебания. Каждая женщина раз в жизни встает перед этим. Вы цените своего мужа и, разумеется, не хотите причинить ему боль, и поэтому замыкаетесь. Но вы ведь хотя бы на несколько мгновений должны освободиться от этого и пережить великую бурю». И опять Клодина промолчала. Она чувствовала, что он наверняка превратно истолкует ее молчание, но это было ей почему-то приятно. То, что в ней было нечто, не поддающееся выражению с помощью действий и не способное пострадать ни от каких действий, нечто, не способное себя защитить, поскольку оно находилось за границами слов, что надо было полюбить, для того, чтобы понять, полюбить так, как оно любило самое себя; нечто, чем она обладала только в неразрывном единстве со своим мужем, — все это она ощущала сильнее, когда молчала; итак, это было внутреннее соединение, в то время как

внешнюю сторону своего существа она отдавала этому чужаку, и тот обезобразивал ее.

Вот так они шли и беседовали. И в ее чувстве при этом был какой-то наклон, какое-то головокружение, как будто так она глубже воспринимала чудесную непостижимость принадлежности своему возлюбленному. Иногда ей казалось, что она уже приспособилась к своему спутнику, и пусть ошибаются окружающие, считая, что она осталась прежней, и она начала вести себя так, словно проснулись в ней шутки, сумасбродства, порывы давних лет ее девичества, проделки, из которых, как она считала, она давно уже выросла; и тогда он сказал: сударыня, как вы остроумны.

Когда он говорил вот так, шагая рядом с нею, ей становилось ясно, что слова его вылетали в совершенно пустое пространство, заполняемое только ими одними. И постепенно туда перекочевали дома, мимо которых они проходили, и выглядели они лишь чуть-чуть иначе, были сдвинуты, как их отражения в стеклах противоположных домов; и переулочек, по которому они шли, и через некоторое время — она сама, тоже слегка измененная и искаженная, но все же в этом образе она еще могла сама себя узнать. Она ощущала силу, которая исходила от этого обыденного человека, — это был незаметный сдвиг мира и передвижение самого себя в нем, простая сила живого существа; этот человек излучал силу, которая оборачивала все вещи их поверхностной стороной. Она пришла в смятение оттого, что в этом зеркально скользящем мире обнаружила и свое отражение; у нее было такое чувство, будто, добавь она сейчас еще что-то — и сразу сделается совсем такой же, как это отражение. И потом он вдруг сказал: «Поверьте мне, это дело привычки. Если бы вы в семнадцать или восемнадцать лет — ну, я не знаю, — скажем, встретили другого мужчину и вышли за него замуж, то сегодня для вас попытка представить себя женой вашего нынешнего супруга далась бы так же тяжело».

Они подошли к церкви; встали на широкой площади — большие, одинокие фигуры; Клодина подняла глаза: советник делал какие-то жесты, и они выпирали наружу, в пустоту. И тут на мгновение что-то словно ударило ее, как будто тело ее оцетинилось тысячами кристаллов; рассеянный, беспокойный, расщепленный

свет заструился вверх по ее телу, и человек, на которого он падал, сразу изменил в его лучах свой облик, все линии его тела простирались к ней, подрагивая, как ее сердце, и она ощущала, как каждое его движение проходит изнутри через все ее тело. Она хотела крикнуть, спросить саму себя, кто это такой, но чувство оставалось бесплотным, незаконным сиянием, оно парило в ней само по себе, как будто ей и не принадлежало.

Через мгновение от него осталось лишь что-то светлое, туманное, ускользающее. Она посмотрела вокруг: тихо и прямо стояли дома, обрамляя площадь, на башне били часы. Круглые металлические удары отскакивали от стен, отрывались в падении друг от друга и порхали над крышами. Клодине казалось, что теперь они со звоном покатятся вдаль, не касаясь земли, и она сразу с трепетом почувствовала, как голоса шествуют по свету, многобашенные и тяжелые, как громыхающие железные города, — это то, у чего нет разума. Независимый, неуловимый мир чувств, который лишь поневоле, случайно и беззвучно ускользая, соединяется с ежедневным рассудком, как та бездонно глубокая, мягкая тьма, которая иногда затягивает безоблачное, застывшее небо.

Казалось, будто что-то стоит вокруг и смотрит на нее. Она ощутила возбуждение этого человека, как какой-то прибор в бессмысленных далях, как что-то мрачно, одиноко бьющееся о самое себя. И постепенно у нее появилось такое чувство, будто то, чего этот человек от нее домогался, это сильнейшее с виду действие, было чем-то совершенно безличным; не более серьезное, чем когда тебя разглядывают посторонние; это было словно глупое и тупое разглядывание, так же смотрят друг на друга посторонним взглядом отдельные точки в пространстве, которые с помощью чего-то неуловимого объединяются в случайный образ. Она вся сжалась от этого чувства, оно сдавливало ее, словно она сама была такой точкой. У нее было при этом странное ощущение самой себя, оно не имело теперь ничего общего с духовностью и самостоятельным выбором ее существа и было все же таким, как всегда. И сразу исчезло сознание того, что стоящий рядом человек обладал отвратительной будничностью духа. У нее было такое ощущение, будто она где-то далеко за городом, и вокруг нее замерли в воздухе звуки, а в небе — облака, и они приросли к своему месту в пространстве и к

этому мгновению, и Клодина уже больше не отличалась от них, в ней тоже было что-то стремительное, звучное, ...и ей стало казаться, что она напоминает любовь животных, ...и облаков, и звуков. И почувствовала, что глаза советника ищут ее глаз... и она испугалась, и ощутила, что нужна себе, и вдруг ее одежда показалась ей чем-то скрывающим последнюю оставшуюся у нее нежность, и почувствовала, как струится под кожей кровь, ей казалось, что она вдыхает свой собственный острый, дрожащий запах, и у нее не было больше ничего, кроме этого тела, которое она должна была отдать, и этого исполненного духовности, поднимающегося над действительностью ощущения души, этого чувства тела — ее последнего блаженства, — и она не знала, становилась ли в этот миг ее любовь величайшей дерзостью, или она уже поблекла, и чувства распахиваются теперь наружу, как окна, в которые глазают любопытные?

Потом она сидела в столовой. Был вечер. Она чувствовала себя одинокой. Одна женщина сказала ей: «Я видела сегодня после обеда вашу дочурку, когда она ждала вас, это прелестный ребенок, она наверняка доставляет вам много радости». Клодина в этот день не заходила в институт, но ответить она ничего не могла, ей вдруг почудилось, что вместо нее сидит среди этих людей лишь какая-то бесчувственная ее часть, или как будто ее тело покрыто роговой оболочкой. Затем что-то все же откликнулось в ней, и при этом было такое впечатление, будто все, что она говорила, опускалось в какой-то мешок или запутывалось в сетях; ее собственные слова казались ей чужими среди слов других людей; словно рыбы, которые бьются о влажные холодные тела других рыб, трепыхались ее слова в невысказанной сумятице мнений.

Отвращение охватило ее. Она вновь почувствовала: дело не в том, что она может рассказать о себе и объяснить словами, а в том, что оправдание выражается в чем-то совсем другом — в улыбке, в молчании, в том, как она прислушивается к себе самой. И она вдруг ощутила несказанную тоску по тому единственному человеку, который был одинок точно так же, как и она, которого здесь тоже никто бы не понял и у которого нет ничего, кроме той мягкой нежности, наполненной ускользающими образами, нежности, окутывающей, подобно мглистой лихорадке, все нагромождение неподатливых вещей, оставляя

все внешние события, как они есть, большими, невыразительными и поверхностными, тогда как внутри все воспаряет в вечной, таинственной гармонии быть вдвоем, исполненной покоя в любом положении.

Но если обычно, когда она была в таком настроении, подобная комната, наполненная людьми, смыкалась вокруг нее, как единая, горячая, тяжелая кружащаяся масса, то здесь было потаенное замирание; люди выходили, потом возвращались на свое место. И недовольно отмахивались от нее. Шкаф, стол. Между нею и этими привычными вещами что-то пришло в беспорядок, в них открылось что-то неясное и шаткое. Это было опять что-то столь же безобразное, как и в поезде, но безобразное не просто так, ощущение его было подобно руке, которая захватывала вещи, когда чувство пыталось их коснуться. И перед ее чувством открывались провалы, словно с тех пор, как ее последняя уверенность зачарованно вперилась в саму себя, в одном, обычно невидимом, вместилище вещей, в ее ощущениях что-то надорвалось, и вместо связанного воедино созвучия впечатления из-за этих надрывов мир вокруг нее стал похож на нескончаемый шум.

Она чувствовала, что из-за этого что-то возникло в ней, как бывает, когда идешь берегом моря, какая-то непечатливость в этом общем гуле, которая заставляет сузить любое действие и любую мысль до короткого мгновения, когда постепенно наступает неуверенность, а потом, медленно — неумение себя ограничить, отсутствие ощущения границ, саморасползание, переходящее в желание закричать, в жажду невероятно внушительных движений, в какое-то прорастающее из нее самой безо всяких корней желание что-то делать, без конца, чтобы получить при этом ощущение самой себя; и какая-то отсасывающая, смачно опустошающая сила заключалась в этой гибели, когда каждая секунда была диким, отрезанным ото всего, безответственным, беспамятным одиночеством, которое, тупо уставившись, смотрело в мир. И из него вырывались слова и жесты, которые, появляясь неизвестно откуда, скользили мимо, и все же еще были ею, и советник сидел перед нею и невольно наблюдал, как что-то, заключающее в себе его желанную возлюбленную, приближалось к нему, и она уже не видела ничего, кроме безостановочного движения, с которым его борода то поднималась, то опускалась, когда он говорил, равномерно,

усыпляюще, словно бородка какой-то мерзкой, жующей негромкие слова козы.

Ей было так жаль себя; к тому же она испытывала убаюкивающе-гудящую боль, оттого что все это стало возможно. Советник сказал: «Я по вам вижу, что вы — одна из тех женщин, которым на роду написано быть унесенными бурей. Вы горды и предпочли бы это скрыть, но, поверьте мне, знатока женской души не обманешь». У нее было такое чувство, будто она безостановочно погружается в прошлое. Но, оглядываясь вокруг и погружаясь во времена своей души, лежащие, как слои воды на большой глубине, она ощущала случайность не того, что эти вещи вокруг нее выглядели сейчас именно так, а того, что этот облик удерживается на них, словно навсегда им принадлежит, неестественно прицепившись к ним, словно чувство, которое не хочет покидать чье-то лицо, перелетая в какие-нибудь другие времена. И это было странно — словно в тихо струящейся цепочке происходящего вдруг лопнуло одно звено, лопнуло и разрушило последовательность, раздавшись вширь — потому что постепенно все лица и все предметы замерли со случайным, внезапным выражением, соединенные между собой по вертикали порядком, разрушающим обыкновенное. И лишь она одна скользила меж этих лиц и вещей с колеблющимися, распахнутыми чувствами — назад — прочь.

Сложная, сплетаемая годами взаимосвязь чувств ее бытия раскрылась затем вдали во всей своей наготы за одно мгновение и почти обесценилась. Клодина думала, что нужна одна линия, просто какая-нибудь непрерывная линия, чтобы опираться на саму себя среди немого оцепенения торчащих повсюду вещей; это наша жизнь; что-то подобное тому, когда мы беспрерывно говорим, делая вид, что каждое слово связано с предыдущим и влечет за собой следующее, потому что боимся, как бы не пошатнуться непредсказуемо в момент молчания, разрывающего цепь речи, и как бы тишина нас не уничтожила; но это всего лишь страх, лишь слабость перед ужасной, зияющей, как пропасть, случайностью всего того, что мы делаем...

Советник добавил: «Это — судьба, есть мужчины, которым суждено вызывать состояние тревоги, нужно раскрыться перед ними, здесь ничего не поможет...» Но

она почти не слушала его. Ее мысли были заняты в это время странными, далекими противопоставлениями. Она хотела одним махом, одним величественным, необдуман-ным жестом освободиться и броситься к ногам возлюбленного; она чувствовала, что еще смогла бы сделать это. Но что-то принуждало ее удержаться от этого перед крикуном, перед насильником; обязательно опередить этот поток, чтобы не просочиться в него, прижать его жизнь к себе, чтобы не потерять ее, петь самой только для того, чтобы не онеметь внезапно в замешательстве. Этого она не хотела. Какое-то сомнение, что-то обдуманно высказанное всплыло перед ней. Не кричать, как все, чтобы заглушить тишину. И не петь. Только шепотом, притаившись, ...только Ничто, пустота.

И вдруг началось медленное, беззвучное стремление придвинуться, склониться, свеситься через край; советник сказал: «Вы не любите спектаклей? Я люблю в искусстве утонченность хорошего конца, который утешает нас, поднимая над невзгодами будней. Жизнь разочаровывает и так часто лишает нас театрального конца. Но что тогда получается — голый натурализм?..»

Неожиданно она услышала все это близко и отчетливо. И еще была его рука, придвинувшееся к ней скудное тепло, сознание: ты, — но тут она вырвалась, неся в себе какую-то уверенность в том, что и сейчас они могут быть друг для друга чем-то последним, бессловесно, недоверчиво, составляя одно целое, как полотно, сотканное из смертельно-сладостной легкости, как арабеска, созданная по чьему-то еще неведомому вкусу, и каждый из них — как звук, который только в душе другого представляет собой некий знак, который ничего не значит, если она его не слушает.

Советник выпрямился, посмотрел на нее. Она вдруг ощутила, что стоит перед ним, а вдали от нее — тот единственный любимый человек; он, наверное, о чем-то думает, ей пришло в голову, что она не может узнать, о чем; в ней самой смутно брезжило сейчас не находящее выхода ощущение, скрытое в надежном прибежище ее тела. В этот момент она воспринимала свое тело, которое было родным домом для всего, что она ощущала, как какое-то неясное препятствие. Она вдруг почувствовала его ощущение самого себя, которое теснее, чем что бы то

ни было, сомкнулось вокруг нее, воспринимая это ощущение, как неизбежное предательство, которое отделяло ее от возлюбленного, и в том, что она переживала, в обморочно обрушивающемся на нее, надвигающемся неизведанном было нечто такое, что, как ей казалось, перерачивало ее последнюю верность — которую она хранила в своем теле — где-то в глубочайшей сути этой верности — в ее полную противоположность.

Возможно, это было не что иное, как желание отдать свое тело возлюбленному, но, сотрясенное ее глубокой неуверенностью в ценностях души, желание это превратилось в томление по тому незнакомцу, и замирая перед возможностью пройти через него к ощущению самой себя, даже если ее тело испытает на себе нечто, его разрушающее, и содрогаясь перед его ощущением себя, которое загадочным образом избегало любого решительного движения души, как перед чем-то, что мрачно и опустошенно заключало ее в самое себя, она с горьким блаженством призывала свое тело оттолкнуть незнакомца от себя, пользуясь беззащитностью его чувственной растерянности, увидеть, как он повергнут наземь и словно взрезан ножом, заставить его наполниться ужасом, отвращением, насилием и невольными судорогами, — чтобы с какой-то странно раскрывшейся до последней грани верностью ощутить, что он лишен этого Ничто, этого колеблющегося, этого бесплотного Присутствия Всюду, этой болезненной уверенности души, этого края воображаемой раны, он, который в муках бесконечно возникающего вновь желания срастись в одно целое тщетно ищет себе спутницу.

Словно свет за нежной сеткой прожилок среди ее мыслей из наполненной ожиданием тьмы лет, постепенно обволакивая ее, возникла эта тоска по смерти ее любви. И вот внезапно где-то там, далеко-далеко, в сияющей раскрепощенности, она услышала свои собственные слова, словно подхватив то, что говорил советник: «Я не знаю, сможет ли он это перенести...»

Впервые она заговорила о своем муже; ее охватил испуг — казалось, это ничего не меняло в событиях действительности, но она чувствовала неудержимую власть ускользнувшего в жизнь слова. Сразу ухватившись за сказанное, советник спросил: «Да любите ли вы

его?» От нее не укрылась смехотворность той высокомерной уверенности, с которой он ринулся в атаку, и она сказала: «Нет, н-нет, я ведь его совсем не люблю». С дрожью в голосе, но решительно.

Поднявшись наверх в свою комнату, она еще ничего как следует не поняла, но почувствовала скрытую, не постижимую прелесть своей лжи. Она думала о своем муже; временами в памяти высвечивалось что-то, напоминавшее о нем, как бывает, когда с улицы заглядываешь через окно в освещенную комнату; и только тогда она ощущала, что делает. Он был красив, она так хотела бы стоять рядом с ним, затем этот свет засиял и внутри нее. Но она покорно вернулась назад, в свою ложь, и теперь вновь стояла снаружи, на улице, во мраке. Она мерзла; само то, что она жила, доставляло ей страдание; каждый предмет, на который она смотрела, каждый вздох. Как в теплый лучистый шар, могла она спрятаться в то свое чувство к мужу, там она была бы в безопасности, вещи не продирались там сквозь ночь, как остроносые корабли, они увязли в мягком плену, остановились. А она не хотела.

Она вспомнила, что уже лгала однажды. Не раньше, до него, потому что никакой лжи тогда не существовало, это просто была она, и все. Но позже, когда она просто сказала, что ходила прогуляться, вечером, часа на два, хотя это и была правда, все же она солгала; она вдруг поняла, что солгала тогда впервые. Так же, как она сидела до этого внизу, среди людей, ходила она тогда по улицам, ходила потерянно, то туда, то сюда, беспокойно, как собака, потерявшая след, и заглядывала в дома; она наблюдала, как кто-то открывал какой-то женщине дверь своего дома с присущей хозяину любезностью, с соответствующими жестами, довольный тем, что обещает встреча; а в другом месте кто-то шел в гости под ручку с женой и был весь — воплощенное достоинство, совершенный супруг, сама уравновешенность; и повсюду, словно на широкой, равно дающей приют всем и каждому глади воды, были маленькие бурлящие водовороты, и вокруг них расходились круги, и совершалось какое-то направленное внутрь движение, которое где-то внезапно, слепо, безглазо граничило с безразличием; и повсюду внутри домов было какое-то сдерживание собственного эха в узком пространстве, которое улавливает

каждое слово и протягивает его до следующего, чтобы не слышать то, что невозможно вынести, — промежуточное пространство, пропасть между биениями двух действий, в которое погружаются, уходя от ощущения самого себя, куда-то в молчание между двумя словами, которое точно так же может оказаться молчанием между словами совсем другого человека.

И тогда ее осенило: где-то среди этих людей живет человек, неподходящий, другой, но можно попытаться к нему приспособиться, и тогда можно отныне ничего не знать о том «я», какое ты представляешь собой сегодня. Потому что чувства живут только тогда, когда они бесконечной цепью связаны с другими, они держатся друг за друга, и важно только, чтобы одно звено жизни нанизывалось на другое, чтобы цепь не прерывалась, и для этого есть сотня способов. И тут, впервые за все время их любви, ее пронзила мысль: все это случайность; благодаря случаю это обратилось в действительность, и потом человек уже крепко держится за нее. И она впервые почувствовала себя как-то неясно до самых глубин души и нащупала это последнее, безликое ощущение самой себя в их любви, этот корень, разрушающий безусловное; ощущение, которое она и раньше всякий раз превращала в самое себя и которое никак не отличало ее от других. И тогда у нее появилось такое чувство, как будто она должна вновь погрузиться в мятущееся, невоплощенное, бездомное, и она бежала сквозь печаль пустых улиц, и заглядывала в дом, и ей не нужно было никакой другой компании, кроме гулко-го звука каблучков по камням, в котором ей, хотя и втиснутой в тесные рамки жизни, слышались собственные шаги, то впереди, то сзади.

Но если тогда ей понятен был только распадающийся на части, непрерывно движущийся фон невоплощенных теней чувств, на котором всякая сила ускользала от того, чтобы поддерживать другую, только обесценивание, только все то непредсказуемое, непостижимое для рассудка, что было в собственной ее жизни, и она чуть ли не плакала, измучившись и устав от той зкамкнутости, в которую ей пришлось погрузиться, — то теперь, в тот миг, когда она вновь до конца вспомнила, что ей пришлось выстрадать ради этого соединения, в этой просвечивающей, призрачно тонкой ранимости жизненно важных представлений: сумрачно-жуткое, как сон,

стремление к бытию только через другого, одинокое, как остров, чувство, что нельзя просыпаться, эта скользкая словно меж двух зеркал сущность любви, когда известно, что за всеми ними скрывается Ничто, — и она почувствовала здесь, в этой комнате, скрытая, как маской, своими лжепризнаниями, в ожидании приключения, которое связано с ней у другого человека, — удивительную, полную опасностей, возносящую сущность лжи и обмана в любви: тайком уйти от себя самой в недостижимое для другого, в то, чего обычно избегают, к растворению одиночества, ради великой правдивости — в пустоту, которая иногда, на мгновение, разверзается за всеми идеалами.

И в тот же миг она услышала затаенные шаги, скрип лестницы, кто-то остановился; в вестибюле у ее двери — тихие скрипучие звуки — того, кто там стоит.

Она перевела глаза на дверь; странным казалось ей, что за этими тонкими досками стоит человек; она ощущала при этом лишь поток какого-то равнодушия, призывок случайности в этой двери, по обе стороны которой — поля напряжения, недостижимые друг для друга.

Она уже разделась. На стуле у кровати юбки брошены были в том виде, как она их только что сняла. Воздух в этой комнате, которую сдавали сегодня одному, завтра другому, смешивался с запахом ее тела. Клодина огляделась. Она заметила медный замок, который криво крепился на ящичке комода, глаза ее задержались на маленьком, истертом, затоптанном множестве ног коврике у кровати. Она вдруг подумала о запахе, который шел от кожи этих ног, а потом впитывался, впитывался в души других людей, родной, оберегающий, словно запах отчего дома. Это было представление, искрящееся своеобразной раздвоенностью, то незнакомое и возбуждающее отвращение, то неотразимое, — словно любовь всех этих людей устремилась к ней и ей не остается ничего иного, кроме одного: смотреть и замечать. А тот человек все еще стоял под ее дверью, и оттуда доносились лишь едва слышные, произвольно издаваемые звуки, когда он шевелился.

Тут ее охватило желание броситься на этот коврик, целовать грязные следы этих ног и, как собака, в возбуждении обнюхивать их. Но то была не чувственность, а скорее нечто, что выло, как ветер, или кричало, как ре-

бенок. Она вдруг опустилась на пол, на колени; застывшие цветы, составлявшие узор на ковре, казались теперь больше, и их стебли бессмысленно извивались у нее перед глазами; она увидела свои тяжелые, женственные ляжки, которые безобразно нависли над ковриком, как что-то совершенно бессмысленное и в то же время связанное с чем-то непонятно серьезным, ее ладони устали друг на дружку на полу, как два пятиглавых зверя с членистыми телами; тут же бросилась в глаза лампа в коридоре и пять кругов, которые с жуткой немотой двигались по потолку, стены, голые стены, пустота, и вновь — человек, который там стоял, иногда шевелясь, скрипя, как скрипит корой дерево, его неугомонная кровь вскипает, как буйная древесная листва, и она лежит здесь, выставив напоказ голые руки и ноги, и только дверь разделяет их, и она, несмотря ни на что, ощущает полнокровную прелесть своего зрелого тела, и тот же утраченный остаток души, который недвижимо застыл, сохранившись вопреки разрушительным увечьям по соседству с разрастающимся уродством, и занят тяжким, непрерывным осознанием всего этого, словно рядом с ними — павшее животное.

Потом она слышала, как человек осторожно уходил. И вдруг поняла, еще по-прежнему оставаясь оторванной от самой себя, что это было предательство; более страшное, чем даже ложь.

Она медленно выпрямилась, не поднимаясь с колен. Она всматривалась в непостижимость того, что сейчас это действительно могло произойти, и дрожала, как человек, который волей случая, не прилагая собственных усилий, спасся от опасности. И попыталась вообразить, как это могло быть. Она видела свое тело, лежащее под телом незнакомца; с отчетливостью воображения, которое, как маленький ручеек, затекает в любую щелочку, она представляла свою внезапно наступившую бледность и заставляющие краснеть слова согласия, и глаза человека, стоящего над ней, подавляя ее, распростершись над ней, упрямые глаза, как крылья хищной птицы. И в ней не прекращалась мысль: это предательство. Ей пришло в голову, что, если бы она вернулась потом от этого человека к своему мужу, он сказал бы: я не в состоянии ощутить, что происходит в твоей душе, а у нее вместо ответа была бы только беззащитная улыбка, говорящая: верь мне,

это не было направлено против нас, — и все же в этот самый миг Клодина почувствовала, что ее колено как-то глупо прижато к полу, словно посторонняя вещь, и ощутила себя всю, недоступную, с этим болезненным беззащитным непостоянством самых потаенных человеческих возможностей, которые не удержит ни слово, ни возврат к прошлому, они обязательно вернутся на волю из строгой взаимосвязанности жизни. Мыслей больше не было, она не знала, правильно ли она делает, и все вокруг нее обратилось в странную, одинокую боль. Боль, которая как какое-то замкнутое пространство, зыбкое, парящее и все же связанное воедино мягкой темнотой вокруг, тихо поднимающееся вверх пространство. А под ним постепенно нарастал сильный, четкий, равнодушный свет, который позволял ей видеть все, что она делала, это необычайно сильное, вырванное из нее самой выражение превосходства, эту величайшую мнимую обнаженность и покорность ее души, ...и она же — съезжившаяся, маленькая, холодная, потерявшая связь с чем бы то ни было, где-то далеко-далеко внизу, под ней...

Через какое-то время послышалось, будто кто-то осторожно, ощупью, ищет ручку двери, и она знала, что незнакомец стоит, прислушиваясь, у нее под дверью. В ней забурлило головокружительное желание подползти ко входу и отодвинуть засов.

Но она осталась лежать на полу посреди комнаты; еще раз ее что-то удержало, отвратительное ощущение внутри, такое же чувство, как когда-то; словно удар, ее тело пронзила мысль, что все это всего лишь попытка возврата в свое же прошлое, и вдруг она воздела руки: Помоги мне, о, помоги же мне! — и почувствовала, что в этом — правда, и это была для нее только лишь тихо возвращающаяся обратно мысль: мы нашли друг друга, потаенно пробираясь сквозь пространство и годы, а теперь я вторгаюсь в тебя, пройдя по пути страданий.

И затем наступил покой, открылся простор. Приток болезненно застоявшихся сил после того, как стены рухнули. Как блестящая, спокойная водная гладь, лежала перед ними их жизнь, их прошлое и будущее, возвышенное этим мгновением. Есть вещи, которые никогда не удастся сделать, никто не знает, почему, они-то, наверное, и есть самые важные; да, мы знаем, они самые важные.

Известно, что жизнь скована ужасным оцепенением, она одеревенела, как пальцы на морозе. Но иногда оцепенение прерывается, иногда оно стаивает, как снег с лугов, и человек впадает в задумчивость, у него наступает смутное просветление, которое постепенно разливается вширь. Но жизнь, жизнь из плоти и костей, жизнь, которой решать, ни на что не обращая внимания, спокойно сцепляет одно звено с другим, человек сам не действует.

Внезапно она все-таки встала на ноги, и мысль, что она должна это сделать, гнала ее вперед, руки ее отодвинули засов. Но все было тихо, никто не постучал. Она отворила дверь и выглянула; никого, пустые стены обрамляли в сумрачном свете лампы пустое пространство. Наверное, она не услышала, как он ушел.

Она легла. Упреки проносились у нее в голове. Уже охваченная сном, она ощущала, что делает ему больно, но у нее было странное чувство, и она думала: все, что я делаю, делаешь на самом деле ты. Уже забывшись сном, она грезила: мы отдаем все, что только можно отдать, чтобы прочнее охватить друг друга тем, к чему ни у кого нет доступа. И только раз, на мгновение вдруг совершенно вырвавшись из пут сна, она подумала: этот человек нас победит. Но что означает победить? И ее мысли ускользнули обратно в сон, наткнувшись на этот вопрос. Она воспринимала свою нечистую совесть, как последнюю данную ей нежность. Огромное, расширяющее темную глубину мира себялюбие вздымалось над ней, как над человеком, который должен умереть; сквозь сомкнутые веки она видела кусты, облака и птиц и казалась среди них такой маленькой, и все-таки все здесь было только для нее. И настало мгновение затворения, изгнания из себя всего чужеродного, и в уже почти нереальной завершенности открылась великая, чистая любовь, заключающая в себе только ее саму. Дрожащее разрешение всех кажущихся противоречий.

Советник больше не приходил; и она заснула, спокойно, оставив открытой дверь, словно дерево на лугу.

На следующее утро дневной свет казался кротким и таинственным. Она пробудилась словно за светлыми гардинами, которые задерживали всю наружную действительность света. Она пошла прогуляться, советник сопровождал ее. Что-то неустойчивое было в ней, похожее

на опьянение синим воздухом и белым снегом. Они вышли на окраину городка, посмотрели вдаль, в белом пространстве было что-то сияющее и торжественное.

Они стояли у забора, который перегораживал тропку, ведущую в поля, какая-то крестьянка сыпала корм курам, островок желтого мха ярким пятном выделялся на белом снегу. «Как вы думаете...» — спросила Клодина и оглянулась назад, где над переулком было черно-синее небо, и, не закончив фразу, спросила немного погодя: «...Интересно, как долго висит там этот венок? Ощущает ли воздух его присутствие? Как он живет?» Больше она ничего не говорила; и даже сама не знала, зачем спрашивала; советник улыбнулся. У нее было такое чувство, что все одето в металл и еще дрожит под резцом. Она стояла рядом с этим человеком и как только чувствовала, что он на нее смотрит и стремится в ней хоть что-нибудь заметить, что-то сразу упорядочивалось в ее душе и ложилось ясно и просторно, как ровные поля под зорким глазом парящего коршуна.

А эта жизнь, синяя и черная, и на ней маленькое желтое пятнышко... Чего она хочет? Это призывное квохтанье кур и тихий стук зерен, сквозь который неожиданно вдруг зазвучит что-то, словно бой часов... Для кого ее речи? Это бессловесное, вгрызающееся в глубину и только иногда через узкую щель коротких секунд в проходящем мимо взлетающее вверх, бессловесное, которое иначе мертво... Что все это означает? Она смотрела на эту жизнь молчаливым взглядом и чувствовала, не обдумывая, — как ложатся порой на лоб руки, когда ничего высказать невозможно.

И тогда она стала слушать, улыбаясь, и все. Советник полагал, что ячейки его сети все сильнее опутывают ее, а она не разочаровывала его. Только ей казалось, когда он говорил, что они идут между домами, в которых люди что-то говорят, и в ход ее рассуждений вмешивался иногда кто-то второй, и увлекал ее мысли за собой, то туда, то сюда; она покорно следовала за ними, а потом на какое-то время вновь погружалась в самое себя, всплывала со смутным чувством, снова погружалась. Это было тихое, беспорядочное перетекающее движение, своеобразное пленение.

Между тем она чувствовала, словно это было ее собственное ощущение — как этот человек любит себя. Видя

его нежность к самому себе, она испытывала тихое чувственное возбуждение. И вокруг воцарялась тишина, вы словно вступали в какую-то область, где в расчет берутся совсем другие, немые решения. Она чувствовала, что советник ее потеснил и что она уступает ему, но это было неважно. Просто в ней что-то поселилось, словно там сидела птица на ветке и пела.

Вечером она немного поела и рано легла спать. Все было для нее уже как-то мертво, никакой чувственности в ней не было. Но, проспав совсем чуть-чуть, она проснулась, зная, что он сидит внизу и ждет. Она взяла платье и оделась. Встала и оделась, ничего больше; ни чувства, ни мысли, только отдаленное сознание какой-то несправедливости, а потом, когда она уже оделась, появилось, кажется, и обнаженное, не очень хорошо защищенное чувство. Она спустилась вниз. Столовая была пуста. Слегка расплываясь, виднелись контуры столов и стульев, они бодро выглядывали из полутьмы, как ночная стража. В углу сидел советник.

Она что-то сказала, возможно: я чувствую себя так одиноко там, наверху; она знала, как он истолкует ее слова. Через некоторое время он взял ее за руку. Она встала. Постояла в нерешительности. Потом выбежала на улицу. Она понимала, что поступает, как глупая неопытная девчонка, и что для нее это забава. Следом по лестнице послышались шаги, ступени скрипели, а она внезапно задумалась о чем-то очень далеком, очень абстрактном, тогда как тело ее дрожало, словно тело лесного зверя, за которым гонятся.

Советник потом, сидя у нее в комнате, между делом спросил: «Ты ведь любишь меня, правда? Я, конечно, не художник и не философ, но я человек цельный. Да-да, я уверен, я цельный человек». Она ответила: «А что это такое, цельный человек?» — «Странный вопрос ты задаешь», — рассердился советник, но она добавила: «Вовсе нет, мне кажется так странно, что человек нравится именно потому, что он нравится, его глаза, его язык, и не слова, а их звук...»

Тут советник поцеловал ее: «Так значит, ты все-таки меня любишь?»

И Клодина еще нашла в себе силы ответить: «Нет, я люблю только быть с вами, тот факт, тот случай, что я с вами. А можно было бы сидеть и у эскимосов, в меховых

штанах. И с отвислыми грудями; и считать это прекрасным. Разве цельные натуры так уж редко встречаются?»

Но советник сказал: «Ты заблуждаешься. Ты любишь меня. Ты просто никак не можешь пока оправдаться перед собой, а это как раз и есть признак настоящей страсти».

Невольно, когда она почувствовала, что он распростерся над ней, что-то в ней вздрогнуло. Но он попросил: «Молчи, молчи».

И Клодина молчала, она заговорила только один раз; когда они раздевались, она начала говорить бессвязно, невпопад, что-то, скорее всего, совершенно незначашее, это было словно какое-то мучительное поглаживание: «...Такое чувство, как будто идешь по узкому горному ущелью; звери, люди, цветы, все неузнаваемо; и сама ты совершенно другая. Спрашивается, если бы я с самого начала жила здесь, что бы я об этом думала, что чувствовала бы? А ведь странно, что нужно перешагнуть всего лишь одну линию. Мне хочется вас поцеловать, а потом быстро отскочить в сторону и посмотреть; а потом снова к вам. И с каждым разом, когда я буду переступать эту границу, я буду чувствовать все это лучше. Я буду делаться все бледнее; люди умрут, нет, они увянут; и деревья, и звери тоже. И наконец останется лишь совсем прозрачная дымка... а потом только одна мелодия... и ветер понесет ее... над пустотой...»

И еще раз она заговорила: «Пожалуйста, уйдите, — проговорила она, — мне противно».

Но он только улыбался. Тогда она сказала: «Уйди, пожалуйста». И он удовлетворенно вздохнул: «Наконец-то, наконец-то, моя милая, маленькая фантазерка, ты сказала мне: ты!»

А потом она с ужасом почувствовала, как тело ее, несмотря ни на что, наполняется наслаждением. Но при этом ей казалось, будто она вспоминает о том, что испытала однажды весной: ощущение, что она — для всех и все же только для одного-единственного. И далеко-далеко, подобно тому, как дети говорят, что Бог велик, оставался образ ее любви.

ИСКУШЕНИЕ КРОТКОЙ ВЕРОНИКИ

Эти два голоса надо где-то услышать. Может быть, они просто лежат на страницах дневника, рядом или один в другом, низкий, глубокий голос женщины, на некоторых страницах внезапно подскакивающий вверх, в объятиях мягкого, раздольного, тягучего мужского голоса, этого извилистого голоса, так и оставшегося незавершенным, сквозь недостроенную крышу которого проглядывает все то, что он не успел под нею спрятать. А может быть, и этого не осталось. Но где-то в мире обязательно должна быть такая точка, куда эти два голоса, совсем не выделяющиеся в тусклой сумятице будничных звуков, устремляются подобно двум лучам и сплетаются друг с другом, где-то эта точка есть, и может быть, стоило бы ее отыскать, ту точку, близость которой ощущаешь лишь по какому-то чувству тревоги, подобному приближению музыки, еще не слышимой, но уже лежащейся тяжелыми мягкими складками на непроницаемый полог тихих далей. Пусть же эти зарисовки, примчавшись из прошлого, встанут одна рядом с другой и, стряхнув болезненность и слабость, сольются воедино, вспыхнув ровным светом ясного дня.

«Круговорот!» Позже, в дни, когда свершался мучительнейший выбор между невидимой определенностью фантазии, натянутой, как тоненькая нитка, и обыденной действительностью, в эти дни, полные последних отчаянных усилий вовлечь то неуловимое в эту действитель-

Die Versuchung der stillen Veronika.

ность — когда затем приходилось отказаться от этих попыток и броситься в простоту живой жизни, как в ворох теплых перьев, — он обращался к нему, как к человеку. В эти дни он часами разговаривал с самим собой, и говорил громко, потому что боялся. Что-то погрузилось и вошло в него, с той непостижимой неудержимостью, с какой внезапно где-то в теле сгущается боль, превращаясь в воспаленную ткань, и, делаясь действительностью, разрастается и становится болезнью, которая с нерешительной, двусмысленной улыбкой приносимых ею страданий начинает распорядиться телом.

— Круговорот, — умоляюще говорил Иоганнес, — о, если бы ты был, по крайней мере, вовне меня! И еще: если бы у тебя были одежды, за складки которых я мог бы ухватиться. О, если бы можно было поговорить с тобой! Я бы сказал тебе тогда, что ты есть Бог, и, говоря с тобой, держал бы под языком маленький камешек, чтобы убедить самого себя, что все это не сон. Я бы сказал тебе: я вручаю себя твоей власти, ты можешь мне помочь, ты всегда видишь все, что бы я ни делал, какая-то часть меня остается лежать во мне тихо и недвижно, словно она самая главная, и это основа — Ты.

Но он так и оставался лежать во прахе, отвергнутый, с сердцем ребенка, устремленным куда-то наугад в робкой надежде. И знал только, что нуждался в этом из-за своей трусости, знал это. И все-таки это случилось, словно для того, чтобы почерпнуть из его слабости силу, которую он подозревал в себе и которая его манила так, как раньше могло манить его что-то только лишь в юности, когда возникает какая-то мощная, но совсем еще лишенная обличия голова какой-то неясной сокрушительной силы, и ты чувствуешь, что можешь врасти в нее плечами, примерить на себя и дать ей свое собственное лицо.

И однажды он сказал Веронике: это Бог; он был тогда боязлив и смирен, это было давно, и он тогда впервые попытался закрепить то неопределенное, что ощущали они оба; они скользили по темному дому друг мимо друга; туда, сюда, и все мимо и мимо. Но когда он сказал об этом, это было для него понятием обесцененным, ничего не говорящим о том, что он думал.

А то, о чем он тогда думал, было, наверное, пока еще чем-то, напоминающим те рисунки, которые иногда воп-

лощаются в камень, — никто не знает, где живет то, на что они указывают, и каков их полный облик в действительности, — в стенах, в облаках, в водоворотах воды; то, что он имел в виду, представляло собой, наверное, лишь непостижимо подступившую к нему часть чего-то пока отсутствующего, как те изредка встречающиеся выражения на лицах, которые связываются у нас вовсе не с этими, а с какими-то другими, внезапно забрезжившими по ту сторону всего происходящего лицами, это были тихие мелодии посреди шума, чувства в душах людей, да и в нем самом ведь были чувства, которые, когда слова его искали их, еще были вовсе не чувствами, а лишь неким ощущением, будто что-то в нем самом удлинилось, только самым своим краешком погрузившись в него, пронизывая его тонкой сетью, его страх, его кротость, его молчаливость, как иногда, в пронзительно-ясные весенние дни удлиняются все предметы, когда из-под них выползают тени и стоят тихо, вытянувшись все в одну и ту же сторону, словно отражения в ручье.

И он часто говорил Веронике: то, что было в нем, на самом деле не было ни страхом, ни слабостью, это было что-то вроде того страха, который есть на самом деле просто взволнованность перед чем-то, что еще никогда не видел и что не приобрело еще какой-то определенный облик, или как бывает иногда, когда ты совершенно точно и вместе с тем неизвестно откуда знаешь, что в твоём страхе есть нечто женское, а в твоей слабости — нечто от утра в деревенском доме, окруженном птичьим щебетом. Он находился в том своем странном состоянии, когда у него возникали такие вот половинчатые, невыразимые образы.

Но однажды Вероника посмотрела на него своими большими глазами, в которых таилось тихое сопротивление, — они сидели тогда совсем одни в одной из полутемных комнат, — и спросила:

— Значит, и в тебе тоже есть что-то, что ты не можешь ясно почувствовать и как следует понять, и ты называешь это просто Богом, тем, что вне тебя и мыслится как действительность, отделившаяся от тебя, такая, что она просто может взять тебя за руку? И, наверное, это как раз то, что ты никогда не хотел бы назвать трусостью или мягкостью; и ты представляешь себе это, как некую фигу-

ру, которая могла бы спрятать тебя в складках своего одеяния? И ты пользуешься такими словами, как Бог, просто для того, чтобы сказать о том, что куда-то направлено, как о не имеющем направления, о каких-то движениях, как о неподвижном, о призраках, которые остаются в тебе, никогда не воплощаясь в действительность, — потому что они приходят в своих темных одеждах из какого-то другого мира с уверенностью чужаков, прибывших из большой процветающей страны, будто они живы? Скажи, ведь это потому, что они как живые, и потому, что ты во что бы то ни стало хочешь ощущать все это, как существующее в действительности?

— Эти вещи, — сказал он, — которые существуют за горизонтом сознания, или на виду у нас проскальзывают за горизонт нашего сознания, или же это лишь связанный с чем-то чужеродным, неисследованный и недосягаемый, какой-нибудь новый вероятный горизонт сознания, где еще нет никаких предметов.

Уже тогда он считал, что это — идеалы, а не замутнения или признаки какого-то душевного нездоровья, это предчувствие некоего целого, веяние которого доносится откуда-то раньше времени, и если бы удалось правильно слить все это воедино, если бы было что-то, что позволило бы одним рывком все это расчленить и упорядочить, начиная с тончайших ответвлений мысли и вовне, вверх, где все это складывается в кроны целых деревьев, то это было бы для малейших примет того целого словно ветер для парусов. И он вскочил в сильнейшем порыве почти физического желания.

И она тогда долгое время ничего не говорила в ответ, а потом сказала:

— Во мне тоже есть что-то... понимаешь, это Деметр... — и запнулась, и тогда впервые они заговорили о Деметре.

Иоганнес поначалу не понял, для чего это все вообще было нужно. Она рассказывала, что стояла как-то однажды у окна, за которым был загон для кур, и наблюдала за петухом, наблюдала и ни о чем не думала, и только со временем Иоганнес сообразил, что она имела в виду загон для кур у них во дворе. Потом пришел Деметр и встал с нею рядом. И тогда она стала замечать, что все это время она все-таки думала о чем-то, только совсем смут-

но, а теперь начала все это постигать. Но близость Деметра, рассказывала она, — и он должен понять, все было так смутно, когда началось это постижение, — близость Деметра и помогала ей, и одновременно стесняла ее. И через некоторое время она уже точно знала, что думала тогда о петухе. Но возможно она вовсе ни о чем и не думала, а только все время смотрела, и то, что она видела, твердым посторонним телом оставалось лежать в ней, потому что не было мыслей, которые бы его освободили. И, казалось, все это как-то неясно наталкивает ее на воспоминания о чем-то другом, что она тоже никак не могла найти. И чем дольше стоял рядом с ней Деметр, тем отчетливее она, испытывая странную боязнь, начинала ощущать в себе наполненные пустотой очертания этого образа. И Вероника вопрошающе посмотрела на Иоганнеса: понимает ли он ее?

— И все время это было такое вот непередаваемо-равнодушное звериное соскальзывание, — говорила она о том, что тогда видела, она и сегодня видит это так, словно происходит что-то очень простое, но совершенно непостижимое, это непередаваемо-равнодушное соскальзывание — и вдруг ты свободна ото всего, что тебя волнует, и какое-то время тупо и бесчувственно стоишь, а мысли твои где-то далеко, там, где серый, тлеющий свет. И она сказала:

— Иногда, в то мертвое послеобеденное время, когда мы с тетей выходили на прогулку, жизнь была освещена точно так же; мне казалось, что я хорошо все это чувствую, у меня было такое ощущение, будто образ этого гадкого света исходит прямо из моего желудка.

Наступила пауза, Вероника захлебнулась в поисках слов.

Но она вновь вернулась к тому же самому.

— С тех пор я уже заранее издали замечаю, как накатывает эта волна, — добавила Вероника, — она затопляет желудок, подбрасывает его вверх и вновь отпускает.

И снова возникло молчание.

Но вдруг ее слова заскользили, крадучись, словно им нужно было спрятать какую-то тайну в большом, мрачном помещении, подбираясь к самому лицу Иоганнеса.

— ...Именно в такой момент Деметр схватил мою голову и прижал к своей груди, а потом откинул ее назад,

не произнося ни слова, — прошептала Вероника, и потом опять это молчание.

Но у Иоганнеса было такое чувство, будто он ощутил в темноте прикосновение чьей-то таинственной руки, и он задрожал, когда Вероника продолжала:

— Я не знаю, как назвать то, что произошло со мной в этот момент, мне вдруг почудилось, что Деметр должен быть, как этот петух, что она живет в такой же страшной, далекой пустоте, из которой он внезапно выскочил.

Иоганнес почувствовал, что она смотрит на него. Его мучило то, что она рассказывала о Деметре и при этом говорила такое, что, как он смутно чувствовал, касалось и его. В нем крепло необъяснимое, боязливое подозрение: то, что для него было абстрактным и ограничивалось Богом, как те, подобные пустым, ограниченным рамками чувств, призракам его «я» среди неопределенности желаний в бессонные ночи, — Вероника могла захотеть обратить в нечто такое, что он должен делать. И ему показалось, притом что он не мог этому противиться, что в ее голосе появилось что-то жестокое, сочувствующее и похотливое, когда она продолжала:

— Я тогда крикнула: Иоганнес бы такого никогда не сделал! Но Деметр произнес только: Подумаешь, Иоганнес, — и сунул руку в карманы. И вот — помнишь? — когда ты потом впервые снова пришел к нам, как Деметру удалось заставить тебя заговорить? — Вероника говорит, что ты представляешь собой нечто большее, чем я, — издевательски проговорил он, — а ты оказался трусом! — А ты тогда, похоже, был еще таким, что не мог такое стерпеть, и парировал: Ну, это мы еще посмотрим. — И тогда он ударил тебя кулаком в лицо. А дальше — я верно говорю? — ты хотел нанести ответный удар, но увидев перед собой его грозный лик и сильнее почувствовав боль, ты вдруг ощутил ужасающий страх пред ним, о, я знаю его, этот преданный и почти дружелюбный страх, и вдруг ты улыбнулся, и ты ведь не знал, почему, верно? Но ты продолжал улыбаться, лишь лицо у тебя немного исказилось, и я почувствовала, как что-то робкое промелькнуло в его разгневанных глазах, но с такой теплой, сразу вливающейся в тебя нежностью и уверенностью, что обида вдруг исчезла,

растворившись в тебе... Через некоторое время ты сказал мне тогда, что хочешь стать священником... И тут я вдруг поняла: не Деметр, а ты — тот самый зверь...

Иоганнес вскочил. Он не понял.

— Как ты можешь такое говорить? — закричал он, — что ты имеешь в виду?!

Вероника заговорила, и в ее голосе слышалось разочарование:

— Почему ты не стал священником? В священнике есть что-то от животного! Эта пустота, там, где у других — ощущение себя. Эта мягкость, которой пропитана даже их одежда. Та пустопорожняя мягкость, которая способна удержать россыпь происходящего всего мгновение, словно полное решето, которое тут же пустеет. А хорошо было бы попытаться что-то все-таки сделать из нее. Я стала такой счастливой, когда это поняла...

Тут он услышал, как неистово кричит в нем его собственный голос, и нужно было умолкнуть, и он почувствовал, насколько его выбили из колеи размышления о ее утверждении, ему сделалось жарко, и голова пухла от напряжения, когда он силился не перепутать образы, порожденные двумя сознаниями, которые где-то там, во мгле, были очень похожи, но ее образы были ближе к действительности и тесны, как камера на двоих.

...Когда они оба успокоились, Вероника сказала:

— Это то, что я до сих пор еще не до конца поняла и чему мы вместе должны искать объяснение.

Она распахнула двери и выглянула на лестницу. У них обоих было такое чувство, словно они хотели проверить, одни ли они, и над ними вдруг оказался пустой темный дом, будто они были посажены под огромный колпак. Вероника сказала:

— Все, что я тебе говорила, — это не то... Я сама не знаю... Но скажи мне все-таки, что в тебе тогда происходило, скажи, как это все, ну, про этот сладостный страх, когда ты улыбался...? Ты казался мне лишенным самого себя, раздетым до какой-то нагой, теплой мягкости, — тогда, когда тебя ударил Деметр.

Но Иоганнес не знал, как об этом рассказать. В голове у него проносилось так много вариантов. Ему казалось, что он слышит голоса в соседней комнате и по обрывкам разговора понимал, что речь идет о нем. Он только спросил:

— Ты это и с Деметром обсуждала?

— Но это было намного позже, — ответила Вероника, потом в нерешительности замолчала и наконец добавила: — один-единственный раз. — И через некоторое время: — несколько дней назад. Я не знаю, что меня побудило.

Иоганнес смутно ощутил что-то... в его сознании где-то далеко возник испуг: похоже, это была ревность.

Прошло довольно много времени, когда он вновь услышал, что Вероника говорит Он начал понимать, что она сказала:

— ...это было так странно, я ведь так хорошо стала ее понимать.

И он механически спросил:

— Кого — «ее»?

— Ну, да эту крестьянку, что живет наверху.

— Ах, да, эту крестьянку.

— Ту, о которой парни болтают по деревням, — повторила Вероника, — но ты можешь себе представить? У нее никогда больше не было возлюбленного, только эти ее два больших пса. Может быть это и ужасно, то, что они рассказывают, но ты только подумай: два таких огромных зверя, которые иногда встают на дыбы, клацая зубами, чего-то властно требуя, словно ты такой же, как они, а в каком-то смысле так оно и есть, и все в тебе полно ужаса перед их косматой шерстью, все, кроме одного, очень маленького кусочка твоего существа, который не боится, но ты знаешь, — еще мгновение, и достаточно твоего жеста, и они уже снова ничто, покорные, тихие, они — животные, — но все же это не только животные, это ты и одиночество, это ты и еще раз ты, это ты и пустая комната со стенами из шерсти, и это желает не животное, а что-то такое, что я не могу высказать, и я не знаю, почему я все это так хорошо понимаю.

Но Иоганнес умоляюще сказал:

— Ведь это грех — то, что ты говоришь, это мерзость.

Но Вероника не унималась:

— Ты ведь хотел стать священником, почему?! Я задумывалась об этом, потому что... потому что тогда ты для меня не мужчина. Послушай... послушай же: Деметр сказал мне прямо: — Этот не женится на тебе, и тот —

тоже; ты останешься здесь, здесь и состаришься, как твоя тетка... — Ты, я надеюсь, понимаешь, как я испугалась? Разве у тебя не такое же чувство? Я никогда не думала о том, что моя тетка — тоже человек. Я никогда не считала ее ни мужчиной, ни женщиной. Теперь же я сразу испугалась, что она — это нечто такое, чем я тоже могу стать, и почувствовала, что должно что-то произойти. И мне вдруг пришло в голову, что она долгое время не старилась, а потом вдруг мгновенно сделалась очень старой и больше уже не менялась. А Деметр сказал: — Мы имеем право делать все, что захотим. Денег у нас мало, но мы — старейший род во всей округе. Мы живем по-другому, Иоганнес не служил в министерстве, а я — в армии, даже священником он не стал. Они все смотрят на нас немножко сверху вниз, потому что мы небогаты, но мы не нуждаемся в деньгах, и в них тоже не нуждаемся. — И наверное оттого, что я так испугалась из-за тетки, это вдруг подействовало на меня таким таинственным образом — такое неясное чувство, словно дверь с тихим вздохом приоткрывается — и ни с того ни с сего от слов Деметра у меня появилось ощущение нашего дома, но, впрочем, разве ты сам не знаешь, ты ведь тоже всегда так же ощущал их — наш сад и наш дом, ...о, этот сад, ...я иногда представляла себе среди лета, что такое же чувство должно быть у человека, когда он лежит в снегу, такое же безутешное блаженство, когда, не чуя под собой земли, паришь между теплом и холодом, хочешь вскочить — и слабеешь, сладостно тая. Когда думаешь о нем, то чувствуешь не эту пустую, непрерывную красоту, а скорее — свет, одуряющее избытие света, свет, который лишает дара речи, от которого кожа ощущает бездумное блаженство, и вздохи, и скрип стволов, и неумолкаемый тихий шелест листьев... Тебе не кажется, что красота жизни, которая начинается с сада и заканчивается нами, — это что-то плоское и бесконечное, что вбирает в себя человека и отрезает его ото всего, словно море, в котором утонешь, если захочешь в него ступить?..

Теперь Вероника вскочила и встала перед Иоганнесом; ее руки, мерцающие в каком-то затерявшемся свете, казалось, испуганно старались вытащить из темноты слова.

— И потом, я часто чувствую наш дом, — слова ее продолжали блуждать на ощупь, — его мрак со скрипучими лестницами и жалующимися окнами, с его углами, с его высокими, выпирающими из темноты шкафами, и иногда откуда-нибудь, из маленького высокого окна — свет, медленно сочащийся по каплям, как из наклоненного ведра, и страх — а вдруг это кто-то там стоит с лампой в руках. И Деметр сказал: — Составлять слова — не мое дело, у Иоганнеса это получается гораздо лучше, но уверяю тебя, иногда во мне появляется какая-то бездумная выпрямленность, я раскачиваюсь, как дерево, возникает какой-то ужасающий, совершенно нечеловеческий звук, словно грохот погремушки или визг детской свистульки. И мне достаточно встать на четвереньки, чтобы почувствовать себя зверем. Мне, наверное, стоило бы иногда размалевывать лицо... — Тут мне почудилось, что наш дом — это мир, в котором мы одни, сумрачный мир, в котором все выглядит искривленно и странно, как под водой, и мне показалось почти естественным, что я должна уступить желанию Деметра. Он сказал: — Это останется между нами и вряд ли существует в действительности, потому что об этом никто не знает, это не связано с миром действительности и поэтому не может вырваться наружу... — Ты не поверишь, Иоганнес, но я не испытывала к нему никаких чувств. Просто он распахнулся передо мною, как огромный рот, вооруженный острыми зубами, который мог меня проглотить, как мужчина он остался мне так же чужд, как любой другой, но это было какое-то втекание в него, которое я себе внезапно представила, а потом, по каплям, стекание с губ обратно, какое-то заглатывание тебя утоляющим жажду зверем, тупое и безучастное... Нужно иногда переживать какие-то события, когда их можно выполнить просто как действия, но ни с кем и ни с чем. Но тут я вспомнила о тебе, я ничего не знала точно, но я оттолкнула Деметра. Ведь у тебя тоже должно быть что-то подобное, для того же самого, наверное, очень хорошее...

Иоганнес выдавил из себя:

— Что ты имеешь в виду?

Она сказала:

— У меня только неясное представление о том, чем можно быть друг для друга. Ведь все люди боятся друг

друга, даже ты иногда, когда говоришь со мной, становишься твердым и жестким, как камень, который ударяет по мне: но я имею в виду такие отношения, когда полностью растворяешься в том, что каждый значит для другого, а не стоишь отчужденно рядом, прислушиваясь... Я не могу это объяснить. То, что ты иногда называешь Богом, — это оно и есть.

Потом она заговорила о вещах, которые так и остались для Иоганнеса неясными:

— Тот, кого ты, наверное, имеешь в виду, — нигде, потому что он во всем. Он — злая толстая женщина, которая заставляет меня целовать ее груди, и одновременно это — я, когда я остаюсь одна, ложусь на пол у шкафа и мне в голову приходят такие вот мысли. И ты, наверное, тоже такой, ты иногда настолько неодушевлен и замкнут в себе, как свечка в темноте, которая сама по себе — ничто и только делает темноту сильнее и заметнее. С тех пор, как я увидела тогда твой страх, мне кажется, что ты сам иногда выпадал из моих мыслей, но страх всегда оставался, как темное пятно, и оставался теплый, мягкий край, который его ограничивает. И ведь, наверное, важно только то, что человек — как происходящее, а не как личность, которая действует; и каждый должен быть наедине с тем, что происходит, и в то же время нужно быть вместе, безмолвно и замкнуто, как за стенами без окон, образующими замкнутое пространство, в котором все может произойти в действительности, и при этом все же никак нельзя вторгнуться из одного пространства в другое, хотя в мыслях это и случается.

И Иоганнес не понял.

А она внезапно начала меняться, словно что-то стало уходить вглубь, сами черты ее лица делались в одном месте менее ясными, а в другом — более отчетливыми; конечно, она могла еще что-то сказать, но казалось, что сама она уже больше не та Вероника, которая только что говорила, и лишь совсем неуверенно, словно ступая по дальней незнакомой тропе, доносились ее слова:

— ...Как ты считаешь?... мне кажется, таким безличным человек быть не может, таким может быть только животное... Помоги же мне, потому что при этом непременно приходит на ум какое-то животное...?!

Иоганнес попытался как-нибудь заставить ее прий-

ти в себя, он вдруг заговорил, он захотел слушать еще и еще.

Но она только покачала головой.

С того момента Иоганнес почувствовал, что для него не представляет ни малейшего труда со всей тщательностью обдумать то, что он хотел. Иногда человек не догадывается, чего он смутно хочет, но зато знает, что ему этого не угадать; и тогда он проживает всю свою жизнь словно в запертой комнате, в которой ему страшно. Иногда его пугало что-то, и было такое чувство, словно он вот-вот заскулит, встанет на четвереньки и помчится обнюхивать волосы Вероники; такие образы иногда вставали у него перед глазами. Но ничего не происходило. Они проходили друг мимо друга; они смотрели друг на друга; они обменивались незначущими или просящими словами — ежедневно.

Правда, однажды у него было такое чувство, будто произошла встреча среди одиночества, вокруг которого внезапная, неожиданная близость сразу образовала прочный свод. Вероника спускалась по лестнице, а внизу стоял он; они были в сумерках, каждый сам по себе. У него и в мыслях не было просить ее о чем-то, но поскольку оба они, там, на лестнице, были как фантазия больного воображения, он вдруг почувствовал, что ему необходимо сказать: Иди ко мне, и давай вместе уйдем отсюда. Но она ответила что-то такое, из чего он понял только: ...ни любить... ни выйти замуж... я не могу оставить тетю.

И еще раз повторил он свою попытку, он сказал:

— Вероника, человек, но иногда и просто слово, и тепло, и один вздох — это как камешек в водовороте, который вдруг указывает тебе на тот центр, вокруг которого ты крутишься. Мы должны вместе что-то предпринять, тогда мы, может быть, его найдем...

Но в ее голосе слышалось еще больше похоти, чем в тот раз, когда она впервые сказала ему: «Таким безличным не может быть ни один человек, таким может быть только зверь... нет, конечно, если тебе суждено умереть»... потом она сказала «нет». И тогда его охватило нечто, что, собственно говоря, не было никаким решением, это было

видение, которое не имеет отношения к действительности, а связано только с самим собой, как музыка; он сказал: «Я ухожу; конечно, может быть, я и умру». Но и тогда он знал, что это не то, что он имел в виду.

И час за часом в то время пытался он объяснить все это самому себе и спрашивал себя, какая же она на самом деле и почему требует столь многого. Он иногда произносил: Вероника, и на лбу у него выступал пот, он ощущал униженность безнадежного отступления и влажно-холодную удовлетворенность своей обособленности. И невольно вспоминал он ее имя, когда видел два завитка у нее на лбу, два завитка, которые были тщательно прилеплены ко лбу, как что-то постороннее, или ее улыбку, иногда, когда они сидели за столом и она подавала тете. И ему необходимо было увидеть ее, как только начинал говорить Деметр; но что-то, на что он постоянно наталкивался, мешало ему понять, как такой человек, как она, может стать эпицентром его страстной решимости. И когда он все обдумывал, то в самых первых воспоминаниях вокруг нее витало нечто уже давно отгоревшее, словно аромат погашенных свечей, что-то обыденное, как комната для гостей, которые спят, недвижимы, под одеялами в льняных пододеяльниках, за опущенными шторами. И только когда он слышал голос Деметра, говорящего о вещах столь ужасающе обыденных и бесцветных, как эта мебель, которую никто никогда не использовал, — все это представлялось ему каким-то пороком, которым они занимаются втроем.

И несмотря ни на что, позже, когда он думал о ней, он невольно слышал, как она говорит «нет». Трижды она неожиданно говорила «нет», и он не узнавал тогда ее голоса. Один раз она произнесла это совсем тихо, и все же до странности непохоже на нее прежнюю, и слово это отделилось от всего предыдущего и поднялось над домом, и потом, потом это оказалось как удар кнута или как бессознательное сжатие самой себя в каких-то тисках, а потом еще раз — тихо, угасая, почти боль, которую причинили намеренно.

Иногда же, теперь уже тогда, когда он думал о ней, он чувствовал, что она прекрасна. Это была та невероятно сложная красота, которой так легко перестаешь восхищаться и, забыв ее, начинаешь принимать ее за уродство.

И он невольно думал, когда она внезапно возникала перед ним из темноты дома, которая странным образом без единого движения вновь смыкалась за ее спиной, и проплывала мимо, излучая всесильную, необыкновенную чувственность, которой наделена была, как некоей неизвестной болезнью, — всякий раз он сразу невольно думал, что она воспринимает его как животное. Он ощущал это как нечто непостижимое и ужасающее, когда оно оказалось воплощенным в действительность в гораздо большей мере, чем он раньше подозревал. И даже когда он ее не видел, перед его глазами вставал весь ее облик в мельчайших подробностях: ее высокая фигура, ее широкая, немного плоская грудь, ее низкий прямой лоб и густые темные волосы, смыкающиеся в сплошную массу сразу над двумя незнакомыми милыми локонами, ее большой чувственный рот и легкий темный пушок, покрывающий руки. И то, как она ходила, опустив голову, словно та не держится на нежной шее и она может ее повредить, и та особенная, почти бесстыдная кротость, с которой тело ее слегка выпирало, когда она шла. Но они больше почти не говорили друг с другом.

Вероника услышала вдруг зов какой-то птицы и следом — ответ. На этом все и кончилось. Достаточно было, как иногда бывает, одного этого незначительного, случайного события, чтобы все кончилось и началось нечто, что касалось скорее ее одной.

Потому что тогда осторожно, торопливо, словно прикосновение острого, быстрого, шершаво-мягкого язычка, в лица пахнул запах высокой травы и луговых цветов. И последний разговор, который тянулся вяло, как что-то, скользящее между пальцев, о чем давно уже не думаешь, прервался. Вероника испугалась; только позже она заметила, что это был особенный испуг, по краске, которая бросилась ей в лицо, и по одному воспоминанию, которое внезапно, перелетев через годы, без всякой подготовки, вдруг всплыло перед ней, горячее и живое. Впрочем, в последнее время воспоминаний было так много, но у нее было такое чувство, что уже накануне ночью она услышала предупредительный сигнал, и предыдущей ночью, и две недели назад. И ей показалось, что когда-

то раньше она уже испытала его мучильное прикосновение, наверное, во сне. Они все вновь и вновь приходили ей в голову, эти странные воспоминания, и укладывались вокруг — слева, справа, сзади, спереди, как стаи птиц, летящие к определенной цели все ее детство, но на этот раз она знала с какой-то почти неестественной уверенностью, что это именно то, что нужно. Среди них было одно воспоминание, которое она сразу узнала, хотя прошло много лет — наконец-то оно пришло, ни с чем не связанное, горячее и еще живое.

Ей ужасно нравилась тогда шерсть у одного большого сенбернара, особенно спереди, там, где широкие грудные мышцы выпирали при каждом шаге над округлыми костями, как два холма; шерсть у него была необыкновенно густая и вся из золотисто-коричневых волосков, и это было такое необозримое богатство и что-то такое спокойно-безграничное, что начинало рябить в глазах, если даже примешься рассматривать один только маленький кусочек шерсти. И хотя она не испытывала ничего, кроме единого, нерасчлененного, сильного чувства радости, чувства товарищеской нежности четырнадцатилетней девочки, и это напоминало удовольствие от какой-нибудь вещи, ее чувство напоминало иногда ощущение природы. Когда идешь и видишь здесь лес и луг, а там — гору и поле, и все в мире этой великой упорядоченности просто и податливо, как камешек; но любая гора и любой камень оказываются невероятно сложны, когда рассматриваешь их в отдельности, и ведут себя, как живые существа, так что внезапно наше восхищение оборачивается страхом, словно перед зверем, который подбирает лапы и неподвижно замирает, подкарауливая свою жертву.

Но однажды, когда она лежала так возле своей собаки, ей представилось, что такими были, наверное, великаны; с горами, долинами и лесами волос на груди, и певчими птицами, которые качаются у них в зарослях волос, и маленькими блошками, которые копошатся в перьях этих птиц, и — что дальше, она не знала, но до конца было еще далеко, и все пристраивалось одно к другому, и было втиснуто одно в другое, и казалось, остается только в робости и благоговении замереть перед грандиозностью силы и порядка. И она думала про

себя, что если они разгневаются, то гнев их с воплем ворвется в эту тысячеликую жизнь и перетряхнет каждого с ужасающей силой, а если они затем обрушат на кого-нибудь свою любовь, то это будет подобно топоту гор и шелесту деревьев, и у того человека отрастет на теле мягкая шерсть, и закопошатся насекомые; и пронзительный голос, в блаженстве кричащий о чем-то несказанном, и их дыхание окутают все это в густой рой зверей и притянут к себе.

Когда же она заметила, что ее маленькие острые груди поднимаются и опускаются точно так же, как косматая грудь зверя рядом с нею, она вдруг решила воспротивиться этому и задержала дыхание, словно хотела наложить на что-то заклятие. Но когда она уже больше не смогла сопротивляться и снова начала дышать так, как будто та, другая жизнь постепенно притягивала ее к себе, она закрыла глаза и снова стала думать о великанах, и перед нею беспокойной вереницей потянулись образы, но они были ей теперь много ближе и от них шло тепло, как от низких пухлых облаков.

Когда потом, очень нескоро, она снова открыла глаза, все было, как и раньше, только собака стояла теперь рядом с нею и смотрела на нее. И тогда она сразу заметила, что в зарослях желтого, как морская пена, руна беззвучно показалось что-то заостренное, красное, причудливо изогнутое, и в тот момент, когда она хотела распрямиться, она ощутила влажно-теплое, дрожащее прикосновение языка на своем лице. И тогда на нее напало такое странное оцепенение, словно... словно и сама она была таким же зверем, и несмотря на отвратительный страх, который она ощущала, что-то обжигающе сжалось в ней, как будто сейчас, и только сейчас... словно птичий гомон и хлопанье крыльев в кустах, пока все не стихнет, а звук не сделается мягким, как шорох складывающихся перьев.

Вот что это тогда было, это был как раз тот самый странно обжигающий испуг, который сейчас внезапно помог ей все вспомнить и все распознать. Ведь мы не знаем, почему мы чувствуем так, а не иначе, но она почувствовала, что теперь, годы спустя, ее испуг был точно таким же, как тогда.

И там стоит тот, кто сегодня должен уехать, Иоганнес, а тут стоит она. С тех пор минуло тринадцать или четыр-

надцать лет, и груди у нее давно уже не такие острые, и красные клювики сосков не так любознательны, как тогда, они самую чуточку опустились вниз и выглядели теперь немножко печально, как две забытые кем-то на пустыре мятые бумажные шапочки, потому что грудная клетка у нее сделалась плоской и раздалась вширь, и было такое впечатление, будто пространство вокруг нее как-то сократилось. Но она знала об этом скорее всего не потому, что рассматривала себя в зеркале, — когда снимала с себя одежду или принимала ванну, ибо давно уже делала, занимаясь всем этим, только самое необходимое, — нет, она просто судила об этом по своим ощущениям, потому что иногда, например, ей казалось, что раньше платья плотно облегли ее фигуру со всех сторон, теперь же казалось, что она просто прикрывает ими свое тело, а если она вспоминала, как она сама себя ощущала изнутри, то оказывалось, что раньше она была как круглая, упругая капля воды, которая давно уже превратилась в маленькую лужицу с расплывшимися краями; и таким размазанным, вялым, расслабленным было ее нынешнее восприятие себя, как будто от нее ничего не осталось, кроме уныния и усталой небрежности, и лишь иногда она ощущала, как что-то несравненно мягкое медленно-медленно тысячами нежных осторожных складок изнутри прижимается к ней.

И все же когда-то давно она должна была хоть раз быть ближе к живой жизни и яснее ощущать ее — руками или собственным телом, но она давно уже забыла, как все это было, и знала только, что с тех пор, видимо, появилось нечто, что скрыло все эти ощущения. И не знала, что это тогда было, какой-то сон, или она чего-то испугалась, когда не спала, был ли это страх перед чем-то, что она видела, или перед самой собой; но эта оставалась до сих пор. Ибо с тех пор ее бледная повседневная жизнь заслонила эти впечатления и стерла их, как стирает следы на песке усталый надоедливый ветер; и теперь лишь монотонность этого ветра звучала в ее душе, словно тихое гудение, которое то накатывает, то отступает. Она не испытывала больше сильной радости и сильных страданий, ничего такого, что было бы заметно и выделялось бы на общем фоне, и постепенно ее жизнь потеряла всякую отчетливость. Все дни были похожи один на другой, и, одинаковые, сменяли друг друга годы;

она еще вполне ощущала, что каждый из них что-то забирает с собой, и каждый что-то приносит, и что она сама медленно меняется, но явной разницы между ними не было; у нее было неясное, расплывчатое представление о себе самой, и когда она пыталась оглядеть себя внутренним взором, то находила лишь смену неопределенных и скрытых форм, так бывает, когда мы чувствуем, что что-то шевелится под одеялом, но не можем угадать, что. И постепенно жизнь ее словно спряталась под мягкое сукно или под колпак из точеной кости, стенки которого становились все толще и толще. Предметы отступали все дальше и дальше, теряя свой облик, и ее ощущение себя уходило все дальше. На их месте оставалось пустое, неуютное пространство, в нем и жило ее тело; оно видело вокруг себя какие-то предметы, оно улыбалось, оно жило, но все это происходило так бессвязно, и часто в этот мир заползало мерзкое отвращение, которое словно замазывало дегтем все чувства.

И только когда в ней возникло это странное движение, которое сегодня наполнилось смыслом, она подумала о том, не может ли все стать снова, как прежде. А потом появилась мысль, не любовь ли это; любовь? она пришла, наверное, уже давно и приближалась медленно; медленно приближалась она. Но если мерить мерками ее жизни — то слишком быстро; жизнь ее шла еще медленнее; это было что-то вроде медленного открывания и закрывания глаз, а между ними — взгляд, который не в состоянии был задержаться на предметах, скользкий, замедленный, он, ничем не взволнованный, проскальзывал мимо. Этим взглядом она смотрела на то, что приближается к ней, и поэтому не могла поверить, что это любовь; она смутно пугала ее, как все незнакомое, это был испуг без ненависти, без остроты, любовь казалась ей лишь чужой страной по ту сторону границы, где собственная страна мягко и безутешно сливается с небом. Но с тех пор она знала, что жизнь ее стала безрадостной, ибо что-то принуждало ее изгонять все незнакомое, и если раньше она жила, как человек, который не видит смысла в том, что он делает, то теперь ей иногда казалось, что она его просто забыла и теперь сможет вспомнить. И ее мучило представление о чем-то восхитительном, что должно наступить потом, как брезжущее рядом с границами сознания воспоминание о

какой-то забытой вещи. И все это началось тогда, когда вернулся Иоганнес, и ей тут же, в первый момент, неизвестно почему пришла в голову мысль о том, как его когда-то ударил Деметр и как Иоганнес улыбался.

И с тех пор у нее появилось такое чувство, будто пришел некто, обладающий чем-то таким, чего у нее нет, и тихо проносящий это по сумеречной пустыне ее жизни. Он шел по ее жизни, и вещи под его взглядом начинали нерешительно занимать нужные места; ей иногда казалось, когда он испуганно улыбался самому себе, что он может вдохнуть весь мир, задержать его в себе и ощутить его изнутри, и когда он его затем вновь очень бережно и осторожно ставил перед собой, он казался ей фокусником, который одиноко, для самого себя показывает чудеса с летающими кольцами; не более того. Ей делалось больно, когда она со слепой назойливостью представляла себе, как прекрасно все выглядит, наверное, в его глазах; у нее появилась ревность ко всему тому, что он чувствовал. Ибо хотя под ее взглядами распался всякий порядок и вещи она любила лишь жадной любовью матери к своему ребенку, наставлять которого она не в состоянии, теперь ее усталая расслабленность начинала напрягаться и дрожать, как какой-то звук, как звук, который звенит в ушах и где-то в мире поднимает купол пространства и зажигает свет. Какой-то свет и люди, облик которых весь состоит из протяжной тоски, словно из линий, которые протягиваются далеко за свои собственные пределы и только в недостижимой дали, почти в бесконечности, пересекаются. Он сказал, что это идеалы, и тогда у нее появилась надежда, что все это может обратиться в действительность. Наверное, она уже пыталась устремиться ввысь, но от этого испытывала боль, как будто тело ее было больным и не могло держать ее.

Именно тогда начали всплывать все остальные воспоминания, кроме одного. Они пришли к ней все, и она не знала, почему, но что-то заставляло ее считать, что одного воспоминания не хватает и что ради него одного появились все эти другие. И еще она знала: то, что она так ощущала, было не силой, а его кротостью, его слабостью, той тихой неуязвимой слабостью, которая раскинулась за его спиной, как бескрайнее пространство, в котором он был наедине со всем, что с ним происходило. Но дальше у нее ничего не получалось, это беспокоило ее, и

она мучилась оттого, что, как только она, казалось, была близка к тому, чтобы во всем разобраться, ей на ум опять приходил какой-то зверь; она все время представляла себе зверей или Деметра, когда думала об Иоганнесе, и смутно подозревала, что у них общий враг и искуситель, Деметр, образ которого, словно гигантский, буйно разросшийся сорняк, присосался к ее воспоминаниям и вытягивал из них силы. И она не знала, заложена ли причина всего этого в том ее воспоминании, которое еще не пришло к ней, или в той сути, которой еще только предстоит проявиться. Была ли это любовь? В ней было какое-то брожение, что-то влекло ее. Она не знала, что с ней. Она словно шла по дороге, а впереди маячила какая-то цель, и ее заставляло в нерешительности замедлять шаги ожидание того, что где-то в прошлом или будущем таится еще не найденная и не признанная ею, совсем иная цель.

А он не понимал ее и не знал, как тягостно было это неустойчивое ощущение жизни, которую она должна была строить для себя и для него, основываясь на чем-то таком, что ей было еще неизвестно, — и страстно желал действительной жизни, с самой обыденной простотой, чтобы она стала его женой или любовницей. Она не могла этого понять, ей казалось, что это бессмысленно, а в данный момент — почти подло. Она ни разу не ощутила явного, нацеленного влечения, однако никогда так отчетливо, как в это время, мужчины не казались ей всего лишь поводом, не стоящим того, чтобы долго задерживать внимание на нем самом, поводом для чего-то другого, воплощенного в них лишь очень нечетко. И вдруг она вновь погрузилась в саму себя и притаилась в этой своей тьме, и все смотрела и смотрела на него, и впервые с удивлением ощутила этот уход в самое себя как чувственное волнение, которому она похотливо предалась в своем сознании прямо у него перед глазами, оставаясь недосыгаемой. Что-то в ней противилось ему, словно дыбился мягкий, шуршащий кошачий мех, и, будто глядя вслед маленькому блестящему шарик, она выпустила свое «нет» из укрытия, и оно покатилося прямо ему под ноги... И закричала, как будто боялась, что он может его растоптать.

И вот теперь, когда расставание безвозвратно встало между ними и шло вместе с ними в последний путь, внезапно с полной ясностью всплыло то самое забытое

воспоминание Вероники. Она чувствовала только, что это то самое, и не знала, почему, и была немного разочарована, потому что в его содержании ничто не говорило ей о том, почему это было именно оно, и ощущала лишь какую-то освобождающую прохладу. Она чувствовала, что однажды в жизни ей уже пришлось испытать такой страх, какой она сейчас испытывала перед Иоганнесом, и не понимала, какая здесь связь, и почему это может так много значить для нее, и как это связано с будущим, — но у нее сразу появилось такое ощущение, будто она вновь вернулась на свой путь, туда, в то самое место, где когда-то с него сошла, и она понимала, что в этот миг то событие действительности, которое связано было с Иоганнесом, Иоганнесом из действительной жизни, достигло своего апогея и завершилось.

Она в это мгновение чувствовала что-то похожее на распадение; хотя они стояли совсем рядом, все как-то перекошилось, словно они куда-то проваливались, удаляясь друг от друга; Вероника смотрела на деревья, обрамлявшие дорогу, и, конечно, они на самом деле стояли гораздо прямее, чем ей казалось. И тогда ей показалось, что она наконец-то полностью прочувствовала свое «нет», которое просто обронила до того, в смятении, опираясь на какое-то предчувствие, и поняла, что теперь он уезжает только из-за себя самого, хотя сам этого не хочет. И от этого она на некоторое время ощутила такую глубину и такую тяжесть, словно лежат рядом два тела, отделенные одно от другого, разлученные и печальные, и каждое — само по себе, — потому что это ее чувство означало так или иначе почти самоотверженность; и ею овладело нечто такое, что сделало ее маленькой, слабой и ничтожной, как собачонку, которая, поскуливая, ковыляет на трех ногах, или как рваный флажок, который сиротливо трепещет от дыхания ветерка, — настолько растерялась она, постигнув все это, и у нее появилось страстное желание удержать его, словно у мягкой, израненной улитки, которая, передвигаясь тихими толчками, ищет другую, к телу которой она, сломленная, умирая, могла бы прилепиться.

Но тут она посмотрела на него и уже не знала, о чем думает, чувствуя: возможно, единственное, что она об этом знала, то внезапное воспоминание, которое покои-

лось в ней, чистое и отделенное ото всего, — вообще не было чем-то таким, что она могла постигнуть, опираясь только на саму себя, это произошло только благодаря тому, что когда-то постижению помешал великий страх, но затем это нечто укрепилось и затаилось в ней, преградив дорогу тому, другому, что могло из него родиться и неизбежно должно было отделиться от нее, как чужеродное тело. Ибо ее чувство к Иоганнесу начало спадать и устремилось прочь, — широким, освобожденным из-под гнета потоком, что-то давно лежавшее в ней мертвым, бессильным, закованным грузом вырвалось из нее и увлекло это чувство с собой, — и там, где был он, вспыхнуло дошедшее из преодоленных ею далей сияние, что-то, вздымающееся, как каменный столб, что-то бесконечно возвышенное и бессвязно мерцающее, словно сквозь сетчатую завесу снов.

И разговор, который они там, вовне, еще продолжали, становился все более скупым и угасал, и пока они силились его продолжать, Вероника почувствовала, как за словами встает уже нечто совсем другое; она теперь окончательно поняла, что ему надо уехать, и замолчала. Все, что они говорили или пытались сделать, казалось ей напрасным, поскольку было решено, что он уйдет и больше не вернется; она ощущала, что совершенно не хочет делать того, что раньше, возможно, и сделала бы, поэтому все ее прежние намерения вдруг приобрели застывший, неопределенный облик; она не успевала разобрататься ни в смысле, ни в причине всего этого, все происходило быстро и четко, как нечто свершившееся, решенное и окончательное.

Он все еще стоял перед ней, окутанный сумбуром собственных слов, и она начала ощущать, что его присутствия, того, что он действительно рядом с нею, недостаточно, она чувствовала тяжелое давление на что-то такое в ней, что с воспоминанием о нем устремлялось куда-то ввысь, и она всюду натыкалась на его живую сущность, как натыкаются на мертвое тело, которое упрямо и враждебно противится любым усилиям оттащить его в сторону. И когда она заметила, что Иоганнес по-прежнему настойчиво смотрит на нее, он показался ей большим усталым зверем, которого она никак не может оттолкнуть от себя, и она ощутила в себе то самое воспоминание, как маленький горячий предмет, зажатый в

руках; она чуть было не показала ему язык, испытывая нечто среднее между желанием бежать прочь и соблазном, странное чувство, похожее на отчаяние самки, которая кусает своего преследователя.

Но в это мгновение снова поднялся ветер, и ее чувство долетело до него и, ширясь, полностью освобождалось от упорного сопротивления и ненависти, которые, исчезая без его помощи, мягко всасывались в самое себя, пока от всего этого не остался один только одинокий ужас, перед которым Вероника, ощутив его, отступила сама; а все остальное вокруг проникнуто было дрожью предчувствия. То непроницаемое, что до сих пор туманным мраком покрывало ее жизнь, внезапно пришло в движение, и ей казалось, что формы предметов, которые она давно искала, скрывались за какой-то пеленой и исчезали. И хотя ничто не принимало такой облик, что можно было бы ухватиться руками, все ускользало меж тихо, на ощупь бредущих слов, и ни о чем нельзя было говорить, но на каждое слово, которое теперь не произносилось, смотрел издали чей-то взгляд, и каждое слово сопровождалось тем странным, летящим вместе с ним пониманием, которое возносит обыденное действие на театральную сцену и делает его знаком пути, который неразличим иначе среди нагромождения булыжников. Словно тонкая шелковая маска закрыла весь мир, светлая, серебристо-серая, подвижная, кажется, готовая лопнуть; она напрягла зрение, и что-то затрепетало в ней, словно ее сотрясали невидимые толчки.

Так они и стояли рядом, и когда ветер стал задувать все сильнее и сильнее над дорогой, и удивительным мягким, благоуханным зверем разлегся повсюду, покрывая лицо, затылок, ключицы... и, вздыхая, раскинул пряди мягких, бархатистых волос, и с каждым вздохом плотнее прижимался к коже, — разрешилось и то и другое, и ее ужас и ее ожидание, обратясь в усталое, тяжелое тепло, которое безмолвно, слепо и медленно, как текущая из раны кровь, обволокло ее. И она невольно вспомнила о том, что когда-то раньше слышала: что, мол, на людях обитают миллионы живых существ, и с каждым дыханием неисчислимы потоки живых существ появляются и исчезают, и она в благоговении замерла ненадолго перед этой мыслью, и ей было так тепло и темно, словно ее несла широкая пурпурная волна, но

затем рядом с этим горячим потоком крови она ощутила еще один, и, подняв глаза, она увидела, как он стоит перед ней, и его разлетевшиеся на ветру волосы тихонько, подрагивающими кончиками, касаются ее волос, и тогда ее охватила пронзительная радость, казалось, что смешиваются два гудящих роя, и она готова была вырвать из себя свою жизнь, чтобы среди горячей спасительной тьмы, в неистовом восторге погрузить его в эту жизнь. Но тела их стояли окоченело и неподвижно и лишь, закрыв глаза, позволяли происходить тому, что втайне сейчас совершалось, словно им нельзя было об этом знать, и только все больше наполнялись пустотой и усталостью, а потом слегка склонились друг к другу, очень плавно и спокойно, и с такой смертельно тихой нежностью, словно, коснувшись друг друга, они истекут кровью.

И когда поднялся ветер, ей показалось, что кровь ее под одеждой поднимается по жилам вверх, и это доверху наполнило ее звездами и кубками, синим и желтым, и тончайшими нитями, и робким прикосновением, и каким-то недвижимым блаженством, словно стоящие на ветру цветы, которые что-то ощущают. И когда заходящее солнце просвечивало сквозь край ее юбки, она все так и стояла — вяло, тихо, бесстыдно покорно, словно кто-то может это увидеть. И только где-то совсем-совсем глубоко в ней зарождалась мысль о том великом, страстном желании, которому еще предстоит осуществиться, но эта мысль была в тот миг окутана такой тихой печалью, словно где-то вдали звонили колокола; и они стояли рядом, и тела их высились, большие и суровые, как два гигантских зверя с выгнутыми спинами, на фоне вечернего неба.

Солнце зашло; Вероника шла одна, задумавшись, по той же дороге, среди лугов и полей. Как из разбитой скорлупы, лежащей на земле, из этого прощания родилось ощущение самой себя; внезапно оно сделалось таким определенным, что ей показалось, будто она — как нож, воткнутый в жизнь этого человека. Все было отчетливо разграничено; он ушел и наверное убьет себя, ей не нужно было это проверять, это было что-то сокрушительно мощное, словно на земле лежал какой-то темный

предмет. Это казалось ей настолько необратимым, словно время было разрезано и все прежнее безвозвратно застыло, этот день с его внезапным проблеском выделился среди всех остальных, как сияющий меч, у нее даже появилось такое чувство, словно она видела в воздухе телесное воплощение того, как связь ее души с той, другой душой стала чем-то окончательным, необратимым и, подобно остову старого дерева, упиралась в вечность. Порой она чувствовала нежность к Иоганнесу, которому она была благодарна за все это, потом снова — ничего, и она все шла и шла. Какая-то вторгшаяся в ее одиночество определенность толкала ее вперед, по дороге меж лугов и полей. Мир сделался по-вечернему маленьким. И постепенно Вероника ощутила странную радость, похожую на легкий, но внушающий страх воздух, который она вдыхала, содрогаясь от его запаха, который наполнял ее и поднимал вверх, и заставлял устремляться вдаль; звук ее шагов в этом воздухе легко отрывался от земли и поднимался над лесами.

Ей было не по себе от легкости и счастья. Она избавилась от этого напряжения только тогда, когда рука ее легла на ручку ворот ее дома. Это была маленькая овальная прочная калитка. Когда она закрыла ее за собой, эта калитка надежно заслонила ее ото всего, и она оказалась теперь в непроницаемой тьме, словно погрузилась в тихие подземные воды. Она медленно шла вперед и, не прикасаясь ни к чему, ощущала близость прохладных стен вокруг; это было особенное, затаенное чувство; она знала, что она у себя дома.

Потом она спокойно занималась необходимыми делами, и этот день подошел к концу, как и все остальные. Время от времени среди прочих всплывал образ Иоганнеса, тогда она смотрела на часы и высчитывала, где он сейчас должен быть. Но потом она приказала себе не думать об Иоганнесе, и когда она потом снова подумала о нем, поезд должен был уже идти сквозь ночь горных долин дальше, на юг, и незнакомые пейзажи наполнили ее сознание темнотой.

Она легла в постель и быстро заснула. Но спала она чутко и нетерпеливо, как человек, которому на следующий день предстоит что-то особенное. За ее смеженными веками все время брезжило что-то светлое, к утру оно сделалось еще ярче и, казалось, раздалось вширь,

вот оно стало уже несказанно широким; проснувшись, Вероника уже знала: это море.

Сейчас он уже наверняка увидел его, и ему необходимо сделать только одно — выполнить свое решение. Скорее всего он выплывет на лодке в открытое море и выстрелит в себя. Но Вероника не знала, когда. Она начала строить догадки и сопоставлять обстоятельства. Поплывет ли он сразу, сойдя с поезда? Или будет дожидаться вечера? Когда море расстилается перед тобой уже совершенно спокойно и как будто смотрит на тебя удивленными глазами? Весь день она ходила, полная беспокойства, словно тонкие иглы постоянно впивались ей в кожу. Иногда откуда-нибудь — из золотой рамы вдруг осветившегося на стене портрета, из темноты на лестнице или сквозь белое полотно, по которому она вышивала, — проглядывало лицо Иоганнеса. Бледное и с резко очерченными губами, напоминающими рубины в оправе. Обезображенное и раздувшееся от воды. Или просто черная прядь волос над впалым лбом. Тогда она то и дело наполнялась дрейфующими обломками внезапно вновь накатывающей нежности. И когда наступил вечер, она знала, что это наверняка произойдет.

Глубоко в ней таилось подозрение, что все напрасно, что бессмысленно это ожидание и эти попытки обращаться с вещами совершенно неопределенными как с обычными, реальными. Иногда же торопливо проскакивала мысль, что Иоганнес жив, она словно прорывала какой-то мягкий покров, и сквозь него показывался кусок действительности — и тут же пропадал вновь. Она чувствовала тогда, как беззвучно и незаметно скользит за окном вокруг дома вечер, это было так, словно однажды пришла ночь, пришла и ушла; она знала об этом. Но внезапно все это сгнуло. Глубокий покой и ощущение тайны медленно опустилось на Веронику, словно окутав ее складчатым покрывалом.

И настала ночь, эта единственная ночь в ее жизни, когда то, что родилось под сумрачным покровом ее долгого больного бытия и не могло преступить какой-то заслон, чтобы прорваться к действительности, как огненное пятно, стало разрастаться, превращаясь в странные фигуры невероятных событий, когда оно обрело силы наконец-то осознанно проявиться в ней.

Влекомая каким-то неясным чувством, она зажгла в своей комнате все светильники, и, окруженная ими, сидела неподвижно посреди комнаты; она взяла портрет Иоганнеса и поставила его перед собой. Но ей больше не казалось, что то, чего она ждала, было событие, происходившее с Иоганнесом, но оно происходило и не с ней, на этот счет она не заблуждалась, — и вдруг поняла, что ее ощущение окружающего переменилось и проникло в неведомую область между сном и явью.

Пустого пространства между собой и окружающими вещами она теперь не ощущала; оно заполнилось удивительно напряженной взаимосвязью. Предметы не сдвигались со своих мест, словно пустили глубокие корни, — стол и шкаф, часы на стене, — до отказа наполненные самими собой, отделенные от нее, замкнутые в себе плотно, как сжатый кулак; и все же иногда они вновь проникали в Веронику или смотрели на нее, словно у них были глаза, из какого-то пространства, которое, как стекло, отделяло от них Веронику. Они стояли так, словно долгие годы ждали только этого вечера, чтобы обрести себя, так вздымались они и выгибались ввысь, и эта исходящая от них неиссякаемая избыточная сила переливалась через край, и ощущение этого мгновения, едва появившись, раздалось вширь вокруг Вероники, словно она сама вдруг заключила все в свое пространство, в котором безмолвно мерцали свечи. Но иногда она изнемогала от этого напряжения, и тогда ей казалось, что она лишь излучает свет; какая-то ясность пронизывала все ее тело, и она ощущала ее на себе, словно глядя на себя со стороны, и уставала от самой себя, словно от тихо гудящего конуса света, отбрасываемого какой-то лампой. И мысли ее проходили насквозь и выходили наружу из этой светлой сонливости, образуя мелкие ответвления, которые выглядели, как тончайшая сеть вен. Молчание становилось все глубже, завесы спадали, мягко, как мельтешение снежинок перед освещенными окнами, окутывая ее сознание; то и дело вспыхивал в нем, похрустывая, величественный зубчатый свет... Но через некоторое время она опять достигла границ своего странно напряженного бодрствования, и внезапно совершенно отчетливо ощутила: это теперь и есть Иоганнес, он обратился в действительность именно такого рода, он — в изменившемся пространстве.

У детей и у мертвых души нет; а душа, которой обладают живые люди, — это то, что не позволяет им любить, как бы они того ни хотели, то, что в любой любви маленький остаточек оставляет для себя, — Вероника чувствовала: то, что никакая любовь не сможет заставить отдать, — это нечто, придающее направленность всем чувствам, — прочь от того, что с боязливой верой за них держится, того, что придает всем чувствам недосягаемость самого любимого, чего-то всегда готового повернуть вспять, — даже если они обращены к нему; есть в нас нечто, с улыбкой оглядывающееся на тайную договоренность в прошлом. Но дети и мертвые — это ведь пока еще ничто или — уже ничто, они заставляют думать, что могут еще стать всем или всем уже были; они как действительность пустоты пустых сосудов, которая придает снам их форму. У детей и у мертвых нет души, во всяком случае — такой души, у зверей — тоже. Звери пугали Веронику своей угрожающей отвратительностью, но в глазах у них стояло забвение, мерцающее маленькими точками и мгновенно, по каплям, скатывающееся вниз.

Чем-то подобным является душа, когда поиски неопределенны. Вероника всю свою долгую темную жизнь боялась одной любви и тосковала по другой, и во снах у нее иногда получалось так, будто она ее дождалась. А события чередуются во всей своей мощи, величественно и неторопливо, но все-таки они то, что сидит в самом человеке; то, что приносит боль, но так, словно эта боль исходит от человека; то, что унижает, хотя только унижению доступно летать бездомным облачком, и нет никого, кто это видит; унижение улетает прочь, испытывая блаженство дождевой тучи... Так она колебалась между Иоганнесом и Деметром... И сны тоже помещаются не внутри человека, они к тому же и не обломки действительности, и где-то, во всей совокупности ощущений, они начинают выделяться и завоевывают свое место, и живут там, паря в невесомости, как одна жидкость в другой. Во снах своему возлюбленному принадлежишь так, как эти жидкости — одна другой; ощущение пространства при этом совсем особое; ибо бодрствующая душа — это незаполняемая полость в пространстве; душа делает пространство холмистым, как вздутый лед.

Веронике хотелось вспомнить, какие сны ей снились. До сегодняшнего дня она ничего об этом не знала, лишь иногда, пробуждаясь, она, словно привыкнув к совсем другому, наталкивалась на узость собственного сознания и где-то замечала шелку, в которой еще брезжил свет... только шелку, но за ней ощущалось бескрайнее пространство. И теперь ей пришло в голову, что она наверняка часто видела сны. И она видела, как сквозь ее дневную жизнь проглядывают образы снов, как бывает, когда за воспоминаниями о разговорах и действиях через много лет видишь воспоминание о сложном сплетении чувств и мыслей, которые прежде были скрыты, или когда неизменно вспоминаешь только о каком-нибудь разговоре, и только теперь вдруг, спустя годы, понимаешь, что тогда непрерывно звонили колокола... Были такие разговоры с Иоганнесом, были такие разговоры с Деметром. И в них она теперь могла разглядеть и собаку, и петуха, и удар кулаком, потом Иоганнес говорил о Боге; медленно, словно присасываясь своими концами, ползли его слова.

Еще Вероника всегда знала, оставаясь к этому довольно равнодушной, что есть некое животное, всем знакомое; это — животное с дурно пахнущей кожей, покрытой отвратительной слизью; но внутри нее оно было лишь чем-то вроде беспокойного темного пятна неопределенной формы, которое иногда ползло куда-то под нессыпным взором бодрствующего сознания; или оно было лесом, бесконечным и нежным, как спящий мужчина; в нем не было ничего от животного, были лишь определенные линии его влияния на ее душу, удлинявшиеся сами собой... И Деметр сказал тогда: мне достаточно лишь встать на четвереньки... и Иоганнес сказал тогда, днем: во мне что-то съезжилось, удлинилось... Мягчайшее, бледное желание было в ней — чтобы Иоганнес оказался мертв. И было еще чувство, пока неясное в ее освобожденном от сна сознании, чувство безумно тихого созерцания его, и ее взгляды скользили бесшумно, как иглы, проникая в него все глубже и глубже, внимательно следя за тем, не раскроется ли вдруг ей навстречу, воплотившись в действительность с нерасчетливой полнотой всего живого в его дрогнувшей улыбке, в каком-нибудь движении его губ, в каком-нибудь жесте, мука чего-

то такого, чем одаривает нас мир мертвых. Его волосы представлялись ей тогда густым кустарником, ногти — большими пластинами слюды, она видела наполненные влагой облака в белках его глаз и маленькие зеркальные пруды, он распростерся во всей своей неприкрытой мерзостности, и границы его больше никто не защищал, а душа его, охваченная последним чувством, была укрыта только от себя самой. И он заговорил о Боге, а она подумала тогда: под Богом он подразумевает то самое *другое* чувство, возможно — ощущение того пространства, в котором он хотел бы жить. В ее мысли было что-то болезненное. Но у нее появилась еще одна мысль: животное, наверное, похоже на это пространство, проскальзывая так близко, словно вода, которая прямо на глазах расплывается в какие-то большие фигуры, и вместе с тем — маленькое и далекое, если смотреть на него снаружи, как бы со стороны; почему в сказках позволительно думать вот так о животных, которые охраняют принцесс? Разве это было чем-то болезненным? И в эту ночь Вероника почувствовала, как она сама и эти образы ясно высвечиваются на фоне полного предчувствия страха исчезновения. Этот страх вновь способен был сокрушить ее приземленную жизнь, лишенную сновидений, она знала это и видела, что все тогда становилось болезненным и наполнялось невозможным, — но если бы можно было удержать эти его разившиеся свойства, как палочки, в одной руке, избавившись от того отвратительного, что им сопутствует, когда они склеиваются в единое действительное целое... ее мышление смогло достичь в эту ночь представления о невиданном здоровье, неколебимом, как горный воздух, наполненном той легкостью, которую испытывает человек, когда все чувства находятся в его распоряжении.

Накатывая волнами, иногда разбитыми от напряжения, лихорадочно проносилось счастье этого понимания сквозь ее мысли. Ты мертв, грезила ее любовь, ничего не имея в виду, кроме этого странного чувства, где-то посередине между нею и внешним миром, там, где жил образ Иоганнеса в ее представлении, но горячий отсвет огней был у нее на губах. И все, что происходило этой ночью, было не чем иным, как таким вот отсветом действительности, который, с мерцанием рассеиваясь где-то в ее

теле между частями ее чувства, заставлял их отбрасывать вонне неясные тени. Ей казалось тогда, что она ощущает Иоганнеса совсем рядом с собой, так близко, как саму себя. Он был во власти ее желаний, и ее нежность беспрепятственно проникала в него, словно морские волны, пронизывающие мягких пурпурно-красных актиний. Порой же ее любовь простиралась над ним раздольно и бездумно, как море, уже усталая, напоминая иногда, наверное, то море, которое скрывает его труп, большая и мягкая, как кошка, мурлычащая в нежной дреме. Часы струились тогда с бормотанием льющейся воды.

И только когда она вдруг испугалась, она впервые почувствовала горе. Вокруг было холодно, свечи догорели, оставалась только одна, последняя; на том месте, где обычно сидел Иоганнес, зияла в пространстве дыра, и всех ее мыслей не хватало, чтобы ее закрыть. Внезапно беззвучно угас и этот последний свет, словно последний из уходящих тихо прикрыл за собой дверь; Вероника осталась в темноте.

Стыдливо бродили по дому шорохи; ступеньки, пугливо вздрагивая, стряхивали следы идущих по ним; где-то скреблась мышь, а потом какой-то жучок принялся сверлить дерево. Когда пробило час ночи, ею овладел страх. Перед непрерывной жизнью этого существа, которое всю ночь напролет, пока Вероника не спала, деловито шагало по всем комнатам, не зная покоя, то поднимаясь на крышу, то забираясь глубоко под пол. Как ничего не желающий знать убийца, который наносит все новые удары просто потому, что его жертва еще шевелится, она хотела бы схватить этот тихий звук, который все не прекращался, и удушить его. И внезапно она почувствовала, как спит ее тетя, там, далеко, в самой дальней комнате, и ее строгое лицо, все в кожистых морщинках; и вещи стояли смутно и тяжело, безо всякого напряжения; и ей уже вновь стало боязно среди этого чужого, окружившего ее бытия.

И лишь что-то, что уже не было для нее опорой и просто медленно угасало вместе с ней, — удерживало ее. Она уже начинала подозревать: то, что она воспринимала как нечто ощутимо чувственное, было всего-навсего она сама, а не Иоганнес. Поверх того, что она представляла себе, уже ложилось сопротивление повседневно-

ной действительности, стыда, слов тетки, касающихся раз и навсегда определенных вещей, насмешки Деметра, смыкалась узкая щель, и возникал уже страх перед Иоганнесом; ее образы заслонены были уже смутно брезжущим принуждением воспринимать все, как бессонную ночь, и даже то воспоминание, которого она так ждала и которое было для нее словно тайное путешествие, совершенное ею в эти ночные часы, — даже оно давно уже уменьшилось в размерах и отлетело вдаль, не в силах ничего изменить в ее жизни. Но как человек с бледными кругами под глазами идет в поисках событий, о которых он никому не расскажет, воспринимая собственную обособленность и слабость среди всего сильного и разумно живого как тоненькую ниточку тихо блуждающей мелодии, — так и Вероника ощущала в себе, несмотря на свое горе, нежное, мучительное блаженство, которое опустошало ее тело, пока оно не сделалось мягким и нежным, как тонкая оболочка.

Ей вдруг захотелось раздеться. Просто для себя самой, ради чувства быть ближе к самой себе, остаться наедине с самой собой в темной комнате. Ее волновало то, как одежда с тихим шорохом падает на пол; это была нежность, которая делает несколько осторожных шагов в темноту, словно ища кого-то, а потом, опомнившись, спешит назад, чтобы прижаться к собственному телу. И когда Вероника медленно, с неторопливым наслаждением вновь надевала свои платья, то они, со складками, в которых, подобно прудам в темных впадинах, вяло таилось тепло и над которыми как будто вставали какие-то заросли, — они были для нее чем-то вроде укрытий, за которыми она притаилась, и когда ее тело временами втайне натывалось на свои оболочки, его пронзала чувственная дрожь, словно тайный свет, беспокойно блуждающий по дому за прикрытыми ставнями.

Это была та самая комната. Вероника невольно искала глазами то место, где на стене висело зеркало, и не могла себе это представить; она ничего не видела... лишь какой-то неясно скользящий блик в темноте, а может быть, ей это только кажется. Мрак наполнял дом как тяжелая жидкость, ей казалось, что ее самой нигде нет; она принялась ходить по комнате, но везде была только темнота, и все же она ничего, кроме себя самой, не ощущала, и там, где она проходила, она одновременно и была —

и не было ее, она напоминала себе молчание, наполненное невысказанными словами. Так же она однажды разговаривала с ангелами, когда болела, тогда они встали вокруг ее постели, и от их неподвижных крыльев разносился тонкий высокий звук, который пронизывал все вещи. Вещи распадались как глухие камни, весь мир превратился в груды острых обломков каких-то раковин, и только она сама сжалась в комок; измученная высокой температурой, истонченная, как сухой розовый лепесток, она стала проницаемой для собственного чувства, она ощущала свое тело со всех сторон одновременно, и оно было совсем маленьким, словно она могла зажать его в свой ладони; а вокруг ее тела стояли мужчины с шуршащими крыльями, тихо потрескивавшими, как волосы. Для других же ничего этого не существовало; мерцающей решеткой, через которую можно было смотреть только в одну сторону, заслонял этот звук и ее, и ангелов. И Иоганнес разговаривал с ней, как с человеком, которого жалеют и не принимают всерьез, а в соседней комнате упорно расхаживал Деметр, она слышала его насмешливые шаги и сильный, резкий голос. И все время ее не покидало чувство, будто вокруг нее стоят ангелы, мужчины с удивительными оперенными руками, и все то время, пока остальные считали ее больной, они образовывали вокруг нее невидимый, непроницаемый круг, где бы они тогда ни находились. И тогда ей казалось уже, что она достигла всего, чего хотела, но это была всего лишь болезнь, и когда все это снова прошло, она поняла, что так оно и должно быть.

Теперь же в чувственности, с которой она ощущала саму себя, было что-то от той болезни. С боязливой осторожностью она избегала предметов, чувствуя их уже издали; тихо устремлялась прочь, ускользала от нее надежда, и тогда все вовсе оказывалось выпотрошенным и опустошенным и становилось мягким, как за безмолвным занавесом из истлевающего шелка. Дом постепенно наполнился мягким серым светом раннего утра. Она стояла наверху у окна, наступало утро; люди шли на рынок. То и дело по ней ударяло сказанное кем-то слово; тогда она нагибалась, словно пытаюсь избежать удара, и отступала обратно в темноту.

И что-то тихо легло вокруг Вероники, в ней была тоска без цели и желаний, словно то болезненно неопреде-

ленное потягивание в лоне, как признак тех дней, которые повторяются каждый месяц. Странные мысли пролетали у нее в голове: так любить одну только себя — все равно что готовность все сделать для другого; и когда теперь перед ней вновь — на этот раз в виде чьего-то жесткого, безобразного лица — всплыло воспоминание о том, что она убила Иоганнеса, она не испугалась, — она делала больно лишь себе самой, когда видела его, это было так, как будто она смотрела изнутри, на собственные внутренности, наполненные кишками и еще чем-то отвратительным, напоминавшим больших сплетенных червей, — и одновременно наблюдала как бы со стороны, как она созерцает саму себя, — и испытывала ужас, но в этом ужасе было что-то неотъемлемо принадлежащее любви. Какая-то избавительная усталость охватила ее, она как-то расслабилась и, закутавшись в то, что она совершила, как в прохладный мех, вся исполнилась печали и нежности, и тихого одиночества, и мягкого сияния... словно человек, который в своих страданиях еще что-то продолжает любить и улыбается в горе.

И чем светлее становилось, тем невероятнее казалось ей, что Иоганнес мертв, это было лишь какое-то тихое сопротивление, от которого она сама избавилась. Было такое ощущение — и вместе с этим ощущением вновь какая-то очень далекая и невероятная связь с ним — будто между ними обоими уничтожилась последняя граница. Она почувствовала благостную мягкость и необычайную близость. И скорее близость души, чем близость тела; было такое чувство, будто она смотрит на себя его глазами и при каждом прикосновении ощущает не только его, но и каким-то неопишуемым образом также и собственное чувство, все это казалось ей таинственным духовным соединением. Она иногда думала, что он был ее ангелом-хранителем, он пришел и ушел, когда она его заметила, и отныне всегда будет с ней, он будет смотреть на нее, когда она раздевается, а когда она куда-нибудь пойдет, он будет сидеть у нее под подолом; его взгляды будут нежны как вечная, тихая усталость. Она этого вовсе не думала и не чувствовала, она не имела в виду этого безразличного ей Иоганнеса; что-то бледно-серое; напряженное было в ней, и мысли, пробегая в ее голове, окружены были сиянием, выделяясь, словно темные фигуры на фоне зимнего неба. Так что это была

просто каемка, каемка из стыдливой нежности. Это был тихий подъем вверх... когда что-то усиливается, и в то же время его нет... это и ничто, и — все...

Она сидела неподвижно, занятая игрой своих мыслей. Есть мир, нечто находящееся в стороне от тебя, какой-то другой мир, или просто печаль... словно стены, украшенные болезнью и воображением, в которых слова здоровых людей не звучат и бессмысленно падают на пол, как ковры, по которым нельзя ступать; тот совершенно прозрачный, гулкий мир, по которому она шагала с ним вместе, и за всем, что она там делала, следовала тишина, и все, что она думала, скользило бесконечно, словно шепот в запутанных коридорах.

И когда все стало ясно и бледно и наступил день, пришло письмо, то, которое должно было прийти, Вероника это сразу поняла: именно оно и должно было прийти. Раздался стук в дверь, и он прорезал тишину как обломок скалы, разрушающий тонкую гармонию снежного покрова; через открытые ворота со свистом влетели ветер и свет. В письмо было написано: Как ты посмотришь на то, что я себя не убил? Я похож на человека, которого выбросили на улицу. Я ушел и не могу вернуться. Хлеб, который я ем, черно-бурый хлеб, лежащий на берегу, хлеб, который меня спасает, все, что стало более тихим и неясным, теплым, и не слишком быстро закрепились, все шумное, живое вокруг — крепко держит меня. Мы еще поговорим об этом. Здесь вовне, все очень просто и лишено связности и высыпано в одну кучу как мусор, но я опираюсь на все это как на каменный столб, я нашел в этом опору и вновь укоренился...

В письме говорилось еще что-то, но она видела только одно: выбросили на улицу. И все же, хотя это было неизбежно, в его безоглядном спасительном прыжке прочь от нее чуть ощутимо чувствовалось что-то издевательское. Это было ничто, совсем ничто, лишь что-то, похожее на утреннюю прохладу, когда кто-то вдруг громко заговорит, потому что уже начался день. В конце концов все произошло ради такого вот человека, который теперь, отрезвившись, взирал на все это. Начиная с этого момента Вероника долгое время ничего не думала, она еще что-то чувствовала. Лишь невероятная, не колебле-

мая ни одной волной тишина сияла вокруг нее, словно бледные, безжизненные пруды, лежащие в свете раннего утра.

Когда она проснулась и снова начала все обдумывать, она вновь почувствовала себя словно под тяжелым плащом, который мешал ей двигаться, и как становятся бездействующими руки, если их затянуть пленкой, которую невозможно снять, так запутались и ее мысли. Она не находила доступа к обыкновенной действительности. То, что он не застрелился, не означало, что он жив. Это означало что-то такое в ее бытии, какое-то умолкание, угасание, что-то смолкало в ней и возвращалось в бормочущее многогласие, из которого совсем недавно вырвалось. Она опять услышала себя одновременно со всех сторон. Это был тот узкий коридор, по которому она когда-то бежала, потом ползла, а потом пришло то дальнейшее становление, когда она тихо поднялась и выпрямилась, а теперь все это снова замыкается. Несмотря на тишину, ей казалось, что вокруг стоят люди и негромко разговаривают. Она не понимала, что они говорили. В этом было что-то удивительно таинственное — не понимать, о чем они говорят. Ее чувства превратились в совсем тонкие напряженные поверхности, и эти голоса с шумом ударили по ним, как ветви буйного кустарника.

Всплывали чужие лица. Это были сплошь чужие лица, лица подруг, тетки, Деметра, Иоганнеса, она хорошо знала их, и все же они оставались чужими. Она вдруг стала бояться их, как человек, который боится, что с ним будут жестоко обращаться. Она силилась думать об Иоганнесе, но не могла уже представить себе, как он выглядел несколько часов назад, он сливался с другими; она подумала, что он ушел от нее очень далеко и смешался с толпой; у нее было такое чувство, будто он где-то притаился и его хитрые глаза наблюдают за ней. Она сжалась в комочек, стараясь полностью замкнуться в себе, но ее ощущение самой себя расплывалось, становясь все менее отчетливым.

И постепенно она вообще утратила чувство, что была чем-то другим. Она уже почти не отличала себя от остальных, и все эти лица тоже были неотличимы одно от другого, они всплывали и исчезали одно в другом, они казались ей отвратительными, как нечесанные волосы, и все же она запутывалась в них, она отвечала им

что-то, не понимая их, у нее была лишь одна потребность — что-то делать, в ней было какое-то беспокойство, которое, как тысяча маленьких тварей, просилось наружу, царапая ее кожу изнутри, и все вновь всплывали прежние лица, весь дом наполнился беспокойством.

Она вскочила и сделала несколько шагов. И вдруг все смолкло. Она крикнула, но никто не ответил; она еще раз крикнула, почти не слыша собственного голоса. Она огляделась, словно чего-то ища, все стояло неподвижно на своем месте. И все же она вновь ощущала себя.

То, что было потом, можно назвать коротким неуверенным путем, длившимся несколько дней. Иногда — отчаянные усилия вспомнить, что же это такое было — то, что она единственный раз в жизни ощутила как нечто реальное и что она могла сделать для того, чтобы это снова пришло. Вероника в это время беспокойно ходила по дому; случалось, что она вставала ночью и бродила по дому. Но при этом она лишь иногда ощущала голые, покрашенные белой краской стены, которые в свете свечи высились в каждой комнате, и тьма ключьями повисала вокруг; она ощущала в этом что-то криливо приятное, высоко и неподвижно вытянувшееся вдоль стен. Когда она представляла себе, как ускользает пол под ее ногами, она могла минутами стоять неподвижно и размышлять, словно пытаясь остановить свой взгляд на каком-то определенном месте в потоке воды; тогда голова у нее начинала кружиться, ей становилось дурно от той мысли, которую она никак не могла ухватить, и только когда пальцы ее ног ощущали трещины на полу и подошв ее касалась тонкая, мягкая пыль, или ноги начинали чувствовать неровности пола, ей становилось легче, словно ее кто-то стегнул по голому телу.

Но постепенно она стала чувствовать уже только это настоящее, а воспоминание о той ночи не было уже чем-то, чего она ждала, а только тенью той затаенной радости, которую она испытывала от самой себя и которую когда-то завоевала, тенью на той действительности, в которой она жила. Она часто подкрадывалась к запертой двери и прислушивалась, пока не слышала наконец мужские шаги. Представление о том, что она стоит здесь, в одной рубашке, почти нагая и внизу у нее все открыто,

в то время как там проходит мужчина, совсем близко, отделенный от нее только дверью, почти сводило ее с ума. Но самым таинственным представлялось ей то, что и туда, на улицу, проникала какая-то часть ее, потому что луч ее света падал через замочную скважину, и дрожание ее руки должно было на ощупь пробежать по одежде того странника.

И однажды она вдруг подумала о том, что теперь она осталась в доме наедине с Деметром, с этим безумием порока. Она вздрогнула, и с тех пор часто случалось так, что они встречались на лестнице и проходили друг мимо друга. Они здоровались, но слова их совершенно ни к чему не обязывали. Просто однажды он встал совсем рядом, и они оба попытались найти друг для друга какие-то другие слова. Вероника заметила его колено, обтянутое узкими рейтузами, и его губы, которые напоминали короткий, широкий, кровавый разрез, и задумалась о том, каким будет Иоганнес — ведь он вернется; чем-то гигантским казался ей в этот миг кончик бороды Деметра на фоне бледного окна. И через некоторое время они пошли дальше, так и не поговорив.

МЕЧТАТЕЛИ

Драма в 3-х действиях

Перевод Н. Федоровой

Die Schwärmer
Schauspiel in drei Aufzügen

1921

Действующие лица

Т о м а с

М а р и я, его жена

Р е г и н а, сестра Марии

А н с е л ь м

Й о з е ф, муж Регины; профессор университета и высокий чин в академической администрации

Ш т а д е р, владелец сыскного бюро «Ньютон, Галилей и Штадер»

Г-жа М е р т е н с, канд. фил.

Г о р н и ч н а я.

Действие происходит в доме, который отошел к Томасу и Марии по наследству и расположен недалеко от большого города.

Все персонажи пьесы — люди молодые: от 28 до 35 лет; исключение составляют г-жа Мертенс — она немного постарше — и Йозеф, которому за 50.

Кроме этих двоих, все персонажи пьесы внешне очень привлекательны, как бы мы себе эту привлекательность не представляли.

Самая красивая — Мария: высокая, смуглая, крупная; движения ее напоминают бесконечно медленную мелодию. Томас, напротив, невысокий, стройный, крепкий и жилисто-поджарый, как хищник; лицо его, тоже хищное, лобастое, в остальном почти не привлекает к себе внимания. У Ансельма лоб твердый, низкий, широкий, как туго натянутая лента; чувственная часть его лица просто завораживает. Он выше и крупнее Томаса. Регина смугла и темноволоса, внешность ее с трудом поддается определению — мальчик, женщина, химера из сна, своенравная сказочная птица. Г-жа Мертенс — незамужняя особа с добродушной, похожей на школьный ранец физиономией; от долгого сидения в обителях учености эта дама обзавелась весьма широкой задницей.

Йозеф — человек высокого роста, сухощавый, с большим угловатым кадыком, который все время ходит вверх-вниз над слишком низким воротом сорочки; еще одна примечательная черта Йозефа — усы, видом напоминающие плавники, блекло-каштанового цвета.

Штадер был когда-то смазливый юнцом, теперь это весьма ретивый деловой человек.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена представляет гардеробную в первом этаже дома; большая, закрытая сейчас раздвижная дверь ведет в спальню. Вторая дверь — входная — на противоположной стене. Большое, до самой земли, окно выходит в парк.

При постановке сцена должна создавать впечатление равно и реальности, и грезы. Стены из холста, двери и окна — прорези в нем; рамы, притолоки и косяки нарисованы; эти поверхности не жесткие, а зыбкие и в небольших пределах подвижные. Пол в фантастических цветных узорах. Мебель напоминает абстракции вроде проволочных моделей кристаллов; она реальна и употребима, но возникла как бы путем кристаллизации, которая порою на миг приостанавливает поток впечатлений и вдруг выделяет какое-то одно. Вверху стены переходят в летнее небо, по которому плывут облака. Ранний предполуденный час.

Регина с письмом в руке сидит в кресле, в нетерпении подвинутом к двери спальни, и тихонько барабанит по филенке костяшками пальцев.

Гертенс растерянно стоит лицом к ней, ближе к середине комнаты.

Регина. Значит, вы и правда не суеверны? Не верите в тайные силы личности?

Гертенс. А как вы это себе представляете?

Регина. Да никак. В детстве и в отрочестве у меня был ужасный голос, впору вообще не говорить громко; но я твердо знала: придет день — и я так запою, что все рот раскроют от удивления.

Гертенс. И что же, запели?

Регина. Нет.

Гертенс. Ну так вот.

Регина. Не знаю, что и ответить. Вам никогда не случалось испытывать необъяснимых, загадочных ощу-

щений? Ну, когда, например, почему-то кажется, что нужно скинуть туфли и облачком проплыть по комнате? Раньше я часто приходила сюда, когда это была мамина спальня. (*Показывает на спальню Томаса и Марии.*)

М е р т е н с. Но зачем, скажите, ради Бога?

Р е г и н а (*пожимая плечами и резко стуча в дверь*). Томас! Томас!! Выходи же наконец! Письмо от Йозефа принесли.

Т о м а с (*из-за двери*). Сейчас, Каркушенька, сейчас.

Слышен скрип ключа. Томас открывает дверь и видит Мертенс.

Ой, тогда еще секундочку, я думал, ты одна. (*Снова закрывает дверь*).

М е р т е н с (*подойдя к Регине, сердечно*). Скажите, что́, собственно, вы хотите всем этим доказать?

Р е г и н а. Доказать? Но, милая моя, зачем бы я стала что-то доказывать? Мне это совершенно безразлично.

М е р т е н с (*с мягким упорством*). Я имею в виду, ну, когда вы говорите, что иногда вновь видите вашего первого мужа, который несколько лет назад умер в этой комнате.

Р е г и н а. Тогда *вы* скажите, почему мне нельзя видеть Йоханнеса?

М е р т е н с (*с деликатным упорством*). Так ведь он умер?

Р е г и н а. Да. Его смерть не подлежит сомнению и официально удостоверена.

М е р т е н с. В таком случае этого быть не может!

Р е г и н а. Я не собираюсь ничего объяснять! Просто у меня есть силы, которых у вас нет. А что? У меня есть и недостатки, которых у вас нет.

М е р т е н с. По-моему, вы говорите все это наперекор внутренней убежденности.

Р е г и н а. Я не знаю, какова моя убежденность! Знаю только, что всю жизнь поступала наперекор собственной убежденности!

М е р т е н с. Ну, это же несерьезно. Здесь постоянно рассуждают о силах, которые лишь здесь людям и свойственны! Дух этого дома — бунт против всего, что вполне удовлетворяет остальной мир.

Входит Т о м а с, еще не закончивший свой туалет; одежда его вполне соответствует погожему летнему утру. Покамест на него

не обращают внимания, и он занимается всякими утренними мелочами.

Регина. О, я вам вот что скажу: в мир *каждый* человек приходит полный сил для самых невероятных переживаний. Законы его не связывают. А потом жизнь все время заставляет его выбирать из двух возможностей, и он все время чувствует: одной недостает, все время недостает — невыдуманной третьей возможности. Вот он и делает все, что угодно, ни разу не сделав то, что хотел. А в результате становится бездарью.

Мертенс. Можно мне еще раз взглянуть на письмо? Наверняка все дело в нем.

Регина (*отдает ей письмо; Томасу*). Йозеф... придет сюда.

Мертенс. Что вы говорите? Вправду?

Регина. У Йозефа все всегда вправду.

Томас (*с большим, но, по-видимому, не неприятным удивлением*). Когда?

Регина. Сегодня.

Томас (*глядя на часы*). Тогда он, наверно, будет здесь еще до полудня. (*Глубоко вздохнув.*) Н-да... скоро.

Мертенс. Я убеждена, его превосходительство Йозеф требует всего лишь прямодушия и малой толики деликатности. Вы спокойно (*явно стараясь уколоть Томаса*), не оскорбляя его чувств, изложите ваше требование развода. И когда исчезнут последние остатки лживости перед этим человеком — которого вы на деле никогда не воспринимали как мужа, — все призраки сами собой оставят ваши нервы в покое. Вы же были святая! Вам ведь незачем выдумывать, будто вы изменили мужу с покойником! (*Энергично хватается за письмо, читает.*)

Томас и Регина отходят немного в сторону.

Томас. Вы опять говорили о Йоханнесе?!

Регина. Она считает, что я вру.

Томас. Она не понимает, для нее это реальный факт.

Регина. Но это и есть реальный факт!

Томас (*обнимая ее за плечи и легонько постукивая пальцем ей по лбу*). Каркушенька, Каркушенька! Маленькая, ковыряющая в носу фантазерка, ты ведь и ре-

бенком ужасно дулась, когда врала или таскала сахар, а потом получала от мамы взбучку.

Регина. Все почти реально. Может, куда реальнее, чем...

Томас (*не давая ей договорить*). Тут ты заблуждаешься: это полнейшая реальность! Ты заблуждаешься; вдобавок совершенно безразлично, делаешь ли ты это или только терпишь. (*Садится перед ней и по-братски бездумно обнимает ее колени.*) Я теперь тоже вечно заблуждаюсь. Но чем больше ощущаешь это, тем сильнее сгущаешь краски. Знай натягиваешь на голову собственную кожу как этакий темный капюшон с прорезями для глаз и для дыхания. Мы с тобой, Регина, прямо как родные брат и сестра.

Регина (*слабо протестуя*). Да ты же всегда был самый настоящий брат — черствый, бесчувственный, тебя ничуть не трогало, что со мной творится.

Томас. Чувства на расстоянии, Регина, как и у тебя.

Регина (*высвобождаясь*). Красиво сказано... (*Ворчиливо.*) Но что это значит?

Томас (*в той же позе, энергично*). Не столь отчетливо конкретные, как у Ансельма! У него-то во весь горизонт, будто сполохи! Я предпочитаю мнимую черствость. (*Замечает, что Мертенс, кончив читать, хочет высказаться. К Мертенс.*) Ну, что пишет Йозеф? Как там его превосходительство, владыка науки и ее служителей, очень злится на нас?

Регина. Грозит лишить тебя должности и будущего, если ты не выставишь нас из дома.

Мертенс. Его превосходительство не имеет такого права! Доктор Ансельм привез вас в дом вашей сестры и своего друга, где вы все вместе провели детство, — против этого никто возразить не может. Его превосходительство имеет право только на истину. Вот эту истину вы и скажете ему прямо в глаза; а что вы лично твердо рассчитываете после развода выйти за доктора Ансельма (*опять явно стараясь поддеть Томаса*), ему и в самом деле знать не обязательно.

Регина. Йозефа на другой лад не настроишь, он не рояль.

Мертенс. Бесконечная самоотверженная верность долгу, справедливость, любовь — все гуманные чувства на вашей стороне. А он — человек. Доверьтесь тому, что так много значит для всех людей, и вы не по-

жалееете! Хотя, похоже, с точки зрения господина доктора здесь ничего особенного нет.

Т о м а с (*лицемерно*). Напротив, я целиком с вами согласен. Пойди мы с самого начала по этому пути, ничего бы не случилось.

М е р т е н с (*в ажитации*). Но почему же вы сразу так не подумали? Почему написали письмо, в котором попросту потешались над всем этим и поддразнивали его превосходительство, а в результате он прислал такой ответ?!

Т о м а с. Потому что был идеалистом.

М е р т е н с. Простите, господин доктор, я не дерзну усомниться, что вы идеалист — ученый вашего ранга не может не быть им. Но каждый человек, в том числе его превосходительство Йозеф, добр и способен понять благородные побуждения, и мне кажется, идеалист должен убедить его, должен хотя бы попытаться; я... мне кажется, идеалист — это... ну, словом, человек с идеалами!

Т о м а с (*с издевкой*). Мадемуазель Мертенс, милая, идеалы — самые заклятые враги идеализма! Идеал — это мертвый идеализм. Истлевшие останки...

М е р т е н с. О-о-о! Дальше слушать незачем, все ясно: вы опять насмехаетесь, надо мной тоже! (*Она еще прежде постучала в дверь и ждала ответа. Теперь уходит с обиженно-высокомерным видом.*)

Т о м а с (*мгновенно переменяя тон*). Ты здесь единственная, с кем я могу говорить, не опасаясь превратных толкований: скажи, что у вас с Ансельмом не так?

Р е г и н а (*строптиво*). Почему не так?

Т о м а с. Вы оба знаете, что с вами что-то не так. Ты перестала мне доверять?

Р е г и н а. Да.

Т о м а с. И правильно!.. Когда-то мы считали себя новыми людьми! А что в итоге получилось?! (*Хватает ее за плечи и трясет.*) Регина! Ведь получилось-то посмешище!!

Р е г и н а. Я на миропорядок не замахивалась. Это вы без меня!

Т о м а с. Ладно, ладно. Ансельм, Йоханнес и я. (*По-прежнему взволнованный воспоминаниями.*) Мы всё ставили под сомнение: чувства, законы, авторитеты. Всё вновь было сродни всему, и одно могло превращаться в другое; бездны между противоположностями мы засыпали, отвержая их во взаимосвязанном. Человеческое было

в нас заложено во всей его исполинской, невестребованной, вечной возможности созидания!

Регина. Я всегда знала, что в замыслах обязательно есть какая-то фальшь.

Томас. Да-да, ладно. Мысли, счастливые мысли, которые гонят сон, не дают усидеть на месте, несут тебя, как лодку, подхваченную течением, — такие мысли наверняка в чем-то фальшивы.

Регина. А я тем временем молила Господа даровать мне одной что-нибудь необычайно прекрасное, такое, что вам никогда в голову не придет!

Томас. И что получилось?

Регина. Что ты хочешь этим сказать? Ты достиг всего, чего хотел!

Томас. Ты хоть представляешь себе, как это легко? Поначалу все идет медленно, с раскачкой, а потом — ускоренно падаешь вверх! На наклонной плоскости одинаково легко двигаться и вверх, и вниз... Через полгода, если вовремя не разругаюсь с Йозефом, я стану ординарным профессором. За всю мою жизнь я не знал ничего более постыдного, чем успех. А теперь выкладывай: что там за история с Йоханнесом?

Регина. Вы все — мастера говорить, это вас выручает. Я так не хочу. Моя правда жива, только пока я молчу.

Томас. И без того не поймешь, по какому случаю вы уезжаете в путешествие — по случаю свадьбы или по случаю помолвки, а вы еще и покойника с собой приглашаете!

Регина. Я не хочу говорить об Йоханнесе!!

Томас. Но ты же никогда не любила его так... безмерно? А нынче? Нынче он прямо идеал!.. У Ансельма есть в этой истории вполне определенный умысел — какой именно?!

Регина. Ансельм ничего не делает без определенного умысла.

Томас. Да-а?! Вначале-то было не так? А теперь, когда его слушает Мария, он просто невыносим. И все, что он делает, это своего рода душевный обман?!

Регина (спокойно). Да, обман.

Томас (растерянно смотрит на нее; потом нарочито сухо). Ну хорошо. И какой же в этом смысл?

Регина. Мало того, вот увидишь, при Йозефе он вообще притихнет. Будет твердить, будто мы приехали к вам только потому, что здесь умер Йоханнес.

Томас. Увидим, дойдет ли таким манером до крайности.

Регина. Он вовсе не хотел, чтобы все так кончилось.

Томас. А чего же он хотел?

Регина (*с легким презрением, которого Томас не замечает*). Я ведь его соблазнила!

Томас. Ты — его?! Господи, ты же никогда ни за кем не бегала! И за Йозефа пошла, как другие принимают постриг!

Регина. Он невероятно разволновался, когда мы вдруг снова обрели друг друга.

Томас (*поспешнее, чем ему бы хотелось*). Ему плохо жилось?

Регина. Ему всегда плохо живется. Если он не может приблизиться к какому-то человеку, то сразу делается как ребенок, который потерял мать.

Томас. Да-да-да... Братские чувства ко всему миру. Всемирный любимец. Он и перед Марией такого разыгрывает.

Регина (*невольно вкладывая в свои слова страстное предостережение*). Другой человек для него — как одержимость, как болезнь! Он полностью отдает себя в его власть и тотчас должен поставить промежуточное сопротивление!

Томас. Что?.. Сопротивление?

Регина. Не понимаешь. А я не умею объяснить. Ну, сопротивление. Гадкое чувство. Чтобы замахнуться на что-нибудь скверное.

Томас. А вот разные нелепости для тебя бесспорная реальность; ты всегда была такая: чем больше чувствовала, что тебе не поверят, тем реальнее воспринимала это сама. Но он-то не говорит о бесспорной реальности, он твердит одно (*передразнивая многозначительный тон*): так могло бы быть... В избытке чувства. Намекает на необычайные переживания. Окружает себя и свою жизнь тайной. Регина, ему есть что утаивать?

Регина (*близко подойдя к нему; настойчиво*). Он будет сломлен и пойдет на отчаянные поступки, если ты станешь ему мешать! Если вынудишь его хоть чуточку отступить от образа, какой он строит перед Марией!

Т о м а с. Но ведь ты не веришь, что он искренен?

Р е г и н а. Нет, конечно, это фальшь!

Т о м а с. Ну так что же?.. Говори!

Р е г и н а. И все-таки он искренен. (*В порыве отчаяния.*) Ты разве никогда не слыхал фальшивого пения с искренним чувством?! Отчего же человек с фальшивыми чувствами не может чувствовать искренне? Не думай, что у него это просто самовнушение, в пику тебе! Поверь, человек способен убить себя ради чувства, которое не принимают всерьез!! Люди много чего не принимают всерьез, и все-таки это их жизнь, возьми хоть нас.

Т о м а с (*упрямо*). Посмотрим, что будет, когда явится Йозеф. (*Другим тоном.*) Как хочешь, Регина, а я останусь при своем: мы все близки друг другу, как две стороны игральной карты.

Р е г и н а (*страстно, с насмешкой, страхом и предостережением*). Не надо приносить себя в жертву! Гони нас прочь! Ты слишком сильный, чтоб понять слабых. И слишком... чистый, чтоб разглядеть обман.

Т о м а с. А он? Он ведь тоже! Регина, он ведь не умеет лгать! Только...

Входят М а р и я и М е р т е н с; ждут, Мария с письмом в руке.

правдивость у него... очень уж замысловатая. Когда-то давно антиподом правды в нем, как и реальности во всяком духовном существе, стала не ложь, а скудость!

Р е г и н а (*с упрямством*). Да, возможно, ты прав; пусть будет, как он хочет.

М а р и я (*мягко и медленно*). По-моему, нужно как-то подготовиться к приезду Йозефа.

Т о м а с (*не сразу оторвавшись от своих мыслей, с легкой насмешкой*). Ах да, конечно, Йозеф, нужно подготовиться.

М а р и я. Он может явиться в любую минуту. Ты разве не читал его письмо?

Т о м а с. Нет, забыл. (*Поворачивается к Регине.*)

М а р и я. Оно у меня. Йозеф пишет, что едет поговорить с тобой. По его словам, позволяя Ансельму и Регине жить здесь, ты попустительствуешь обольщению и супружеской измене...

М е р т е н с (*Марии*). Но о супружеской измене тут и речи нет, я свидетель.

М а р и я. И если ты не положишь конец этой непонятной ситуации в твоём доме, он сделает свои выводы.

М е р т е н с. Я свидетель, что для женщины, которой совесть велит хранить верность покойному, и для мужчины, который с такой добротой заботится о страждущей, столь... э-э... примитивные поступки просто немыслимы.

М а р и я. Да-да, конечно. Но ведь Томас фактически сам вложил ему в руки это оружие. (Томасу.) Он полагает, что в личной беседе ты, как человек спокойный и рассудительный, поймешь...

Т о м а с. Слушайте, а почему бы нам не уехать? К примеру, на экскурсию?

М а р и я. Вечером мы все равно вернемся, и он будет ждать.

Р е г и н а. Он правда может тебе навредить?

Т о м а с. Конечно.

Р е г и н а (с удовлетворением, какое испытывают и в неприятностях). Значит, определенно навредит; не стоит его недооценивать. Пока внешне все было благоприлично, он, как ягненок, терпел все капризы, отвращение, сцены. Пожалуй, счастье всегда представлялось ему неким усилием. Пусть оно даже утомительно, он готов примириться; а может, все это ему непонятно, и наоборот, до некоторой степени всерьез. Но от малейшего публичного скандала он будет отчаянно защищаться!

М а р и я. Он уже сейчас зовет ее женой Потифара.

М е р т е н с. Мученица! Жертва собственной тонкой натуры!

Р е г и н а. Но он ведь и про Ансельма говорит, что...

М а р и я. Тут он сам себе противоречит, потому что одновременно подозревает измену, да?

Р е г и н а. Про Ансельма он говорит, что тот поневоле целомудренный... (Выхватывает у Марии письмо.)

Т о м а с. О-о!

М а р и я. Регина, как ты неделикатна!

Р е г и н а. Так ведь это *его* слова! Что-де Ансельм поневоле целомудренный распутник.

Т о м а с. Любопытно, однако. (Забирает у Регины письмо.) Почему сразу-то не сказали?

М а р и я. В письме нет слова «распутник»; Йозеф только и говорит, что они друг друга соблазнили и запутали.

Р е г и н а. А еще там написано: обманщик!

Т о м а с. Обманщик?.. (*Ищет нужное место.*)

Р е г и н а. На третьей странице.

Т о м а с. Неспособный любить обманщик. Вампир. Авантюрист. Откуда он это взял?

Р е г и н а (*по-гномьи вздернув плечи*). Да ниоткуда...

М а р и я. Наверно, не стоит так негодовать на него. Он бесспорно уязвлен ревностью, вот и возводит напраслину, чувствуя, что до Ансельма ему как до звезды небесной!..

Т о м а с. В конце концов Ансельму без малого тридцать пять, а чего он достиг?

М а р и я. Помнится, он был приват-доцентом, как и ты.

Т о м а с. Ровно год, и когда — восемь лет назад! Потом он оставил доцентуру и как в воду канул. Кстати, то, о чем пишет Йозеф, странным образом имеет некую псевдовероятность. (*Со злорадством еще раз просматривает те же фрагменты письма.*) К Йозефу он подобрался под видом эдакого середнячка; участливого друга, полного симпатии ко всему миру; скромного идеалиста... Но мы-то знаем, каков Ансельм был раньше; так какой же он теперь — на самом деле?

М а р и я. Ты бестактен!

Т о м а с. Госпожа Мертенс так почитает Ансельма, что вовсе этого не слышит.

М а р и я. Он — выдающийся человек!

Т о м а с (*ехидно*). О, разумеется. Вероятно. У него есть идеи! Конечно... Но... есть ли у него идеи? Настоящие? Не только те, какими нынче сыплет каждый второй? Это уже вопрос, и нелегкий. (*Пародируя глубокомыслие.*) Испытывает ли он сильные чувства? Что ж, страсть, все равно какая, набирает силу под стать человеку, которым она овладевает.

М е р т е н с. Он едва не покончил с собой, когда отъезд, казалось, готов был сорваться!

Т о м а с. Правда? Так-таки едва не покончил? Главное — способность чувства к метаморфозе; оборванная веревка была пуповиной многих великих произведений, и лишь глупец просто вешается по-настоящему.

Р е г и н а. Но... обманщик?

Т о м а с. В том-то и заключено визионерство; обманщик тоже *едва не* вешается; первый шаг у великих и у обманщиков одинаков.

М е р т е н с. О, боюсь, подобные рефлексии отражают лишь вашу предубежденность против доктора Ансельма.

Т о м а с. Ошибаетесь, сударыня; я человек дурной и никогда не заслуживал иметь друга, но он у меня был — Ансельм.

М а р и я (*подводя итог*). Ансельм, бесспорно, человек выдающийся, и зачем, в самом деле, сразу пускаться в бесполезные сравнения? Достаточно того, что ты натворил своим письмом.

М е р т е н с. Его превосходительство ссылается на ваши собственные слова!

М а р и я. Именно ты внушил ему, что они от него сбежали.

Т о м а с. Неуверенные люди от уверенного!

М а р и я. Ладно, Томас, я не собираюсь затевать спор, но самое позднее через три часа Йозеф потребует решения. Что же будет?

Т о м а с. Ничего.

М а р и я. Ничего?

М е р т е н с (*в один голос с Марией*). Ничего!

Т о м а с. Все разъяснится. Ансельм и Регина, конечно, никуда не уедут.

М а р и я. Значит, ты поговоришь с Йозефом? Ансельм наотрез отказывается.

Т о м а с (*обескураженно*). Ансельм отказывается?.. (*Почти кричит.*) Он отказывается! (*Смотрит на Регину, которая вместе с Мертенс идет к выходу.*)

Р е г и н а (*с насмешкой*). У него есть сопротивление!

М а р и я (*намереваясь опять скрыться в спальне*). А то письмо написал ты.

Т о м а с. Что ж, в таком случае я устрою Йозефу торжественную встречу!

М а р и я, М е р т е н с, Р е г и н а (*опять останавливаясь*). Торжественную встречу?!

Т о м а с (*мрачно*). Да, торжественную встречу, черт побери, чтобы создать ему подходящее настроение. Сколько есть опустевших коконов, из которых некогда выпархивали мотыльки человеческого восторга, все вокруг него развешу! Негритянские тамтамы, сосуды для божественного хмеля, плащи из перьев, в которых самцы танцуют перед самками!

М а р и я (*в дверях*). Но он взбешен. И наверняка решительно разделается с тобой, если ты и дальше станешь вести себя так глупо! (*Уходит.*)

Томас смотрит на Регину, делает несколько шагов к ней, но так как она, сама того не замечая, медленно идет вместе с Мертенс к выходу, он поворачивает назад и нехотя следует за Марией.

М е р т е н с (*останавливаясь у двери*). Правота за вами. И вы никак не должны допускать, чтобы с вами обошлись несправедливо. Помешайте этой торжественной встрече!

Р е г и н а. Если Томас вобьет себе что-то в голову, его не обуздаешь.

М е р т е н с. Тогда надо отсюда бежать!

Р е г и н а. Ради Ансельма Томас поставил на карту все свое будущее.

М е р т е н с. А разве этот превосходный человек не достоин много большего? Но доктор Томас все вам испортит. Умоляю вас, не поддавайтесь его влиянию, давайте уедем вместе с Ансельмом!

Р е г и н а. Ансельм не хочет уезжать.

М е р т е н с. Понимаю, он человек чести, не хочет бежать. Тогда пусть сам поговорит с его превосходительством Йозефом; он ведь изумительно владеет словом.

Р е г и н а. Зачем? Я же не выйду за Ансельма, это исключено.

М е р т е н с. Ах, какое малодушие! Неужели вам непонятно, что доктор Ансельм отказывался говорить с его превосходительством только потому, что ваш кузен Томас нанес ему обиду? Доктор Томас все вымораживает своими теоретическими рассуждениями.

Р е г и н а (*таинственно*). Но, милая моя, вы разве не замечаете? Ничегошеньки не замечаете?

М е р т е н с. Что я должна замечать?

Р е г и н а. Тсс! Тише! (*Осторожно высовывается из окна — посмотреть, не подслушивает ли Ансельм.*) От него нигде не скроешься — гляди в оба!.. Вы разве не замечаете, что Ансельм любит Марию?

М е р т е н с. Что вы говорите! Это преступно! Ваша сестра! Жена его единственного друга! Нет-нет! (*Хватает Регину за плечо.*) Регина! Ах, при всем вашем уме — и эти глупые, глупые фантазии!

Р е г и н а. Но почему бы нет? Что здесь особенного?

М е р т е н с. Что особенного?! Не говорите таких ужасных вещей!

Р е г и н а. Вы безумно преувеличиваете: перед ним новый человек — он охвачен любопытством, ну, быть может... взволнован. Но что я говорю — новый человек! Ведь только по случайности на Марии женился не он, а Томас.

М е р т е н с (*забыв о негодовании*). Я думала, это *вы* тогда по случайности вышли за Йоханнеса, а не за него.

Р е г и н а. Или не за Томаса, у нас это было почти все равно. Теперь же в собственном его костюме, который он своими руками отдал, разгуливает другой — вот уж мистика так мистика. И вообще, тут не какая-то глупая интрижка, что берет начало с бабы; нет, тут все начинается где-то в нем самом, а потом бурно перекидывается на женщину!.. Да! То-то и оно!.. О любви и речи никогда нет! Телесная встреча фантазий — вот что это такое! Фантастическое преобразование... (*Скользя взглядом по комнате в поисках сравнения.*) ...стульев... занавесей... деревьев... А посредине — человек!

М е р т е н с. Ну что вы, не надо так, успокойтесь! Доктор Томас испускает флюиды, которые вам явно во вред. Давайте-ка перед завтраком немного прогуляемся. (*Тянет вяло упирающуюся Регину за собой. У выхода — за разговором они снова очутились в комнате — опять останавливается.*) А госпожа Мария?

Р е г и н а. Моя сестра? Эта глупая толстая кошка выгибает спинку, когда ее гладят.

Уходя, пропускают в дверь Г о р н и ч н у ю, которая ставит на стол поднос с завтраком, стучится в спальню и опять выходит из комнаты; входят Т о м а с и М а р и я.

Т о м а с (*у окна, глубоко дыша*). Я проснулся, хотел поговорить с тобой, включаю свет — ты лежишь с открытым ртом, вся расслабленная...

М а р и я. Чудовище, почему ты меня не разбудил?

Оба принимаются заканчивать свой туалет.

Т о м а с. Да, почему? Потому что едва не стал на колени, будто отшельник! Ты лежала такая большая, некрасивая, безгласная. И я растрогался.

М а р и я. Уж и поспать спокойно нельзя.

Т о м а с. Когда вообще не бываешь один...

М а р и я. И много лет состоишь в браке: да, да, да! Право, я этого больше не выдержу!

Т о м а с. После стольких лет в браке и ходишь как бы все время на четырех ногах, и дышишь в две пары легких, и каждую мысль думаешь дважды, и время между серьезными делами вдвойне забито всякими пустяками — вот и мечтаешь иной раз стать этакой стрелой в разреженном воздушном пространстве. И вскакиваешь ночью, пугаясь собственного дыхания, которое только что было ровным и спокойным — без твоего участия. Но подняться не можешь. На колени и то по-настоящему не встаешь. Вместо этого чиркаешь спичкой. И оказывается, рядом еще некто из плоти и крови. Именно это и есть любовь.

М а р и я (*заткнув уши*). Сил моих больше нет слушать.

Т о м а с. Ты даже ненависти ко мне никогда не испытываешь?

М а р и я (*сразу опуская руки*). Я? Ненависти?

Т о м а с. Да, самой настоящей ненависти. Мне было показалось, нынче утром. Ты шла босая, несла свое тяжелое тело, а я стоял на пороге, маленький, до боли жалкий, и моя небритая щетина, колючая и ломкая, топорщилась в дверном проеме. Ты, верное, ненавидела меня тогда, как нож, который вечно тебе мешает?

М а р и я (*с горечью, спокойно и уверенно*). Это конец любви.

Т о м а с (*восторженно*). Нет, подлинное начало! Пойми же: любовь — единственное, чего между женщиной и женщиной не бывает вообще. Как особого состояния. Реальное переживание предельно просто — пробуждение. (*Оживленно*). Я наблюдал, как ты подрастала рядом со мной, наблюдал по-братски, но, разумеется, не с тем сочувствием, какое питал к себе самому. Потом я наблюдал — ты уж извини! (*Ироническим жестом намекает на ее рост*.) — как ты все росла, росла... Обгоняя меня. И однажды настал миг, когда ты явилась передо мною огромная, неохватная как мир. Это был удар молнии, хмельной дурман. Все, что меня окружало — облака, люди, планы, — было еще раз окружено тобой, вот так же сквозь удары сердца матери слышно биение сердца ребенка. Свершилось чудо открытия и единения. (*С меньшим пылом*.) Или как уж там принято говорить.

М а р и я. А сегодня кажется, будто мечтали мы в сточной канаве.

Т о м а с. Если угодно, да. Мы вновь просыпаемся и обнаруживаем, что валяемся в сточной канаве. Массы жира, скелеты, заключенные в чувствонепроницаемую кожаную оболочку. Восторг улетучивается. Но в итоге будет то, что из всего этого сделаем мы. Подлинная человеческая пикантность именно такова, все прочее — преуменьшающая гипербола.

М а р и я. Я хотела только одного: чтоб ты добился успеха. И когда, усталый от непомерной нагрузки, ты приходил в спальню в два, в три часа утра, по-детски сердитый, я тебя понимала. В чем заключалась твоя работа, я не знала, но это было и мое счастье, моя человеческая ценность; я была уверена: в этом неведомом была часть меня. А теперь все по-другому. Ты ушел прочь, избавился от меня.

Т о м а с. Потому что видеть не могу, как ты ползешь напрямиком в медовую ловушку!

М а р и я. Что ты такое говоришь!

Т о м а с. Он обольщает тебя. Ведь он тщеславен и не может отказаться от твоего благодарного восхищения.

М а р и я. От его преувеличений мне иной раз просто жутко становится.

Т о м а с. Однако же эта омерзительно слащавая белиберда действует на тебя.

М а р и я. Я не такая дура, чтоб постоянно талдычить «любовь! любовь!». Но представь себе, у меня тоже порой бывает ощущение, что не мешало бы сделать из своей жизни что-то получше этой косной рутины!

Т о м а с. Порой? С тех пор как здесь появился Ансельм. Он не дает тебе понять меня.

М а р и я (*взяв себя в руки, подходит к нему*). Но ты же сам прямо-таки бредил им, когда его здесь не было, да и когда он уже был здесь! Ты говорил: у него есть то, чего нам не хватает!

Т о м а с. И что же это?

М а р и я. Нелепый вопрос! Мне всего хватало. А теперь, видишь ли, тебе что-то взбрело в голову, и ты решил опять выставить его плохим; исключительно ради пробы сил, такой уж ты уродился.

Т о м а с. Ну-ну, скажи, какой я уродился.

М а р и я. Ни капли живого сочувствия другому. Все у тебя идет не от сердца — вот что удручает!

Т о м а с. Значит, от головы?

М а р и я (*возбужденно*). Нет, я в самом деле больше не могу! О, эта вечная «работа» и вечные игры с реальностью! Добился признания, так и живи себе тихо-спокойно. Неужели этого мало?

Т о м а с. Ты же попросту повторяешь... Увы, сейчас я тебе не отвечу. Его святейшество изволили явиться!

В оконном проеме до пояса виден А н с е л ь м.

А н с е л ь м. Как нынче почивали?

М а р и я (*неприветливо*). С чего бы такая церемонность?

А н с е л ь м. Вы, наверное, спите как сама земля.

М а р и я. Что вы имеете в виду? Так же крепко или всегда вполглаза?

А н с е л ь м. Мне представляется, что, когда вы спокойно лежите, вокруг вас растет кольцо зеленых гор.

Небольшая смущенная пауза.

М а р и я. Томас меня разбудил, сегодня он был на редкость беспокоен. (*Смущенно.*) Нет... то есть... хотя в конце концов почему бы не сказать и так?

А н с е л ь м (*иронически*). Ну разумеется, почему бы и нет?.. Что тут такого?

Т о м а с. А что ты думаешь насчет Йозефа?

М а р и я. Регина все ж таки вряд ли успела показать ему то письмо.

А н с е л ь м. Н-да. Я с Региной еще не говорил.

Т о м а с. Она где-то здесь. Это ее очень взволновало.

М а р и я (*видя, что Ансельм как будто бы собирается уйти*). Нет-нет. Письмо у меня. Для начала прочтите. (*Отдает Ансельму письмо.*)

Т о м а с на некоторое время уходит в спальню, оставив дверь открытой. Ансельм заглядывает в письмо, но тотчас перестает читать и смотрит на Марию.

Читайте же.

Ансельм влезает в окно

А н с е л ь м. Вам случалось когда-нибудь видеть сны, в которых человек хорошо знакомый, бесконечно ласковый и нежный, вдруг предстает чужим, этакой сплошной мешаниной требовательных желаний и чувства собственности?

М а р и я. А потом перед тобой взбудораженная куча палой листвы, и что-то под ней в любую минуту может взорваться?

А н с е л ь м. Ладно, Мария; раньше, когда вы были девушкой Марией, я был вашим другом, а теперь вы носите имя Томаса, и я взорваться не могу.

М а р и я. И при этом вы беспрестанно смотрите в зеркало!

А н с е л ь м (*застигнутый врасплох*). Думаете, я себя вижу? Господи, ну да, конечно, как пятно в зеркале. Глаза — это руки, ни разу в жизни не мытые; оттого они сохраняют грязную привычку трогать все подряд. И воспрепятствовать невозможно! Иногда мне хочется прокалить их, чтобы, очистившись от всех прикосновений, они сберегали только ваш образ.

М а р и я. Господи Боже, Ансельм!

А н с е л ь м. Да, вам смешно, по-вашему, это преувеличение, каких хороший интеллигентный вкус избегает. Экий спесивый блюститель. Ох и побледнеет этот сверхинтеллигентный вкус, коли глаза впрямь зашипят на раскаленной стали! И, разбежавшись каплями, испарятся!

М а р и я. Фу! Опять вы смакуете эти мерзости!

А н с е л ь м (*с жаром*). Я бы, не дрогнув, повернул нож и в вашем сердце! Если б мог однажды вернуть вас с порога. Где женщины расстаются с корсетом. С земной «опорой». Со здравым смыслом вьючного животного, который все сносит — детей и больных, мужчин и безрассудное убийство на кухне.

М а р и я. Да читайте же наконец! У вас правда есть что обсудить, и срочно.

А н с е л ь м (*смягчившись от ее решительности*). Как все-таки замечательно, что вам никогда не удастся застать меня врасплох. Я заранее знаю все, что вы сделаете. Заранее ощущаю это в себе как болезненно набухшую почку.

М а р и я. Разумеется, простенькие идейки здравого смысла угадать несложно!

А н с е л ь м. Я не хочу необыкновенных переживаний! Самые глубокие переживания — будничные, нуж-

но только освободить их от привычности. (*Тихо.*) Вот этого он не знает. А вы теперь не знаете себя. Измельчали под его влиянием.

М а р и я. Вы уже слышали мой ответ: я люблю Томаса.

А н с е л ь м. Я не спрашиваю, любите ли вы его; на этот вопрос ответа вообще нет!.. (*Сдерживаясь.*) Решайте сами, может быть, здесь то, о чем я вам сейчас расскажу. Однажды меня захватила, заморозила... ива. На просторной лужайке только и были — я и одно это дерево. И я еле устоял на ногах, ибо то, что так сиротливо сплелось и завязалось узлом в его сучьях, этот страшный ровный поток жизни, я чувствовал в себе, но мягким, податливым, текучим. И я упал на колени! (*Секунду тщетно ждет от Марии отклика.*) Вот и все мои чувства. И к вам тоже.

М а р и я. Ансельм... подобные преувеличения мало что стоят. Ну почувствовали вы это, так ведь даже ниц не пали по-настоящему.

А н с е л ь м. Вот как?! Томас и вправду начисто лишил вас глубины.

М а р и я. Вы безобразно относитесь и ко мне, и к Регине.

А н с е л ь м. Люди вроде вас, которых уже ничто не повергает ниц, не вправе делать упреки! Я бы многого в жизни мог достигнуть, но каждый раз приходилось от всего отказываться. Ведь когда веришь, неизбежно спотыкаешься. Но ведь и живешь, только пока веришь!

М а р и я (*боязливо и тревожно*). Читайте! Томас хочет с вами поговорить.

А н с е л ь м. Лучше я расскажу вам одну историю: когда я был монахом...

М а р и я. Что-что? Вы были монахом?

А н с е л ь м. Тише!! Томас ни под каким видом не должен об этом знать!

М а р и я. Но, Ансельм, вы же рассказываете небылицы.

А н с е л ь м. Вам я никогда не расскажу небылицу. Это было в Малой Азии, у подножия горы Акусиос. В маленькое незастекленное оконце я видел из кельи море...

М а р и я (*протестующе*). Читайте, читайте!..

Ансельм не желает, но, слыша приближающиеся шаги Томаса, все же заглядывает в письмо.

Чем вы только не занимались, пока мы все жили здесь. *(Вновь принимается за свой туалет.)*

Входит Т о м а с.

Т о м а с. Еще не закончил?

М а р и я. Прочтите последний раз...

Ансельм пытается поймать ее взгляд, чтобы скрепить мир, заключенный через эту крохотную поддержку, но она прячет глаза. Ансельм уныло пожимает плечами, потом быстро просматривает письмо.

Томас хочет устроить Йозефу торжественную встречу и еще больше его разозлить. А я не хочу, чтобы мы себя так вели. В конце концов Йозеф наш близкий родственник, а там видно будет!

Т о м а с *(мнимо шутливым тоном)*. Я хочу послушать Ансельма! *(Садится, смотрит на Ансельма.)*

Напряженная пауза. Ансельм, все больше нервничая, медленно поднимает голову; в глазах его теплится решимость.

А н с е л ь м. Твое письмо все испортило.

Т о м а с. Та-ак, мое письмо... Но ты же с ним согласился.

М а р и я. Тогда пускай Томас и попробует все исправить!

А н с е л ь м. Нет, Томасу нельзя говорить с Йозефом, я не допущу!

Т о м а с *(настороженно)*. Значит... ты сам поговоришь с ним?

А н с е л ь м *(бросая письмо)*. Я не могу.

Т о м а с. В самом деле? Не можешь? *(Испытующе смотрит на Марию.)*

М а р и я. Вы что же, всерьез намерены стерпеть все Йозефовы упреки?!

А н с е л ь м. Не знаю, что вам ответить. Суть в том, что я обманщик, так?

Т о м а с. Так.

А н с е л ь м. А в самом деле... разве я не обманщик? Разве же всякий человек... который жаждет захватить другого... и захватить во много раз сильнее, чем руками, понимаете?... и убедить его *(с нажимом)*, хотя в своей правоте никто до конца не уверен... разве же всякий человек не обманщик?

М а р и я (*нехотя, пока Томас невольно проверяет ее впечатление*). Чрезмерная впечатлительность!

А н с е л ь м (*начиная нервничать*). Я сам не знаю, чего я хотел — спасти Регину или насолить Йозефу. Иногда бываешь великодушным и дерзким, как во сне. Теперь я жалею.

М а р и я (*завороженно*). О чем вы жалеете, Ансельм? Говорите, пока не поздно!

А н с е л ь м. Я не знаю, что ответить Йозефу. Правда, которая идет от сердца, необычайно заразительна. Оставьте вы меня.

М а р и я. Да говорите же.

А н с е л ь м. Дело сделано, окончательно и бесповоротно. Один раздавил другого, как вредное насекомое. Сапогом. И вдруг этот другой поднимается. А немного погодя стоит в нас на той же высоте, что и в себе, как в сообщающихся сосудах! Перетекает в нас и нас же оттесняет! Ни в коем случае нельзя недооценивать (*как бы с опаской*), ведь тут он себя и покажет, этот другой человек!

Т о м а с (*напряженно следивший за реакцией Марии*). Тогда остается одно: не мудрствуя лукаво, сделать самую что ни на есть тривиальную вещь — оказать на Йозефа небольшой практический нажим. Найдем сыщика и хорошего адвоката; какая-никакая слабинка и у Йозефа найдется.

М а р и я (*с ужасом*). Ты готов прибегнуть к таким средствам?!

Т о м а с. В свое время Йозеф кое в чем мне признался. Давно-давно. Сыщик нужен исключительно для раскапывания подробностей, ну а если Йозеф даже и чист душой (*с язвительным намеком*), факты можно сопоставить и увязать. Факты охотно свидетельствуют не в пользу души. Разве нет, Ансельм?

М а р и я. Но это же низость! Йозеф всю жизнь делал тебе только добро!

Т о м а с. И я ему тоже, по мере сил! Я и теперь искренне ему благодарен и в иной ситуации с радостью сделал бы для него доброе дело.

М а р и я. Я тебя не узнаю. Если ты не порядочный человек, я уж и не знаю, кто тогда.

Т о м а с. Кто? Ансельм. Потому что он от сыщика откажется.

М а р и я. Томас, это просто нервный срыв! Такими вещами не шутят! Ты ведешь себя как последний мерзавец!

Т о м а с. Ансельм, что тут особенного? Нельзя мне, да? Стало быть, я мерзавец? Я мерзавец, и мне нельзя?

А н с е л ь м. Ты прекрасно знаешь, что я согласен с Марией! Эта твоя затея совершенно безответственна и недопустима.

Т о м а с. Сыщик — всего лишь символ того, как мало нас трогают идиотские хитросплетения, без которых он жить не может. А раз не трогают, можно смело ими воспользоваться!

М а р и я. У Томаса сразу крайности!

А н с е л ь м *(с иронической скромностью)*. О, пожалуй, он прав. Понятно: когда тайшь в себе Нового Человека, деликатность ни к чему.

Т о м а с. Значит, не можешь?

М а р и я. Томас, если ты способен это сделать, у тебя и вправду нет никаких человеческих чувств!

Т о м а с *(улыбаясь, но лишь с трудом заставляя себя говорить шутливым тоном)*. Ансельм, коль скоро в этой истории одному из нас двоих суждено остаться мерзавцем, ты им быть не можешь! *(Чтобы не потерять самообладания, уходит в соседнюю комнату; дверь остается открытой.)*

А н с е л ь м *(язвительно)*. Наверно, реформаторы должны быть бесчувственны; тому, кто намерен повернуть мир на сто восемьдесят градусов, душевная связь с ними противопоказана; допустима лишь умозрительная.

М а р и я. Но вы же ехали сюда именно ради встречи с ним!

А н с е л ь м. И потом, настает время отречься от самого себя. Освободиться, вырваться — так кузнецик оставляет пленную лапку в руке сильнеешего.

М а р и я. Я вас не понимаю.

А н с е л ь м *(улыбаясь)*. Мне страшно.

М а р и я. Это в конце концов только слова.

А н с е л ь м *(серьезно)*. Мне действительно страшно.

М а р и я. Слова!

А н с е л ь м. Я боюсь каждого, кому не умею внушить веру в меня, кто, как я чувствую, ничего от меня не получает и мне тоже ничего не дает.

М а р и я. Но вы-то чего хотите?

А н с е л ь м. Уже и сам не знаю! Томас не дает мне опомниться.

М а р и я. Я *хочу*, чтоб вы поговорили с Томасом начистоту. Вы же мужчина, в конце-то концов!

А н с е л ь м. Не знаю, как вы себе его представляете, этого «мужчину». Не выказывать слабость — еще не признак силы. Я не могу!

М а р и я. Стало быть, вы действительно боитесь Йозефа? Стало быть, вы боязливы?

А н с е л ь м. Да. Когда я не вызываю чувств и потому не могу чувствовать сам, я жутко боязлив, сверхъестественно боязлив.

М а р и я (*насмешливо*). А если вы чувствуете?

А н с е л ь м. Затушите сигарету о мою руку.

М а р и я. Это куда больнее, чем может выдержать столь чувствительный человек.

А н с е л ь м. Если тушишь медленно, это правда больно. (*Хватает Марию за запястье.*)

М а р и я. Что вы себе позволяете?! (*Пробует вырваться.*) Пустите! Все равно ведь пустите в последнюю минуту... И нечего на меня так смотреть! Я не боязлива... Нет, не такой уж вы и сильный. Ну все, пошутили и будет!

А н с е л ь м (*не выпуская ее*). Вы ошибаетесь, я не добряк. И не трус от сердечной слабости...

Сломив сопротивление Марии, он прижимает к своей ладони горящий кончик сигареты, которую она держит в руке. Лицо у него фанатично-азартное и едва ли не чувственно-восторженное, у Марии — сердито-растерянное.

(*Пытаясь обратить все в шутку.*) Вот видите, если понадобится, я прыгну в огонь.

М а р и я. Как же так можно!

А н с е л ь м (*не спеша стряхивая с ладоней и одежды крохотные угольки*). Да, как можно?! Я не добрый дух.

Т о м а с, уже полностью одетый, возвращается из спальни и замечает: что-то произошло.

Т о м а с. Что такое? Что у вас стряслось?..

Молчание.

Мне знать не положено?

М а р и я (*упрямо, обоим*). Не понимаю, почему вы не способны выпутаться из этого положения.

Т о м а с. Ну что, сыщика все по-прежнему отвергают?..

Мария пожимает плечами.

Так я и думал. (*Секунду-другую беспомощно стоит перед ними, хочет уйти, но возвращается. Смотрит на Ансельма.*) Вот смотрю на тебя и сразу вижу: ты и все же не ты! Ансельм, мы опять, как много лет назад, сидели вдвоем чуть не ночь напролет, забыв о времени. И ты соглашался со мной. В том числе и касательно сыщика!

Нечаянно возникает маленькая смущенная пауза.

М а р и я (*как бы удивляясь, что сразу этого не сказала*). Но можно ведь и передумать.

А н с е л ь м. Налетел на меня как ураган — ну и уговорил! (*С нескрываемым отвращением.*) А я не могу постоянно жить в мире, где все охаивают и презирают!

Т о м а с. Сказать, что ты под этим прядешь? Как иной прячет отсутствие пальца? Жизнь у тебя не удалась — вот и все! Другого никто и не ждал!

А н с е л ь м (*резко и насмешливо, к Марии*). Он всегда жил в своих идеях. Безраздельный владыка бумажного королевства! Отсюда чудовищные излишки самоуверенности и самоуправства. Зато стычки с людьми воспитывают скромность и самоограничение.

Т о м а с. Ансельм?! Разве Йозеф выдумал то, о чем пишет в письме? Или это все мои инсинуации?

Смотрят друг на друга.

А н с е л ь м. Конечно, выдумал.

Т о м а с (*резко, нетерпеливо*). Мне в общем безразлично, какими разоблачениями он там грозит! Любое из них вполне возможно!

М а р и я (*протестующе*). Томас!

Т о м а с (*пресекая протест и как бы вызывая Ансельма на откровенность*). Есть люди, которые всегда только и знают, что бы могло быть, тогда как другие, вроде сыщиков, знают, что имеет место. Зыбкая неопределенность против твердой уверенности. Привкус возможной перемены. Безадресное чувство — ни симпатии, ни антипатии — меж возвышенным и привычным в мире. Ностальгия, но без родины. Тут все возможно.

М а р и я. Ну вот, опять теории!

А н с е л ь м. Да, теории. Меткое слово — прямо в точку. Но как страшно, когда теории вмешиваются в жизнь и смерть. (*Нервничая, снова берет в руки письмо.*)

Т о м а с (*горько, обвиняюще, все более страстно*). Хорошо, пусть это теории. В юности мы тоже развивали теории. В юности мы знали, что все, ради чего старики «всерьез» живут и умирают, по идее давно стало анахронизмом и жуткой скучищей. Что ни одна добродетель и ни один порок не сравнятся фантастичностью с эллиптическим интегралом или летательным аппаратом. В юности мы знали, что происходящее в реальности совершеннейший пустяк по сравнению с тем, что могло бы произойти! Что весь прогресс человечества заключен в том, что не происходит, а только мыслится, — в человеческой неуверенности и пылкой увлеченности. В юности мы чувствовали: у страстного человека вообще нет чувства, есть только безымянная сила, неистовая, как ураган!!

А н с е л ь м (*тоже взволнованно*). Да, а теперь я просто знаю, что все это были ошибки юности. Деревья существуют, но ветер их не сотрясает. Этим идеям недостает толики смиренного признания, что все идеи ошибочны и как раз *поэтому* люди теплые, эмоциональные должны в них верить!

Т о м а с. Смиранный! Ансельм! Ты — смиренный! Ансельм, Ансельм!

А н с е л ь м. Ты вообще-то понимаешь, что это такое?

Т о м а с. Смиренный желает быть последним, то бишь первым от конца! (*От возбуждения раздражается смехом.*) Так ведь и Йозеф пишет о твоём смирении и человеколюбии! Он что, выдумывает?

А н с е л ь м. Йозеф несправедлив! Несправедлив! Но даже в этом он — человек!

Т о м а с. Но ты же любишь Регину? Или ради Йозефа мучаешь ее неизвестностью, заставляешь страдать?!

М а р и я. Да, Ансельм, в этом есть доля правды.

Т о м а с (*еще раз пытаюсь его пронять*). Ансельм! Какая-то часть тебя отпугивает людей, лишает их всякого желания поделиться с тобой, что-то тебе дать. Они просто не могут этого сделать. Ледяной холод убивает альтруизм, он как дыхание умирающего. И такое есть в каждом. А другая часть тебя опять-таки взывает к ближнему. Пусть даже к нечеловеку! Выходит, в самой-то глубине — бо-

язнь остаться неправым. И чего же мы достигли? Сидит в кабинете этакая обезьяна с камнем в руке и обдумывает, как лучше всего расколоть орех. Не задаваясь ни единым вопросом, касающимся высшего человеческого счастья. А не то, вроде как ты, оскопившись, превращают мозг в гротескное подобие женского лона, которое так и жметя ко всему крепкому и прочному. Ансельм, в юности мы легко это выдерживали, ведь юность не размышляет о смерти. Позднее утешались краткосрочными вексельями — работой и успехом. Но проходило еще немного времени, и в тебе вдруг впервые оживала мысль, что никогда не бывает ни три часа, ни четыре, ни двенадцать, просто вокруг тебя безмолвно восходят и заходят созвездия! И ты впервые замечал: что-то в тебе, неведомое для тебя самого, следует за ними, словно прилив и отлив. И аскет обвивал канатом свое сердце, а другой конец захлестывал за самую большую звезду, которую видел ночью, и так пленил себя. Сыщик же глядел на следы, ему незачем обращать лицо вверх. Но мне? и тебе? Когда ты искренен, хотя тебе внимает Мария? Ансельм, одиночка — чужак, двое — новое человечество! *(В изнеможении умолкает.)*

Пауза.

М а р и я (наконец тоже завершив свой туалет, оживленно). Оба вы чудаки! До меня только сейчас дошло, какие вы упрямцы. Вы хоть словечком о Йозефе перемолвились?..

Оба удивленно оборачиваются к ней, точно услышав голос из другого мира.

(Смеется.) Ансельм-то совсем присмирел. Вам бы все же поговорить с Томасом начистоту — тогда он откажется от своего символического сыщика!

Т о м а с (еще в полной растерянности). Конечно, откажусь.

М а р и я (продолжая). А Ансельм обжегся. Ансельму больно. Надо приложить что-нибудь холодное. *(Прикидывает, из чего бы сделать повязку.)* Ты ступай, ступай, он скоро придет, прямо в твою комнату.

А н с е л ь м (с вымученной уступчивостью). То-то в нем и опасно, что он всех убеждает.

Т о м а с. Так нужно, Ансельм? (*Вопросительно смотрит на Ансельма, который заставляет себя утвердительно ответить на этот взгляд. И все же неуверенно и горько.*) Неужели? Ладно, я подожду. Марию ты разочаровывать не станешь. (*Уходит.*)

Ансельм тотчас вырывает у Марии руку, которую она не успела как следует перевязать.

А н с е л ь м. Я к нему не пойду.

М а р и я. Что вы сказали?

А н с е л ь м. Что я к нему, конечно же, не пойду.

М а р и я. Больше я с вами не разговариваю.

А н с е л ь м (*беззаботно*). Он еще в детстве был всезнайкой. Но я не хотел ему отвечать! Не обязан я отвечать! (*Торжествующе.*) Не обязан, Мария!! Не обязан. Я могу закрыть глаза, заткнуть уши, задрать все люки и упрятать в потемках все, что знаю; а великий взломщик с двумя своими ломиками — рассудком и заносчивостью — пускай беснуется и стучит снаружи...

Мария делает недовольную мину и не отвечает.

Я скорее уеду, чем впущу его!

М а р и я. Вот и уезжайте! Так будет лучше всего.

А н с е л ь м. Едемте со мной!

М а р и я. Что вы сказали?

А н с е л ь м. Уедемте вместе.

Мария ошеломленно смотрит на него.

Пауза.

М а р и я. Вы с ума сошли! Что вы опять придумали?

А н с е л ь м (*немного помолчав, другим тоном*). Разумеется, вы поняли мое предложение превратно, так я и думал.

М а р и я. Я даже не пытаюсь понять. Я осталась, потому что хочу здесь прибраться. Если желаете сказать еще что-то, извольте; полагаю, у вас нет намерения обидеть меня.

А н с е л ь м. Не знаю, обидит ли вас, если я скажу, что люблю Томаса больше, чем вы. Ведь мы с ним очень похожи. Теперешний его срыв — всего-навсего подражание мне. А моя враждебность, пожалуй, идет от страха за

себя. Но вы-то бесполезно страдаете от него и сами себе в этом не признаётесь.

М а р и я. Страдает он! Это сильный человек, который всегда добивался, чего желал, утратил уверенность в себе.

А н с е л ь м (*ревниво*). Томас все умеет, но только не страдать!

М а р и я. Ужасно, когда видишь все это, а помочь ничем не можешь.

А н с е л ь м. Вы-то могли бы.

М а р и я. Я? Ах, Ансельм, тут зоркость вас подводит! Я ничегошеньки не понимаю в этих нечеловеческих идеях.

А н с е л ь м. Есть одно средство.

М а р и я. Ну так говорите скорее.

А н с е л ь м. Я уже сказал.

М а р и я (*помолчав*). Но это же мечтания, прожектерство.

Пауза.

А н с е л ь м. По-вашему, я оспариваю превосходство Томаса, чувствую себя рядом с ним умственно ущербным?

М а р и я. Говорят, вам пришлось уйти из университета, из-за стычек?

А н с е л ь м. Я сделался невыносим. Мне бы жить в эпоху инквизиции! Если какой-то человек придерживается иного мнения, я вижу звериный оскал каменного идола. Кто понимает, разглядит за ним бесстыдную решимость утопающих, которые дерутся из-за места в лодке.

М а р и я. Но люди ведь не могут не иметь разных мнений!

А н с е л ь м. Наверно, у меня просто не хватает терпения. Ах, Мария, нам обоим не хватает на него терпения. Мне необходимо чувствовать, что для кого-то я — самое главное, решающее. А не то я чувствую себя отверженным. Томас способен обходиться без людей, но согласитесь, это же чудовищно!

М а р и я. Тут вы, пожалуй, отчасти правы; в Томасе есть что-то нечеловеческое, я ему сто раз говорила.

А н с е л ь м (*быстро подхватывая*). Он всех презирает. И верит только силе поднятого камня, ведь именно такова сила его разума; ох уж этот разум, что ныне правит миром. Силы, действующие между людьми, от лица

к лицу, между ласточками осенью, неизъяснимые силы тепла и румянца, силы доброжелательного или враждебного сосуществования, которые есть даже между лошадьми в конюшне... пожалуй, ему знакомы... (*Насмешливо.*) конечно, *знакомы*. Но истинам, которые можно постичь лишь в секунды потрясения, которые, как искры, пробегают между двумя людьми, — этим истинам он не верит.

М а р и я. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Но и в ваших словах есть что-то неуловимое, исчезающее, как только пытаешься вникнуть в суть. Что-то нереальное, недостоверное.

А н с е л ь м. Именно в вас эти силы благословенно изобильны. Всякое движение вашего тела идет от них, лучится ими. Я не преувеличиваю, Мария, порой я так полон ими, что просто боюсь, как бы мои руки, ноги, лицо ненароком не начали повторять ваши движения и вашу мимику, как травы, растущие на дне стремнины.

М а р и я. Однако вы преувеличиваете, да еще как!

А н с е л ь м. Но это же самое натуральное! Сама человеческая природа! Не принижайте себя! Вы знаете, разум вообще не может ничего постичнуть, даже лежащий камень, зато любовь постигает все. В анонимном приближении и сродстве. А отношения мужчины и женщины всего-навсего частный случай, важность которого непомерно завышена. Но Томас отучил вас думать об этом. Признайтесь, он угнетает вас до потери сознания. Что значат для вас его понятия и соображения!

М а р и я. О, это всегда увлекательно и полезно!

А н с е л ь м. О! Правда? Но вы куда глубже, чем он, связаны с людьми и вещами. Я ведь помню, какая вы были!

М а р и я. Юношеские глупости.

А н с е л ь м. Томас терпеть не мог эти ваши силы, он вообще не терпит никакой силы, кроме своей собственной. Теперь ему их недостает. И в этом его трагедия, причем он обо всем догадывается, мне ли не знать.

М а р и я. А чего, собственно, вы хотите?

А н с е л ь м. Ну что особенного, если вы вдруг уедете со мной и с Региной?

М а р и я. Но зачем?

А н с е л ь м. Втайне. Этаким неожиданным удар — единственное, что может его встряхнуть и заставить крепко задуматься. Иначе он сам себя уничтожит.

М а р и я. Но что скажет Регина? Ведь она мечтает, чтобы все поскорее уладилось и вы поженились!

А н с е л ь м. Да ничего она не скажет! Ладно, придется открыть вам еще один секрет, Мария: я никогда не обещал Регине чего-то большего, нежели дружба.

М а р и я. Но зачем тогда было все это затевать?! Разве о другом хоть когда-нибудь говорили?

А н с е л ь м. Я хотел помочь ей! Знаете, почему Йозеф называет меня обманщиком? Потому что не понимает, что, помогая Регине отойти от него, я не люблю ее в узком, будничном смысле этого слова.

М а р и я. Так ведь он и говорит: Потифар?

А н с е л ь м. Потому что каким-то образом догадался. А я просто хотел, чтобы она вновь научилась жить, хотел пробудить в ней чувства, повесить на нее тяжелые гири, вытащить из призрачного вакуума, в котором она очутилась.

М а р и я. Так ведь история с Йоханнесом уж и вовсе чистейшая химера, призрак?!

А н с е л ь м. Потому-то и Томас зовет меня обманщиком! Вынужден признаться и в этом. Я терпел, чтобы защититься! Регина считала за благо понимать меня превратно; она дошла до предела. А мне было страшно, что человеческие узы опять обернутся этой судорогой: вот и пришлось переключить все на Йоханнеса. Каков бы он ни был, он не я!

М а р и я. Сколько вы натерпелись! Ужас!

А н с е л ь м. Видно, по слабости характера. Эта история началась еще до меня. Регина общалась с покойным Йоханнесом как с живым святым-заступником. Только ни от чего он ее не защитил, ни от чего! Она ведь из тех, у кого нет подлинных связей с другими людьми. Чувства у нее сидят в голове, как у Томаса. Такие люди вечно впадают в крайности! Пожалуй, меня тогда тронула жалкая беспомощность этой выдумки. Но я как раз и решил потихоньку-полегоньку отучить ее от этого наркотика, а тут Томас возьми и вмешайся. Женитьба, письмо Йозефу, сыщик — теперь вы можете себе представить, что он натворил.

М а р и я. Пока что отнюдь не полностью с вами согласна, Ансельм, хотя, пожалуй, начинаю кое в чем угадывать логику, которой до сих пор не понимала.

А н с е л ь м. Во всей этой истории Томас беспощадно рассудочен, а ведь в Йозефе он борется именно с такой беспощадной рассудочностью, но только в Йозефе!

М а р и я. В самом деле, *отчасти* вы правы, чуточку правы... Требуется хорошая встряска, иначе его не остановишь... А вы правда были в монастыре?

А н с е л ь м. Почему вы спрашиваете? Да, был.

М а р и я. Потому что вы, Ансельм, всегда должны говорить мне правду! Я умру, если теперь между нами всеми не будет полной правды!

А н с е л ь м. Мария, даже если б хотел, я не мог бы вам солгать; перед вами я как на исповеди!

М а р и я. И все-таки вы должны с ним поговорить.

А н с е л ь м. Не могу! Я готов пойти навстречу человеку, жаждущему понимания, но говорить с Томасом я не могу. Сами расскажите ему обо всем, а? Вы сумеете передать ему, о чем мы с вами говорили?! Или на пути от ваших уст к его уху слова потеряют силу?! Вы должны уехать отсюда тайком, внезапно. Он станет вас искать. Место, которое он определил вам своей волей, опустеет. Вы будете сами по себе. Это единственное, что способно заставить его одуматься!

М а р и я. Знаете ли вы, что вам грозит опасность стать дурным человеком? Желая добра, вы не ведаете сомнений в выборе средств.

А н с е л ь м. Какой там выбор средств! Я же чувствую, что вы отыщете правильное решение своими внутренними силами! Выбор средств — это все равно что стрелять из пистолета по солнцу! Ах, Мария, я ничтожней дурного человека; ученый, потерявший ученость, и человек, снова и снова ошибавшийся в выборе средств. Только вы способны нам помочь.

М а р и я. Ансельм, мы непременно поговорим об этом еще раз. И о Регине тоже. Но вы обещаете мне после поговорить с Томасом?..

Ансельм молчит.

О да, обещаете! Тогда идемте в парк.

Ансельм поворачивается к другой двери.

Нет-нет, не туда. (*Показывает на спальню.*) Так ближе. Только закройте глаза, здесь ужасный беспорядок. Думаю, поговорив начистоту, мы сумеем по-настоящему помочь Томасу.

А н с е л ь м (с затаенной яростью и злобой). Ах, я бы предпочел, чтобы вы в окно вылезли! Не хотите? Вам бы пришлось согнуться, и скрючиться, и подобрать юбки, так что и не поймешь, вы это или не вы, как при несчастном случае! Но вы слишком прекрасны, чтобы рискнуть.

М а р и я. Ну что вы опять придумали?

А н с е л ь м. Что вы много лет спали здесь!!

М а р и я. Чепуха! Закройте глаза! Давайте мне руку!

Уходят. С минуту сцена пуста.

Р е г и н а (входя). Если вы правда так думаете, идемте сюда, здесь нам не помешают.

М е р т е н с. О, я знаю, вы едва ли сможете довериться чужому мужчине, для вас это невысказано. Лучше, чем я, вас никто не поймет! Я-то знаю, каково это — замыкаться в себе, душенька моя, нежная моя святая!

Р е г и н а. Томас, кажется, толковал о сыщике?.. Ох, мне это так не нравится!

М е р т е н с. Конечно, это нехорошо, очередная холодная идея доктора Томаса! Вы же видите!

Р е г и н а. Устанавливать факты! Наблюдать! И что из этого? Глупость какая-то.

М е р т е н с. Может быть, вам этот человек все же пригодится: он настоятельно требовал вас. (Делает знаки кому-то стоящему за дверью.) С виду он весьма заурядный, но лицо вполне симпатичное. Я оставлю вас одних. (Пропускает в комнату Штадера и уходит.)

Ш т а д е р входит — присматриваясь, прислушиваясь, принявываясь. Некогда это был милостивый юноша, теперь — деловой мужчина. Одет в строгий костюм, какие носят состоятельные ученые, однако на шее — маленькая черная бабочка, как у артиста. Войдя, он придает своему лицу брюзгливое, стариковское выражение и поправляет большие синие очки, словно только что их надел.

Р е г и н а. Вы из... бюро? Садитесь, пожалуйста.

Садятся. Штадер медлит, откашливается. Поскольку ему не удается ориентировать внимание Регины в нужном направлении, он снимает очки и делает естественное лицо.

Ш т а д е р. Все-таки эти ископаемые, старомодные средства по-прежнему действуют безотказно! Надел очки,

чуть изменил выражение лица — и всё, в простой ситуации вполне достаточно! Итак, вы меня не узнаете.

Регина. Я что-то не понимаю... (*Пристально смотрит на него.*)

Штадер расплывается в широкой улыбке.

Что вы имеете в виду?

Штадер. Не помните?

Регина. Н-нет. Ах да... Вы служили у нас лакеем?

Штадер. Гм... н-да, ну конечно, я служил лакеем...

Штадер, Фердинанд Штадер... Фердинанд — помните? Правда, на досуге я уже тогда был кое-чем получше — певцом и поэтом.

Регина. Помню. Вечером вы пели в маленьких кафе, вопреки всем запретам. Мне это нравилось.

Штадер. Сколько раз вы посылали мне воздушные поцелуи и говорили: ах ты...

Регина. Ой, давайте без пошлостей!

Штадер. Без пошлостей? Зубами и всеми десятью пальцами вы теребили мои волосы и приговаривали: ах ты, виртуоз... ах... Господи, про виртуоза помню, а дальше вдруг забыл! Ну, как это... ин... ин...

Регина. Ах, инженерю... простая душа... Боже мой! (*Закрывает лицо руками.*) Впору сквозь землю провалиться!

Штадер. Успокойтесь. Вы, конечно, обошлись со мной очень несправедливо, когда вот так просто взяли и... ну, в общем, я хотел сказать «вышвырнули». Я ведь никак не думал, что дама из общества способна поступить таким образом. Но я на вас не в обиде. Потому что в итоге вы направили меня на путь истины. А как раз истине я и обязан своей успешной карьерой! Вы не ошиблись, называя меня виртуозом, я всегда помнил эти ваши слова, они были мне опорой, и ваши теперешние попытки забрать их назад будут бесполезны. Я никогда не был просто лакеем, да вскоре тогда и бросил это занятие. Кем я только не работал! И препаратором, и тапером, и учителем, и фотографом, и даже собачником; я всегда был на все руки, хоть и не предполагал, что найду себя в таком деле. Должен сказать, тут мало одной строгости анализа, необходима еще и толика артистизма. Ведь нынче я владелец крупнейшего современного института исследований.

Регина. Расследований?

Штадер. Я имею в виду институт сыска.

Регина. Вы хотите денег?! Сколько же? У меня ничего нет.

Штадер (*с достоинством*). Умоляю вас, считайте мое отношение к вам сугубо рыцарским! Я всего лишь хотел просить вас о небольшом одолжении. (*С мягкой снисходительностью исправляя ее ошибку.*) Нет-нет, речь не об этом; а вы все ж таки не изменились. Мой институт расследований — на сегодняшний день крупнейший и современнейший: «Ньютон, Галилей и Штадер». Раньше его бы наверняка назвали «Бюро Аргус», но, памятуя обо всем, чем я обязан современной науке, я включил имена ее основоположников в название фирмы.

Регина (*растерянно*). Э-э... но тогда, значит, вы тот самый сыщик, о котором говорил мой кузен Томас?

Штадер. Ваш кто? Кто такой Томас?!

Регина. Мой кузен, доктор Томас... ну, вы же сейчас в его доме! Он говорил, что хочет пригласить сыщика.

Штадер (*очень обеспокоенно*). По делу его превосходительства, вашего супруга, и некоего доктора Ансельма Морнаса?

Регина. Вероятно, да!

Штадер (*в чрезвычайном волнении*). У него есть детектив! И не я! Это конец!

Регина. Но я вовсе не уверена, что он уже нанял детектива.

Штадер. Стало быть, пока неясно?! Вы должны немедленно устроить мне встречу с ним. Я — детектив его превосходительства, но я готов продать все мои секреты, даже подарить, лишь бы он меня выслушал! Пожалуйста, предложите ему мои услуги, не откажите в любезности!

Регина. Но это невозможно.

Штадер. Невозможно? Вы думаете, из-за... Что было, то прошло. У мужчин есть интересы поважнее. Послушайте, мой институт работает по новейшим научным методикам. Мы обращаемся к графологии, патографии, наследственности, теории вероятности, статистике, психоанализу, экспериментальной психологии и прочая. Отыскиваем научные элементы преступления; ведь все происходящее в мире подчинено законам. Вечным законам! Они — основа доброго имени моего института. На меня работает великое множество молодых ученых и студен-

тов. Я не спрашиваю о нелепых подробностях того или иного дела, дайте мне официальные сведения о человеке — и я скажу, что он *должен* был сделать в данных конкретных обстоятельствах! Понимаете? Современная наука и детективика все больше сужают сферу случайного, хаотичного, якобы индивидуального. Случайностей не бывает! Фактов тоже! Есть только научные взаимосвязи... Вот что получилось из вашего «маленького неаполитанца», из вашего «уличного певца»!.. Его превосходительство, ваш супруг, привлеченный высокой репутацией, какую наш институт имеет среди специалистов, оказал нам честь, предложив выполнить некое поручение. И я почел своим долгом тщательнейшим образом выполнить поручение лица, занимающего столь высокое положение в научном мире: вот письменный отчет. (*Гордо показывает толстую папку, которую не выпускает из рук.*)

Регина. Отчет? Неужели вы хотите сказать, что... О ком?!

Штадер. Конечно, наряду с упомянутыми современными методиками мы используем и слежку, и подкуп, и женщин, и алкоголь, и прислугу, и выкрадывание улики — словом, все классические методы сыскной науки. Хотите взглянуть? (*Открывает папку.*) Вот почтовая открытка, посланная доктором Ансельмом Морнасом портному, речь в ней идет о заказе зимнего костюма. Обратите внимание, открытка написана в августе, что подтверждается датой на почтовом штемпеле, а также тем обстоятельством, что здесь перед нами так называемая прямая целевая ориентация, в чистейшем виде, и вводить портного в заблуждение нет никакого резона.

Регина (*вконец смутившись*). Не понимаю, но какие же отсюда следуют выводы?

Штадер. О-о!.. Заказ зимнего костюма в августе может означать многое — предусмотрительность; бережливость, потому что летом зимние ткани дешевле; отсутствие шика, потому что ткани следующего зимнего сезона в продажу еще не поступили; в-четвертых, тайное намерение. Педантично предусмотрительным его не назовешь, бережливым — тоже, в отсутствии шика вроде бы упрекнуть нельзя, значит, что остается? Тайна. Человек перед вами весь как на ладони!.. Анализ содержания согласуется с анализом почерка. Вы только посмотрите на этот устремленный вверх крючок: явный авантюризм.

Приземистое «и» — тайные страсти. О, какое удовольствие вот так играючи «раскладывать» перед собою всю сокрытую человеческую сущность. Взгляните сюда! Удвоенная черта — мысль о самоубийстве! А в середине буквы чуть что не наползают одна на другую — вагабундизм; это почерк человека, который иногда исчезает, пустив слух, что решил умереть. Я даже не останавливаюсь на том, что иные слова у него прочитываются совсем не так, как надо, я и без того знаю, он страстно хочет жить. Волосяные линии поднимаются вертикально! В целом у него ощущение, что он жить не может без особы, с которой встретится зимой в этом костюме.

Регина. А знает ли он эту особу?

Штадер. Это вы!

Регина. Откуда вам это известно?

Штадер. Как доверенное лицо его превосходительства я ведь не могу не знать, когда доктор Ансельм впервые появился в доме. *(Смотрит на свои часы.)* Простите, времени у меня в обрез; вот, благоволите взглянуть на этот документ, и все.

Регина. Мой почерк!

Штадер. Совершенно верно. Это ваша расходная книга. Я в свое время прихватил на память.

Регина. И что же по ней можно увидеть?

Штадер. Я ее лично проанализировал. Надо сказать, научный анализ лишь подтвердил то, что я уже знал. *(Листая книгу.)* Бессердечная. Долго спит. Сумасбродка. Короче говоря... *(Со спокойным, давно заготовленным торжеством.)* ...с научной точки зрения личность отнюдь не полноценная. И еще... *(Наконец отыскав нужное место, показывает ей, но так, чтобы она не могла выхватить книгу.)* А здесь написано «Фердинанд» и рядом: «двоеточие, маленький неаполитанец». Или вот: «Йоханнес, когда ты вернешься?»!

Регина. Отдайте.

Штадер. И не подумаю. *(Дружелюбно.)* Кстати, я тут немного подслушал, не сказать чтобы специально, но дама, которая была с вами, воскликнула: «Святая!». Вы что, так до сих пор и продолжаете? Ведь в свое время вы мне рассказывали, что-де ваша любовь предназначалась, собственно, покойному господину Йоханнесу, а меня вы дарили ею лишь как своего рода заместителя. Я тогда был в полном восторге. Наивный мальчик... извините, что я смеюсь, вы рассказывали все это мне, будущему «Нью-

тону и Штадеру», и я вам верил. Однако ж выдумка была красивая, она-то позднее и сделала меня психологом. Правда, этакое странности не всякий поймет. А если их повторяют слишком часто, да еще примешивают к делу весьма недостойных лиц — вас ждут серьезные неприятности! А между прочим, вы знаете, что ваш теперешний жених уже состоит в браке и развода у жены не требует, чтобы не пришлось жениться на вас.

Регина (*успев взять себя в руки*). Да, знаю.

Штадер. Я установил сей факт, подвергнув анализу его письмо к законной супруге, где это написано черным по белому.

Регина. Я хочу взглянуть на это письмо. Покажите.

Штадер (*пряча письмо в папку и тщательно ее запирая*). Вы же его порвете.

Регина. Итак, вам поручено выведать все обо мне?

Штадер. Как его превосходительство господин профессор, так и я всю свою зрелую жизнь служим истине, хотя и по-разному!

Регина (*вставая*). Вы мошенник! И ничего вам не известно! Я знать вас не знаю! Готова заявить под присягой, хоть сейчас, хоть немного погодя.

Штадер. Я показал вам далеко не все, у меня есть и другой материал. У вас ничего не пропало?

Регина. А что у меня могло пропасть?

Штадер. Записная книжка, например? Маленькая желтенькая книжица, в ней вы записали свою историю и историю доктора Ансельма.

Регина. Но она же у меня!..

Штадер. То-то и оно, что не у вас.

Регина. Она в чемодане, я точно помню.

Штадер. Возможно. Однако не только среди простых натур, в благоприличном обществе тоже... Короче говоря: даже в научных кругах попадаются ловкачи!.. Оставим это. Сами видите, вспыльчивостью нас не удивишь. Я на вас не в обиде.

Регина (*приняв решение*). Хорошо, оставим!!

Штадер. Истина всегда объект нападков, но она выше их.

Регина. Если истина такова, то она страшный грязный человеческий капкан... Смотрю на вас — ведь сущее привидение! Вот так же могли бы стоять... я подумаю и назову вам точную цифру, а вы приобщите ее к делу. Как

бы вам объяснить, что по правде всего этого никогда не было?!

Ш т а д е р (*недовольный таким поворотом разговора*). В объяснениях нет нужды.

Р е г и н а. Но это же было по правде! Вы не помните?! Забыли уже мою собачью преданность?

Ш т а д е р (*успокаивая*). Все давно миновало.

Р е г и н а. Так просто вам не уйти! Я видела вас прежнего, видела и потом — такого же, но в промежутках мне было просто невоготу от омерзения к вам.

Ш т а д е р. Да-да-да, в подобных обстоятельствах неизменно слышишь что-нибудь в таком духе.

Р е г и н а. Но я ведь без конца перед вами унижалась! Иной раз, когда я одна в комнате, мне и на собственный шкаф смотреть невоготу; иной раз я замечаю, как он меняется и корчит рожи. Тогда надо быстренько его открыть и глянуть внутрь, не го бы я и его стала звать Йоханнесом.

Ш т а д е р (*предостерегающе, но и с решимостью добиться своего*). Могу вам только посоветовать, доверьтесь вашему кузену, профессору Томасу. Ему вполне можно довериться. Я слышал, высочайшая репутация в научном мире, а вдобавок прекрасно разбирается в людях! У ученых господ это редкость; именно человеку моей профессии случается воевать с их пренебрежением. Конечно, с их стороны это несправедливо, потому что детектив в наше время ничуть не ниже исследователя, а пожалуй, и выше, если учесть, что он изучает людей. Так или иначе без поддержки тут не обойтись. (*Встает.*) Мне необходимо увлечь его великой идеей. Не сомневайтесь, общение со мной отнюдь не оскорбляет вашего достоинства. Я прошу совсем немного: мягко и сердечно обратите внимание профессора Томаса на мою скромную персону, дескать, он не пожалеет, если завяжет со мной постоянный контакт. Сделайте так — и все останется строго между нами тремя!

Р е г и н а. Нет, не сделаю. Мне это уже не по силам.

Ш т а д е р. Регина, не надо так! Тогда вы плохо со мной обошлись, однако на отступное, которое вы мне дали, я основал мой институт. Я желал вам добра. Но с той минуты, как услышал о профессоре Томасе, я себе места не нахожу. Я на все способен! Во мне горячая кровь артиста! Без нее я бы в сыскном деле не преуспел. Ну же, будьте человеком!

Регина. Я не хочу!

Штадер. Но ведь я могу очень и очень вам навредить!

Регина. Пожалуйста. Вы же знаете, какова я по правде; я у вас в руках. Так вот: отдайте эту папку его превосходительству.

Штадер. Извольте, но неужели у вас нет ни капли стыда? Ведь это всё будут подробно рассматривать в суде! Если вы еще не начисто растеряли стыд, то не станете так себя компрометировать! Ну, может, хоть страх-то у вас остался?!

Регина. Слушайте, «Фердинанд»: внутренне можно быть не менее святым, чем кони солнечного бога, а внешне — под стать вашим досье. И эту тайну ваш институт никогда не раскроет. Совершаешь поступок, и внутреннее его значение абсолютно не совпадает с внешним. Но со временем внутреннее как бы исчезает, остается только внешнее. И нет сил все это изменить!

Штадер. Ну, я лично под присягой мог бы только заявить, что вы всегда производили впечатление человека трезвого и реалистичного.

Регина. О? Да, вы правды. В этом весь ужас. Но вам пора уходить, здесь больше оставаться нельзя.

Штадер. Да, мне в самом деле пора, поезд ждать не будет. (*Делает последнюю попытку.*) Профессор Томас в опасности! Мрачные тучи сгущаются над его головой. Вы ведь не догадываетесь, что написано в письме, которое вы только видели: Ансельм здесь не ради вас, он здесь затем, чтобы сманить жену у друга!

Регина. Вот как? Прошу вас сюда. Там будет дверь в ванную, потом в коридор и еще несколько ступенек... лучше я вас провожу. (*Идет впереди.*)

Штадер (*на пороге спальни*). Я сейчас еду к его превосходительству. И отдам ему папку. Но прежде меня еще можно отыскать на станции. Да и потом, наверно, тоже... Ничего не понимаю! Мужская логика тут отказывает. Я думал, вы сделаете все возможное, чтобы получить эту папку. (*Уходит.*)

С минуту сцена пуста; затем в другую дверь входит

Ансельм. Осторожно осматривается, быстро подходит к двери спальни и, прислонясь к косяку, с благоговейным видом погружается в созерцание. Внезапно он отскакивает назад, точно застигнутый на месте преступления, и пытается взять себя в

руки: ничего, мол, не произошло. Р е г и н а возвращается через спальню, входит и оказывается с ним лицом к лицу.

А н с е л ь м. Ты была в комнате?

Р е г и н а. Нет, вошла с улицы, но ты не сразу меня заметил.

А н с е л ь м. Да-да, я тебя искал, ушел от нее и искал, а тебя нигде не было.

Р е г и н а. Это неправда.

А н с е л ь м (с удивлением смотрит на нее; потом спокойно). Мария? Вот уж придумала! Она меня забавляет.

Р е г и н а. Она ждет тебя?

А н с е л ь м. Вообще-то я пришел за ее шалью, ну и пускай подождет. Я для нее романтический герой, от которого требуется средневековая куртуазность; крупные женщины в большинстве не очень понятливы.

Р е г и н а (притворно). Ты видел, как она ест? Жует медленно, точно корова. И ужасно любит цветистые беседы, просторные словесные лужайки для пастьбы, а ты по этой части просто волшебник.

А н с е л ь м (стараясь перещегоолять ее; а так как после предшествующих страстных сцен с Марией находится в полярно противоположной стадии духовного отращения, говорит поначалу гораздо убедительнее.) Да, без лирики она никак не может, лирика для нее будто сливочный крем. Просто зло берет. Томас после нее сух и прекрасен, как ветер пустыни. Знаешь, по-моему, коли на нее найдет стих, она с легкостью оставит мужа, ведь такие увесистые души — штука ли, восемьдесят с лишним килограммов! — если уж падают, то кулем.

Р е г и н а. Ты был бы рад увидеть ее такой? Глядя на нее, ужас до чего хочется как-нибудь ее подперчить, чтоб до потолка скакала, а потом сказать: Милая Мария, вы купаетесь в гигиеническом аромате добродетели, как больничный санитар в чистом запахе карболки, — такие прыжки вам не подобают!

А н с е л ь м. Не скачите так, старуха добродетель! Вот бы увидеть тогда ее лицо.

Р е г и н а. Помнишь, какие у нее были тощие ноги, а штанишки у этой пай-девочки вечно сидели мешком. Теперь этого не увидишь, но с первого же дня, как мы

сюда приехали, я все время спрашиваю себя: а что, ноги у нее по-прежнему тощие?

А н с е л ь м (*сдаваясь*). С утра до ночи вместе... Давайте не будем говорить о ней, меня трясет при одной мысли.

Р е г и н а. Ну вот, ты лжешь! И как!

А н с е л ь м. Да смог ли бы я так о ней говорить?

Р е г и н а. Ой, не надо! Ты ведь отзываешься о людях хорошо, только пока они тебе безразличны. Но стоит тебе что-то к ним почувствовать, и ты сразу же начинаешь поливать их грязью, чтобы спрятать свои чувства. (*Резко умолкает.*) Пора в дорогу!

А н с е л ь м (*невольно*). Почему?!

Р е г и н а. Пора в дорогу, Ансельм! Мы уезжаем! Спасаемся бегством! Чтоб Йозеф нас уже не застал. А ты увяз, не можешь расстаться с Марией.

А н с е л ь м. Ну, незачем сразу так малодушничать. (*Размышляет.*) Наоборот, ты должна бы уговорить Марию присоединиться к ним.

Р е г и н а. И что?

А н с е л ь м. Если мы будем жить вдвоем вне этого дома, твой муж устроит нам кучу неприятностей; а вот если ты уедешь вместе с сестрой, он ничего сделать не сможет.

Р е г и н а. Да?! Выбрось это из головы. Я больше не намерена вас прикрывать.

А н с е л ь м. Стало быть, ты воображаешь, будто вырвала у меня тайну. Ну да: сестра у тебя замечательная! Замечательная и пресная, как вода. И пахнет словно гладильная мастерская; если угодно, так же затхло.

Р е г и н а. А я?

А н с е л ь м. Собственно, Йозеф тоже замечательный человек. Мы позволили себе глянуть на него сверху вниз. Н-да, эти люди вызывающе неповоротливы, и душевно, и умственно. Но вот что я тебе скажу: непривычное переживание — это всего лишь привычка наизнанку. Даже в воловьей упряжке жизнь и то богаче, чем в голове у Томаса, и кучер, уснувший возле лошадей, знает о мире больше, чем ты и он!

Р е г и н а. Итак, я должна вернуться к Йозефу?

А н с е л ь м. Господи, я имею в виду, для начала надо вырваться на свежий воздух. Здесь мы никогда не отвяжемся от этих прокисших историй с Йоханнесом. Тут как в комнате наутро после попойки.

Регина. Стало быть, очертя голову нырнуть в «замечательную» свежую воду! А я не хочу. Лучше уж покончить с собой. Слышишь? Но не из-за тебя.

Ансельм. Так говорит любая женщина, решив, что ее бросили!

Регина. Сколько ж я вытерпела унижений! Это ты долго вынашивал?

Ансельм. О чем ты?

Регина. Не ты ли вынул из чемодана нашу маленькую желтую книжицу и отложил ее для Йозефа?

Ансельм. Так ты знаешь? Я мог бы отпереться, ведь ты всегда все разбрасываешь. Но не стану. Да! Я это сделал, так как уже понимал, что мне с тобой предстоит. Ты меня совсем замучила. Шагу ступить не дашь! Не под силу мне тебя спасти, не под силу. Твои чертовы слабости перевернули вверх дном все казематы моей души!!

Регина. А перед Йозефом ты готов предстать нагишом? Эти замечательные люди, похоже, возымели над тобой большую власть. Раньше тебе казалось невыносимо, если кто-то знал про тебя хоть самую малость, как будто ты сразу становился его рабом. Ты ведь предпочитал возвести на себя напраслину, лишь бы не признаться в чем-то и вправду хорошем.

Ансельм. К тому времени, когда Йозеф это уразумеет, мне бы хотелось убраться куда подальше. Сменю имя и начну все сначала. Я хочу начать все сначала, пойми! Я должен начать все сначала! Ты меня не удержишь!

Регина. Ага, ты решил начать новую жизнь. В тот самый день, когда сам поставил себе синяк под глазом и чуть не плакал. *(Таинственно передразнивает его.)* «Чудо, что я нашел тебя! Это поразило меня, как чудо... Я такого не переживу — лучше смерть!»

Ансельм. Да, какой был день! Я чувствовал, что надо спастись. Мы были так непостижно едины. Моя жизнь так повторялась в тебе. Ты стояла на моем пути как мое второе «я», а кругом трепетала зыбкая тишина, и внезапно мы скользнули в этот океан, что был внутри и вокруг нас, и я вдруг ощутил: случись кораблекрушение, до берега доплывет лишь один из нас... Как пошло все это звучит сейчас. Как унизительны эти тщетные потуги.

Регина. О, я запомнила каждое слово и смогла повторить их сыщику, так что Томас и Йозеф сегодня же все узнают.

Ансельм. Что такое? Ты бредишь?

Регина. Здесь был один человек, как раз перед твоим приходом. Детектив, в прошлом лакей. Когда-то он был моим любовником и бросил меня, наверно, тоже ради неких высших мужских целей! Обо мне он знает все; гораздо больше, чем требуется, чтобы вооружить Йозефа; у него все собрано в толстой папке, а остальное я сама ему сказала. Впрочем, он и о тебе знает много больше, чем ты хотел открыть Йозефу, чтобы отдать меня в его власть. У него твои письма к жене, твои исповеди. Он знает всю твою жизнь. А чего не знал, я ему сообщила.

Ансельм. Ты сошла с ума. Надо немедленно заткнуть этому сыщику рот. Куда он подевался?

Регина. Нет! Пусть Йозеф все узнает!

Ансельм. Что значит «нет»?! Ты хочешь, чтоб мы оба ползали тут как жабы, перед Томасом и Марией?

Регина. Да!

Ансельм. Из-за дурацкой ревности! Из-за любовной интрижки, черт подери! Ты вообще соображаешь, что делаешь? Все эти глупости, которые только в темноте и возможны между двумя людьми, теперь, когда они давным-давно себя исчерпали, должны стать всеобщим достоянием?!

Регина. Ансельм, ты отступаешься. Ты выдал Йозефу не меня, а нас обоих! Ведь тогда у тебя хватило смелости. Ты сумел вырваться из каземата рассудка! Сразу, как только приехал! Когда я спросила, как сложилась твоя жизнь, ты прямо сказал: не жизнь, а сплошные унижения. И из тяжелых туч воспоминаний, из этого козлиного стада, вонючее бляенье которого застило мне небеса, грянула молния: терпеть унижения — это и есть мы!

Ансельм. Не говори «мы»! И незачем лнуть ко мне, словно я — это ты! Ненавижу твои унижения!.. Да-да, помню, ты рассказала мне историю про Йоханнеса и я тебя поддержал.

Регина. А верил ты в нее не больше, чем я.

Ансельм. Он несказанно меня растрогал! Этот призрак, который вечно следит, как ты отдаешься другим, был наш призрак. Страх перед одиночеством.

Регина. И страх перед не-одиночеством. Перед чужим взором. Перед грязью! Ты разве не дрожал всю

жизнь, лежа в засаде, и не бросился, как щука, чтобы вырвать у них кусок плоти, прежде чем они тебя поймут? Робкий ты, пугливый. Каждый человек в ужасе подходит к своему собрату, как рыба к покойнику. И у каждого вокруг море!

А н с е л ь м. Ты заразила меня этими своими фантазиями! Я только так на все и смотрел. Будто все симпатии, вся первозданная природа — это лишь страх и гибель.

Р е г и н а. Но у тебя-то сердце замирает всего-навсего от страха перед Томасом и Марией. И от стыда за все, что ты наделал. Ох и скотина же ты! Ансельм! Мы же нереальны! Врем ли мы, нет ли, добры ли мы, испорченны ли — мы живем ради какой-то цели, которую не можем правильно понять. Ты это знал и пожертвовал всей нашей реальностью. В тот единственный миг, когда у тебя хватило смелости!

А н с е л ь м. Все, с меня довольно. То, что так вопиет против рассудка, невозможно сохранить навеки. Оно сейчас нестерпимо лживо и неестественно. Где этот сыщик?!

Р е г и н а (*глядя на часы*). Не знаю.

А н с е л ь м. А, ты просто-напросто гнойная рана, которая не желает заживать!

Р е г и н а. Когда-то у тебя хватило смелости. Опять вернуться к прежнему? Давай лучше пойдем на унижения. Если нет сил стать другим, не притворяться, значит, ты уже не человек.

А н с е л ь м. Где сыщик?! Говори сейчас же!!

Р е г и н а. Шаль, Ансельм! Ищи шаль. Ты ведь пришел за Марииной шалью!

А н с е л ь м. Я хочу знать, где сыщик!!!

Р е г и н а (*снова глядя на часы*). Та-ак, вот ты и опоздал. Йозеф уже на станции, и сыщик прямо на платформе вручает ему папку. (*Не выдержав, начинает плакать.*)

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

На сцене кабинет Томаса. Стены в странных узорах книжных корешков. На заднем плане сбоку — большое открытое окно. Парк. Сгущаются сумерки. Поначалу горит только небольшая лампа.

При постановке этой сцены действуют те же принципы, что и в первом действии. Только мебели здесь мало и она весьма громоздка — душевно тяжеловесна. Поверху и даже кое-где среди книг — звездная ночь.

А н с е л ь м (отходя от открытого окна). Как шумят деревья. Впору подумать: не море ли это?

М а р и я. Мы ждем напрасно, Томаса что-то задержало.

А н с е л ь м. Почему он на самом деле поехал в город?

М а р и я. Он не сказал. Поговорил с Йозефом и сразу уехал.

А н с е л ь м. Встреча была жалкая — а еще праздник называется! От ворот парка и до своей комнаты Йозеф шел по аллее разочарования! По аллее компаративного столетия! Почему тогда Томас не расставил в кустах граммофоны, чтобы они нашептывали любовные клятвы на давным-давно мертвых языках?! Муляжи прекрасных женщин, распадающиеся во прах от первого же взгляда?! Не выпустил на волю своих мышей и лягушек?! Не вывесил в приемной рентгеновский портрет красавицы Регины?! Не увил деревья кишками?!

М а р и я. Фу, мерзость! Как вам не надоест в этом копатья!

А н с е л ь м. Это от злости! *Захоти* я думать как Томас, не веря в бессмертный компонент, — я бы сумел еще лучше. Без конца изрыгал бы грязь! *(Снова идет к окну.)*

М а р и я. И так уж с лихвой хватило. Только все без толку, он сам чувствовал, но был рассеян. Виноваты вы, Ансельм! Вы же обещали заранее с ним поговорить.

А н с е л ь м (*оборачиваясь, на полпути к окну*). Вы говорите, Йозеф вообще не обратил внимания на весь этот антураж, вообще ничего не заметил?

М а р и я. Он сразу сказал: я имею кое-что тебе сообщить, и это в корне изменит твою позицию. Впечатление было такое, будто он ничего не видел и не слышал.

А н с е л ь м. Он сказал: «кое-что *важное*»?

М а р и я. Не помню. Вероятно, да.

А н с е л ь м. Он ведь мог сказать: *ужасное*. Или: *отвратительное*...

М а р и я. Перестаньте себя терзать! Чего ради вы мне-то внушаете, что в этой папке недостойные вещи? Напрашивается подозрение... будто вы хотите меня готовить...

А н с е л ь м. А после Томас вас отстранил? Нельзя было этого допускать!

М а р и я. Не горячитесь. Йозеф хотел говорить с *ним*.

А н с е л ь м. Папка получена от детектива? Томас должен был рассказать нам о ее содержимом, прежде чем ехать в город и заниматься выборочной проверкой правильности информации!

М а р и я. Но кто говорит, что он занят именно этим? По-моему, предполагать такое нелепо и недостойно!

А н с е л ь м (*пренебрежительно*). Он завидует!

М а р и я. Трусит он сверх всякой меры, вот что.

А н с е л ь м. Он завидует моим идеям. И выбрал чисто филистерский путь: задумал меня уничтожить, обвинив в аморальности!

М а р и я. Потому только, что вы секретничаете.

А н с е л ь м. Дайте мне папку!

М а р и я. Я не имею права.

А н с е л ь м. Она здесь, в столе?

М а р и я. Да. Но ключ от ящика у Томаса.

А н с е л ь м. Откройте ящик!

М а р и я. Тайком, не поговорив с ним, я ничего делать не стану. (*Сердито встает, идет к открытому окну.*)

А н с е л ь м (*у стола*). «Не стану, не стану»! Мы в потемках, в безымянном кошмаре — сделайте, как я говорю!

М а р и я. Я не хочу брать на себя вину!

А н с е л ь м. Кружной путь требует мужества. Бездействуя, вы как раз и будете виноваты.

М а р и я. Это же воровство!

А н с е л ь м. По-вашему, все, что ни делаешь, непременно должно быть названо, да еще и вслух. Томасова беда! А действовать надо, не рассуждая, не думая, даже не понимая, — просто делать, и все. Нынче никто действовать не умеет.

Мария отворачивается, но тотчас же опять устремляет взгляд на него.

М а р и я. Где Регина?

А н с е л ь м (*упрямо*). Не знаю... Нет, знаю: сидит запершись в своей комнате.

М а р и я. До сих пор? Плачет и кричит? Никого не выпускает?

А н с е л ь м. Наверно.

М а р и я. Прислушайтесь!.. По-моему, я и раньше слышала крики. (*В смятении отходит от окна.*) Это невыносимо — деревья шумят, так бестолково.

А н с е л ь м. Как вода!

М а р и я. Нет, ветер пробегает по ветвям, будто ногами, — бежит, бежит. Ужасно бестолково.

А н с е л ь м. И все же это происходит? На свете много чего происходит. Будто в пространстве кругом развешаны часы и на всех разное время.

М а р и я. Бежит, бежит, не переводя дух, слышите! Прямо страх берет.

А н с е л ь м. Верно, еще и страх берет! Почему этот листочек, падая, пролетел мимо окна? Не воображайте, что кому-то сие известно. Повсюду на два-три шага впереди — ответ, а дальше — туман. Каждую секунду к вам плывут претензии, факты с красными, зелеными, желтыми огнями и сиренами туманных горнов. Решения надвигаются и уходят в туман. (*Обхватывает голову руками.*) Господи, моя жизнь, если вдуматься, так в ней полным-полно таких огней!

М а р и я. Что это за приступ у Регины?

А н с е л ь м. Малодушие. Нервы... Необузданное бессилие!

М а р и я. А попросту говоря — истерия!

А н с е л ь м. Или распущенность. Не могу я об этом думать!

М а р и я. Вы наверняка знаете: всему виной только эти записки?

А н с е л ь м. Видимо, их у нее выкрали, а они ее компрометируют.

М а р и я. И что там написано?

А н с е л ь м. Я не читал.

М а р и я. А о вас? О вас... там ничего нет?

А н с е л ь м. Ну, разве что какие-нибудь пустяки. Или выдумки, которых я не знаю.

М а р и я. И, стало быть, они здесь, в ящике?

А н с е л ь м. Я же все вам сказал.

Мария, вооружившись связкой ключей, пытается отпереть замок. Стемнело, и Ансельм, чтобы ей было лучше видно, включает полный свет.

М а р и я (*вдруг замирает*). Давайте я с ним поговорю.

А н с е л ь м (*резко*). Нет!.. Вы должны действовать тайком. Должны уехать. Принять решение, схватить его покрепче, чтоб никуда не делось. Представьте себе: в непроглядной черной пустоте вы сжимаете вашу прекрасную руку и вдруг ощущаете в ладони нечто вполне материальное, неожиданное и чудесное!

М а р и я. Неестественно это все. (*Снова умолкает.*) Даже если б вы сказали, что мы будем жить вместе как муж и жена, я и тогда могла бы поговорить с Томасом. А так вроде ничего не делаешь, и все-таки это ужасно... Неужели нам нельзя быть просто друзьями?

А н с е л ь м. Да я ведь ничего и не требую! Поймите, глядя на вас, я еще мальчишкой, чистым, простодушным ребенком, переполнялся счастьем, оно охватывало все мое существо, никакого спасу не было. Это чувство намного сильнее, чем... у мужчины — у мужчины оно локализуется и прорывается, как нарыв.

М а р и я (*с волнением*). Не могу отделаться от мысли, что все это происходит по одной простой причине: вы за что-то ему мстите!..

А н с е л ь м. Поверьте, я пришел в его дом не ради этого. Если хоть кто-то на всем белом свете, точно далекий огонь маяка, заставляет меня грезить о родных пена-

тах, так это он. Если чье-то лицо заключало в себе силу всех человеческих лиц... Но ненависть? Да, может, и ненависть, вопреки всему! Ненависть — может, как раз поэтому? Порой мне кажется, зло можно причинять только тем, кого любишь; иначе оно столь же грязно, как любовь, которую мужчины несут в бордель!

М а р и я. Не дело — говорить о любви, пока вас обуревают яростные, грязные и злые чувства!

А н с е л ь м (с отчаянием). Но как? Как мне это назвать?! Без людей невозможно! Человек не может так вот просто висеть в сетях собственных мыслей, как Томас! Ему нужно побеждать, быть любимым, вдохновляться! Сообща достигать успеха! Это же мучительная потребность?! Не быть одиноким, Мария! Быть одиноким — значит не видеть выхода. Угодить в невыносимую путаницу истин, желаний, чувств! Имейте же снисхождение к обману, злу, лжи, которые понадобились, чтобы унять неопикуемый страх, совершенно вам незнакомый.

М а р и я. Тише! Лучше прислушайтесь, кажется, она опять кричала?

А н с е л ь м. Она кричит без передышки, только слышно не все время.

М а р и я. Но ей нужна помощь. Отчего вы ей не поможете?

А н с е л ь м. А вы?..

М а р и я. К чему вы меня склоняете? Вы совершенно переменились! Уже и меня втянули; я ему сказала, что вы его друг.

А н с е л ь м. Иногда я кажусь себе беглецом, который неудержимо катится в пропасть. Но подумайте сами, сколько горя и страданий существует в мире каждую минуту! Целый океан горя и неуверенности, в котором все мы едва не захлебываемся, — разве так уж важно, завершится ли это, одно из многих, грубо или мягко? Важно лишь, какое место оно займет в нашей мозаике.

М а р и я. Вы полагаете, что состояние Регины не ухудшится, если мы уедем втроем?

А н с е л ь м. Да, но эту папку необходимо уничтожить. Тогда все преувеличенные эмоции потихоньку улягутся. Постепенно произойдет обособление; вы как бы выпрямитесь, я вам обещаю.

М а р и я. Слышите? Опять!

А н с е л ь м (*страстно хватает ее руку*). Вы ведь тоже чувствуете, как она страдает! Как она цепляется коготками, точно котенок, которого хотят утопить!

Вместе подходят к окну.

М а р и я. Как бы она не наложила на себя руки.

А н с е л ь м (*сжимает ее пальцы*). Думаете, такое возможно?! Ну да, я ведь ухожу от нее! И чувствую ее мнимые права на меня, будто ее сердце, ища выхода, трепыхается в моем.

Прислушиваются.

М а р и я. Что она кричит?

А н с е л ь м. «Йоханнес».

М а р и я. Бред какой-то.

А н с е л ь м. Ничего подобного. Она зовет меня. Она всех звала Йоханнес. Увертка такая. Уловка, навязанная правдой!

Похоже, больше ничего не слышно. Мария высвободила руку и вернулась к столу.

Она довела его до самоубийства, вы же знаете; он ведь совершенно потерял веру в себя, поскольку Регина твердила, что любит его исключительно как сестра.

М а р и я (*опять пробуя замок*). Регина? Любит как сестра?! Вы это серьезно?

А н с е л ь м. Да, в ту пору она была именно такая. А он был крайне впечатлителен, куда ранимее, чем Регина.

М а р и я. По-моему, Регине ранимость вообще не свойственна; иначе разве она бы выдержала все то, о чем вы мне рассказали? (*С досадой.*) Ни один ключ не подходит.

А н с е л ь м. Попробуйте этот. (*Дает ей еще один ключ.*)

М а р и я. Нет-нет. Больше не стану.

А н с е л ь м (*тщетно сам пробуя ключ*). Возьму-ка я ножик. (*Открывает перочинный нож.*)

М а р и я. Давайте лучше бросим это занятие.

А н с е л ь м (*отстраняя ее*). Нет, я хочу попробовать! (*Пытается взломать замок.*)

М а р и я (*стараясь помешать ему*). Перестаньте, я больше не хочу! (*Вздрагивает, точно от жуткого крика.*) Ну вот опять!..

Оба прислушиваются.

Нет, это дверь. Томас! Кошмар. Ступайте. Вы слышите? Шаги.

Ансельм быстро прячет нож.

М е р т е н с (*врываясь в комнату*). Господи! Я от мадам Регины, она меня не выпускает! Да вы послушайте!

М а р и я. Ох, я так испугалась!.. Да-да, мы тоже слышали, но что делать-то? Вызывать врача?

М е р т е н с. Нет, она не хочет.

А н с е л ь м. Ясно, что не хочет; все должно кончиться само.

М е р т е н с (*отойдя к окну*). И правда слышно. (*Резко поворачивается к Ансельму.*) Доктор Ансельм! Я вас спрашиваю: что же, вы один не слышите, как Регина плачет?

А н с е л ь м (*раздираемый болью и самоиронией, вне себя*). Да она ведь поет. И не врала: поет мерзость! Не унижение перед свиньями и нимфоманию. Не слабость, и фальшивые увертки, и суеверия, и болезнь, и дурные поступки. Это можно только спеть. На обычном языке именно *так* и было!

М е р т е н с (*едва не онемев от возмущения и удивления*). Доктор Ансельм?!

А н с е л ь м. Мужчины для нее никогда не имели ни малейшего значения, я точно знаю! Она уморила Йоханнеса и вышла за Йозефа — будто управляющего наняла. Но в один прекрасный день начала думать, что непременно загладит хотя бы отчасти свою вину перед Йоханнесом, швыряя другим мужчинам то, в чем отказывала ему. Что ж, иных после смерти и к лику святых причисляли, а желание зачастую становится отцом идеи.

М а р и я. Да замолчите, наконец!

М е р т е н с. Вы пользуетесь вымыслами сверхчувствительной женской совести!

А н с е л ь м. Вы же любите ее? Значит, должны понять: еще ребенком она пряталась в саду, когда мы все разговаривали, заползала под куст и пихала себе в рот землю, камушки или червяков, ковыряла в носу, пробовала на вкус выделения из глаз и ушей. И думала: когда-нибудь из всего этого выйдет что-то совершенно необыкновенное! Что с вами? Вам дурно! Вы же любите вашу свя-

тую. Вашу святую Потифару?! Мужчины — это ведь то же самое, просто — тайна, которую приемлют телом!

М е р т е н с. Вы клеветеете!

А н с е л ь м (*в нервозном отчаянии*). А вы не мучьте меня! По-вашему, я не хочу ей помочь?! Если б только знать — как!

М е р т е н с. Не пустит в комнату — лягу под дверь!.. И я еще сдуру вообразила, что наконец-то вижу утонченную эротическую деликатность! (*Уходит.*)

М а р и я. Как вы могли говорить так грубо!

А н с е л ь м (*взволнованно расхаживая по кабинету*). Хватит с нее. Больше она с нами не поедет, при всей ее любви к Регине. Нет, все ж таки добродетель — штука до крайности неаппетитная!

М а р и я. Но кто вам дал право так компрометировать Регину?!

А н с е л ь м. А зачем она устраивает такой ажиотаж? Зачем поднимает вокруг поездки сюда столько шума?

М а р и я. А разве тайком лучше?

А н с е л ь м. Да! Сто раз «да»! Вместо того чтобы в открытую ратовать за какую-то необычайную справедливость, я всегда предпочту втайне совершить несправедливость; так достойнее. Томас все делает в открытую. Рассудочные натуры всегда откровенны. Но я способен лгать просто потому, что ужасаюсь довольству постороннего человека, свято верящего, что он меня понимает. И не отвяжешься — сверх меры темпераментная женщина и та меньше липнет, а тут словно ненароком увяз в трясиновых мозгах!

М а р и я (*содрогаясь от воспоминания*). Особа, которая так забывается, — самое омерзительное, что только есть на свете.

А н с е л ь м (*меняя тон*). О, не надо упрощать, не настолько все просто. Когда умер Йоханнес, Регина неделями ничего почти не ела; сгрызет за день одно-два печеньца, и все. Таяла на глазах, хотела добиться неземного с ним единения. Очень это было красиво, очень впечатляюще. Пылкая страсть. Она любила, но не его, а просто — любила. Сияла! Однако затем явилась реальность, которая — на радость Томасу! — всегда права; эти тысячи и тысячи часов, которые человек должен как-то провести и как-то проводит. И каждый оставляет по крохотной оспинке: видишь, было и прошло. И вдруг все

лицо начинает от них безмолвно кричать: конченный человек! Вы даже не догадываетесь, сколько людей гибнут от того, что умудряются жить! Но мы теряем время, вы ведь хотели попытаться открыть замок.

М а р и я. Договаривайте, тогда я вам отвечу.

А н с е л ь м (*с минуту глядя на нее недоверчиво-испытующе*). Да! Я это могу понять!.. Я знал, что вы этого ждете. Могу понять, что в ту пора всякая измена, которую она совершала в своей жизни, казалась ей преданностью в сравнении со всем другим. Всякое внешнее унижение — внутренним возвышением. Она украшала себя грязью, как иная — макияжем. И это по-своему красиво!

М а р и я. Нет!! (*Смотрит на него недоверчиво-испытующе, потом далеко отбрасывает связку ключей.*) Все, больше я этим не занимаюсь!

А н с е л ь м (*решительно*). Ну что ж, тогда давайте я. (*Опять вынимает перочинный нож.*)

М а р и я. Нет, я этого не потерплю! Что-то вы утаиваете, не хотите мне открыть, а оно связывает вас с Региной! (*Укрывается в кресле за письменным столом.*)

А н с е л ь м (*расхаживая перед нею туда-сюда, иногда в возбуждении останавливаясь*). И что же это, по-вашему? Слышите, она опять начала... Сидит одна-одиношенька в звездном океане, в звездных горах, а говорить не может. Только и способна корчить безобразные гримасы, маленькая злючка Регина... Гримаса изнутри тоже целый мир, без соседей, с одной лишь своей музыкой сфер, раскинувшийся в бесконечность... Она не умела говорить с жуком и совала его в рот; не умела говорить сама с собой — и пожирала себя. И с людьми она никогда не умела говорить, а все же испытывала... эту чудовищную потребность объединиться с ними всеми!

М а р и я. Нет, нет, нет, нет!!! Это ложь!

А н с е л ь м. Да поймите вы, ложь — это исчезающая среди чужих законов ностальгия по сказочно близким краям! Она душевно ближе. И, вероятно, честнее. Ложь не правдива, а в остальном она — всё!

М а р и я. Но ведь эти выдумки про Йоханнеса до омерзения фальшивы!

А н с е л ь м. Так она и не верит в них. Да, Мария, не верит. Как не верит и в то, что есть смысл кричать. Но кричит. И чувствует себя тайной, которая не умеет разъ-

ясниться и выражает эту свою неспособность криком — последним, случайным, фальшивым средством, какое у нее осталось. В нем заключена огромная человеческая беда, быть может, наша общая беда!

М а р и я (*вскакивая*). Не могу больше слушать! (*Неясно, что она имеет в виду — речи Ансельма или крики Регины, видимо возобновившиеся.*) Кошмар с этой чувственностью! (*Хочет подойти к окну, но Ансельм стоит на дороге, и она обеими руками цепляется за него.*) Уезжайте, уезжайте вместе с нею!

А н с е л ь м. Нет. Не могу. Сопровождать меня — еще некоторое время — я бы ей позволил. А теперь дайте мне ключи.

М а р и я. Я сейчас впервые до вас дотронулась, а должна с вами бежать, нет, это чересчур смешно!

А н с е л ь м. Доверьте мне ключи.

М а р и я. Нет... Я не могу вам доверять!

Ансельм хочет поднять ключи, Мария, опередив его, завладевает ими; секунду-другую между ними происходит что-то вроде рукопашной.

А н с е л ь м (*схватив руку Марии, проводит ее ногтями по своей шее, губам, глазам*). Дотроньтесь до меня! Сделайте мне больно! Вот тут! И тут! Возьмите нож, вырежьте на мне знаки, точно на дереве! Раз уж не верите! Терзайте меня до беспамятства, тогда вы сможете делать со мной все что угодно.

М а р и я (*вырываясь*). Вы похожи на скверного мальчишку, который упорно добивается, чтобы я его соблазнила.

А н с е л ь м (*бросаясь в кресло*). Я ничего не добиваюсь... кроме позволения отнести за дверь ваши туфли. Почистить ваши юбки. Дышать воздухом, который побывал у вас в груди. Быть постелью, которой дано хранить отпечаток вашего тела. Жертвовать себя вам! Вся прочая реальность блекнет перед этим.

М а р и я (*протестуя и успокаивая*). За все время нашего знакомства мы видели только лица и руки друг друга.

А н с е л ь м. Но когда минуту назад я нечаянно обнял вас, мне почудилось, будто вдали от всего, что происходит, моя жизнь могла бы без всяких объятий оберегать вашу, прикасаться к ней. (*Опять берет Марию за руку.*)

М а р и я (*нерешительно*). Мы уже не так юны.

А н с е л ь м. Это всего-навсего означает, что Томас совершенно вас поработил. Оказывается, уже чуть ли не аномалия какая-то, если люди вдруг сближаются иным путем, отличным от того, что сродни процессу еды и пищеварения. Я хочу обладать вашей жизнью. Приобщиться благодати вашего бытия!

М а р и я. Но отчего бы тогда понадобилась именно женщина?!

А н с е л ь м. Оттого что вы — женщина. Оттого что вы еще и женщина — это необычайно притягательно. Оттого что ваши юбки влекут по полу колокол незримого!! (*Роняет голову на руки, прячет лицо.*)

М а р и я. Нет, нет, это фантазии, Ансельм...

А н с е л ь м. Я не знаю, что еще сказать, отдайте меня в руки Томаса!

Желая, чтобы Ансельм поднял голову, Мария касается его руки. Он неподвижен. Она присаживается на подлокотник.

М а р и я. Ансельм, все, что вы говорите, до ужаса неестественно. Детские игры. Забытые, отброшенные за ненужностью.

А н с е л ь м (*приподнимая голову*). А ведь вам нельзя безразлично все это «ценное», «важное», что вы сейчас делаете.

М а р и я. Нет-нет!.. Да... Но я не хочу!!

А н с е л ь м (*выпрямившись*). Какой-то части вашего существа просто нет до этого дела, но и чтоб по-настоящему жить, вам не достало храбрости! Такую жизнь, как теперь, вы бы раньше презирали.

М а р и я. В ту пору проспишь, бывало, два лишних часа и думаешь: нет, их уже никогда не наверстать, и даже спустя много дней болезненно ощущаешь потерю. Тут вы правы. Мы тогда чувствовали, что существуем. Ели мало, телу особых поблажек не давали. Иногда я изо всех сил старалась задержать дыхание. Но на самом деле это было совершенно безрезультатно. (*Все это время она что-то чертит на листе бумаги.*)

А н с е л ь м. Безрезультатно? Утром без двадцати девять вы обычно шли в парк. Как сейчас вижу стрелки часов в моей комнате. Я брал одну из книг, в которых вы написали ваше прекрасное имя, и обводил кон-

туры букв, точно повторяя в пространстве движения вашей руки. А потом бежал за вами.

М а р и я (*вставая, решительно*). Ребячества! Теперь они совершенно ни к чему.

А н с е л ь м (*вскакивая*). Это были поступки! Незъяснимые формы дружбы. Ведь поступки — самое свободное, что только есть на свете. Единственное, с чем можно делать что угодно, как с куклами. Мир фантазий, непостижимым образом обретший пространственность! (*Вновь будто напуган воспоминаниями.*) Ведь все, что с нами происходит, не поддается понимаю, и только делая что-то сами, мы в безопасности, даже когда вокруг непостижимое.

М а р и я. Узнаёте? (*Показывает ему свой рисунок.*)

А н с е л ь м (*отрывисто, едва ли не с досадой*). Сахарная голова? Ангел?

М а р и я. Закройте окно. Мне все кажется, что туда кто-то лезет.

А н с е л ь м (*угадывая возможное преимущество*). Сперва скажите, что́ это.

М а р и я. Кое-что из тех самых времен. Я тогда по памяти нарисовала ваше лицо, выглядело оно не лучше вот этого, а в утешение мне хотелось сделать вам приятное, и я изобразила себя в ночной сорочке.

А н с е л ь м быстро захлопывает окно, чтобы воспользоваться ситуацией. В тот миг, когда окно закрылось, совсем рядом слышен стук двери.

(*Словно застигнутая с поличным.*) Это Томас! Уходите! (*Зачем-то гасит свет.*) Уходите, я больше не могу! Нет, останьтесь, включите свет, я уже все порвала. Он знает этот рисунок, я ему рассказывала. Да включите же свет!!

А н с е л ь м (*в замешательстве*). Не найду выключатель...

Т о м а с входит в темную комнату и, поскольку более-менее светло только у окна, идет туда, предполагая, что Ансельм и Мария в самом темном углу.

Т о м а с. Есть тут кто?

А н с е л ь м. Я. Добрый вечер, Томас.

Т о м а с. Ты один?

А н с е л ь м. Нет, с Марией, мы ждали тебя. (*С деланной легкостью.*) Заболтались, а теперь никак не найдем выключатель. (*Шарит по стене.*)

Т о м а с. Зачем? В темноте хорошо...

Пауза.

Что ж вы не продолжите свою беседу? Я опять помешал?.. Продолжайте, ради Бога! О чем вы говорили? Если не секрет.

М а р и я. Все не очень-то и хорошо, Регина плачет.

Т о м а с. И Ансельм ждал меня тут, чтобы этак вот объяснить, почему не пришел ко мне.

М а р и я. Я зажгу свет.

Т о м а с. Не надо, прошу тебя. Ты даже не представляешь себе, как это странно — двое мужчин впотьмах. На глаз не различишь. Но ухо еще не слышит, что оба говорят буквально одно и то же. Уверяю тебя, так оно и есть. И думают одинаково. И чувствуют. И хотят того же. Один раньше, другой позже, один размышляет, другой действует, один лишь слегка задет, другой поражен. Но преследуемый или сыщик, пылкий ум или холодный, правдолюбец или лгун, — кто бы ни был, ты вечно все в той же карточной колоде, только иначе перетасованной и разыгранной.

М а р и я (*словно бы в ужасе желая спросить: ты пьян?*). Томас, ты...

Т о м а с. Что — «Томас, ты»? Друзей имеешь для того, чтобы не впасть в тщеславие. Не дай себя обмануть. Из-за несходства люди друг друга не убивают, это заблуждение. Сходство — вот в чем ужас. Зависть — ведь так хочется быть иным, хоть ты вклеен в *тот же* блокнот. Согласись, Ансельм!..

Молчание.

О, лишь тьма и молчание. (*Ждет.*) А вон там, в ящике, у меня пистолет. Ты с детства стремился превзойти меня силой. А если я сейчас выстрелю? В это черное пятно среди темноты прицелиться нетрудно... (*Ждет.*)

Молчание.

Конечно, держишься ты хорошо. Стыскиваешь зубы. Не даешь себе слабину. Чтоб Мария поверила, будто твои чувства способны пережить смерть... Слышишь? Я повернул ключ... Открыл ящик... Еще минуты две — и я

с тобой покончу, размажу твои мозги по стене!.. (Ждет.) Если не отзовешься прежде, чем я досчитаю до ста, все, тебя нет. Раз... два... Ты был просто выдумкой, о-о, какое счастье. Три... Он же ничегошеньки не создал! Ползает вокруг и отирается о людей. Понимаешь, Мария, ему нечем утвердиться, оправдать себя, оттого он и жаждет любви, как актеришка. Но ведь его можно любить? Или нет? Можно, да?!

М а р и я. Томас, что за фантазии?..

Т о м а с. А-а, думаете, мне духу не хватит. Но ведь он отнял у меня место в жизни...

М а р и я. Ты сам этого хотел!

Т о м а с. Ты права, права, хотел! (Видно, как он встает и подходит к тому месту, где предполагает Ансельма.) И все теперь как в собачьем мире. Дело решает запах, который ты чуешь носом. Запах души! Тут — зверюга Томас, там — зверюга Ансельм. Они и для себя самих ничем не выделяются, кроме тонкого, как бумага, ощущения обособленного тела и стука крови внутри этой оболочки. Разве у вас нет сердца, чтобы это понять?! Разве это не толкает нас к смерти или... в объятия друг друга?!

М а р и я (испуганно вскочив и заступая ему дорогу). Томас, ты пил?!

Т о м а с (чиркая спичкой). Посмотри же на меня! (Пытается при свете спички высмотреть Ансельма.)

Мария включает свет. Ящик открыт, но Томас безоружен.

(Все еще не находя взглядом Ансельма.) Только посмотри на меня...

Ансельма в комнате нет.

Ушел? Беззвучно исчез?... Беззвучно явился! Что между вами было?

М а р и я (с жаром). Ничего!

Т о м а с. Ничего? Так это и есть все! Я знаю, ты никогда не скажешь мне слова лжи. Ничего не шевельнулось, но вся Земля движется, со всем, что на ней есть.

М а р и я (твердо). Правда ли, что ты ездил в город, чтобы удостовериться в справедливости этого... досье?

Т о м а с. Йозеф слышал, как я подъехал, у нас мало времени. Ансельм ко мне не пришел. Я бы открыл ему свое сердце, а он даже не удосужился прийти!

М а р и я. Значит, правда... (Решительно.) Дай мне это досье, я его сожгу!

Т о м а с (поначалу глядя на нее в безмолвном волнении). Благородная идея! Поистине Ансельмов размах! Я, конечно же, ничего тебе не отдам.

М а р и я. Ты тайком строишь козни против Ансельма. Позволяешь Йозефу оставаться в доме, а это невозможная ситуация. Едешь в город, пока он сторожит дом. И всё — не спросив меня. Ансельм мой друг, равно как и твой: я не согласна, чтобы с ним здесь так обращались!

Т о м а с. Хорошо, я отдам тебе папку. Но сначала выслушай меня, без предубеждения. Если ты и после этого не передумаешь... я отдам ее тебе. Почему он не пришел ко мне? Потому что ему есть что скрывать: он обманщик!

М а р и я. Но ты же всегда так говоришь. А потом заявляешь, что он ближний не-человек!

Т о м а с. Тем не менее он разыгрывает перед тобой комедию. Почему? Почему Йоханнес покончил с собой?

М а р и я. Этого никто из нас не знает.

Т о м а с. Да?! Потому что доверился Ансельму.

М а р и я. Скорее уж, потому что его мучила Регина. Продолжай!

Т о м а с. Там, в ящике, возможно, есть улики. Но дело не в них, говорю тебе. Выслушай меня! Я ведь хочу, чтобы ты наконец сама поняла! Йоханнесу — как и всем нам — недоставало той дурацкой капли доверчивости, без которой ни жить нельзя, ни восхищаться друзьями, ни находить их, той легкой капли глупости, без которой не станешь толковым человеком и ничего не достигнешь. Любой человек, любое дело, любая жизнь всегда имеют где-то трещинку, паз, который только заклеен. Забран!

М а р и я. Стоп! Значит, без капли глупости и любить нельзя? И все надтреснуто, если ты умен и не веришь? Продолжай.

Т о м а с. Нет, так продолжать нельзя! Иногда мне кажется, что мы могли бы стать новыми людьми; иногда я просто готов сломаться. Я же обвиняю себя, Мария! Все, что я делал, — это грубое насилие! Бесцеремонное затаптывание трещин. Только не воображай, будто Ансельм лучше! Йоханнес, возможно, был лучше. По крайней мере с твоей точки зрения. Он был слабый. Хруп-

кий. Думал, какой-то другой человек поможет ему это преодолеть. А Регина была плохим помощником — чересчур любопытна и не пресыщена жизнью; дверца, не желающая закрыться. Так он пришел к Ансельму. И тот вроде бы принял в нем участие. Но лишь еще сильнее углубил его малодушие и заодно подогрел Регинино нетерпение. Ансельм использовал обоих — в своих целях! Пока силы у Йоханнеса не иссякли!

М а р и я. Но зачем бы ему все это?

Т о м а с. Зачем? Затем, что он сам мучится, как Йоханнес! Нуждается в оправдании и в людях! А неудачнику для оправдания себя необходимо быть любимым. Он крадет любовь, он вламывается, как грабитель, и похищает ее, если надо. Но... получив ее, не знает, что с нею делать. Еще в университете...

М а р и я. О, там все было иначе.

Т о м а с. Н-да, он неплохо успел тебя обработать. Но неужели ты не замечаешь, что он — как все люди, которые вечно кого-то любят, — интересуется только собой? Что его магнитом тянет к каждому новому человеку... это как болезнь... он непременно должен подольститься и навязаться в друзья.

М а р и я. Допустим, он совершает опрометчивые поступки. Но он участлив. А участие идет изнутри, как родник.

Т о м а с. Не клюй ты на его удочку. Это все равно что фасоны и мистификации медиумов, давно вышедших из транс. Он не любит, он ненавидит каждого человека, как обвиняемый ненавидит судью, которому поневоле врет!

М а р и я. Да о чем ты говоришь? Не чувствуешь разве, что все это умозрительные конструкции?

Т о м а с. А ты не чувствуешь, что любое твоё возражение для меня мука?! Обманными посулами он приманивает людей, потому что поневоле один-одинешенек дрейфует в бесконечности на собственной доске!.. Ты меня не понимаешь. Но неужели не замечаешь, что ты и я — безумец, каким видишь меня ты, — жалкое тому подтверждение?!

М а р и я. Но все эти твои заявления — они подтверждаются бумагами в досье?

Т о м а с. В досье?.. (*Медлит, пересиливая себя.*) Нет... Я ведь только и говорю: допустим. (*Безнадеж-*

ным тоном.) Тут ничего не докажешь, нужно просто верить.

М а р и я. Но это же смешно, Томас, бедняга.

Т о м а с. Смешно в моих устах, а сделай это он — вы бы сказали: родник.

М а р и я. Ты же сам целыми днями рассказывал мне о нем, когда его здесь не было, когда его ждали. У него, говорил ты, есть то, чего нет у тебя. Простая связь с людьми через интерес, без борьбы и труда! А теперь ты позволил себя завести; нет, ты сам заводишь Йозефа! А тут еще и Ансельм. Тебе словно позарез надо опять его очернить. Уперся, как скала, благо силы предостаточно. Дай сюда папку, я ее сожгу — ради тебя же самого!

Т о м а с (*отпрянув назад*). Нет-нет, не сейчас! Сейчас уже нет времени, я слышу голос Йозефа. Иди, иди к нему! Прошу тебя, пойдй к нему еще раз! (*Теснит ее к двери.*)

М а р и я. Не хочу я идти к нему! Я хочу говорить с тобой!

Т о м а с. А я не могу тебя слушать! Иди к нему! Ну, хотя бы... посмотри на него и подумай о том, что я сказал.

М а р и я. Нет...

Поскольку в другую дверь входит Й о з е ф, она не может продолжать и уходит.

Й о з е ф (*он в черном, на лице похоронная мина*). Ты слишком тянешь с решением, а я здесь в совершенно невыносимой ситуации. Регина по-прежнему глуха к моим увещаниям, она ведь и на письма не отвечала. Видно, мало еще испытывала мое долготерпение!

Т о м а с. Уезжай, пусть время само все рассудит!

Й о з е ф. Ты убедился в истинности моих аргументов?

Т о м а с. Да. (*Вынимает из ящика Штадерову папку, кладет перед собой на стол.*)

Й о з е ф. Регина вряд ли сознает, что значит поразить мужчину в самое его существо. Но этого патологического лжеца, этого мошенника необходимо обезвредить!.. Сперва я думал: ну ладно, увеселительная поездка, нервный каприз... этот внезапный уход без всякого предупреждения. Я был готов примириться и с этим неприличием. Регина ведь всегда была мрачная, неприветливая, этакая

святая не от мира сего. Ты понимаешь, здесь есть и свои положительные стороны: она была не способна выказать интерес, теплое отношение к мужчине. Но тут... я искал объяснения, доброго слова, а вместо этого — коротенькое извещение, что она уехала к сестре... а потом обнаружил эту книжку, полную омерзительнейших письменных излияний, которые попросту не укладываются у меня в голове!..

Т о м а с. Они написали, что едут сюда, поскольку тут вместе с ними жил Йоханнес?

Й о з е ф. Это Регина писала, но я убежден: под его диктовку. Иначе ведь глупо давать мне в руки оружие: выходит, она все время меня обманывала! Чтобы остаться подле Йоханнеса! Ты можешь это понять?!

Т о м а с. Да.

Й о з е ф. Можешь?! Ну да, вы все такие: лишь бы идея была сумасбродной, тогда вам перед ней не устоять!

Т о м а с. Здесь я могу представить себе мотив. Нечто вроде ностальгии.

Й о з е ф. О, она, поди, тоже что-то себе «представляла»: ведь все это наверняка вранье! Холодная, целомудренная Регина — вот где преступление, вот где начинается непонятное. Годами хранить живую память о покойнике, вопреки... у нас же был счастливый брак! Ну хорошо, с этим бы еще кое-как можно примириться, хоть это и взбалмошность; тут даже есть благородство, конечно весьма и весьма взбалмошное. Ну сам подумай: верность? Это же ненормально! Да и насквозь фальшиво! А тем паче скабрёзности, так сказать жертвоприношения усопшему? По сути, непрерывная, многолетняя цепочка супружеских измен?! Не говоря о животной чувственности, одна только грязь секретов и лжи: можешь ли ты представить себе, что такой робкий, взыскательный и — это я говорю тебе как ее брату! — нечувствительный человек, как Регина, способен на подобные вещи?

Т о м а с. Пожалуй, нет, это плохо вяжется с ее гордостью.

Й о з е ф. А гордости в ней хоть отбавляй! Иной раз даже слушать неловко, с каким высокомерием она судит о посторонних. Вот тут-то этот малый и взялся за дело. Я убежден, так он хотел перестраховаться от всяких случайностей.

Т о м а с (*тоном человека, который при всем старании ничего не понял*). Но зачем он ей это внушал?

Й о з е ф. Чтобы нанести удар мне!

Т о м а с. Разве эти записки были адресованы тебе?

Й о з е ф. Нет. Регина до ужаса рассеянна, она просто оставила бумаги в ящиках... Но в конечном счете они, разумеется, были адресованы именно мне. Вероятно, он умышленно все подстроил, этот прохвост! Потому что выводы моего детектива... знаешь, малый изрядно тщеславен, и все его научные методы, конечно, полная чепуха, но в ловкости ему не откажешь... и его выводы подтверждают: Ансельм подмазывается к людям. Я, например, раньше терпеть его не мог, но он так мягко и кротко играет на твоих слабостях, выманивает твои мысли, что невольно думаешь, будто никто еще так тебя не понимал. И все затем, чтобы, вынюхав все твои уязвимые места, расчетливо нанести жестокий удар. Для этого он не раз даже фальшивыми именами и документами пользовался. Выдавал себя за дворянина, за богача или бедняка, ученого или простака, апостола натуропатии или морфиниста — смотря как было удобнее, чтобы облапошить неопытную и, однако ж, о чем-то смутно подозревающую душу. Как тебе известно, там есть истории, которые могут стоить ему головы.

Т о м а с (*вставая*). Но как ты это объясняешь?

Й о з е ф. Болезнь. Он опасно болен. Но это никоим образом не снимает с него ответственности.

Т о м а с. Я без конца думаю об этом и не могу понять.

Й о з е ф. Говорю тебе: социально опасный больной. Он нарочно подверг Регину внушению. Меня он давно ненавидел, не знаю за что, ничего плохого я вам никогда не делал; одна эта ненависть уже симптом болезни! А с какой патологической изощренностью все продумано; достаточно только поднапрячься и выстроить все в логическом порядке. Выходит так: пока она верит в Йоханнеса, ей можно делать что угодно. Ведь он, безвременно умерший, не что иное, как ее собственная судьба. Да-да, не память, не греза, это еще худо-бедно доступно пониманию, а так... (*Прямо-таки берет каждое слово в руки, точно непостижимый механизм.*) ...то, чем она хотела стать, ее вера в себя, освобожденная от реальности иллюзия о себе! Она... сама... только хорошая... добрая! Отсюда долж-

но бы по крайней мере следовать, что она желает делать добро. Но как-то невпопад! Мол, чем хуже она станет, тем больше приблизится к Йоханнесу! Ибо человек-де тем нормальнее, чем больше он себя теряет! А терпеть унижения — участь духа во всем мире! Унижения, это, понимаешь ли, уже я; отчего мне отказано в духе, не в пример Ансельму, который ничего не совершил, я не знаю. Клянусь, по своей инициативе Регина никогда бы ничего подобного не сделала. Но единожды доведенная до предела, она волей-неволей винит себя во всех тяжких! Таким образом он рассчитывал обеспечить себе отступление. Но я не настолько глуп. Если он велел ей написать, что она-де воспылала к нему страстью и решила соблазнить, а сам он желал только руководствовать ее душой и скорее отколотил бы себя и пригрозил бы самоубийством, чем допустил то, что «я и другие ценим превыше всего», — так вот у меня сразу возникло определенное подозрение, а он со своим сочинительством попал мимо цели... (*Доверительно.*) Здесь отражается лишь его собственный ненормальный настрой.

Т о м а с. Но позволь, в сущности Ансельм ничем от нас не разнится; просто он сдвигает акценты.

Й о з е ф. Впору тебе посочувствовать. Он ведь, кажется, и вправду боится... ну... гм... зайти чересчур далеко. Конечно, такое не очень-то укладывается в голове. Тем более что у него есть жена. Но, как правило, он, похоже, в самом деле испытывает при этом необычайное потрясение. Вместо женщины с ним вдруг фамильярничает человек! В нем разражается экзальтированный кризис, отсюда и эти патологически злобные поступки. Он предпочитает внушать ей, что она должна «терпеть мои притязания», пусть даже ценой его «страданий»!

Т о м а с. Значит, ты совершенно уверен, что для него речь идет исключительно о дружбе. Конечно, тогда можно ненароком и преступить границу.

Й о з е ф. Штадер — детектив, ну, ты знаешь, — выдвинул замечательную теорию: если б дело зашло дальше, они бы никуда не уехали. Ведь в подобных случаях опасаются шума... И клянусь, будь он по крайней мере мужчиной, я бы знал, что делать! Но он извращенец, психопат, тряпка, баба! (*Расхаживая туда-сюда, пытается успокоиться.*) А ты, Томас, ты доверчиво любишь

женщину, она же, заразившись этой дурью, отдает твою честь на поругание тому, кто ее этой заразой наделил...

Т о м а с. В письме я готовил тебя к встрече с почти непредсказуемыми людьми.

Й о з е ф. И выставил меня ретроградом, в твоей совершенно никчемной моральной теории; занялся не своим делом — и вот, изволь видеть, практический результат. Хотя, по-моему, ты стыдишься этого промаха; факты принесли мне больше удовлетворения, чем все твои потуги. Ведь тем временем ты успел убедиться, что сведения правильные?

Т о м а с. Да. То, что я смог перепроверить, соответствует действительности.

Й о з е ф. А на такой случай ты обязался указать ему на дверь.

Т о м а с. Да. Обязался. *(После недолгой борьбы с собой.)* Но не могу. Именно теперь ему нельзя уезжать. Он должен еще остаться. Не дави на меня. *(Кладет папку обратно в ящик.)*

Й о з е ф *(удивленно смотрит на него; опять расхаживает по комнате)*. Ты меня правильно понял? Я вовсе не отрекаюсь от правомочий, какие мне дает закон. Я медлил только с оглядкой на тебя и из отвращения к семейному скандалу... Я требую, чтобы ты перед женщинами отступился от него и отказал ему от дома.

Т о м а с. Ценю твою доброту... но я так не могу.

Й о з е ф. Хорошо... Однако с меня это не снимает обязанности навести порядок. Верни мне бумаги.

Т о м а с *(наконец совершенно решившись, запирает ящик и вытаскивает ключ)*. Нет. Извини. Не могу.

Й о з е ф *(ошеломленно)*. Выходит, ты вправду питаешь к нему симпатию!.. Так всегда и начинается. *(Переборю себя.)* Он здесь, чтобы обмануть тебя и Марию, точь-в-точь как обманул меня и Регину!

Т о м а с. ...Знаю. Но... по-твоему, все так просто? Действительно точь-в-точь?

Й о з е ф. Ты не все знаешь.

Т о м а с. Но это неправда! Не мог он приехать, чтобы причинить мне зло!

Й о з е ф. Простак! Заносчивый простак! Думаешь, обыкновенная правда не для таких, как ты; ты признаешь факты, только если они вдобавок еще и «высшая правда»!

Т о м а с. Пожалуй, как раз это я и имел в виду. Даже если ты докажешь мне, как дважды два, что Ансельм хочет меня обмануть, и Мария тоже, — это все равно не может быть правдой! И не может быть ложью! Тут что-то другое, выходящее за рамки этих понятий.

Й о з е ф. Оказывается, ты тоже приворожен и зачарован. Хорошо. Тогда я остаюсь.

Т о м а с. В каком смысле?

Й о з е ф. Остаюсь здесь, в твоём доме. Ты ведь не укажешь мне на дверь, коль скоро открываешь ее перед этим прощельюгой.

Т о м а с (*в замешательстве*). Нет, конечно... но так же нельзя.

Й о з е ф. Клянусь, я никуда не уеду, пока не заставлю этого «охотника за головами»... вот-вот, самое подходящее для него название!... я не уеду, пока не заставлю его публично, при всех, лизать мои ботинки! Сам увидишь, он это сделает, он умнее вас! Не устоит, как только смекнет, о чем речь!

Т о м а с (*горько и все более взволнованно*). Потом ты пожалеешь об этом. Вроде ничего и не произошло, но все же... отказа отрицать нельзя. Ты захочешь поговорить с Региной, а она станет тебя избегать. Будешь доказывать ей свое, а она просто не станет слушать. Пойми: это душевная глухота. Ты пальцем ткнешь: смотри, он прохвост! — а она не увидит. Ты рассудок потеряешь, на самом деле перестанешь понимать, говоришь ли ты бессмыслицу или твои слова попросту пропускают мимо ушей!!

Й о з е ф. Я добьюсь, чтобы меня слушали. У меня нет ни малейшего желания задним числом упрекать себя в том, что по собственной нерешительности я стал соучастником. (*Уходит.*)

Т о м а с (*в мучительном раздумье расхаживает по комнате*). Ты думаешь, долголетняя совместная жизнь — это нечто духовное. Потом является другой, ничто не изменилось, только все, что делаешь ты, не имеет значения, а все, что делает он, исполнено смысла. Твои слова, которые прежде проникали вглубь, теперь незамеченные летят мимо цели. Где душа, порядок, духовный закон? Чувство общности, понимания, волнения? Правдивое, реальное чувство? Бездна молчаливого одиночества снова заглатывает их!

М а р и я (*осторожно входя*). Я не была уверена, что ты один. И ждала.

Т о м а с. И... слышала?

М а р и я. Я не прислушивалась. Незачем мне знать, о чем вы здесь говорили. Давай папку.

Т о м а с (*отшатываясь, словно от неотвратимой опасности*). Значит... Значит, это правда?

М а р и я. Я еще раз говорила с ним об этом. Он потихоньку проникается ко мне доверием. Пусть он будет моим другом. Тем более что он плохой.

Т о м а с. Значит, правда... А что я тебе говорил?

М а р и я. Если б ты сам в это верил, ты бы взялся за дело иначе, не только изнутри. (*С отчаянием.*) Зачем ты во все это влез? Затем, что, по-твоему, он на меня влияет. Да, влияет; а что, разве это запрещено?

Т о м а с. При чем тут запреты? Он способен, он умеет влиять, Мария! Ну взгляни же на меня — что изменилось? Ты теряешь штопальный грибок, милую, круглую вещичку, на которой иной раз штопаешь чулки; а через несколько дней, найдя на улице, ты едва его узнаешь: все, что в нем было от тебя, истаяло — осталась только деревяшка, смешной маленький остов. Вот так и ты — возвращаешься как дитя его духа, все в ошметках мерзости этого чужого лона!

М а р и я. Ты непреклонный, жестокий человек.

Т о м а с. Скажи уж: завистливый. Скажи: полный ненависти. Мне хочется выжечь крепчайшими кислотами это чужое существо, которое сражается со мною, при том что мы и схватить друг друга не можем! Я застаю его в твоих мыслях, а значит, я еще более одинок и заброшен, чем если б застал его в твоей постели.

М а р и я. Ты непреклонен и ревнив; требуешь, не желая ничего дать взамен. Мне что, дозволено слушаться только тебя? Разве ты всегда прав?

Т о м а с. Где уж мне! Иногда я вообще не понимаю, почему ты была со мной, а не с ним. Есть во мне что-то упрямо неисправимое, оно оберегает тебя, как мать оберегает радость ребенка, и, когда ты приходишь от него, это что-то, до одури счастливое в своей боли, чувствует какую-то свежесть, новизну.

М а р и я. Вот видишь, ты делаешь все это, собственно, отнюдь не ради меня, ставишь под удар наше существо-

вание, треплешь нервы. Просто ты якобы чувствуешь, будто он меня — не желает, нет! — ценит выше, чем ты!

Т о м а с. С тех пор как это началось, ты знай твердишь, что никакой любви тут нет, есть чисто духовное переживание...

М а р и я. И это правда.

Т о м а с (с мўкой). А я почти с тех же пор привожу доказательства, что его внутренние переживания — подделка. Но ты веришь ему, а не мне. Как просто — и как ужасно.

М а р и я. Я все еще верю в тебя. А во что ты это превратил?! Во что-то недоделанное. Расплывчатое. Чему любое новшество грозит бедой. А взамен предлагаешь неопределенную общность — этакие попутчики в одном купе. Ни обязанностей, ни страсти! Не хочу я думать! Быть чем-то можно и по-другому! Томас, ты сам связал себя по рукам и ногам, сам дергаешь себя в разные стороны, трясешь! Ты стыдишься тех часов, когда ты не думаешь, когда приходишь ко мне, потому что не хочешь думать, больше чем обнаженный в эти позорно «слабые» часы, когда нутро выворачивается наружу. Что ты с нами сделал? «Ты» и «тут», «кошки-мышки», «кис-кис, малыш и девочка»!

Т о м а с. Замолчи! Замолчи! Сил нет слушать!.. Разве ты не чувствуешь в этом невероятно беспомощного доверия? Все, что какой-то человек способен тебе дать, заложено в сознании, что ты не заслуживаешь его любви. Он считает тебя доброй и хорошей, а что сам он добрый и хороший, вовек ничем не докажешь. Он, не умеющий проявить себя ни словом, ни мыслью, ни делом, забирает тебя целиком. Он просто здесь, занесен ветром, для тепла, чтобы ободрить тебя и внутренне укрепить! Ты ведь так чувствовала?! Ты всегда была другая?

М а р и я. Ты еще и гордишься этим! Из-за тебя я утратила мужество быть самой собой!

Т о м а с. А Ансельм дает тебе поддельное!! Тебя ждет огромное разочарование!

М а р и я. Возможно, и поддельное. Но я имею право на то, чтобы мне внушали: все именно так! Чтобы — пусть это и не более чем обман! — росло нечто сильнее меня. Чтобы мне говорили слова, которые правдивы потому только, что я их слышу. Чтобы меня вела музыка, гармония, а не замечания вроде: не забудь, здесь надо ото-

драть клочок засохшей кишки! Не потому, что я дура, Томас, а потому что я человек! Точно так же я имею право на то, чтобы текла вода, и камни были тверды, и в подол моей юбки был зашит тяжелый шнур — чтобы юбка не задиралась на ветру.

Т о м а с. Мы говорим мимо друг друга. Суть одна, только у меня это — Томас, а у тебя — Ансельм.

М а р и я. И таков весь твой ответ? Никогда, никогда нет ничего большого, волнующего, необходимого, хватающего за руку! Ты даже не забираешь меня от него.

Т о м а с. Невозможно никого забрать оттуда, где он находится. Но тебя (*ищет слова и ничего лучше не находит*), тебя ждет несказанное разочарование.

М а р и я. Сообщи мне, когда узнаешь поточнее! Не оставляй меня совсем одну!

Т о м а с. Доказать ничего не докажешь.

М а р и я (*упрямо*). По-моему, единственная улика за и против всякого человека — это возвышаешься ты рядом с ним или опускаешься.

А н с е л ь м (*в крайнем возбуждении врывается в комнату; нетерпеливо и безапелляционно*). Мне нужно еще раз поговорить с Марией. Срочно!

Т о м а с. Я оставляю вас одних.

М а р и я. Томас, не надо так! Ведь в конечном счете то, что он мужчина, не имеет никакого значения.

Т о м а с. Пусть даже это его специальность? Ансельм, ты слышал?! Уразумел, что в доме ждет Йозеф?! (*Поскольку Ансельм не отвечает, он приходит в ярость, хватая одну за другой диванные подушки, швыряет их на пол.*) Давайте... ложитесь... прямо тут! Покончите с этим, а потом продолжим разговор! Кровь дурманит вам голову! Еще не слившиеся соки стоят в глубинах тел, словно коралловые леса! Фантазии текут сквозь них, будто плавучие луга пестрых, как цветы, рыбьих стаек! Ты и Я, таинственно огромные, жмутся к круглым линзам глаз! И сердце шумит!

М а р и я (*беззвучно плача*). Тебе не стыдно?

Т о м а с. Вдобавок Йозеф ждет!! В такой ситуации стыд уже бессмыслен. (*Ансельму.*) Скажи хоть одно искреннее слово, такое, что невинным зверенышем мечется в тебе. Чтобы я знал: Мария сможет его погладить, не закоченеет от разочарования! Одно слово! Чтобы я мог поверить: унижения были только оттого, что нам

суждено их испытывать, ибо среди всех насельников Земли право на них дано лишь разуму! И я готов снести все! Готов отбиваться от Йозефа, а не привечать его, готов утешать Марию в ее страхах и презрении ко мне и говорить ей, что, теряя себя, человек как раз и бывает в самом полном рассудке.

М а р и я. Мне ты говоришь, чтобы я ему не верила; ему предлагаешь меня целиком — у тебя вообще никакого достоинства не осталось!

Т о м а с (*в ужасе дергает недвижного Ансельма за рукав*). Ну что ты стоишь — смотреть тошно. На всех нас смотреть тошно. Такие мы все до крайности плотские, осязаемые. И до крайности осязаемо стоит между нами твоя духовная власть над Марией. Что-то омерзительно плотское, сексуальное закралось сюда. Какое мне дело до тебя?! Чего хочет от меня Мария?! Да вы просто столпы из плоти! (*Уходит, чтобы привести Йозефа.*)

А н с е л ь м (*наконец давая волю безумному возбуждению*). Не плачьте!! При нем я не мог пошевелиться! Чтобы он не догадался ни о чем! Но я лучше убью себя, чем позволю вам плакать!!

М а р и я. Ансельм! Ради всего святого! Вы ведь не станете мне лгать?! Никогда! Я умру, если вы солжете!..

А н с е л ь м (*недоверчиво, остывая*). Вам что-то наговорили?

М а р и я. Как мне поверить...

А н с е л ь м. Нельзя терять ни минуты. Я могу завоевать жертвой ваше доверие? Ваше доверие к себе?! (*Угрожающе.*) Я сделаю все, немедленно!

М а р и я. Но меня не оставляет предчувствие: вы просто хотите соблазнить меня сделаться иной, чем я есть. Я чувствую. И, конечно, вы наверняка всегда были таким.

А н с е л ь м. Да, я всегда соблазнял людей стать лучше, чем они есть. И мучился.

М а р и я. И к Регине вы относились так же?

А н с е л ь м. Да. Но за это я ее ненавижу.

М а р и я. Вы и меня возненавидите! Ваша жизнь всегда была полна друзей и возлюбленных.

А н с е л ь м. Вам так сказали? В таком случае вы понимаете: от нетерпения. От слабости, которая желает

ждать. Но уже чревата разочарованием. Чревата ненавистью, которая лишь от страха пытается стать любовью! Еще когда я был ребенком, маленьким мальчиком, все они целовали меня, эти матери, гувернантки, служанки, сестры, подруги. Толстокожие, в шкуре у них завязла стрела тоски по человеку, да так и вросла, превратившись в благостные радости пищеварения! Я не могу без людей! А что за это имею? Сами знаете.

М а р и я. Томас говорит, вам *хочется* быть любимым, просто потому, что сами вы ни на что не способны. Нет, он ужасен, себе и то верить перестаете.

А н с е л ь м. И однако же вы меня поймете: вся моя жизнь этим погублена. Сколько раз уже меня охватывала безнадежность. Воля, обращенная против меня. Затравленного, безумного, по сути, отовсюду изгнанного. Я все ж таки кое-что совершил. Но если и вы меня разочаруете, единственный настоящий человек, какого я отыскал, останется одно средство: веревка, ласковая, мягкая веревка. И шелковисто-гладкое зеленое мыло, которым я ее натру. Все-таки сделать это однажды — последнее великое успокоение для меня. Гниль не враждебна, она кроткая и мягкая; праматерь, тихая, многоцветная и огромная; синие и желтые полосы расцветят мое тело...

М а р и я. Как мне поверить, если вы опять смакуете такие болезненно-мерзкие картины!

А н с е л ь м (*от неожиданности, что его прервали, сердито смотрит на нее*). Даже глядя на вас, я иногда дрожу. Мне страшно, потому что вы только женщина.

М а р и я. Оставайтесь мне *другом*.

А н с е л ь м (*с издевкой*). Душа у вас тяготеет ко мне, любовь — к Томасу? (*Страстно*.) Порочный раздел!.. Поймите, я ничего не желаю! Вы все еще думаете, речь идет о том, что называют обладанием. Но тогда бы я уже отравил Томаса. Думаете, потому что вы красивы? Да (*с легким оттенком злости*), *потому что* вы красивы! Но есть дети, с которыми никто не играет, потому что они паиньки, и вы были таким ребенком. Ваша беззащитная против зла доброта чем-то отпугивала; и в душе вы это запомнили. Вы очень красивы и с трогательной кротостью отданы на произвол собственной величавости. Да, вы *вправду* божественно прекрасны! И я понимаю, вам нельзя быть злой, вы должны хотеть быть доброй к Томасу. Но... в вашей красоте есть неуловимая пороч-

ность; ваша мягкая уступчивость — вот чего вы в самой глубине души стыдитесь! Вы чуждая, но... тоже одинокая. Томас никогда этого не поймет. А я разве только смутно угадываю в вас некое родство. Чувствую вас как огромное утешение. Как ангела с козлиным копытом. В мою изорванность вы низошли словно ангел, но под ризами этот ангел чуточку мой...

Мария молчит.

(Более злым тоном, но с искренним волнением.) Ваша кошмарная женственность смягчает нечто такое, что иначе было бы для меня слишком унизительно... Не молчите же! Вы должны считаться с ним? Я тоже! Не знаете, любите вы его или нет? Я тоже не знаю!! Но нельзя делать из этого препятствие! Все в мире пронизано единым угаром, я чувствую его, хоть и сумбурно, даже в вашем сопротивлении, слушая ваше молчание. Подарите себя ему! Отличитесь! Ваша душа достигла вечности!

Их прерывают. На фоне последних слов слышался топот шагов и возбужденные голоса. Дверь распаивается. В комнату вбегают совершенно ошалевшая М е р т е н с, за ней в панике — Р е г и н а. Почти одновременно — Т о м а с. Затем Й о з е ф, злой и смущенный; он осторожно и тщательно затворяет дверь, ибо вся эта сцена крайне ему неприятна.

М е р т е н с (*Марии*). Бога ради, помогите ей; она сама не знает, что говорит.

Й о з е ф (*стоя у двери, Регине*). Прошу тебя, не надо преувеличивать, санаторий — вовсе не лечебница для душевнобольных.

Р е г и н а. Он и Ансельма хочет туда упрятать, если тот не уедет! Или в тюрьму!

Й о з е ф (*все еще у двери*). Я хотел поговорить с Региной. Ведь она, всеми брошенная, сидела у себя в комнате и плакала так, что просто сердце разрывалось. Я сказал ей, что для всех будет лучше, если она поживет в санатории. Некоторое время, совсем недолго. Это же болезнь! *(Поворачивается к ней и тут замечает Ансельма. По обыкновению церемонно делает несколько шагов вперед, затем один назад; грудь его расправляется, подбородок вздергивается, губы ищут слов.)*

Ансельм, стройный, с невинным видом, стоит перед ним.

М е р т е н с (*между тем — шепотом, Регине*). Вами воспользовались; доктор Ансельм — мелочная душонка, как все мужчины. Или... вот сейчас бы ему себя и показать!

Т о м а с (*поясняя, как будто бы со спокойным удовлетворением*). Йозеф требует, чтобы ты в двадцать четыре часа покинул этот дом. Он, конечно, не вправе распоряжаться моим домом, и я полностью оставляю решение за тобой: как хочешь, так и поступай.

Й о з е ф (*Марии, смущенный ее присутствием*). Прости; я, конечно, не хотел вот так... в твоём присутствии... но Регину было не удержать. Я просто хотел поговорить с нею и с... ним.

М а р и я (*удивленно, с легким возмущением*). Но что все это значит? Почему Ансельм должен уехать?

Т о м а с. Пускай он сам тебе объяснит; только, по моему... он уедет, вот увидишь.

Й о з е ф. Мне очень неприятно, Мария; как я уже говорил, я не хотел в твоём присутствии... Но Томас-то знал!

М а р и я (*решительно*). Я остаюсь... Раз уж в моём доме орудует сыщик, платный агент, я считаю своим долгом хотя бы при сем присутствовать!

Й о з е ф. Разве Томас не потрудился тебя подготовить?

М а р и я. Подготовить? К чему?

Т о м а с. Я все Марии рассказал. Не упомянул только, что сыщик все это подтверждает документально. И она не поверила!! (*Открывает ящик стола и протестующе-смирненным жестом приглашает Йозефа подойти*).

Р е г и н а (*Ансельму*). Уходи! Не смотри туда, ступай прочь! Они расставили тебе капкан! Я тебя предала, я ведь могла бы этому помешать! Не связывайся с этими умниками!

М а р и я. Ансельм, да скажите же им, что все это не может быть правдой!

Т о м а с. Скажи нам, что это не может быть правдой! Скажи!! Но сперва взгляни сюда. (*Указывает на Штадерову папку, которую вынул из ящика*.)

Р е г и н а. Не смотри туда, это папка агента! Уходи! Еще не поздно! Смирненно поцелуй им руки и уходи — ползком через порог на улицу. Пусть они проедут по те-

бе на машине. Пусть назовут тебя собакой! Будь ею! Но не связывайся с этими умниками! Они хотят изловить в тебе незримое существо.

Ансельм, зачарованный неизбежностью ситуации, не слушает Регину и словно по узенькой тропинке, втянув голову в плечи, с сосредоточенным видом идет к Томасу. Тот протягивает ему листок из папки, который Ансельм пробегает глазами, затем второй, третий.

Т о м а с. Это принадлежит Йозефу...

Р е г и н а. Я хотела посмотреть, есть ли у тебя мужество. О, будь оно у меня... я так боюсь смерти.

Й о з е ф. Несчастливая, вот работа этого человека, пагубный дух, который он привил тебе!

А н с е л ь м (*возвращает листки Томасу и поворачивается к Марии*). Так я и знал. (*Так же, как подошел, возвращается на прежнее место.*) Пусть Томас радуется. Мне надо предъявить только одно доказательство — что я ни разу вам не солгал! Можно поговорить с вами наедине?

М а р и я (*без всякого выражения*). Говорите при всех, при всех...

Пауза. Ансельм — смущенно или снисходительно улыбаясь, но в принужденной позе — стоит посреди комнаты.

(*В ужасе*). Но как? Вы что же, вправду...

А н с е л ь м. Вы ведь всё знали.

М а р и я. Я?! Вы сказали, что в этих записках нет ничего серьезного. Что их надо уничтожить просто ради Регины!

А н с е л ь м. Разве я вам не говорил, что я дурной человек?

М а р и я. Вы кокетничали такими мыслями. Кокетничали и красовались ложью и скверностью!

А н с е л ь м. Что мне еще вам сказать?

М а р и я. Правда ли это?!

Ансельм с улыбкой пожимает плечами и собирается уйти. Йозеф уже издали заступает ему дорогу; Томас, который хотел сделать то же самое, оставляет свою попытку. Ансельм тотчас отказывается от своего намерения, Йозеф идет к двери, запирает ее, отдает ключ Марии.

Й о з е ф. Возьми, пожалуйста, ключ. Он отсюда не выйдет, пока ты его не выпустишь! (*Ансельму.*) Вы при-

знаётеся в своих интригах и публично обещаете никогда больше к Регине не приближаться, или я прикажу вас арестовать, прямо здесь, в доме!

Ансельм вопросительно смотрит на Томаса, хозяина дома, но тот отвечает ироническим жестом в сторону Йозефа. Ансельм садится, спокойно смотрит прямо перед собой.

Короткая пауза.

М а р и я (Томасу). Но почему ты не сказал мне этого раньше?

Томас не отвечает. Короткая пауза.

А н с е л ь м (смотрит на Мертенс, которая сидит в дальнем углу, закрыв лицо руками; потом переводит взгляд на остальных). Нам нынче все нипочем, прямо как в лучшие дни детства; боюсь только, мы можем травмировать мадемуазель Мертенс.

М е р т е н с. О, я ухожу; в моей жизни не было более мучительного разочарования. (Нерешительно встает, но, поскольку никто не делает поползновения отпереть дверь, так и стоит в растерянности.)

Р е г и н а (сидевшая неподалеку от нее, подходит и мягко усаживает ее на стул). Оставайтесь со мной; вам придется еще много услышать.

Короткая пауза.

М а р и я. Выходит, вы только потому хотели уехать с записями и... (ясно, что она хочет сказать «с Региной», но не произносит этого имени)... только потому, что опасались... Господи, как же можно так лгать?!..

Регина смеется.

(Раздраженно.) Пусть она перестанет! Пусть прекратит этот жуткий смех!

Р е г и н а. Я не смеюсь. В детстве я была твердо уверена, что однажды обрету чудесный голос. Внимание! Тишина! Ну как, слышите мой красивый голос? (Смеется.) Вот и я тоже не слышу. Таким голосом поет Ансельм. Но ведь можно прекрасно петь про себя, в душе, а внешне немотствовать!

Й о з е ф. Вот пагубное, геростратовское влияние этого человека!

Регина. Этот голос по-настоящему воспевал Иоханнеса! Просто было ощущение: еще придет что-то, ради чего стоит жить. (*Горько, Ансельму.*) А потом приходит день, когда сознаешь: ничего больше не будет.

Йозеф. Она стала жертвой ловца человек; Регина, если ты желаешь одуматься, хоть это и требует от меня усилия: я еще раз предлагаю тебе мою защиту! Знаешь ли ты, как он тебя обманул? Его жизнь — сплошная цепь обмана и грязи...

Регина. Знаю.

Йозеф. И ты в ней — лишь одно из звеньев. Дома у него жена, но он это скрывает — наверно, никогда тебе не говорил?

Мария негромко вскрикивает.

Регина. Я это знаю.

Йозеф (*как бы внезапно прозрев*). Но тогда?.. Тогда... Нет... наверно, все далеко не так... все это с виду неправдоподобное... преступное... просто его выдумка, которую ты записала под диктовку?

Регина. Что тебе до Ансельма?! Со мной он закончил, ему нужна Мария!

Йозеф (*кричит в отчаянии*). Но это правда!! Я уже ничего не могу ему сделать... Пусть убирается, или я его убью!.. Дай ему ключ, Мария, быстро!!! Пусть убирается вон! (*Падает в кресло.*)

Мария протягивает Ансельму ключ, тот не берет.

Регина. Он ведь может получить развод. Откуда вам знать, как выглядит Ансельмов роман! Ему нужна эта веревочка, которая его держит; он потому и хотел, чтобы я уехала вместе с ним и с Марией — тогда бы он в ней не заблудился. (*Сопровождает свои слова насмешливым жестом, намекая на Мариину величавость.*)

Йозеф (*упавшим голосом*). Тогда я вообще ничего не могу ему сделать. Он просто раскрыл мой позор, и только.

Регина. На кого ни посмотрит, он сразу желает стать как тот! Жить не может, не слыша уверений: ты добрый, хороший человек! Все окружающие для него — кошмар! Но он тщеславен и слаб. (*Марии.*) Знаешь, что он вправду думает о тебе?

Й о з е ф (*несмотря на растерянность*). О Господи! Утихомирьте ее!

Р е г и н а. Конечно же, ты невыносима. Прекрасно сгодишься, чтобы пеленать пладецов. Сноровисто, похозяйски, точно карпа за жабры, хватаешь мужчину. Чтоб услышать, как ты поешь большую арию, надо приложить немалые усилия. Завести тебя. Динамит в задницу...

Й о з е ф (*все еще чувствуя свою ответственность, вскакивает и пытается заткнуть ей рот*). Нет, это же...

Р е г и н а. Хорошенько...

Й о з е ф. Мерзость, а не женщина!

Р е г и н а (*вырываясь*). Тебе нужно хорошенько наподдать в пузо! Он сказал, ты его преследуешь!

М а р и я. Я?.. вас преследую?

Т о м а с (*с трудом сдерживаясь*). Ты правда так сказал?!

Р е г и н а. Вчера сказал. (*Оборачивается за подтверждением к Мертенс; та холодно и обиженно пожимает плечами.*)

Т о м а с. Да замолчи ты, чертовка!

Й о з е ф (*машинально, будто по-прежнему обязан защищать Регину*). Да, сказал!.. Что ж, лучше теперь выложить все начистоту... Я счел за благо вынуть из папки несколько страниц, прежде чем отдал ее тебе. Ведь я намекнул, с какими намерениями он явился в твой дом.

Т о м а с (*со смешком и стоном; Марии*). Ни чувством, ни мыслью ты не можешь обнаружить в нем обманщика; какая постыдно грубая метода — показывать, что этот человек посторонний! Но сыщик молодец: то, что тебе кажется меланхолией, он с ходу именуется запором и... излечивает! Кому ты теперь поверишь? Я не знаю. Обоим. Вековечная тайна!

А н с е л ь м (*Марии*). Почему вы не ушли!.. Этого бы не случилось. Я был бы хорошим человеком.

Мария отшатывается. Регина бросается Ансельму в ноги, он отступает от нее.

Р е г и н а. Я так и буду валяться у тебя в ногах, пока ты стоишь. Неужто в тебе не осталось ни капли равнодушия к тому, прав ты или нет? Они тебе предписывают, что ты должен делать, как чувствовать, что думать;

но ни один не говорит, каким ты должен быть. Никто тебя не направляет, и беззащитна в тебе темная нетронутость. Чего же ты еще хочешь? Все кончено! Я лежу на земле, и мщу, и торжествую! Ведь ты больше не веришь себе... И я тоже...

М а р и я. Встань, Регина, встань, неужели тебе не стыдно? *(Тихонько, с отвращением трогает ее мыском туфли.)*

Р е г и н а. Ну, pinaй меня, pinaй! Из-под юбки у тебя выглядывает что-то pinaющее меня.

Й о з е ф *(с отвращением)*. Видеть не могу все это, ухожу.

М а р и я. Я с тобой.

Й о з е ф. В пику таким больным не мешало бы заключить союз здоровых.

Т о м а с. Скорей уж, союз всех исключенных, чтобы они не сдавались *вот так*. Говори, Ансельм! Найди *хоть одно* искреннее слово!

А н с е л ь м *(Марии)*. Я до сих пор оставался здесь, поскольку верил в вас; я покончу с собой, если вы уйдете.

Й о з е ф *(Томасу)*. В своем доме я наведу чистоту, а ты делай в своем что угодно. Я свой долг исполнил. *(Вместе с Марией собирается уйти.)*

А н с е л ь м *(показывая на нож, который лежит на столе открытый, с тех пор как они пытались взломать ящик)*. Мария, вам знаком этот нож? Я беру его, раз вы не можете больше верить!

М а р и я *(с порога)*. Больше я никогда вам не поверю; доверие утрачено, Ансельм. *(Отворачивается и, не оглядываясь, уходит за Йозефом.)*

А н с е л ь м *(бессильно зовет вдогонку.)* Мария?.. Мария!..

Ансельм хватает нож — никто не понимает, что случилось, так быстро все происходит, — и падает. Томас, давно уже не сводивший с Ансельма глаз, остолбенело смотрит на него. Делает несколько шагов вперед, все с тем же выражением на лице. Останавливается рядом, в крайнем напряжении; Регина подползает к Ансельму и крепко вцепляется ему в плечо — сначала пальцами, а потом ногтями.

Р е г и н а. Вобьет что-то себе в голову — и ради этого готов стать мучеником.

Т о м а с. Крови не видно; держу пари, опять обман.

Р е г и н а. Задумает что-то и непременно осуществит, даже если уже и не хочет, просто не умеет идти на попятный.

Она долго впивалась ногтями в руку Ансельма, и он невольно подает знак, что ему больно. Томас буквально кидается на него, становится рядом на колени, трясет его, дергает за плечи, за волосы.

Т о м а с. Симулянт! Обманщик! В душе ты у нас красавец, а?! Если не откроешь глаза, я тебя растопчу! Сдеру с тебя эту личину!

Р е г и н а. Не трогай его! Он беззащитен!

Т о м а с. Он попросту притворяется.

Р е г и н а. Оставь его! Он хороший... под всеми личинами! *(Теснит Томаса прочь и опять вцепляется в руку Ансельма.)*

Т о м а с *(не дает себя оттолкнуть)*. Ему хочется остаться правым, только и всего. Эй ты, раненый! Подлец с изъяном! А ведь из кожи лезет, изображая здоровье.

Ансельм меж тем открывает глаза.

(Торжествующе.) Хоть раз поневоле признал истину!! *(Тотчас с отворачиванием к себе встает.)* Дым! Плохо отрегулировали лампу? Я думал, керосиновая лампа может взорваться. Ах... *(Смеется.)* Да знаю, знаю, у нас уже электричество... мне на минутку почудилось, что мама жива, а мы еще маленькие...

Р е г и н а. Что ты на него накинулся? Он ненавидит тебя ничуть не больше, чем любого другого, но любви к тебе в нем куда больше.

Т о м а с. Любви? Ко мне?! Он явился, чтобы умыкнуть Марию!

Р е г и н а. Он любит тебя как брата, который сильнее его самого.

А н с е л ь м *(с трудом поднявшись)*. Я тебя ненавижу. Куда бы я ни пошел, впереди всегда был ты.

Т о м а с *(швыряет свою реплику ему в лицо)*. Никто тебе не верит... Но что вы сделали с нами! Все вас презирают, преследуют, отвергают!

Р е г и н а. Они ползали по мне. Я приносила себя в жертву, позволяла собою командовать, чувствовала, что

вправду становлюсь такой, какой видят меня они, и... тем выше воспаряла... незримо, по частям, которые ждали спутников. (*Встает.*) Теперь все ясно и все отгорело. Сегодня я стала здравомыслящим человеком.

А н с е л ь м (*Томасу*). Ты преследовал меня — и когда был рядом, и когда не был. Если один человек толкает другого на дурные поступки, он виноват.

Т о м а с. Конечно, сказано опять для красного словца, однако ж...

Входит М а р и я, и Томас умолкает.

М а р и я (*видя, что что-то случилось*). Что такое?.. Что произошло?

Т о м а с. Он изобразил покушение на самоубийство. Но в конечном счете правдивые и фальшивые чувства суть почти одно и то же.

Р е г и н а. Есть люди, правдивые за обманами и неискренние перед лицом правды.

Т о м а с. Находишь соратника, а он обманщик! Разоблачаешь обманщика, а он — соратник!

М а р и я. Ни слова не понимаю.

М е р т е н с (*которую до сих пор никто не замечал*). Позвольте мне уйти. Я больше не могу. Видно, не дано мне понять столь «вулканических людей», в которых не затвердел еще «остаток со времен творенья».

Т о м а с. Но это тоже обман в наше время. Оно терпит лишь кургузые чувства, долгие размышления.

М а р и я. Ни слова не понимаю. Вы помирились? Этого я ему не прощу!

А н с е л ь м. Я дурно говорил о вас, чтобы защитить мое чувство от чужих прикосновений!

Т о м а с. Молчи, Ансельм, тебе надо в постель. Ложись спать. Завтра рано утром ты уедешь. Мне и самому впору уехать, убаюканному безалаберностью. Вы ведь правы. Люди никогда не бывают более в своем уме, чем когда теряют себя.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Коридор вроде холла на втором этаже. Двери. Деревянная внутренняя лестница. Причудливые арабески на ковре. На заднем плане — огромное окно с видом на природу. Рассвет. Тяжелая, удобная мебель — дерево и кожа. Касательно характера вещей справедливо то же, что сказано во втором акте; но все пространство кажется тесным, замкнутым, похожим на внутренность шкафа.

Регина и Томас в фантазийных домашних костюмах. Томас в глубине сцены, встает с кожаной козетки, потягивается, проходит на авансцену, где скорчившись сидит Регина.

Томас. Мне стыдно.

Регина. Вообще не смотреть на мужчин или смотреть на всех подряд — это одно и то же. Впору бросаться им на грудь, просто потому, что с ума сходишь от отчужденности, от неспособности уразуметь, как это можно задержать их руку в своей больше, чем надо.

Томас. Перед тем как перебраться сюда, я еще раз перечитал эти заметки — твои или Ансельмовы о тебе, -- и мне стыдно.

Регина (*соглашаясь*). Остылые выдумки. Омерзительно голые, как птенцы, выпавшие из гнезда. (*Глядя на свет.*) Я просто не могу глядеть на свет, на это таинственно прекрасное утро; точно испорченный желудок мира, оно выворачивается во всей своей мутной ясности.

Томас. И пока я читал, этот Штадер был в нашем доме. А в другой комнате спал Йозеф. А в третьей — Ансельм. Я боялся задать себе вопрос, не спит ли один из них у тебя.

Регина. Почему ты не говоришь — «порочные»?! Почему не пытаешься поднять меня, как падшую девуку?! Взгляни на это как на естественный факт, раз уж нельзя заглянуть дальше и увидеть подоплеку!.. В де-

ревне не было места. И Йозеф притащил этого адъютанта — не ночевать же ему в парке!

Т о м а с. Конечно, нет! Ох это проклятое человеческое «конечно» — как притолока низкой двери: не хочешь, а склонишься перед любой подлостью.

Р е г и н а (*продолжает*). А Ансельм уже неестествен!

Т о м а с (*подчеркивая узость переходной зоны*). Ансельм неестествен.

Пауза.

(*Измученно.*) Если б ты знала, как мужчины презирают таких женщин!

Р е г и н а. А я знаю. И они правы. Я каждый раз замечала, но для меня это всегда была месть, в глубине души. Ведь и сегодня речь не о том, что ты это *сделал*. А о том, что это тебя умиряет и принижает, что ты становишься собственным поступком. Бунт, могучая воля, безымянная сила выплескиваются в мир и... в твоём случае становятся профессором.

Т о м а с (*наполовину соглашаясь*). Да, быть может, каждый на всю жизнь остается в плену второстепенного успеха. Наверное, мне надо с этим примириться.

Р е г и н а. Восхитительное девичье ощущение — волшебной птицей парить над миром, качаясь на кольце! Только потом догадываешься, что сидел в клетке, которую кто-то нес и вдруг поставил.

Т о м а с. Вчера, разговаривая с твоим мужем, я вправду еще верил, что мужчины тебе отвратительны; теперь, моя дикарка сестра, мне нужно свыкнуться с тем, что ты омерзительно уродливым способом выразила то же самое.

Р е г и н а. Какая-то часть меня всегда была вне этого.

Т о м а с. До чего же мне нравилось, что мы никогда не предъявляли друг другу непомерных требований. Сохраняли между собой свободное пространство. Не сковывали, не стискивали друг друга всякими там идеалами, когда голова кругом идет и дышать нечем. Наоборот, хотя мы годами не виделись и не писали писем — спокойный сон с детства нерасторжимых уз. А эти узлы на крайнем переделе были музыкой, как все далекое. Даже твой брак с Йозефом ничуть этому не мешал. Главная тайна человеческой музыки не в том, что она —

музыка, а в том, что посредством сушеной овечьей кишки удастся приблизить нас к Богу.

Регина. Наверно, я просто злая, очень даже может быть; никого я не люблю, все делаю втихомолку. Но всегда у меня было утешение: если уж будет совсем скверно, ты сумеешь навести порядок; устроишь так, что все, что я наделала, было хорошим и добрым. А ты смирился, упал!

Томас. Не тревожься, я... опять встану!

Регина. Слушай, давай разуемся и пойдем в парк, босиком! По мокрой траве.

Томас с облегчением отмахивается.

Ты еще помнишь эту старую чертовку Сабину?

Томас. Нашу бонну, которая приучала нас к добродетелям? Наконец-то я понял, кого мне все время напоминала Мертенс!

Регина. Идем погуляем по мокрой траве; сверкающая утренняя роса, враждебно чистая, как ее губка, омоет наши ноги. Солнце будет куриться паром у нас на плечах. Гляди, вот оно встает. Нелепо, как взрыв! (*Строит солнцу необузданные, гротескные гримасы.*) А-а-ах!!! Это же красота!!! Наши босые ступни почувствуют землю; зверя, из которого мы вышли, не умея улететь прочь! Потом они найдут нас мертвых под кустом. И сломают себе голову, гадая, почему мы босиком.

Томас. Ты до сих пор носишься с этой мыслью? Прямо как Ансельм!

Регина. Я никогда об этом не думала; даже после смерти Йоханнеса. Но мне кажется, человек или предназначен к этому изначально, или нет. Все это растет подспудно, и однажды человек осознает свое призвание.

Томас. Но... ты что, вправду... серьезно?..

Регина. У тебя же хватит мужества на двоих. Стоит ли в итоге валяться таким пустым мешком? Быть как все? Чего ты еще ждешь?! Это единственное, что пока не испробовано; может, оно и обман, а может... от сознания, что оно близко, уже становишься дивно свободным и бесстрашным.

Томас (*хватает ее за плечо и трясет*). Чепуха! Оказывается, это прекрасно! Быть оставленным — прекрасно! Все потерять — прекрасно! Не знать, что делать дальше, — прекрасно! Суженным до точки зрач-

ком брать свою жизнь на прицел. Ничего не видя, оступить на верхней ступеньке. И медленно, как лист, лететь сквозь огромное глубокое пространство.

М а р и я (*входит со свечой в руке*). А здесь светло. (*Задует свечу.*) Вы уже на ногах? Тоже не спалось? Когда Регина ушла от меня, я спала потом всего часа два. Не знала, что будет делать Ансельм, что — ты. Ты вообще в спальню не приходил.

Т о м а с. Ансельм, наверно, отсыпается; ему нынче уезжать. (*Временами удивленно поглядывает на Марию, тщетно пытаясь охватить ее целиком и запомнить.*)

М а р и я (*садится подле Регины, укутывает ее своей шалью*). Конечно, он делает много дурного, в общем сам того не желая, как мальчишка, из внутренней неуклюжести. А потом удирает.

Т о м а с. Ну что ты говоришь, нам ведь уже за тридцать! Бывает, и в восемьдесят остаются в душе детишками. Согласен. Даже когда уже смотрят в глазницы смерти. Но все равно до крайности омерзительно выворачивать этот мягкий внутренний мех наружу так, как вчера... Ужасный холод; у тебя постель еще теплая? Я бы прилег.

М а р и я. Я поставлю чай; прислуга еще спит. (*Регине.*) Может быть, он отчасти все же оказался прав. Если б я ему доверилась! Если б уступила и уехала с вами!

Т о м а с (*обеим*). О? Ну что, высказались? У смертного одра здоровяка!

М а р и я. Ты по обыкновению чванишься. А я вот засомневалась; пожалуй, кое в чем я перед ним виновата. Ведь по отношению к Регине мы совершили одну и ту же ошибку.

Р е г и н а. А, вздор!

М а р и я (*ласково*). Нет, не вздор; жаль только, не исправишь. Я лишь теперь поняла, отчего она вышла за Йозефа; а ведь я так часто корила ее за это. Но после неожиданной смерти Йоханнеса она просто думала: надо ждать. Спрятаться. Что такое и тридцать, и пятьдесят лет — если есть чего ждать!

Т о м а с. Ты забываешь: это была настоящая смерть, а не фиктивная!

М а р и я. Ты забываешь: когда молодая женщина принимает первое свое решение — быть сильной и достойной спутника, оно летит через горы и планы как по

гладкой площадке для танцев. Превратности и помехи замечаешь куда позднее.

Регина. Вздор, вздор, вздор! (*Пытается закрыть Марию рот.*)

Мария (*встает и берется за чайник, но тотчас вновь его оставляет*). Нет, пусть слушает! Ты от нас ни советов тогда не дождалась, ни помощи!

Томас. И что? А дальше? Она тебе, наверно, и это рассказала?

Мария. Почему ты не хочешь понять? Раз она живо сошла в могилу, ей что, надо было еще и остаться там?

Томас. Ну хорошо. Один раз. А дальше? Второй? Третий? Одиннадцатый?

Мария. Конечно, это было ни к чему, но когда дома над тобой только смеются, я по крайней мере понимаю: тому, с кем такое могло случиться, нужна глубочайшая любовь. Йоханнес и тот не судил бы так строго, как ты; он понимал, что Регина слишком молода, и незадолго до смерти просил меня: скажи ей, что бы ни случилось, я все ей прощу.

Регина (*вставая*). Не могу я этого слышать. От честолюбия и смущения заплачу, как тогда, когда в конце учебного года ненароком стала первой ученицей в классе.

Мария. Он в нее верил: это сила, которая творит добро!

Томас. А Ансельм? Я ведь знаю, куда вы клоните! Как ты нынче смотришь на заявление, что ты его преследуешь?

Мария (*чутьочку даже смешная в своей прямоте*). Это он опять с рельсов сошел. Не стоит обращать внимание. Не стоит примериваться к его измышлениям. Надо непременно слушать хорошее, доброе в человеке, тогда и слова найдутся!

Томас (*насмешливо передразнивая*). Нельзя мыслить мелочно, тогда он откроется, другой человек.

Мария. Ты всегда пользовался его слабостями и причинял ему только боль.

Томас. Ну так что же мне делать?

Мария. Нельзя дать ему погибнуть. Нельзя сложить руки смотреть, как гибнет то, что могло бы быть хорошим и добрым.

Томас. Может, попросить его еще пожить у нас?

М а р и я. Да. Ты не остерег меня перед ним; ты только насмеялся.

Т о м а с (*спокойно и решительно*). Нет. Человека, который нас так скомпрометировал, я назад не позову.

Р е г и н а (*Марии*). Не говори пока об этом! Вспомни: первый шаг у беспутных обманщиков вроде меня и Ансельма тот же, что и у людей порядочных; но последний шаг Томас сделает в одиночку! (*Уходит.*)

Мария вдруг подходит к Томасу совсем близко и беспомощно смотрит на него. Томас печально отступает назад.

Т о м а с. Теперь ты поняла? Что он обвел тебя вокруг пальца?

М а р и я. Поняла. Но Томас! Томас!! Если все предвидишь, всего желаешь и добиваешься — счастья это не приносит.

Т о м а с (*пряча потрясение*). Объяснись.

М а р и я. Я не в состоянии следовать вам, я обыкновенный человек. Но стать счастливым можно только через что-то непредусмотренное, внезапно пришедшее в голову и, может быть, совершенно неправильное. Я не умею выразить это. Сил у человека внутри куда больше, чем слов! Может, я и должна стыдиться: но Ансельм кое-что мне дал!

Т о м а с. Чего не давал я?

М а р и я. Да... Что бы ты сделал, если б я ушла?!

Т о м а с. Не знаю... Уходи...

Пауза. Мария борется со слезами.

М а р и я. Да, ты вот такой. Все отбросишь, если новый план кажется тебе более удачным. Я знаю, ты любишь меня. А ты знаешь, что я никогда не прощу Ансельма. Никогда! Но даже этот несчастный дает больше покоя и тепла, чем ты. Ты слишком много требуешь. Хочешь, чтобы все было иначе. Возможно, это и правильно. Но я боюсь тебя!

Т о м а с. Ты красивая. Я никогда не говорил тебе этого? Красивая как небосвод (*меняя растроганный тон*) или что-то этакое, тысячелетиями неизменное. Это соблазнило и Ансельма... Конечно, во всем виноват я. Себя не переделаешь. Ведь мы оба, я и Ансельм, мыслим не так, как ты.

М а р и я. Ансельм и ты?..

Т о м а с. Да. Просто он был слишком слаб и не выдержал. Он неожиданно встречается между людьми, которые в этом мире как дома, и начинает играть в их спектакле; чудесные роли, которые сам для себя придумывает... И тем не менее я считаю, что и я, и Ансельм никогда не сумеем забыть о правде.

М а р и я. А я? Я лгу, так, что ли?

Т о м а с. Не в этом смысле; в этом смысле лжет *он*. Я имею в виду, скорее... другую правду: мы существуем в задаче, которая сплошь состоит из неопределенных величин и решится до конца, только если прибегнуть к хитрости и допустить, что некоторые величины постоянны. Добродетель — как максимум. Или Бог. Или любовь к людям. Или ненависть. Религиозность или современные взгляды. Страсть или разочарование. Воинственность или пацифизм. И так далее, и так далее, по всей этой духовной ярмарке, лавки которой ныне открыты для любой душевной потребности. Просто приходишь — и пожалуйста: вот тебе все чувства и убеждения до конца дней и на любой мыслимый конкретный случай. Трудно только отыскать свое чувство, если не принять никакого иного условия, кроме как что эта беглая обезьяна, наша душа, мчится сквозь неведомую Господню бесконечность, сидя на комке глины.

М а р и я. Может, ты и прав, что так все усложняешь. Опровергнуть я не могу. Но и выдержать невозможно. Вечно стоять перед такими задачами. Ансельм тоже из-за тебя сломался!

Входит возбужденная Р е г и н а.

Р е г и н а. Он уехал!

Т о м а с. Выехал из могилы. Так и положено чудодею.

Р е г и н а (*Марии*). У него в комнате лежит записка для тебя. До завтрашнего полудня он ждет тебя в городе.

Т о м а с. Что это значит?

М а р и я. Он хотел бы еще раз поговорить. Чтобы его еще раз выслушали.

Томас пожимает плечами. Мария уходит.

Р е г и н а (*резко*). Ты точно знаешь, каков есть Ансельм?

Т о м а с. Да.

Р е г и н а. Тогда ты очень жесток к Марии.

Пауза.

Т о м а с. Предоставляя ей свободу действия? Тяжелой, беспомощной Марии, ты понимаешь? Пусть только оттолкнется! Понимаешь? Как тяжелый волчок, она движется по своей внутренней орбите. Впору взять хлыст!..

Р е г и н а. Ужасно хотелось сделать тебе какую-нибудь гадость, чтобы отомстить Марии, — но я не смогла. Ансельм сломал это во мне. Так бывает, когда будят лунатика.

Томас удивленно и выжидающе смотрит на нее.

По-моему, когда-то я хотела стать очень хорошим человеком. Чтоб все меня хвалили, все ласкали, будто щенка, которому говорят: хорошая собачка! Но я так и не сумела стать хорошей и доброй.

Т о м а с. Да это ведь куда труднее. Такое лишь у глупцов легко выходит.

Р е г и н а. Не как Мария; это не по мне. Исступленная доброта. Сальто-мортале между самыми верхними трапециями доброты: толпа замирает, мгновенье безмолвия, когда искра трепещет между взрывом и пороховой бочкой оваций. Школьницей я хотела тайком усыновить маленького мальчика и воспитать его принцем. Хотела даже выдать замуж нашу гувернантку, потому что сочувствовала ее злобному одиночеству. Я думала, что когда-нибудь смогу делать людей счастливыми, как фея. В семь лет я придумала для этого волшебное заклинание и часами громко распевала его прямо в ухо маленькой дочке садовника, щипала ее и лупила, потому что она плакала, а красавицей на становилась. Но в итоге все это терпит крах, из-за людей. Видишь их такими, каковы они есть. И любить их невозможно.

Т о м а с. Это правда. Но любить их необходимо — иногда... если не хочешь обернуться кошмарным фантомом! Вот в чем дело.

Р е г и н а. Так же как необходимо есть и спать; но я больше не могу!!!..

Пауза.

(Ищет слова.) Томас! Не смейся надо мной: я хочу принести жертву. Тебе, тебе одному. Я хочу стать хорошей и доброй не ради чужих правил, а ради тебя, ведь ты такой же, как я, только сильнее. Я вернусь к Йозефу.

Т о м а с. Бредовая мысль, Регина, даже думать не смей.

Р е г и н а. Но я хочу... не смейся... хочу раз в жизни послужить идее!..

Т о м а с. Йозеф меня не тревожит. Ансельму он теперь ничего не делает, а мне... мне?... мне его интриги уже безразличны.

Р е г и н а. Мне тоже безразлична собственная участь. Не отказывай, мне и так ужасно трудно... Нет, если я теперь начну все это себе представлять, вряд ли что получится.

Т о м а с. Не малодушничай! *Пожалуйста*, не малодушничай. *(В ярости и бессилии бросается на скамью, где прежде сидела Регина.)*

Р е г и н а. Странно, намерения у тебя хорошие... но кто знает, что ты мне сейчас причинил?..

Т о м а с. Как это понимать?

Р е г и н а. Слышишь? Кто-то идет. Потом скажу, наедине. *(Уходит.)*

Томас сидит, подперев голову руками. Из темноты входят Йозеф и Штадер; поначалу они ничего не видят; у Штадера в руке свеча.

Й о з е ф. Щекотливая ситуация — бродим ночью по чужому дому.

Ш т а д е р. Желание установить истину превыше низменных обстоятельств.

Й о з е ф. Да помолчите же! Что вы без конца философствуете!.. Хотя бы потише... *(Протирает очки и озирается, как слепой.)*

Штадер открыл какую-то дверь и почти исчез за нею; ясно, что и он не видит Томаса.

Вы точно знаете, где папка?

Ш т а д е р. Надо пройти дальше; там, в конце коридора, кабинет. Я помню дорогу, хорошо все разведаль.

Й о з е ф *(яростным шепотом)*. Не кричите вы так! Чего доброго, разбудите кого-нибудь! Ситуация-то позорно неблагоприятная. Вам, конечно, этого не понять...

(Вздыхает. Как бы про себя.) Но мне ни минуты покоя не будет, пока эти бумаги в чужих руках. *(Надевает очки.)*

Ш т а д е р возвращается за сконфуженным Йозефом. И теперь оба замечают Томаса, который встает с лавки. Неизвестно зачем Штадер торопливо задувает свечу.

Т о м а с. Возьмите ключ. Папка в среднем ящике стола. *(Протягивает Йозефу ключ.)*

Йозеф берет ключ и машинально передает его Штадеру; Штадер тотчас уходит: радуясь, что выбрался из щекотливой ситуации; на прощанье он бросает ласково-испытующий взгляд на Томаса. Йозеф нерешительно и смущенно следует за ним, но в дверях оборачивается, пытаясь объясниться.

Й о з е ф *(виновато)*. Бумаги надо уничтожить... Знать о них не хочу. Я бы и этого типа укокошил *(кивает в сторону Штадера)*, которому все известно, да не могу пойти на убийство...

Томас втаскивает Йозефа обратно в комнату, а тот пытается загладить эту фамильярность чопорной уступчивостью.

Я начал вновь мысленно анализировать факты. И пришел к выводу, что речь может идти только о патологическом смятении чувств! Любовь тут ни при чем!

Т о м а с. Да, любовь ни при чем. *(Со странным смешком отпускает Йозефа.)* Ищи, ищи! Арестуй его! Натрави на него свою полицейскую ищейку!

Й о з е ф. Ты... *(с красноречивым жестом)* переутомлен.

Т о м а с *(бросается на стул)*. Я очень устал.

Й о з е ф *(стоя прямо перед ним)*. Поменьше эмоций, милый мой Томас; здесь способны помочь только принципы!

Т о м а с. Поменьше эмоций? Н-да, а Мария говорит, эмоций у меня никогда не было.

Й о з е ф. Ну, женщина есть женщина; нынче она, возможно, будет думать иначе. Как бы там ни было, я вчера уже сказал свое последнее слово насчет этого заразного больного, которого ты терпишь у себя в доме!.. Как бы там ни было, я вправду велю арестовать его, пусть только придет утро и можно будет звонить по телефону... *(Смягчаясь.)* Это все от избытка эмоций. Нельзя все восприни-

мать так эмоционально, разве только великое и прекрасное, тогда от эмоций не будет большого вреда... Ты был очень разочарован?.. Ну, я имею в виду, ты же человек ясного рассудка, а сбить себя с ног позволил оттого, что непомерные эмоции этого идиота поначалу заражают всех и каждого.

Т о м а с (*устало, уступчиво, однако польщенно*). Не посидишь немного со мной?

Й о з е ф (*намереваясь последовать за Штадером*). Нет, увы, не могу — пока ты не придешь в себя.

Т о м а с. Наберись терпения, еще чуть-чуть, победа все равно за тобой.

Й о з е ф (*опять смягчаясь*). Я бы тоже не смог выдержать. А теперь я должен еще раз проштудировать документы этих заблуждений. Чтобы существовать, мне нужна прочная, надежная основа. (*Уходит.*)

Томас садится за массивный стол посреди комнаты и опять подпирает голову руками. Входит М а р и я, садится напротив, смотрит на него; он поднимает голову, а она плачет, уронив голову на стол. Томас встает, молча садится рядом, гладит ее по волосам.

М а р и я (*поднимает голову*). Я прямо как авантюристка.

Т о м а с. Ты должна это сделать. Если всей душой делаешь что-то во имя некоего дела, оно задним числом стоит того.

М а р и я. Я и хочу, и боюсь.

Т о м а с. Ожидание истощает силы, и когда приходит время действовать, их уже не остается.

М а р и я. Такое ощущение, будто все, что я хочу сделать, давным-давно позади. Зачем же я это делаю?! Зачем?! Но часовой механизм продолжает свой бег.

Т о м а с. Ты должна это сделать. Ведь в конце концов только по результату ты сможешь определить, что это было.

М а р и я. То же самое ты говорил об Ансельме; ты выталкиваешь меня вон.

Т о м а с. Должно быть, это вроде как прыжок вниз головой: сначала есть только решимость, и больше ничего, а потом вдруг уже новая стихия, и ты двигаешь руками и ногами. Когда свершаются жизненно важные решения, человек, собственно, бывает как бы в прострации.

М а р и я. Да ты знаешь ли вообще, что я хочу сделать?!

Т о м а с (*глядя ей в глаза*). Я не хочу снова на тебя давить.

М а р и я. Я хочу еще раз поговорить с Ансельмом. Может быть... я верну его сюда?..

Т о м а с. Я вижу опасность, но раз ты идешь на риск, я должен принять такую ответственность.

М а р и я (*опять испытывая его*). А если я не вернусь? Что ты станешь делать?

Т о м а с. Не знаю.

М а р и я. До сих пор не знаешь?

Т о м а с. Нельзя все время твердить: это должно произойти, а то — нет. Подождем. Не знаю я, что придет мне на ум. Не знаю, и всё тут!

М а р и я (*вскакивая*). Это невыносимо!

Т о м а с (*мягко*). Гляжу я на тебя и словно прикидываю, как буду рассказывать про тебя кому-то другому. Такая, дескать, она была красивая и добрая, и вот случилась удивительная история. Но дальше я пока как раз и не знаю.

М а р и я (*нерешительно*). Ох и сумасброд же ты.

Т о м а с. Внизу, допустим, играла шарманка. И было бы воскресенье. Полное меланхолии уныло законченной недели. Я бы уже сейчас мог до слез тосковать по тебе. Но мысль о том, чтобы заточить тебя и себя в столь закоснелых узах, как любовь или еще какая-то полная общность, по-моему, сущее ребячество... Однако ж, пожалуй... я был бы благодарен за тебя тому, кто способен это совершить...

М а р и я. Знаешь, какой ты все-таки? Хотя упорно этому противишься. В тебе живет великое желание быть хорошим и добрым, которое с замиранием сердца иногда чувствуешь в детстве.

Т о м а с (*протестуя*). Не забудь: теперешние нежные пузырьки уже через день-другой станут пересохшей пленкой.

М а р и я. Нет. Нельзя же вот так просто позволить, чтоб у тебя выбили из рук всю прошлую жизнь! Мне бы хотелось по крайней мере спрессовать ее в одну ясную мысль!

Т о м а с. Ступай, пора, а то опоздаешь на поезд.

М а р и я. Я не могу оставить тебя так. Уйти от этого стола и оставить тебя одного? Налила бы тебе чаю... пересчитала белье... не знаю что еще, в голову ничего не приходит. (*Замечает чайник, который налила еще раньше, зажигает спиртовку, сыплет в воду чай.*) Ты простишь меня?

Т о м а с. Давай расстанемся, не кривя душой: об этом я вообще не думал. У меня уже такое чувство, будто все утонуло и продолжается глубоко под землей, чтобы однажды где-нибудь вырваться на поверхность. Все во мне движется вперед, сиюминутности нет... Иди, Мария, ты должна.

Мария стоит в безмолвной борьбе.

Мне ведь тоже грустно.

М а р и я. Тебе не грустно; ты отсылаешь меня прочь. Мне так трудно уйти от тебя, не знаю почему. У нас, женщин, любовь глубже!

Т о м а с. Потому что вы любите мужчин. На мужчинах для вас свет клином сошелся.

М а р и я. Ты уже о чем-то тоскуешь.

Т о м а с. Возможно, о раздумье.

М а р и я. Слезы переполняют меня — с ног до головы, до глаз.

Томас хочет подойти к ней. Она оставляет чайник и выбегает из комнаты. Томас на миг замирает в изумлении. Потом подходит к чайнику, снимает его со спиртовки. Дверь приоткрывается. В щель протискивается Ш т а д е р. Томас, занимаясь чаем, не замечает его.

Ш т а д е р (*несколько раз откашливается*). Не хочу вам мешать... Простите...

Т о м а с (*вздвигнув от неожиданности*). Что такое?!

Ш т а д е р. Собственно, ввиду моей нынешней задачи я не вправе позволить себе... но если вдуматься...

Т о м а с. О чем вы?!

Ш т а д е р. Я сочувствую вам! При всем моем уважении к его превосходительству. Я много лет отношусь к вам с величайшим почтением. И потому осмелюсь дать вам совет: не вмешивайтесь в это безнадежное дело. Поговорим как мужчина с женщиной. Вы без толку напрашиваетесь на разочарования.

Т о м а с. Ах, ну да... Я, правда, не знаю, каким это образом, но коль скоро вы, по вашим словам, относитесь ко мне с почтением, я хочу, чтобы вы молчали. Понимаете! Молчали как могила!

Ш т а д е р. Вообще-то, у меня есть к вам предложение; вы можете всецело на меня положиться, господин профессор.

Т о м а с. Это была случайность?..

Ш т а д е р. Да.

Т о м а с. Этого вообще не было!

Ш т а д е р. Конечно, нет.

Т о м а с. Садитесь, пожалуйста.

Ш т а д е р. Спасибо. Его превосходительство увлечен чтением. (*Осторожно садится, молчит, подыскивая слова, и в итоге выпаливает.*) Я ведь слежу за вами уже долгие годы, господин профессор.

Т о м а с. Почему? Что я натворил?

Ш т а д е р (*восторженно*). О, даже у вас совесть не вполне чиста! Я заметил это по вашему веку. По едва заметному подергиванию. От подсознательного чувства вины нынче страдает буквально каждый... Но дело не в этом, нет. Я слежу за вашим творчеством, за вашими поразительными работами!

Т о м а с. Разве вы что-то в них понимаете?

Ш т а д е р. Да в общем нет. То есть кое-что понимаю, так как по роду занятий связан практически со всеми науками... но, словом... еще много лет назад Регина рассказывала мне о вас.

Т о м а с. Не смейте называть ее Региной. Для вас она «ее превосходительство», или «милостивая государыня», или «ваша госпожа кузина». Хотите сигару?

Ш т а д е р (*отказываясь*). Я еще занят, как говорится, служебным расследованием против вашей госпожи кузины; спасибо, нет.

Т о м а с. Сигарету?

Ш т а д е р (*не в силах и дальше изобразить перед Томасом обиженного*). Спасибо. Пожалуй, да. (*Берет сигарету.*) Но мне было бы крайне неприятно, если б его превосходительство застал меня в такой ситуации. (*Затягиваясь, каждый раз прячет сигарету в ладони.*)

Т о м а с. Так что же вам рассказывали?

Ш т а д е р. О, много чего; и я сам постоянно спрашивал. Кой-какие высказывания даже записал сло-

во в слово! (*Достает записную книжку.*) Надо сказать, теперь я понимаю их совершенно не так, как тогда. Мало того, я готов признать, что совершенно их тогда не понимал. Но все же догадывался о необычайных возможностях такого рода людей и теперь вижу их вполне отчетливо. (*Найдя нужное место, цитирует.*) «Мы стоим на пороге нового времени, когда наука поведет за собой или разрушит; во всяком случае, она будет властвовать эпохой. Давние трагедии отомрут, и мы не знаем, возникнут ли новые, если уже теперь в опытах на животных можно несколькими инъекциями пересадить в самца душу самочки, и наоборот. Тому, кто не умеет решать интегралы и не владеет техникой эксперимента, ныне вообще непозволительно говорить о душевных проблемах». Вы помните, кому адресовали все это?

Т о м а с. Да, конечно.

Ш т а д е р. Это из письма его превосходительству. Я был под огромным впечатлением. Вы понимаете? Представляете себе, какое значение это имеет для морали и криминалистики, не говоря уже о перспективах искусства детективной маскировки. (*Встает.*) Господин профессор! Разве можно не воспользоваться этим на практике?

Т о м а с. Ее превосходительство рассказывала мне об этом.

Ш т а д е р. Ее превосходительство? Рассказывала? В самом деле?

Т о м а с. Вам не хочется в благодарность вызволить ее из щекотливой ситуации?

Ш т а д е р. Гм... понятно, на что вы намекаете. По-вашему, я должен стащить папку? К таким приемам я обращаюсь с величайшей неохотой.

Т о м а с. Вот как? Нет, просто у меня мелькнула мысль, что по отношению к моей кухне вы ведете себя крайне непорядочно, верно ведь?

Ш т а д е р (*протестуя*). Мужчина блюдет более высокие интересы. (*Снова во власти эмоций.*) Да, я тоже был мечтателем! Но пришел к выводу, что этого недоста-точно. Позвольте сделать вам предложение; если вы его примете, я все для вас сделаю! (*Опять садится.*) Ока-жите честь фирме «Штадер, Ньютон и Ко», став ее науч-ным компаньоном.

Т о м а с (*развеселившись*). Очень уж неожиданно. Я что-то плохо представляю себе эту мою роль.

Ш т а д е р. С людьми вроде вас я начинаю разговор не с финансов; если дух не растрачивают в книгах, а коммерчески им управляют, успех не заставит себя ждать. Вы знаете, что я был лакеем?

Т о м а с. Знаю.

Ш т а д е р. Я уже тогда был не только лакеем. Ночами...

Т о м а с (*протестующе*). Я вас умоляю!

Ш т а д е р. Нет-нет, ночами я удирал из дому, всегда. Я был певцом, то есть поэтом; народным певцом, понимаете, пел в трактирах, а время у меня было только ночью. Довольно скоро я от этого отказался; был собачником, педелем, полицейским осведомителем, коммерсантом — ах, кем я только не был! Однако что-то во мне не находило покоя ни в одной из этих профессий. Неуемность духа, я бы сказал. Отсутствие окончательной уверенности. Это и не дает человеку усидеть на месте. Так и тянет в дорогу, куда глаза глядят. Так и подзуживает! Но вы, господин профессор, слушаете мои рассказы, а...

Т о м а с (*закурив сигару, внимательно слушает; потрясение сменилось горьким весельем*). Нет-нет, рассказывайте, мне это куда интереснее, чем вы думаете.

Ш т а д е р. В конце концов я сообразил, что лишь наука способна даровать покой и порядок. И тогда я основал мой институт.

Т о м а с. Я навел о нем справки.

Ш т а д е р. И знаете его научные учреждения?

Т о м а с. Мне о них рассказали. Весьма предпримчиво.

Ш т а д е р. Ваше руководство было бы для нас редкостной удачей! Что говорить, порой мы бьемся как рыба об лед, преодолевая несовершенства методики. Наука-то не всегда устроена вполне практично, так что бывают и разочарования. Но больше всего разочарований коренится в человеческом непонимании! Именно в научных кругах мой институт покуда не встречает заслуженного понимания. Вот почему вы могли бы оказать поистине неоценимую помощь при разработке детективики как учения о жизни человека науки, который всюду задает тон.

Институт у меня всего лишь детективный, однако и перед ним тоже стоит задача формирования научного мировоззрения. Мы выявляем взаимосвязи, устанавли-

ваем факты, требуем соблюдения и наблюдения законов; но это лишь рутинная часть работы, которой я вас обременять не стану. Главная моя надежда — статистическое и методическое изучение человеческих обстоятельств, вытекающее из нашей деятельности.

Если нужно выбрать одну из пяти закрытых карт, у семидесяти процентов всех людей выбор будет одинаков. Если проверить записи показаний термометра или тонких замеров, при которых необходимо оценивать доли градуса или миллиметра, то оказывается, что все либо завышают оценку, либо занижают, смотря по расположению между двумя соседними делениями. Мне объяснили, что есть люди «глазные», «слуховые» и «мышкульные», которых отличают друг от друга вполне определенные, скрытые от дилетантов погрешности. Говорят, что поэты от веку используют одни и те же, достаточно немногочисленные мотивы и ничего нового придумать не могут. Говорят, что формат, который художники, народ якобы крайне своевольный, придают своим картинам, увеличивается или уменьшается согласно вполне определенным закономерностям — если проследить его изменения в глубь веков. Что влюбленные вечно талдычат одно и то же, это общеизвестно. Летом происходит больше зачатий, осенью — больше самоубийств. Говорят, здесь как с пенными гребнями волн: только дилетант полагает, что белые перекаты суть неудержимое поступательное движение; это оптический обман, создаваемый отлетающими брызгами, на самом же деле вода выписывает сложную кривую, не двигаясь с места. Так что же, самому себя дурачить? Делаете что-то, а втайне это закономерность! Просто невыносимо знать, что когда-нибудь все станет точно известно, а ты сам понятия не имеешь, что тут к чему!

Т о м а с. Друг мой, вы положительно родились слишком рано. А меня вы переоцениваете. Я — дитя нынешнего времени. И вынужден довольствоваться тем, что сажусь наземь между двух стульев — между знанием и незнанием.

Ш т а д е р. Нет-нет, вы ведь пока не отказываетесь?! Обдумайте все хорошенько!

Т о м а с. В любую минуту сюда могут войти. Слушайте, до поры до времени мы будем поддерживать контакт. У меня есть для вас поручение, не слишком инте-

ресное, обычное. Вы видели мою жену. Доктор Ансельм ночью уехал. Моя жена отправилась за ним, следующим поездом в...

Ш т а д е р (*глядя на ручные часы*). По расписанию поезд только что ушел.

Т о м а с (*подавляя какое-то легкое движение*). Верно. Они встретятся в городе для разговора.

Ш т а д е р. И вам нужен такой же материал, как его превосходительству?

Т о м а с. Нет. Я только хочу, чтобы вы точно сообщили мне, как мой друг выглядел при этом, какое у него было выражение лица; ну и про мою жену — не слишком ли она нервничала, производила ли впечатление страдалицы или наоборот, женщины свободной и бодрой; словом, все подробности, как будто я сам наблюдал. А потом вы будете обеспечивать мне текущую информацию о начинаниях доктора Ансельма.

Ш т а д е р. О, это сущий пустяк, не беспокойтесь. Его превосходительство был нами вполне доволен.

Входит **Й о з е ф**, держа под мышкой обернутый бумагой пакет с документами; он ищет Штадера.

Й о з е ф (*раздраженно*). Где вы пропали?

Т о м а с (*быстро*). Мы еще поговорим позднее.

Ш т а д е р. Ваше превосходительство, позвольте мне!
(*Услужливо пытается забрать у Йозефа пакет.*)

Й о з е ф (*крепко прижимая пакет к себе*). Нет-нет, я сам. (*Томасу, примирительно-мягким тоном.*) Не дашь ли мне кусочек бечевки?

Ш т а д е р. Прошу, ваше превосходительство. (*Достает из кармана клубок и принимается почтительно обвязывать пакет прямо у Йозефа под мышкой; тот поневоле кладет сверток на стол.*)

Й о з е ф. Нам нужен еще сургуч. Тебя не затруднит?..

Ш т а д е р. Все предусмотрено. (*Достает из кармана сургучную палочку.*) Право же, ваше превосходительство, вы недооцениваете мою предусмотрительность. (*Хочет помочь Йозефу.*)

Й о з е ф. Нет-нет, Штадер, оставьте!

Штадер деликатно отходит. Йозеф начинает неловко, поспешно, дрожащими руками заворачивать папку в бумагу. Томас, тоже демонстрируя готовность помочь, зажигает оставленную Штадером свечу.

(*Вполголоса.*) Это не любовная история!

Т о м а с. Да, не любовная. Но что это было? (*Начинает помогать Йозефу.*) Закроем гроб! Засыплем землей. Пусть вырастут цветы.

Й о з е ф. Похоже, ты не видишь тут ничего серьезного.

Т о м а с. Я бы открыл перед Региной пути к новой жизни.

Й о з е ф. Прошу тебя, Томас, без имен! Мы не одни.

Ш т а д е р (*со своего места*). А печать у вас с собой, ваше превосходительство?

Йозеф поворачивается к Томасу. Они оба выпускают из рук пакет, тот снова разъезжается. Штадер несколькими ловкими движениями приводит его в порядок.

Т о м а с. Возьмите любую монету. (*Йозефу.*) Ладно, без имен. И все-таки я бы просто распахнул дороги, в конце концов это азы морали.

Й о з е ф (*чопорно протестуя*). Я попрошу вас!

Ш т а д е р (*примирительно*). Как прикажете, ваше превосходительство, — орлом или решкой?

Й о з е ф. Боже мой, да делайте как угодно, не спрашиваясь!

Т о м а с. Терять уже нечего, выигрывать — тоже.

Ш т а д е р (*запечатывая пакет*). Вот еще пример. (*С намеком.*) Все думают, орел или решка — дело случая; на самом же деле это подчиняется законам теории вероятностей и злокозненно властвует нами.

Й о з е ф. Я уже говорил тебе, что ты несколько переутомлен. Твердым надо быть не только ради себя, но и ради других.

Т о м а с (*упрямо; указывая на пакет*). Я бы его вообще спалил.

Й о з е ф. Довольно, слушать не хочу. (*Глядя на Штадера.*) Вы закончили? Тогда ступайте, ступайте!.. (*Берет себя в руки.*) Подождите меня в моей комнате! Пожалуйста.

Ш т а д е р (*с достоинством*). Господин профессор, позднее я позволю себе переговорить с вами еще раз, а то сейчас его превосходительству, похоже, докучает повышенное давление. (*Уходит.*)

Томас медленно, с удовольствием задувает свечу.

Й о з е ф. Томас! Ты хочешь еще раз говорить об этом, но учти, я не могу, пока этот человек находится в твоём доме.

Т о м а с. Его нет.

Й о з е ф. Кого — «его»? Я имел в виду, разумеется, Ансельма.

Т о м а с. Ансельм уехал.

Й о з е ф (*с облегчением*). Стало быть, ты все же понял, что он тебя дурачил? Я хотел бы поговорить с Региной.

Т о м а с. Сейчас нельзя... Она плохо себя чувствует.

Й о з е ф (*убедившись, что Штадер не подслушивает. Недоверчивым шепотом*). Она уехала с ним?

Т о м а с (*спокойно*). С ним уехала Мария.

Й о з е ф. Ты шутишь? Не понимаю, как можно теперь шутить, но ты ведь пошутил?

Т о м а с. Пожалуй, я слегка сгустил краски; он уехал один. Но Мария, скорей всего, тоже уехала — следом за ним.

Й о з е ф. Следом за ним? (*Опять с недоверием.*) Вы так и не порвали с ним до конца?

Т о м а с (*твёрдо*). Нет, здесь другое. Мария едет по собственному решению. Она осуждает его поступки, но то, как он их совершает, пленило ее.

Й о з е ф. И что же это значит?!

Т о м а с. Во-первых, мне переломали кости... или по крайней мере окостенения. Впрочем, цепкая протоплазма еще жива. Во-вторых, самый близкий человек отошел от меня — в чем я ему последую; быть может, он опередил меня лишь от страха.

Й о з е ф. Но Мария! Такая женщина, как Мария? О, этот ловец душ! Однако теперь я начинаю угадывать новую взаимосвязь: с самого начала этот мерзавец намеревался только унижить ее перед Марией? Тебе не кажется, что я обязан позаботиться о Регине? С тех пор как я сам, не пойму каким образом, вдруг очутился со свечой в безнадзорных спящих комнатах... я правда и сейчас еще в замешательстве... а насколько же больше замешательства у такого пассивного человека, как Регина... по-моему, очень может быть, что она была просто в смятении, когда... позволила обвинить себя в этих грехах.

Т о м а с. Посиди лучше рядом со мной. Я так рад, что мы можем поговорить; мне очень хотелось тебе пер-

вому об этом рассказать. (*Садится сам и усаживает Йозефа в кресло.*)

Й о з е ф. Ты на удивление спокоен. Неужели не понимаешь: рука, подававшая тебе блюда, возможно, уже запятнана виной. Рот, которому ты верил, едва лишь он открывался, уже солгал. Ты думал, что живешь среди родных, а сквозь стены все время заглядывали чужие глаза. На тебя навлекли самый страшный позор, какой только можно навлечь на мужчину!.. (*Пытается поправить себя.*) Конечно, я не берусь утверждать, что все непременно так и есть.

Т о м а с (*отвечает, весьма задумчиво*). Знаешь, что я тут вижу? Что любовь к одному избраннику, собственно, не что иное, как отвращение ко всем людям.

Й о з е ф. По-моему, ты... Да, по-моему, ты и впрямь бесчувственный.

Т о м а с. У меня чувства очень шаткие.

Й о з е ф. Нет-нет, я хочу поговорить с Региной. Ее место в упорядоченных, надежных обстоятельствах. (*Хочет встать.*)

Т о м а с (*удерживая его*). Что же ты ей скажешь? Как намерен поступить?

Й о з е ф (*озадаченно*). Ну а ты-то как поступишь? (*Внезапно.*) Томас! Давай все забудем! Я не буду помнить старое. Мы должны взять себя в руки. У нас один и тот же враг.

Т о м а с (*упорно оставаясь в задумчивости*). Это совсем разные ситуации. Между Марией и Ансельмом не произошло ничего; разве только что-то начинается. Между Ансельмом и Региной кое-что произошло и закончилось — или окоuchрилось! То, что ты называешь их грехами.

Й о з е ф. Ты так уверен?

Т о м а с. Мы с Региной достаточно подробно все это обсудили. Ты куда?

Йозеф встал.

Й о з е ф. Теперь я тем более должен поговорить с Региной. Хочу, чтобы мое несчастье получило по крайней мере ясное, чистое завершение. Пусть она, глядя мне в глаза, признается в своих ужасных заблуждениях, если сможет, если стыд не скует ей язык.

Т о м а с. Вряд ли она начнет с таких речей. Ведь она понимает, что, кроме дурацких авантюр, рассказывать нечего. Какой-то болван, пустослов, сердцеед или силач, атлет — хоть силой он даже с маленькой лошадкой тягаться не может! — вдруг вырастает до чудовищных размеров: любовь! Так же и страх: там растет неизвестное. В обоих случаях — неизвестное. Можешь себе представить? Вот именно, я тоже с трудом. Неизвестное, как будто бы окружающее нас всех, для иных людей порою, очевидно, вырастает. Похоже, есть люди, у которых расшатано все то, что у других прочно закреплено. И оно отрывается... Кстати, сколько удовлетворения — задним числом установить, что повод звали Францем или еще как-нибудь и всеми дурацкими словечками и уверениями, какими влюбленные заражают друг друга. Она, конечно же, знала, что это недостойно.

Й о з е ф. Если вообще позволительно вдаваться в подобные размышления: ей надо было в свое время довериться мне!

Т о м а с. Ты бы доказательно установил сей моральный изъян и был бы прав. С тем же успехом она могла бы пойти к врачу и услышать от него: эротомания на истероидно-неврастенической основе, фригидный синдром при патогенной необузданности и прочая, что опять-таки было бы справедливо! Потому что она поглощала эти, с позволения сказать, приключения как заядлый курильщик и единственным признаком, что доза достигла максимума, была скука пресыщенности. Наверно, в конце концов она вообще не могла смотреть на мужчину, не...

Й о з е ф. Что «не»?! Неужели ты не чувствуешь во всем этом невыносимой упадочности?!

Т о м а с. Не вцепляясь в него; вот как ты, видя учебник по своей специальности, не можешь не перелистать его, хотя уверен, что и так знаешь все, что в нем написано. Не забывай, как часто наши поступки столь же порочны — правда, в сфере добрых намерений.

Й о з е ф. Ах, как же ты любишь блеснуть ничемным остроумием. Ее бы следовало научить непритязательности и уважению прочных основ бытия.

Т о м а с. Йозеф, то-то и оно: нет у нее этого уважения. Для тебя существуют правила, законы, чувства, которые должно уважать, люди, с которыми должно считаться. А у нее все как сквозь сито проходит, ничего не оста-

ется, сколько она ни удивляется. Среди благоустроенности и порядка, против которых ей нечего возразить, что в ней самой этому порядку не подчиняется. Зародыш иного порядка, какого она никогда не создаст. Кусочек еще не остывшего огненного ядра творения.

Й о з е ф. Да ты никак намерен выставить ее этакой исключительной персоной? (*Встает. Иронически, решительно, с деланной торжественностью.*) Благодарю, ты открыл мне глаза. А знаешь, ты ведь опять выгораживал и того, с кем уходит твоя жена!

Т о м а с. Да. Знаю. Но я этого и хотел. Ты требуешь идолов, а с другой стороны, не желаешь, чтобы их довели до крайности. Позволяешь вдовцам жениться вновь, но объявляешь любовь бесконечной, дабы воссоединение в браке состоялось лишь *после* смерти. Ты веришь в борьбу за существование, но умеряешь ее заповедью: возлюби ближнего своего. Ты веришь в любовь к ближнему, но умеряешь ее борьбой за существование. Придаешь законам *обязательную* силу, но задним числом идешь на уступки. Ты за *собственность и* благотворительность. Объявляешь, что надлежит умирать во имя высших ценностей, так как изначально допускаешь, что никто ни часу ради них не живет...

Й о з е ф (*перебивает*). Словом, ты утверждаешь, что у меня непомерные запросы, что в конечном итоге я слишком строг и придирчив. Или наоборот: что по натуре я самый обычный соглашатель?

Т о м а с. Я утверждаю только то, чего никто не оспаривает: что ты человек дельный и скрупулезный, которому во всем необходима солидная основа! Ничего другого я утверждать не собираюсь. Ты ходишь по балкам каркаса, а ведь иных людей так и тянет заглянуть в дыры между ними.

Й о з е ф. Спасибо. Вот теперь я вижу, кто ты есть. Среди больных — слегка прихворнувший.

Т о м а с. По-моему, нужно отвоевывать у таких, как ты, право временами болеть и видеть мир из горизонтального положения.

Й о з е ф (*подходит вплотную к нему*). Думаешь, человек с такими взглядами заслуживает доверия иметь учеников и преподавать в университете?

Т о м а с. Плевал я на это. Понимаешь?! *Плевал!!* Мне хочется сохранить ощущение, будто я хожу по незна-

кому городу, где передо мной еще открыты огромные перспективы.

Й о з е ф. Надо же! Так далеко заходит твое согласие с этим изгнанным приват-доцентом?

Т о м а с (*кричит*). Для меня он смешон!! Я защищаю его только перед *тобой*.

Й о з е ф. Томас, ты по-прежнему в замешательстве! Десять лет ты занимался научной работой, и, надо сказать, успешно. Сейчас ты рассуждаешь безответственно, зато я чувствую ответственность за тебя.

Т о м а с. Посмотри вокруг! Наши коллеги летают на самолетах, пробивают туннели в горах, плавают под водой, не отступают даже перед самым глубоким обновлением своих систем. Все, что они делают многие сотни лет, дерзновенно как образ великой, отважной, новой человечности. Которой никогда не будет. Потому что за этими вашими делами вы забыли их душу. А когда вам хочется души, вы теряете рассудок, как студент сбрасывает форму, собираясь идти по бабам.

Й о з е ф. Какое легкомыслие! А, делайте, что хотите! Ваш бедный отец на смертном одре доверил вас, сестер и братьев, мне как старшему, но, видит Бог, я больше не могу и не хочу иметь с вами ничего общего. Ничего! (*В ярости уходит.*)

Томас смеется ему вслед. Р е г и н а тихо открывает дверь.

Р е г и н а. Я все слышала.

Т о м а с (*наигранно*). Больше так не делай, Регина.

Р е г и н а (*отряхивая юбку*). Велика важность, если я напоследок сделаю еще и это. О, я хотела попробовать еще разок, но (*тоном, каким говорят о дурных предзнаменованиях*) устыдилась.

Т о м а с. Региночка, мечтательница, так нельзя, неже это. Ты теперь благородный, взрослый, борющийся человек. Знаешь? Мария уехала. Ну, не плачь! Понятно — Ансельм!

Р е г и н а (*борется со слезами*). Нет, я не из-за Ансельма, не из-за Ансельма! Пусть Мария забирает его себе. У меня он даже симпатии никогда не вызывал, всегда оставался каким-то чужим — вечно спешит, вечно вынюхивает. Я никогда не испытывала к нему того чисто физического доверия, какое всегда, сколько помню, испытыва-

ла к тебе... Но я чувствовала, моя жизнь станет лучше; он так интересовался мною; он в каждом что-то такое отыскивает, случайно тут, пожалуй, ничего уже не происходит...

Т о м а с. Да? А чудачества с Йоханнесом?

Р е г и н а. Томас, Йоханнес жил ради меня, только ради меня! У него не было в жизни иной цели и смысла, кроме меня! Я никогда не была настолько сумасбродна, чтобы не сознавать, что все это было, в реальности. Но я никак не могла примириться с тем, что этого существа больше нет на свете. Согласна, это было бегство в нереальность... (*Задумывается и повторяет без неодобрения.*) Бегство в нереальность. Ансельм тоже всегда так говорил... В еще-не-реальность, в горние выси. Есть в нас что-то, чему среди этих людей нет места, — знаем ли мы, в чем оно заключается? А смелости у него не достало!.. Я вдруг совсем поглупела и стала чуть ли не праведницей, заметив, что дело в ином. Куда девалась сновидческая простота, с какой можно было завлечь человека в четыре бумажные стены фантазии. Его мысли воздвигли на пути барьер сопротивления. Впервые не было этой бессмысленно прямой бабьей дороги от глаз под сердце; я поняла: сильные люди чисты. Ты, конечно, можешь смеяться, но мне всегда хотелось быть сильной, как великан, о котором рассказывают в веках! И каждый способен стать им; просто каждый позволяет упаковать себя в себя, как в слишком маленький чемоданчик. Но у него не достало смелости! Он спасся бегством! Томас! То, что он делает с Марией, — трусливое бегство в реальность!

Т о м а с. С Марией так просто не выйдет, сама увидишь.

Р е г и н а (*наливает себе чаю*). Прежде чем подойти к этой двери, я еще раз обошла дом. Давние детские, чердаки, все обители нашей фантазии. Побывала и там, где Йоханнес покончил с собой. (*Пожимает плечами: дескать, ничего особенного.*) Все было почти точь-в-точь как раньше. За дверьми поднималась прислуга, с запозданием, так они ждут в своих комнатах, пока их вызовут звонком. К тому времени все прибрано, все в полном порядке. Готово уютно заурчать, как урчало все эти пятнадцать лет, триста шестьдесят пять дней, уже не существующих дней каждого года. В том числе и когда

меня здесь не было, когда я была несчастна, когда я в чужом доме кусала простыню и плакала.

Т о м а с. Дом все больше пустеет. Ансельм уехал. Мария уехала; спорим, ближайшим поездом уедет Йозеф.

Р е г и н а. О, как бы мне хотелось еще раз броситься на пол, в цветы ковра. Ты просто смотри на меня, буравь меня своими злыми трезвыми глазами, чтобы я этого не сделала.

Т о м а с. Такие крупные цветы мы иногда обходили по контуру. Впрочем, дело не в величине, скорее, в нелепой причудливости формы.

Р е г и н а. Цветы становятся огромными, когда лежишь на полу. Ножки стульев — как деревья без листвы, ооченело и бессмысленно приросшие к месту: вот таков мир. Большой мир.

Т о м а с. Помнишь, как-то раз мы сидели в шкафу?

Р е г и н а (*пристально глядя на ковер, ходит по контуру больших дуг его узора — туда и обратно, иногда переступая с одной дуги на другую*). Странно и жутко. Я способна двигаться куда хочу и однако же не всегда могу. Ночью, когда не спится, я бы нипочем не рискнула встать и, выпрямившись в полный рост, пройти по комнате. Даже если я всего лишь вытаскиваю из-под одеяла руку и кладу ее под голову, я невольно тотчас же вновь ее убираю. Так жутко, что она лежит в чужом мире и я ее не вижу. Она больше не моя, я должна поскорее спрятать ее под одеяло и прирастить к себе.

Т о м а с (*продолжая свою мысль*). Мы сидели в шкафу, и кровь в жилах на шее булькала от волнения. (*Умолкает.*) Ах, вздор, мы уже не дети. (*Показывая на узоры, по которым ходила Регина.*) Человек никогда не выходит за пределы предначертанного. Поднимаясь наверх, вновь и вновь проходишь мимо одних и тех же точек, кружишь в пустоте над предначертанным главным разрезом. Это как винтовая лестница.

Р е г и н а (*с полунаигранным, полускренным ужасом указывая на ведущую наверх лестницу*). Вот она! Видеть ее не хочу! (*Прячется подле дивана.*)

Т о м а с (*тоже испуганно*). Ну ты мастерица пугать! (*По-братски, без стеснения садится рядом с ней.*) Сегодня ночью мне приснился сон, о тебе. Мы опять сидели в шкафу...

Регина. Ой, как у тебя сердце стучит. Сквозь пиджак слышно.

Томас. Но разве эта комната не похожа на шкаф? Разве весь этот обезлюдивший дом не похож на пустой шкаф? Нас как бы повернули вспять.

Регина (*приподнимается, в плену пугающей мысли*). Что же нам теперь делать?!

Томас. Ничего, Регина. На настоящих деревьях золоченые орехи не растут. Их только ищут там, что уже весьма странно. В душе я и сам, пожалуй, раз-другой в году желал Мариина ухода. Отпустить, дать уйти — музыка, тихо плывущий в просторах аккомпанемент шествия, которое еще не началось. Вот как *ты*. Она и видит, вероятно, лишь некое подобие звезд, качающихся на длинных палках; листья, сквозь чей сон пробираются руки света. А наверное, все-таки замечательно думать о таком...

Регина. А идти в этой ночи по ухабам — сущий кошмар? Томас, милый ты мой! (*Снова ложится на ковер.*)

Томас. Ах нет, вздор, вздор — и то и другое! Все нелепо, так нелепо!

Регина. Погоди. Я вообще уже не могу себе представить, как со мной было раньше. Я лежала под кустом и совала в рот жука. Он прикидывался мертвым. А мой пульс отсчитывал время. И я говорила себе, что на определенной цифре он явится из моего волшебном освещенного рта маленьким принцем. Да, пока это было еще волшебство. Проглотить частицу мира. Потом, досчитав до той цифры, я его выплевывала, но и в другой раз загадывала то же самое, потому что меня не оставляло какое-то таинственное чувство. Так я жила. Долго. Но мало-помалу воцарялась обыденность. Да-а. Жизнь делалась все нелепее, все бессмысленнее.

Томас. Ты не чувствуешь? С лугов пахнуло рыбой. Непристойный запах. (*Стоя у нее над головой.*) Гляжу на тебя, в таком непривычном ракурсе, и знаешь, ты похожа на какую-то рельефную карту, на жутковатый предмет, а не на женщину.

Регина. А ночью с замиранием сердца видел во сне, что мы сидим в шкафу?

Томас. Ты была старше, чем сейчас, в Марииных годах, но выглядела так же, как пятнадцать лет назад. И

плакала, как вчера, но тихо и красиво. Мы сидели совсем спокойно. Твоя нога прижималась к моей, точно лодка к причалу; и вновь будто бы искристое движение ветра в кронах деревьев. Счастье.

Р е г и н а. Но как же это сделать?

Т о м а с. Сделать? Не знаю. От отчаяния вспороть друг другу нутро и валяться в чужих кишках, как собака на падали.

Р е г и н а. *Такой* конец был предначертан! Мы не знаем, что нам делать! И будем вновь и вновь стоять перед этой стеной! Я больше не могу!

Т о м а с (*берет ее лицо в ладони, целует*). Тебя я способен поцеловать, падшая сестра. Наши губы — четыре змейки, и только-то!

Р е г и н а. Мне хочется заключить тебя в нежную мягкость моего тела. Как заключена в ней я сама. Потому что я всегда любила тебя. Как себя самое. Но не больше. Не больше.

Т о м а с. Н-да... сперва этот поцелуй был далеко впереди, такой манящий. Теперь он тоже далеко, но позади, и жжет, ох как жжет. Пробриться нам не удалось. Не удалось! Ты это чувствуешь!

Вошедшая М е р т е н с невольно наблюдает эту сцену. Хочет возмущенно уйти, но они замечают ее.

М е р т е н с. Ах, Регина, быстро же вы утешились; я хотела уйти, ни слова не говоря. В этом доме царит непонятная мне атмосфера.

Регина и Томас несколько принужденно смеются.

Т о м а с. Поймите, то, что вы застали, вовсе не любовная сцена. Наоборот, антилюбовная. Так сказать, сцена отчаяния.

М е р т е н с. Я судить не берусь.

Т о м а с. Отчего мы пришли в отчаяние, Регина?

Р е г и н а (*пока что подыгрывая*). Мы оттого пришли в отчаяние, что нам ничего больше не оставалось, кроме как снова вести себя по-детски, по-школярски. Мертенс! Послушайте, не бросайте меня одну! Нужно, чтобы кто-то поддерживал мою голову. Томас будет печально сидеть рядом со мной, умирающей, и объяснять, что я ему только мешаю. Потребуется, чтобы я, как умира-

ющая, помогла ему сформулировать, почему этот миг всего-навсего убогая телесная катастрофа, тогда как страх и печаль по обе стороны сияют таким волшебством.

Т о м а с. Не надо пошлостей.

М е р т е н с. Вечером я уезжаю. А пока пойду куда-нибудь на воздух. Прошу вас, хватит смеяться надо мной; вы и не думаете умирать.

Р е г и н а. Но Мертенс! Разве я не думала об этом всегда?

М е р т е н с. Не знаю, о чем вы думали, когда изображали передо мной прекрасную, благородную веру, которая не могла примириться с темной реальностью. Я пала жертвой иллюзии. Ведь и я тоже некогда потеряла любимого, но двадцать один год, вплоть до сегодняшнего дня, в чистоте хранила ему верность. (*Уходит.*)

Т о м а с. Вот, пожалуйста! Порок — это грязь. Но и добродетель хороша только в свежем виде!

Р е г и н а. Теперь она и вправду уедет. Мария, Йозеф, она... порядок теряет крепость, как десны при цинге перестают держать зубы; вот и с нами так же.

Т о м а с. Почему ты позволяешь себя унижать?! Даже этой особе.

Оба сидят насупившись, далеко друг от друга и не могут возобновить попытку.

Р е г и н а (*упрямо*). Потому что не знаю, как мне быть. Неужели ты не понимаешь, я всегда должна была что-то делать. А теперь ничегошеньки не знаю. Иди сюда! Нет, останься там! Тайна — я посреди всего этого — кончилась.

Т о м а с. Все тускнеет вблизи и при равнодушном наблюдении; взять хотя бы светлячка — поймаешь его, а в руке тусклый серый червячок! Но когда знаешь это, возникает куда более дьявольское чувство, тут не до сюсюканья: ах-ах, Божий фонарик!

Р е г и н а. Размышления меня мало привлекают.

Т о м а с. Может, ты и права. Тут вряд ли что возразишь... Но тогда я не могу тебе помочь...

Р е г и н а. ...Когда я от вас ушла, после Йоханнеса, у меня еще хватало храбрости. Во мне было некое ожидание, которое я называла печалью — разумеется, неправильно.

Т о м а с. Это, разумеется, был голод.

Р е г и н а. Н-да, храбрость. Но все последующее оказалось нескончаемым потоком пустых часов. Я просто не понимаю, как другие люди умудряются правильно их заполнять.

Т о м а с. Они, разумеется, лукавят; у них есть профессия, цель, характер, друзья и знакомые, манеры, принципы, одежда. Взаимные гарантии от гибели в миллионных глубинах пространства.

Р е г и н а. Но ведь все, что происходит, серьезно лишь наполовину, а наполовину это игра! Мы призываем жутчайшее, и оно является с полным безразличием — ни ужаса, ни напряжения. Потому что рядом как раз стоит или не стоит телефон, или со скуки, или от бессмысленности сопротивления. Потому что весь ужас в том, что жизнь, коли уж ты ее начал, идет сама по себе и без твоего участия, без вины и невинности.

Т о м а с (*подходит, растерянно глядя на нее*). Простекает из тысяч причин, которые может исследовать детектив или знаток людей, но только не из той единственной, глубочайшей, — не из тебя самого.

Р е г и н а (*протестующе*). Повторить мы не можем. (*Отходит подальше от него.*) Люди воображают, будто владеют тобой, все твое существо открыто им, а тебя в этом безумном механизме нет и в помине... Некогда было так замечательно — тайна, волшебство, формула безумной силы. Словом, хорошо и просто здорово.

Т о м а с. Но ведь и здесь тоже всего-навсего первоначальная иллюзия, которой подвержен всякий молодой человек, утреннее ощущение. Можно делать что угодно, ибо все к тебе же и возвращается, как брошенный бумеранг.

Р е г и н а. Сколько было радости — надушиться экзотическими благовониями и отведывать сложные легкие блюда. А потом в один прекрасный день ловишь себя на том, что пьешь один только чай, ешь карамельки да куришь сигареты. Такое чувство, будто тебя включили и заключили в план, который был составлен еще до начала всего. Заранее рассчитанное, всем давно известное обрушивается на тебя — сон в определенные часы, завтраки, обеды и ужины в определенные часы, ритм пищеварения, следующий вращению Земли вокруг Солнца...

Т о м а с. Летом растет число зачатий, а осенью — число самоубийств.

Р е г и н а. Тебя тоже затягивает! А мужчины будут по-прежнему являться ко мне словно этакие непонятные ползучие создания, тысяченожки, черви; ты не замечаешь их различий и все-таки чувствуешь, что в каждом из них разная жизнь!..

Т о м а с (*будто глядя на какое-то видение, издали смотрит в окно*). Мария и Ансельм скоро будут уже далеко, среди незнакомого ландшафта. Солнце там будет светить на траву и кусты, как здесь, заросли кустарника будут куриться испарениями, в воздушные летуны — ликовать. Ансельм, верно, будет лгать, но что он скажет там, в чужом краю, мне знать не дано...

Р е г и н а. Ты несчастлив?

Т о м а с. Любой конфликт имеет значение лишь в определенной атмосфере; как только я вижу их в этом чужом краю, все уходит в прошлое. Здесь невозможно достичь гармонии, Регина, высочайшее невозможно привести в гармонию с нами. Благоденствуют лишь те, кому это не нужно.

Р е г и н а. Помоги мне, Томас, посоветуй, если можешь.

Т о м а с. Как я тебе помогу? Надо просто иметь силу любить эти противоречия.

Р е г и н а. Так что же ты будешь *делать*?

Т о м а с. Не знаю. Сейчас я думаю так, а позже, наверно, стану думать иначе. Мне хочется попросту уйти куда глаза глядят.

Р е г и н а. Давай уедем вместе, ты и я! Что-нибудь сделаем! Хоть что-нибудь! Помоги же мне! Иначе моя давешняя воля превратится в месиво отвращения!

Т о м а с. Но Регина! Мир представляется чуть ли не физически более просторным, если соответствующую сторону все время заслоняло соседство другого человека. Тогда однажды вдруг оказываешься в на удивление просторном полукруге. Один как перст.

Р е г и н а. Я не могу остаться такой, как была! А стать другой — как?! Как Мария?!

Т о м а с. Просто блуждаешь, где придется. Тебе враждебны все, кто идет предначертанным путем, тогда как ты бредешь в мире непредначертанными тропами духовных скитаний. И все равно ты как бы заодно с ними.

Помалкивай, когда они сурово на тебя смотрят; тишина; затаись в собственной оболочке.

Регина (*внезапно порываясь уйти*). Значит, по-твоему, выбора нет, мне остается сделать только одно! То, о чем я тебе не сказала!

Томас. Преувеличения! Я нарочно больше не стал спрашивать. В последние дни и я иной раз подумывал об этом. Но если б потом можно было стоять возле собственного трупа, сам бы устыдился поспешности. Ведь в эти дивные летние дни тебя бы по-прежнему нагло кусали слепни, и ты бы не только благоговейно ужасался вечности, но и почесывался.

Регина (*с улыбкой*). Томас, Томас, ты бесчувственный человек рассудка.

Томас. Нет-нет, Регина, уж кто-кто, а я и есть мечтатель. И ты тоже мечтательница. А на вид такие люди самые бесчувственные. Они бродят вокруг, наблюдают, что делают те, кто чувствует себя в мире как дома. Они носят в себе что-то, чего те не ощущают. В любую минуту способны сквозь все на свете погружаться в бездонность. Не утопая. Состояние творчества.

Регина быстро целует его и спешит вон из комнаты, прежде чем он успеет ее остановить.

Томас. Регина!.. Впрочем, нет, она же не натворит глупостей. (*Тем не менее встает и уходит следом за нею.*)

Занавес

ВИНЦЕНЦ И ПОДРУТА ВАЖНЫХ ГОСПОД

Фарс в 3-х действиях

Перевод Н. Федоровой

Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer
Posse in drei Akten

1923

Действующие лица

А л ь ф а

Б э р л и, крупный коммерсант

У ч е н ы й

М у з ы к а н т

П о л и т и к

Р е ф о р м а т о р

М о л о д о й Ч е л о в е к

П р и я т е л ь н и ц а

Д-р А п у л е й - Х а л ь м

В и н ц е н ц

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Ночь. Комната, частью тускло освещенная уличным фонарем. В глубине, на возвышении, отгороженном большой полузадернутой портьерой, как бы альков — еще одна комната, где горит затененная абажуром неяркая лампа; иная мебель вырисовывается лишь в виде каких-то размытых контуров. Приблизительно три часа утра. Из боковой кулисы входят А л ь ф а и Б э р л и. Она в вечернем платье, он во фраке, оба в театральных накидках. Альфа на переднем плане — включает лампу на подзеркальнике; рядом ширма, поэтому освещается лишь небольшое пространство. Альфа чем-то занята у зеркала. Бэрли стоит рядом.

Б э р л и. Так ли, этак ли, уж один бы конец!

А л ь ф а. А почему один, скажите на милость? Взгляните на эту щетку — у нее два конца. Впрочем, нет, у нее столько же концов, сколько щетинок. Вот и считайте. Мне вправду хочется узнать, откуда у людей берется такая уверенность!

Б э р л и. Вы должны стать моей женой!

А л ь ф а. Воображения у вас в голове меньше, чем у моей головной щетки.

Б э р л и. В этом плане моя голова начисто лишена воображения. Однако, бывало, мужчины стояли передо мной на коленях, умоляя пощадить их дело и их семьи...

А л ь ф а. И что же?

Б э р л и. Я никогда не давал им пощады.

А л ь ф а. Думаю, именно это мне в вас и нравится.

Б э р л и. Я велел выставить за дверь женщин, которые просили за своих мужей...

А л ь ф а. Это были гордые женщины?

Б э р л и. Да, пожалуй, были среди них и красавицы, и рыдающие матери.

А л ь ф а. О, это мне в вас очень нравится. Я сама такая. Меня рыдающая женщина ничуть бы не растрогала.

Б э р л и. С позволения сказать, в государстве я и мои предприятия — важный экономический фактор, и я неоднократно ставил всю эту власть на карту, просто чтобы подбросить ее в воздух и снова поймать, выиграть. В таком плане у меня воображения хватает, Альфа, причем с избытком!

А л ь ф а. И что же?

Б э р л и (*с отчаянием*). Но зачем, зачем я это делаю?! Альфа, я больше не вижу здесь никакого смысла! Я делал все это просто ради делания. Вы же чувствуете, у меня в руках кое-что есть, не как у этих калечных пустомель, которые толкутся вокруг вас; я могу сделать все, что хочу! но чего я хочу, Господи Боже мой, чего я хочу?!! Из-за вас все во мне разладилось. Вы должны стать моей женой.

А л ь ф а. Я уже вам сказала: в этом плане у моей головной щетки больше воображения.

Бэрли делает отчаянный жест.

Ну?

Б э р л и. Не думайте, что я потерплю такое сопротивление от женщины.

А л ь ф а. Что вы собираетесь делать?

Б э р л и. Убью вас и себя!

А л ь ф а. Убьете?..

Б э р л и. Да.

А л ь ф а. Вы так меня любите?

Б э р л и. Я знаю только две возможности: или вы выходите за меня, или я убиваю нас обоих.

А л ь ф а. Скажите красивее.

Б э р л и. Как?

А л ь ф а. Вам ведь очень хочется сказать: «Мы соединимся в жизни или в смерти».

Б э р л и. Не играйте с огнем!

А л ь ф а (*вставая*). Но это же до крайности безвкусно. По причине занятия торговлей и литературного невежества вы и чувствуете точь-в-точь как в дешевых семейных романах!

Бэрли набрасывается на нее. Лампочка гаснет. Недолгая борьба теней. Альфа падает; вытащив из-под накидки веревку, Бэрли связывает ее по рукам и ногам и относит на освещенную из алькова оттоманку.

Ах! Какая наглость! Какая ужасная наглость! И как старо!

Б э р л и. Вы пойдете за меня?!

А л ь ф а. Нет!

Б э р л и. Ты пойдешь за меня?!

А л ь ф а. До ужаса безвкусно — говорить «ты» потому только, что вы якобы думаете о смерти. Фу! (*Показывает ему язык.*) Вы окончательно пали в моих глазах. (*Поворачивается к нему спиной.*)

Б э р л и. Я отослал машину только для вида, она ждет внизу. Бензина хватит на три дня. Вы напишете нашим друзьям письмо, сошлетесь на какую-нибудь причину, заставившую вас срочно уехать, и мы сбежим в горы, в мое имя.

А л ь ф а (*через плечо*). Зачем мне ради этого писать письмо?

Б э р л и. Я так задумал.

А л ь ф а. А потом?

Б э р л и. Я распорядился известить тамошнего священника, потому что мы сразу поженимся. Я похищаю вас, присваиваю.

А л ь ф а. А потом? Вы же не сможете похищать меня всю жизнь и непрерывно присваивать. Итак, что же потом?

Пауза.

Б э р л и (*слегка приуныв*). Мы будем невыразимо счастливы.

А л ь ф а. Невыразимо?

Б э р л и. Конечно! Мы будем невыразимо счастливы!

А л ь ф а. Расплывчатый замысел. Невыразимо расплывчатый.

Б э р л и. Да, Альфа, слов мне всегда не хватает. Всю жизнь не умел выразить, чего хочу. И потому просто беру! Не болтаю, как другие, а просто беру! Я буду носить вас на руках. Ни одного камешка на вашей дороге не оставляю. Молиться на вас буду. Мы будем любить друг друга. Вы станете распоряжаться всем моим имуществом, как вам угодно...

А л ь ф а. Впервые слышу от вас небанальные речи.

Б э р л и. Какой мне смысл владеть тем, чем не владеете вы... что не жаждет вашей власти так, как жажду я! Куча глины — вот все, что я нашил. Мое достояние

насмехается надо мной. (*Стиснув кулаками виски.*) Вы как-то назвали меня глупцом, и я впервые задумался о себе. На «глупца» я не обижаюсь, это чепуха; а вот то, что я задумался о себе, отнюдь не чепуха. Я ведь не умею думать о себе! Так и не научился. Или разучился.

Оттого и живу беспомощно, ровно зверюшка какая-нибудь.

Но я чувствую: если я смогу подать вам этот мир, часть за частью, то еще раз сотворю его, весь, целиком!

А л ь ф а. Вообще-то вы очень милый, когда так говорите, даже значительный.

Б э р л и. Развязать вас?

А л ь ф а. Нет, пока не надо.

Пауза.

Поцелуйте меня!..

Неистовое объятие. Альфа задыхается.

(*Задумчиво.*) Но вы еще не успели мне сказать, что будет потом. Не могу же я всю жизнь безвылазно сидеть в вашем замке, точно камень в перстне!

Б э р л и. Даже ваш острый язычок — я и без него уже не могу обойтись. Чувствую: он плавит меня, как острый язычок огня плавит льдину. Он мучает меня, выставляет на посмешище, я свирепею и при этом впервые натыкаюсь на вещи, замечаю их присутствие.

А л ь ф а. Что верно, то верно; только я и в зеркало, поди, не могла бы посмотреть, чтоб не увидеть рядом ваше отражение.

Б э р л и. Я отнесу вас вниз, развяжу веревку в машине.

А л ь ф а. Нет, так не годится, давайте без глупостей, Бэрли, нынче мои именины, скоро придут гости.

Б э р л и (*неистово*). Они вас не заслуживают!

А л ь ф а. Почему?

Б э р л и. Не могу сказать, и всё. Вы — моя, но почему — сказать не могу. Ну хватит, я вас забираю.

А л ь ф а (*сопротивляясь*). Нет! Я не хочу! Так закричу, что весь дом сбежится!

Опрокидывает вазу, вода выливается. Бэрли, мгновенно опомнившись, останавливается.

Б э р л и (*совершенно другим голосом*). Хорошо. Вы мной пренебрегаете. И я не желаю и дальше терпеть от вас унижения. Что ж, тогда мы поступим иначе.

А л ь ф а. Иначе?

Б э р л и. Не хотите продиктовать мне вашу последнюю волю?

А л ь ф а (*боязливо*). Почему вы так серьезно на меня смотрите?

Б э р л и (*вынимает из кармана пистолет*). Потому что я сейчас выстрелю. И не сомневайтесь, сразу после вас я убью себя.

А л ь ф а (*пытаясь бравировать*). Если вы джентльмен, то вам прекрасно известно, что сперва вы должны убить себя. (*Сраженная ужасом.*) Уберите его!

Б э р л и (*с печальной улыбкой качает головой*). Нет, Альфа, это не шутка: я возьму вас с собой. (*Долго смотрит на нее и опять медленно поднимает пистолет.*)

А л ь ф а (*кричит*). На помощь!

Б э р л и. Помощи не будет.

А л ь ф а. Винценц!! На помощь!.. Винценц! Винценц!

Это неожиданное и никогда не слышанное слово — Винценц — заставляет Бэрли опустить пистолет. Он озирается по сторонам, вопросительно смотрит на Альфу, замечает, что в комнате есть кто-то еще.

Б э р л и. Что? Что это значит? (*Делает несколько шагов в темноту и включает полный свет.*)

Обнаруженный за дальним креслом человек поднимается во весь рост — долговязый, худой, лет под сорок, одет не без изыска, но скромно. В и н ц е н ц смущенно улыбается.

А л ь ф а (*повернувшись к нему*). Трус! Предатель! Трус!

Б э р л и (*с пистолетом, яростно, угрожающе*). Что вы здесь делаете?!

В и н ц е н ц (*поднимает руки вверх, не то защищаясь, не то капитулируя. Быстро*). Спокойно! Я вам не враг! Не хотел провоцировать катастрофу, только и всего. Вы же наверняка бы тотчас в меня выстрелили. А я впервые пришел сюда не более часа назад. И вообще я тут ни при чем.

А л ь ф а (*коротко*). Он друг юности.

В и н ц е н ц. Альфа хотела поболтать со мною без помех.

Б э р л и (*презрительно рассматривая его*). Этот?!

А л ь ф а. Да. Застрелите его! Этот трус пальцем бы не шевельнул!

В и н ц е н ц. Кажется, настроение пока все же не блестящее. Хотя я мог бы опять удалиться, если желаете...

Б э р л и (*повторяет*). Этот!.. (*Бросает пистолет на стол.*) Вам нечего бояться!

В и н ц е н ц (*обоим*). Я слишком мало посвящен в ваши личные обстоятельства, чтобы вмешиваться в такую минуту.

Кстати, полагаю, вы не станете возражать, если я развяжу Альфу? (*Развязывает путы.*)

А л ь ф а (*спокойно и деловито выговаривая каждое слово, меж тем как Винценц растирает ей затекшие руки и ноги*). Трус! Предатель! Эгоист!

В и н ц е н ц (*продолжая усердно растирать*). С тем же успехом вы могли бы потребовать, чтобы я вскочил в поезд на полном ходу!

А л ь ф а (*встает и подходит к Бэрли*). Между нами все кончено!

Бэрли кивает с отсутствующим видом.

Я хочу прилечь и отдохнуть; видеть вас больше не могу, уходите! Оба уходите!

Б э р л и (*ставит пистолет на предохранитель и снова кладет на стол*). Ложитесь, Альфа, и отдохните. Только позвольте мне посидеть тут тихонько, я напишу кой-какие прощальные письма, а вы тем временем поспите.

А л ь ф а. Винценц! Выведите этого господина! И уходите сами!

В и н ц е н ц. Что вы, Альфа! Как это — «выведите»? Нет, тут я целиком на стороне этого господина. Вы должны дать ему время. Будто нельзя задержать портьеру и дать человеку возможность мало-мальски привести мысли в порядок!

А л ь ф а (*протягивает Бэрли руку*). Очень вы мне угодили! Но через час вы уйдете, и когда я проснись, я вас — больше — никогда — не — увижу. (*Уходит за портьеру и задергивает ее за собой. На минуту выглянув.*) Винценц! Гостей будьте добры выпроводить! (*Видно, как она начинает раздеваться. Потом опять высовывается из-за портьеры.*) Нет, пусть подождут.

Но меня не будите. (*Опять то же.*) Впрочем, вы, господа, можете разговаривать без стеснения. Ваши голоса меня успокаивают. (*Уходит.*)

В и н ц е н ц. Вы поставили пистолет на предохранитель?

Бэрли проверяет.

Не возражаете, если я на всякий случай положу его сюда, в несгораемый шкаф?

Б э р л и (*протягивает ему пистолет*). Забирайте эту трусливую штуковину. Она взбунтовалась и не желала стрелять в «невинного», когда вы неожиданно выросли как из-под земли. Дал слабину. Этот пистолет я в руки больше не возьму! Тут осечек быть не должно.

В и н ц е н ц. Понимаю и уважаю вашу точку зрения.

Б э р л и. Вы все слышали, я выставил себя перед вами на посмешище! Кто же вы, собственно, такой?

Садятся.

В и н ц е н ц. В каком смысле?

Б э р л и. Напрямик, без выкрутасов вы не умеете?

Я вот — до того проклятого дня, когда познакомился с этой особой, — был коммерсантом, с головы до ног. Выбился в люди как мясник. Занятие не слишком аппетитное. Но я-то руки запускал до подмышек. И это вам не фунт изюму!.. А она мне вдруг говорит... кстати, давно ли вы знакомы с Альфой?

В и н ц е н ц. Да лет шестнадцать, пожалуй... Ей в ту пору было семнадцать.

Б э р л и. И вы все еще любите ее?

В и н ц е н ц. Боже сохрани!

Б э р л и. Боже сохрани? Вот, значит, как... Но почему вы вдруг явились в столь неурочный час, если не любите ее?

В и н ц е н ц. Неурочный час?

Б э р л и. А по-вашему, нет? Три часа ночи! Время, когда в порядке исключения работают, обычно спят или разве что с кем-нибудь прогуливаются. Ну, так кто же вы по профессии.

В и н ц е н ц. Словодел.

Б э р л и. Как-как? Писатель?

В и н ц е н ц. Нет, куда мне. Словодел, именователь. Можно я потом объясню? Не хочется прерывать ваш рассказ.

Б э р л и. Только не думайте, сударь... Не думайте, будто я с вами этак вот беседую, а между тем... Я жду отхода поезда. И он отойдет. Но веду разговоры. Не замыкаюсь. Ведь этот последний обрывок, последние четверть часа никак не используешь, смысла нет.

В и н ц е н ц. А я вот приехал... Знаете, как бывает: запрешь дверь, поднимешься на ступеньку-другую и возвращаешься проверить, вправду ли запер... Возвращаешься еще раз... Можете считать меня педантом, но я хотел закончить оборванный десять лет назад разговор. Альфа сказала, что время у нее будет только после полуночи. Я еще целый час дожидался вас. А теперь опять не знаю, когда состоится наш разговор.

Б э р л и. Никогда он не состоится. У меня тоже был один этот час после бала. С минуты на минуту явится первый гость, потом каждые полчаса будет приходить новый визитер. К рассвету вы увидите пятерых господ, пятерых законченных балбесов, которые воображают себе невесть что — ну как же, приглашены к Альфе, да еще в такой час!

Раз вы так давно знаете Альфу, она наверняка вам говорила: вы все делаете неправильно...

Винцент, смеясь, хлопает его по колену.

Что?

В и н ц е н ц. Колибри!

Б э р л и. Что-то?

В и н ц е н ц. Потом! Дальше! Не обращайтесь внимания!

Б э р л и. Стало быть, и вы это слышали. Она каждому так говорит, да-да, я точно знаю, каждому — и Профессору, и Музыканту, и мне. Итак, она мне сказала: вы все делаете неправильно. Ни собственная деятельность, ни успехи, по сути, вас не удовлетворяют. Больше того, все, чем вы гордитесь, ради чего живете, есть чистейшая глупость. Но я же не чета этой братии, я из другого теста. Все насквозь вижу, и тем не менее сразу замечаю: она права. Права!

В и н ц е н ц (*про себя*). Колибри.

Б э р л и. Видите ли, об этом не задумываешься. Если ты не шалопай, а мужчина, у которого дел по горло, то философствовать тебе недосуг. Но нельзя отрицать, что философия и тому подобное нужны, как раньше

была нужна религия. И если Альфа говорит: три часа ночи, и не как мужчина и женщина (и все ж таки немножечко как мужчина и женщина), сами понимаете, если она этак выворачивает жизнь, а ты толкуешь о своей жизни... кстати, вы когда-нибудь смотрели на мир между собственными икрами, ну, согнувшись пополам и вниз головой? Вот-вот, именно так! Все выглядит совершенно иначе и как новое! Тогда только и замечаешь, что живешь или не жил!

В и н ц е н ц. Колибри!

Б э р л и. Черт побери, что означает это ваше «колибри»?

В и н ц е н ц. Прокаленные слова.

Б э р л и. Сударь, вы городите чепуху!

В и н ц е н ц. Да, но ее стряпает жизнь: у Альфы слова прокаленные. Я должен вам кое-что посоветовать! Колибри — это ослепительно яркие слова, порхающие под пламенным солнцем джунглей.

Б э р л и. Чего-о?

В и н ц е н ц. Неверно, но звучит чудесно. Словесная сопряженность несопрягаемого.

Б э р л и. Сударь?!

В и н ц е н ц. Можно вот так сопрячь несопрягаемые вещи, одними только словами, что ни один человек не заметит.

Б э р л и (*встает*). Я стал коммерсантом, сам не знаю как. Не иначе как был слишком глуп для неудачных предприятий, и дела у меня шли лучше, чем у других, потому что я человек волевой. Вам тоже не стоит забывать, что, имея деньги, можно добиться очень многого, вы и не предполагаете, что могут деньги. Почти всё. Любая женщина охотно станет моей подругой, да еще спасибо скажет. Я себя в обиду не дам.

В и н ц е н ц. Нет, в самом деле, сударь! Вы мне ужасно симпатичны! Позвольте дать вам совет!

Б э р л и. Я не нуждаюсь в советах. Болваны, которые сюда придут, обхохочутся, потому что Альфа бессовестно выставляет меня перед ними на посмешище. Это меня-то, у которого в одном пальце больше силы, чем у них во всем теле! Я должен ее проучить, непременно!

Звонок в дверь, оба замолкают.

(*Ворчливо.*) Будьте добры, посмотрите, кто там.

В и н ц е н ц. Но мы обязательно продолжим разговор.

Пока Винценц в передней, Бэрли поднимает портьеру, задумчиво смотрит на Альфу, подходит к несгораемому шкафу, но открыть его не может.

(*Возвращаясь.*) Вы лучше меня знаете здешние обычаи: сей господин утверждает, что он супруг Альфы и приглашен на этот час.

Входит д-р А п у л е й - Х а л ь м.

Б э р л и (*высокомерно*). Удивлен, что вижу вас тут.

Х а л ь м (*любезно*). А я искренне удивлен, что не вижу в вашем обществе Альфу.

В и н ц е н ц (*пародируя аристократический тон*). Увы, она почувствовала легкую усталость и удалилась на покой. Однако же наказала пригласить вас дожидаться всех остальных гостей. (*Берет у Хальма большой красивый букет, ставит в вазу.*)

Х а л ь м. Она настоятельно просила меня быть на ее именинах.

Бэрли берет букет, бросает в угол. Винценц поднимает цветы, осторожно, успокаивая, гладит Бэрли по спине и опять ставит букет в вазу. Затем предлагает сесть; он и Хальм садятся.

Пауза.

(*Винценцу, нерешительно.*) Никак не ожидал *увидеть* вас.

В и н ц е н ц. Да, столько лет прошло; я не узнал вас в потемках. В ту пору вы были вальжней, потолще на вид, так сказать. А что, не сварить ли нам кофейку? (*Отыскивает кофеварку, зажигает спиртовку.*)

Х а л ь м (*куртуазно*). Коль спящую не потревожит аромат бессонницы!

Б э р л и (*резко*). Оставьте меня! Нынче из меня плохая компания! Пойду напишу письма! (*Уходит в соседнюю комнату.*)

Х а л ь м (*другим тоном*). Ну? Что произошло?

В и н ц е н ц. Он сказал, что сию же минуту застрелит ее, если она за него не выйдет; не удосужился даже сперва расторгнуть ваш брак, так ему невтерпех.

Х а л ь м. Его машина уже час стоит внизу. Не пытайтесь дурачить меня, мой милый.

В и н ц е н ц. Больше я вам ничего сказать не могу. Кстати, человек он симпатичный, вы не находите? А я с этой минуты вообще не желаю иметь касательства к этой истории.

Х а л ь м. Однако ж деньги, которые я вам за это уплатил, вы без зазрения совести взяли?!

В и н ц е н ц. Тсс! Не надо таких слов, как «без зазрения совести»! Если вы еще раз попытаетесь меня оскорбить, я позову господина Бэрли, и он наверняка переломает вам все кости.

Х а л ь м (*шипит*). Вы негодяй!

В и н ц е н ц. Вот как! Еще чуть тише, и ваша реплика изрядно теряет значительность!

Х а л ь м. Негодяй!

В и н ц е н ц. Теперь она прозвучала прямо-таки нежно, словно вы назвали меня «голубчик». Вы ведь знаете, влюбленные, обнимая друг друга, порой шепчут бранные слова, в этом есть особая прелесть.

Х а л ь м (*потерянно*). Почему вы меня предали?! Вы же могли получить от меня еще много больше денег... (*Ревниво.*) Но вам и Альфа наверняка давала деньги? Она всегда питала к вам необъяснимую слабость.

В и н ц е н ц. Послушайте, доктор, долгие годы мы с Альфой не виделись. И теперь вы предлагаете мне деньги за то, чтобы наша с нею встреча дала вам повод возбудить дело о разводе: я должен либо спровоцировать ситуацию, как говорится, своими силами, либо высмотреть что-нибудь, наблюдая, как этот вот благоприличный господин провожает Альфу домой. И все же вы ошиблись во мне, я ваши деньги не взял...

Х а л ь м. Да что вы говорите?!

В и н ц е н ц. Я ваши деньги не взял, я позволил вам всучить их мне, а это большая разница. Впопыхах я не смог отказаться. А без умения принимать человеку нельзя. К тому же таким манером я до последней минуты имел выбор: обмануть ли мне ваше доверие или доверие Альфы, и это было весьма приятно, поскольку гарантировало известную самостоятельность; вы ведь знаете, я слегка неравнодушен к Альфе. Но почему *вы* после стольких лет в браке действуете так гнусно?

Х а л ь м. Придется сказать, и я скажу: все из рук вон плохо, сил нет больше терпеть, я так несчастен!.. (*По слабости характера плачет. Промакивает козлинку*)

бородку.) Что до Альфы, то я иллюзий себе не строю. Женщины меня вообще мало интересуют — сплошной жирок и претензии. Но как раз в этом плане Альфа очень мне под стать: она ни в грош не ставит мужчин и не выносит бабской шумихи вокруг любви.

В и н ц е н ц. Тсс! (*Жестом показывает Хальму, чтобы он говорил потише.*)

Х а л ь м. Не волнуйтесь: она если уж заснет, то спит крепко; в ней есть что-то на удивление мальчишеское; мы могли бы жить так счастливо. И потом, я же, как вы знаете, беллетрист...

В и н ц е н ц. В свое время я вам советовал всерьез заняться антиквариатом.

Х а л ь м. Смею надеяться, что чужой совет никогда не был вам нужен так же мало, как мне ваш. Я покупал то, за что ратовал, и ратовал не вслепую, а значит, ратовал я за то, что покупал. Мое благосостояние развивалось в согласии с моими убеждениями. Я отнюдь не стал тем ничтожеством, каким вы некогда изволили меня представить.

В и н ц е н ц. Господи! Это же было всего лишь соперничество, и не более того. Когда мнишь, что женщина любит тебя, невольно норовишь возвести на ее мужа напраслину. (*Подает кофе.*)

Х а л ь м. Вот то-то и оно! Альфа — самая тщеславная особа на свете, и я куда серьезнее, чем она, отношусь к мужчинам, которые ее любят. Но ей непременно хочется иметь все. Пока мужчина не поработен, она пленяет его своими речами, потому что, как дитя, играет новыми словами и оригинальным ароматом его профессии. У нее целая коллекция чудеснейших профессиональных запахов.

А эти болваны и рады размякнуть! Воротиле дельцу она говорит о музыке, музыканта спрашивает о морском сражении при Абукире, а историку зачитывает биржевые котировки. И так со всеми — с одной стороны, льстит каждому своей любознательностью, дает ему почувствовать, что он совершенно уникален, с другой же стороны, закрепощает его, упрекая, что он не другой.

В и н ц е н ц. Ученому она говорит: вы не делец; музыканту: вы не ученый; дельцу: вы не музыкант. Короче, всем вместе и каждому в отдельности: вы не человек, да? И каждый вдруг замечает, что его жизнь — нелепица, верно? Потому что жизнь действительно нелепица.

Х а л ь м. Я намеренно говорю «болваны»! Ведь атмосферу искусства, которую этакие деловые, сухие, ученые господа лакают, как обезьяны водку, тайком создаю я, разведенный беллетрист! Это мне принадлежат неожиданные, тонкие и глубокие высказывания о любви и жизни, в тепле которых присутствует нечто возбуждающе холодное. Я творю подлинно женственное очарование духа и неопределенные мысли, много более емкие, нежели мысли этих мужчин. Уже который год я создаю все оригинальные идеи художественной одежды и привычек. У Альфы же нет ни одной собственной мысли. Так вот, я — источник духовности, фантазии, пьянящей холодности, я бываю здесь, в этом доме, а эти болваны... думаете, хоть один из них восхищается мною? Считает меня необходимым? Значительным? Признает меня и одобряет?

Через этих людей я мог бы стать одним из авторитетнейших лиц нашего времени, но ведь для всех главное — внешность. Что вообще в жизни, что в любви! Теперь вы понимаете, какая мука для меня быть рядом с этой женщиной?! Я человек думающий, и каждое свое слово могу подкрепить ссылкой на авторов, у которых почерпнул ту или иную мысль; а вот у Альфы это все от меня, нахваталась и щебечет почем зря, а при ее внешности — бюст, бедра и прочее — соответствующий прием обеспечен. И что самое скверное — мужская натура, скрытая под ее ребячливой женственностью, делает ее еще привлекательнее, но во мне-то мужской натуры куда как поболее, чем в ней, и я, именно я должен наблюдать, как подлинная заслуга отступает перед своей жиденкой, сытой копией!!

Поневоле потеряешь веру в ценность мира, и жить с нею рядом просто неможется!

Теперь вам понятно, что я хочу наконец-то отомстить? Раз уж я поставщик, так хотя бы продам ее. Этот деляга решил жениться на ней, как все, но он единственный, за кого она, пожалуй, пойдет, ведь у него прорва деньжищ. Вот пускай и платит за нее. Возместит мне убыток! Признáет мой вклад!

В и н ц е н ц. И этакий шантаж, как вы полагаете, в каком-то смысле легче легкого позволяет подзаработать, а? С плеч долой?

Х а л ь м. Не помню, была ли у меня и такая мысль. Может, и была. Мало ли что в голове мелькнет.

В и н ц е н ц. К тому же это сущий пустяк по сравнению с главным...

Довольно громкий звонок.

Это женихи. Откройте, вы лучше меня знакомы с обычаями этого дома.

Хальм идет отворять. Винценц между тем относит Бэрли чашку кофе.

Хальм возвращается с г о с т я м и.

Х а л ь м (*пятится задом, направляя гостей в темноту комнаты*). Тсс! Здесь мы накроем праздничный стол. (*Пододвигает стол.*)

Господа сначала вежливо толпятся в дверях, предлагая один другому пройти первым, затем все же входят.

П о л и т и к. Замок внизу, видимо, сломан, я не мог отпереть. Иначе, господа, я бы давным-давно подждал вас здесь; у старинного испытанного друга есть свои привилегии! (*Победоносно поднимает кверху английский ключ.*)

М о л о д о й Ч е л о в е к. Что? Замок? Нет, все дело наверняка в ключе, потому что запирал я без помех. (*Показывает точно такой же ключ.*)

П о л и т и к. Как? Что такое? Откуда у вас этот ключ? (*Поворачивает его, рассматривает со всех сторон и констатирует полное тождество.*)

М о л о д о й Ч е л о в е к (*кому-то третьему*). А у вас, значит, нету?

П о л и т и к (*Молодому Человеку*). Но за какие заслуги? Что вы совершили в жизни? Молодой человек, какие у вас права на этот ключ?

М о л о д о й Ч е л о в е к. Но, господа... я здесь новичок... не знаю... вы все стояли у парадной... я же представился вам на лестнице?..

Между тем все достали такие же ключи и сравнивают их между собой. У одного ключ был на цепочке вокруг шеи, у другого — в кармане брюк, у третьего — в футляричке.

М у з ы к а н т (*Политику*). Вы уже стояли в парадной, когда я подошел... я понятия не имел, что у вас тоже есть ключ...

Ученый (обоим). Я смотрю — стоят два господина... день не мой...

Реформатор. Н-да, если бы знал; но вы все мерзли возле парадной, когда я пришел...

Политик. Моим ключом как раз и не запирали...

Все. Мы даже не подозревали!..

Молодой Человек. А я вообще ничего такого не думал. Пришел последним и отпер, потому что именно для этого и получил накануне ключ.

Политик. Что? Вы открыли парадную?

Молодой Человек. Я, а то кто же?

Все. Она вдруг открылась. Я думал... Вы что-нибудь подумали?.. Нет, мне все показалось совершенно естественным. Вообще-то я над этим не задумывался, наверно, решил, что сам и отпер! (*Наперебой, один другому.*) Но скажите, давно ли у вас есть ключ?

Хальм (*подходит, возмущенный шумом*). Послушайте, господа, вы же разбудите Альфу, а у нас еще ничего не готово! Ну что тут особенного? Каждому охота поболтать в полной иллюзии своей исключительности, для того и требуется распределение и ключи, иначе соседи по дому Бог знает что подумают.

Музыкант (*себе под нос*). И все-таки это явное недоразумение. (*Отходит в сторону.*)

Политик (*Хальму*). Ну уж вы-то определенно без ключа?!

Молодой Человек. По-моему, с этим господином я еще не знаком. Мое имя Марек...

Хальм (*снисходительно*). Апулей-Хальм.

Политик. Он не нашего круга, он — муж, хо-хо...

Хальм. Тссс! Не шумите так...

Политик. Серьезно, он не входит в число друзей собственной жены. Альфа не любит, когда ей напоминают о нем. Живут они раздельно. Нет, правда, что вас сюда привело, да еще именно сегодня?

Хальм. Все и вполонину не так скверно, как вам кажется, господин национальный советник. (*Отвлекая его.*) Смотрите!

Показывает на Музыканта, который положил на праздничный стол открытую партитуру, намереваясь что-то написать в ней карандашом.

П о л и т и к. Музыканты все-таки люди смешные.
У ч е н ы й. Собственно говоря, абсолютно не от мира сего.

В с е. Вот вы способны понять, как человек может быть музыкантом?

М у з ы к а н т (*тем временем один, забыв обо всем*). В сущности, мир — это музыка. Вершина всего. Благодарю Тебя, Господи, что остальным неизвестно, что Ты даровал душу ангела Твоего, Альфы, мне одному. (*Возвращается к другим, по дороге столкнувшись с Ученым, который идет к столу.*)

У ч е н ы й (*проходя мимо*). Вы всерьез думаете, что доставите Альфе радость музыкальной партитурой?

М у з ы к а н т (*стоя вместе с другими*). А вот вы способны понять, как человек может быть историком?

У ч е н ы й (*один, забыв обо всем*). Я не настолько безвкусен, чтобы сравнивать себя с Бетховеном. Но допустим, я — Бетховен: как я это докажу, не будучи одновременно историком?! Благодарю Тебя, Господи, что Ты пробудил в этой женщине чутье к объективности, чтобы укрепить во мне веру в мою профессию. (*Возвращаясь к Реформатору.*) О, это всего лишь «Психология» Эшенмайера, известная благодаря тому, что во втором издании своего «Введения в философию» Хербарт упоминает ее вместе с именем автора, тогда как во всех других изданиях называет просто «самым абсурдным из множества абсурдных подражаний» Кристиану Вольфу.

Р е ф о р м а т о р. И это называется «новый мир»!

Другие у него за спиной крутят пальцем возле виска.

У ч е н ы й (*остальным*). Собственно, способны ли вы понять...

М у з ы к а н т (*ему*). Но вы ведь тоже не думаете всерьез, будто...

У ч е н ы й. Да, неужели человек способен одной только музыкой...

М у з ы к а н т. Духовный человек!

У ч е н ы й. При чем здесь «духовный»? Музыка всего лишь чувственна!

Р е ф о р м а т о р (*тем временем*). Я! Ну, быть может, она! И ничего более!

Х а л ь м (*успокоительно*). Тсс! Тсс! Вы и вправду прежде времени разбудите Альфу!

П о л и т и к (*пресекая возражения*). Это просто должностной календарь, да-с. Но ничего более поучительного просто не существует; Альфа несколько часов внимательно слушала мои объяснения. В нем скрыта реальность! У нас в политике тоже есть свои духовные основы, но... (*Бросает на стол толстую книгу.*)

М о л о д о й Ч е л о в е к. С вашего позволения, я тоже думаю, что Альфу интересует нечто большее, чем просто мода: она просила у меня в подарок «Карманный справочник инженера. Доменное производство»; я, как вы знаете, студент-технар, учусь, чтобы затем работать на отцовских заводах.

Х а л ь м (*с интересом*). У вашего батюшки крупные заводы?

М о л о д о й Ч е л о в е к. О да.

П о л и т и к. Вы обратили внимание, что помимо духовного внимания есть еще маленькое практическое... внимание, внимательность, внимательный, хе-хе!

М о л о д о й Ч е л о в е к. Я позволил себе... приготовить эту восточную ткань... (*Разворачивает шаль.*)

Х а л ь м (*с восторгом*). Какая прелесть! Чувствуешь себя сразу одной из тысячи двухсот жен бирманского короля. (*Женственно набрасывает шаль себе на плечи.*)

М у з ы к а н т (*ревниво*). Я принес в подарок эту прелестную набедренную повязку, которую одна из моих учениц привезла с острова Пасхи.

Х а л ь м. О-о! Вы так балуете Альфу! (*С восторгом примеряет перед зеркалом и набедренную повязку тоже.*)

П о л и т и к. Я, к сожалению, был слишком занят... дела Альфы...

У ч е н ы й (*доставая шапочку*). Точно такую же золотую шапочку носила в тысяча триста двенадцатом году английская королева Анна, когда...

Х а л ь м (*буквально вырывая шапочку у него из рук*). О, какое чудо! Какая прелесть... (*Надевает шапочку. Всем.*) Вы все просто чудо.

Пока Хальм в восторге вертится перед зеркалом и совсем забывает, что нельзя шуметь, за занавесью стало светло. И теперь

оттуда — в прелестной пижаме — выходит А л ь ф а. Она приветливо — хотя и готова в любую минуту изобразить скуку — обводит взглядом присутствующих и вдруг замечает Хальма в собственных ее подарках.

А л ь ф а (*гневно*). Что это вы делаете? На кого вы похожи?

Х а л ь м. Милая подруга, ваши друзья не могли отказать себе в удовольствии сообщая поздравить вас с именнами (*не обращая внимания на ее злые взгляды*), с этими выдуманнными именинами, которые так вам под стать.

А л ь ф а. Сейчас же снимите все это и оставьте нас!

Х а л ь м (*с растущим протестом*). Я думал... поскольку мне одному известен день ваших настоящих именин...

А л ь ф а (*обращая свой гнев в величие*). Господа, я носила имя великой властительницы и была беззащитной пятнадцатилетней девочкой, когда моя мать, забыв о своем долге, наперекор всем моим протестам выдала меня за этого человека, который посулил ей золотые горы. С тех пор я, разумеется, успела отречься не только от его фамилии, но и от собственного красивого крестного имени, которое безвинно оказалось с нею связано.

Х а л ь м (*в крайнем возбуждении*). Господа! Господа! Если вы способны это оценить: имя Альфа придумал я. Она сама меня попросила. Потому что раньше ее...

А л ь ф а. У него большое воображение. Вы только посмотрите! Он же ненормальный и завистливый как баба!

Все смотрят на Хальма, который не знает, куда деваться от смущения.

Даже если бы я и простила ему женитьбу на мне, принимать это всерьез все равно никак нельзя. Только потому, что государственные чиновники — которых я вообще знать не знала — объявили его когда-то моим мужем, он позволяет себе являться сюда без приглашения, когда заблагорассудится! Избавьте же меня от его общества! Присутствие этого человека просто невыносимо!

Тем временем из соседней комнаты выскочил встрепанный Б э р л и (Винценц притворно пытается его удержать), остановился как вкопанный и уставился на Альфу.

(*Другим тоном.*) Ах!.. Перед вашим приходом, господа, мне снился сон. Будто еду я на машине. Бэрли меня похитил и привязал к радиатору. И мчались мы вперед, куда глаза глядят. Но (*к Бэрли*) так никуда и не приехали, нет...

Б э р л и (*протягивая Винценцу чек*). Вот деньги. Устройте все, что нужно. (*Альфе.*) Прощайте, Альфа! То есть вы еще обо мне услышите. В последний раз. Да, в последний раз... (*Собравшимся.*) И эта банда бездельников!!! (*Выбегает вон из комнаты.*)

В с е. Неслыханно! Где он был? Что это значит? Наглость какая!

М о л о д о й Ч е л о в е к (*глядя на Винценца*). Этого господина я тоже никогда не видел. (*Подходит к нему.*) Мое имя Марек, студент-техник.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена как в первом действии. При свете дня комната представляет собой изящный и несколько наивный гибрид будуара и кабинета.

А л ь ф а в очаровательном домашнем платье, П о д р у г а в платье для визитов. Обе выглядят как дамы, но одеты с нарочитой «изюминкой».

П о д р у г а (*обнимая Альфу*). О-о-о!

А л ь ф а. Что такое?

П о д р у г а. Я восхищаюсь тобой! (*Ластится к ней, целует.*)

А л ь ф а. Ах... (*С трудом высвобождается.*)

П о д р у г а. Ты хоть немножко меня любишь?!

А л ь ф а (*как бы играя с назойливой собачонкой*). Ну будет, будет!

П о д р у г а. Так ты говоришь, в общем-то он человек холодный, злой?

А л ь ф а. О Винценце все, даже его родители, обычно говорили, что он злой и бессердечный.

П о д р у г а. Замечательно! Чудесно! Это мне очень по душе!

А л ь ф а. Сердце у таких часто запрятано глубоко-глубоко.

П о д р у г а. Конечно. Темное, непонятное сердце.

А л ь ф а. Это пошло.

П о д р у г а. Ну не сердись, я ведь не умею говорить так, как ты. О, ты! (*Снова бурные объятия.*) Я слыхала, у него Бог знает сколько пороков? Чем он занимается?

А л ь ф а. Он чиновник.

П о д р у г а. Странно.

А л ь ф а. Дурочка! Он математик. Служит в крупной страховой компании. Понимаешь, он набрасывает фор-

мулы, по которым люди должны умирать, то есть сколько они должны платить... в точности я и сама не знаю.

П о д р у г а. Но это ведь ужас как трудно.

А л ь ф а. Конечно, трудно. Он бы наверняка мог стать профессором, если б захотел.

П о д р у г а. И тем не менее был всего-навсего репетитором, или страховым математиком, или агентом, или разве что помощником учителя? Прелесть какая!

А л ь ф а. Этот человек ничем себя не связывает. Как и я.

П о д р у г а. Бабы за ним наверняка так и бегают?! Им ведь ничего не стыдно!

А л ь ф а. Говорят, с ним бывали приключения и похуже.

П о д р у г а. Грязные бабские истории?

А л ь ф а. Говорят, еще хуже. Азартные игры, скандалы, кокаин, неприятности с полицией и Бог знает что еще.

П о д р у г а (*вискнет у нее на шее*). Ой, послушай! А почему он непременно должен быть твоим? У любой другой я бы его не задумываясь отобрала! Убила бы ее! (*Настойчиво.*) Ты точно знаешь: он весьма равнодушен к любви?

А л ь ф а. А я разве не равнодушна к его любви? Бабские истории.

П о д р у г а. К этому я тоже равнодушна. Конечно, я люблю людей. Но, на мою беду, у мужчин все куда быстрее.

А л ь ф а. Но ему и музыка безразлична.

П о д р у г а. Ты говоришь, искусство вообще наводит на него скуку? И он прав!.. Слушай! Кажется, он в прихожей! (*Бежит к двери, пропуская в комнату В и н ц е н ц а.*) Я вовсе не так люблю музыку, как ты полагаешь. Для настоящего мужчины она определенно ничего не значит, а для нас, бедных женщин, что-то значит лишь потому, что настоящих мужчин слишком мало. Иногда я бы с удовольствием свернула шею моей скрипке! (*Быстро, с вызовом целует Альфу; затем, наградив Винценца долгим пылким взглядом, наконец, уходит.*)

А л ь ф а. Жаль, что от волнения у нее так неприятно пахнет изо рта... Какое счастье, что ты опять здесь. Мне тут все до ужаса надоело!

В и н ц е н ц (*рассматривая ее*). Ты мало изменилась. Выражение лица теперь несколько иное, но оно у тебя

наигранное. Боже мой, а девушкой ты была прелестна! Просто чудо! Стоит закрыть глаза — и ты как наяву стоишь на корабельном мостике; ветер треплет твои юбки, ноги вытянуты, одна рука поднята вверх, машет белым платочком, а вверху словно бы пылает воздушного цвета огонь! В этом огне сгорали ваши надежды, наша любовь, наши мечты. Ты была как яростный воин.

А л ь ф а. А ты должен был вернуться через три недели и не возвращался пятнадцать лет!

В и н ц е н ц. Н-да, то-то и оно. Можно, конечно, посмотреть на это с двух сторон, с нынешней и с тогдашней. Тогда тебя обуревали великие идеи; страсть, слава — все это до поры до времени оставалось миражем. На деле у тебя был один только я. Испорченности в тебе было не больше чем в голодном желудке, а твоему аппетиту к жизни можно было лишь позавидовать. Да и моему тоже. Собственно говоря, мы вели себя не как мужчина и женщина, а как две девушки, тоскующие по одному мужчине!

А л ь ф а. Но я любила тебя!

В и н ц е н ц. Да, то-то и оно: я тебя тоже любил. Тогда на пароходе ты еще не исчезла, еще стояла там, прямая, маленькая, а я уже решил... ну, что ли... порвать наш обет. Вот как я тебя любил!

Так любил, что каждый куст, каждая лающая собачка в известном смысле были как бы частицей тебя. Ты понимаешь, о чем я, ведь и ты любила меня именно так. Становишься как бы бестелесным, просто облачком в прозрачной прозрачности, где другие люди и вещи тоже как бы просто облачка. Понимаешь речь гор и долин, вод и деревьев, ведь и сам говоришь с другим не словами, а только счастьем бытия, словно вы оба — маленькие царапинки, соседствующие в бесконечности. В итоге уже ни кусочка хлеба съесть невозможно, просто жуешь их и жуешь как молитвенная мельница.

Я тогда был на вершине этого счастья — когда уезжал. И вдруг я сказал себе, это Кати — в ту пору тебя еще звали не Альфой, — так вот, я сказал себе, что никак нельзя называться Кати или Винценц и постоянно пребывать в таком состоянии.

А л ь ф а. Здесь ни одна душа не знает, как меня звали! Будь добр, не забывай об этом!

В и н ц е н ц. Кроме Хальма, который как раз в ту пору ухаживал за тобой. Разве я был не прав? Черт его знает, что это за состояние. Одно ясно: его можно запечатлеть в камне, как Бернини запечатлел пораженную стрелой небес святую Терезу, или в стихах, но только не в плоти и крови. Куда уходит это неземное? И тут меня вдруг осенило: куда оно уходит, туда я и загляну! Я отправился за моей любовью; заранее, так сказать.

А л ь ф а. Тебе нужна была вера. *(Усаживает его рядом с собой.)*

В и н ц е н ц *(отстраняясь)*. Подбросить шапку как можно выше? Вдруг бы она попала в поле тяготения луны и не вернулась, и мне бы пришлось лететь за нею?

А помнишь, Альфа, *кто* это сказал впервые? И помнишь — когда? За два дня до отъезда? А помнишь ли, кто не хотел бросать шапку? И к какой луне она вскорости улетела? Оглядываясь назад, не могу отделаться от ощущения, что ты уже тогда колебалась между мною и достопочтенной планетой господина Апулея-Хальма.

А л ь ф а *(берет его за руку)*. Ты слишком много требовал... По тем временам.

В и н ц е н ц *(снова высвобождаясь)*. Нет, Альфа, ты была права! Видишь ли, в итоге я потом тоже раз-другой подбрасывал шапку, а через несколько недель на землю, хлопая крыльями, плюхнулась гусыня.

Тут есть некая трудно постижимая связь. И говорить об этом я способен только с тобой, больше ни с кем. Где бы и у кого бы я впоследствии ни находился, я всегда чувствовал: говорить об этом я хочу только с тобой, ведь ты помнишь, какими мы были тогда. В странствиях меня не оставляла мысль: мы одновременно сбились с дороги и потому отыскать ее могли бы только сообща.

А л ь ф а. Но как насчет сегодня? Ты же сказал, что на твое возвращение надо смотреть и с нынешних позиций?

В и н ц е н ц *(улыбаясь)*. Как я сказал? С нынешних позиций?.. Ну да. Все правильно... Слушай, Кати *(берет ее за руку)*, значит, для девушки.. и жизнь, и надежда волнующе туманны, будто видишь их сквозь матовое стекло? Я только нынче это и понимаю, позднее-то стекла везде и всюду выбивают. Осколки, пустые рамы. *(Притягивая ее к себе.)* Все это мне ужас как надоело. А ты... ты тоже несчастлива?.. Лишь то... что не завер-

шилось... тогда между нами... еще прикрыто волшебным стеклом. Последним. Давай и его разобьем.

Целуются. Обнявшись, идут к алькову. По дороге присаживаются на оттоманку.

А л ь ф а (*озабоченно*). Ты не очень развоображался оттого, что я тебя люблю? Это совершенно неважно.

В и н ц е н ц. Ты, наверно, немножечко любишь этого Бэрли?

А л ь ф а. Ах, Боже мой, ну что это такое?

В и н ц е н ц. Вот именно. Ничто. Деньги — ничто, пока они, будто в каменных клетках, заключены в акциях, предприятиях и тому подобном. Я изобрел замечательную штуку. Ни один человек о ней еще не знает. Тебе первой расскажу. Мы станем много, много богаче Бэрли. Представляешь себе, что значит быть богатым?

А л ь ф а. Разве в Бэрли есть что-то особенное?

В и н ц е н ц. Господи! Да рядом с нами он просто нищий! Официант, который поневоле бережно несет поднос с рюмками, а вот мы шваркнем этот поднос на пол, коли заблагорассудится, потому что у нас тотчас же будет другой... Ты ведь слыхала, что в азартных играх есть система?

А л ь ф а. Но, Винценц, это же полная чушь!

В и н ц е н ц. Конечно, то, что ты слыхала, наверняка чушь; я все эти игорные системы знаю как свои пять пальцев, опыта у меня предостаточно. Все это сплошь дилетантские эксперименты, идущие вразрез с теорией вероятности. Потому-то мы, математики, и говорим, что «система» вообще невозможна. А теперь внимание: то, что я сейчас скажу, тебя наверняка неизвестно. У одного знаменитого ученого есть две работы, посвященные этой проблеме и доказывающие, *почему* реальные цифры повторов, полученные в результате любого эксперимента, отклоняются от так называемого расчетного «математического ожидания». А они действительно отклоняются. Например, в рулетке длинная серия случается гораздо реже, чем показывает расчет математического ожидания. Об этом ты слыхала?

А л ь ф а (*как честолубивый ребенок*). Конечно, только забыла на минутку.

В и н ц е н ц. В общем, это факт. И на такой основе можно внести поправки в математические расчеты, верно?

А л ь ф а (*как выше*). Да.

В и н ц е н ц. Однако наш профессор, пытаясь это сделать, избрал ложный путь! По этому поводу разгорелся долгий научный спор, который продолжается по сей день, потому что правильные формулы вывел пока лишь один человек, но он их еще не опубликовал...

А л ь ф а. Ты?!

В и н ц е н ц. И публиковать вовсе не намерен.

А л ь ф а (*бурно целуя его*). О, это ты! ты! Я же всегда знала! Но мне-то ты объяснишь подробно? Я наверняка пойму, ну а будет очень уж трудно, займусь математикой. Вот здорово, я буду знать что-то такое, о чем даже мой университетский профессор понятия не имеет!

В и н ц е н ц. Так ведь он историк.

А л ь ф а. О чем вообще никто — никто, говоришь, кроме тебя? — понятия не имеет!

В и н ц е н ц. Нам предстоит куда более важное дело. У тебя есть влиятельные друзья. Мне недостает лишь начального капитала.

А л ь ф а (*с сомнением*). Но я никогда не просила у них денег. Они к такому не привыкли. И навряд ли дадут.

В и н ц е н ц. А на что же ты, собственно, живешь?

А л ь ф а. Они дают мне советы. Подсказки, понимаешь? Бэрли, потом национальный советник, они же все знают заранее, а поэтому покупают и продают для меня тоже.

В и н ц е н ц. А если ты терпишь ущерб...

А л ь ф а. Я ни разу еще не терпела ущерб.

В и н ц е н ц. Вот как, превосходно. Знаешь, тогда давай ты вступишь со мной в сделку, а они просто ее обеспечат. Я учрежу «Общество недопущения аморальных азартных игр», и ты приобретешь у меня акции. Так нужно для начала, потому что первой же операцией я сразу сорву любой игорный банк.

А л ь ф а. У тебя появится уйма деньжищ, а потом? Что мы будем делать потом? С этими деньжищами?

В и н ц е н ц. Так и будем без конца *зарабатывать* деньги. Купим себе три машины, отправимся в путешествие. Ты и я впереди. Затем наша личная прислуга. Ну и,

скажем, двое из наблюдательного совета нашей компании; пока мы от них не отделаемся. Побываем в Ницце, в Спа, в Монако, в Остенде, в Штатах, в Южной Америке. Закажем себе океанский лайнер — чтоб внутри был как дворец. И поезд собственный заведем. Станем швырять деньги в толпу — ведь для нас это сущий пустяк, — и народ станет пресмыкаться перед нами, ползать на карачках. Молва о нас разнесется по свету! А понадобятся деньги, опустошим еще какой-нибудь игорный банк.

А л ь ф а. Ну а когда игорных банков больше не останется?

В и н ц е н ц. Тогда мы перевернем свой принцип и сами учредим банк. По моей формуле и это возможно. Непокосимый банк. Или ты предпочтешь, чтобы я продал формулу одному из существующих банков?

А л ь ф а. Нет-нет!

В и н ц е н ц. Вот именно. Мы перевернем свой принцип и сами учредим монопольный банк. И тогда к нам потекут все деньги мира. Бог весть, что из этого получится! Даже представить себе невозможно. Можно купить центральноазиатские степи, обводнить их и устроить там царство дивных садов. Управлять им мы могли бы по законам, которые придумали давным-давно, еще до того, как я уплыл на пароходе. Ты будешь императрицей.

А л ь ф а. Ну, это уж совсем банально.

В и н ц е н ц. Да, в теории! Желание стать Цезарем, или Гёте, или Лао-цзы — это банальность. Но сама подумай, как все меняется, когда ты и впрямь таков. С нашими деньгами мы вправду сможем и в политике, и в искусстве, и в морали — да во всем! — сделаться кем только захотим, а что нам не понравится — уничтожим. Разве такое придумаешь?!

А л ь ф а (*во все глаза глядя на него*). Нет, до конца не придумаешь. А твоя формула — это правда?

В и н ц е н ц. Вот смотри. (*Вытаскивает из кармана пачку бумаг.*)

А л ь ф а. Дифференциальные производные, да?

В и н ц е н ц. Удивительная женщина — все-то ты знаешь! Частные. И итерации. И... знаешь, вполне понятно, что Бэрли свихнулся от любви к тебе.

А л ь ф а. Что? Бэрли?

В и н ц е н ц (*мрачно*). У него тяжелое нервное расстройство.

А л ь ф а (*совсем слабым голосом, прислонясь к нему*). Невозможно себе представить. Всю жизнь я пыталась представить себе, что бы стала делать, если бы могла делать все, что захочу. Ты не должен пренебрегать мною из-за людей, которых видел у меня; я ведь просто пыталась и так и этак, но никогда не принимала их всерьез. Знаешь, по-моему, вообще-то я анархистка: они так и не сумели заглушить во мне стремление оказаться однажды на моем настоящем месте! И вот твоя рука обвиняет мою талию. И ты поднимаешь меня, как большая волшебная птица, которая наконец вернулась. И мы взлетаем высоко ввысь.

В и н ц е н ц. Куда заблагорассудится!..

А л ь ф а. Ввысь, к тому немолчному гласу, который со мной всегда разговаривал. (*Вскакивая, необузданно.*) Я не верю, Винценц! (*Припадая к нему.*) Делай со мной что хочешь!..

Винценц меланхолично, с хмельной улыбкой, несет беспамятно-упоенную в альков и задергивает шторы.

П о д р у г а (*после минутного подглядывания и подслушивания прокрадывается обратно в комнату, подходит к письменному столу Альфы — и не снимая шляпы — берется за бумагу и чернила. То читая на ходу, то вслух оценивая написанное*). Прости, дорогая, что я подслушала. Я так несчастна. Нет, счастлива. Нет, все же несчастна. С тех пор как он тебя полюбил, я еще больше восхищаюсь тобой. Но я несчастна. Он единственный мужчина, которого мне довелось видеть. Ты знаешь, увы, я видела многих. Когда кто-нибудь из них подходил ко мне... с голодными, влажными от вожделения глазами... меня это всегда берет за душу. (*Плачет.*) Не знаю, как мне теперь жить. Завещаю ему свое состояние, чтобы у вас был начальный капитал. Еще я могла бы поговорить с князем... Или наймите меня компаньонкой... Ах, я понимаю, таким чудом поделиться невозможно! Ваша уничтоженная, глубоко несчастная... не сердись, что я говорю «глубоко несчастная», я ведь отдаю себе отчет, что не стою вас...

Входит Б э р л и; не в пример предыдущему своему появлению он пугающе спокоен; с ног до головы в черном,

торжественно-взволнованный, в руке браунинг. Наткнувшись на Подругу, которая как раз встала, он явно конфузится.

Б э р л и (*сипло*). Что вам здесь нужно?

П о д р у г а. Мне? Господин Бэрли?

Б э р л и. Да.

П о д р у г а. Вот как!

Б э р л и. Вон!

П о д р у г а. Вот как?

Б э р л и. Сию минуту! (*Направляет пистолет на остолбеневшую Подругу.*) Вы мне мешаете!

С жутким воплем Подруга выбегает из комнаты. А л ь ф а с удивлением и возмущением отодвигает портьеру.

А-а-а! (*Прячет пистолет за спиной.*)

А л ь ф а. А-а-а! Вы опять с пистолетом! Винценц!!

В и н ц е н ц (*уже у двери*). Я иду за подмогой! Сейчас вернусь! (*Крутит пальцем у виска: дескать, сумасшедший. Уходит.*)

А л ь ф а (*вдогонку*). Винценц! Винценц!

Бэрли, черный, безмолвный, неторопливо преследует Альфу по комнате. Пистолет он прячет за спиной.

Б э р л и (*мрачно*). Не шумите, Альфа, это бессмысленно.

Альфа хочет добраться до двери, но он молча теснит ее в противоположный угол; Альфа бросается к окну — с тем же успехом. Наконец перепуганная Альфа замирает без движения.

А л ь ф а. Что... что вам угодно?

Б э р л и. Сфинкс.

А л ь ф а. Сфинкс? О Господи, Бэрли, вы больны. Давайте я кого-нибудь позову.

Б э р л и. Убивал тех, кто не мог ответить на его вопросы. Если вы ответите хотя бы на двадцать пять процентов моих вопросов, я убью одного себя. Вы любите жизнь? Хотите еще раз стать шестнадцатилетней?

А л ь ф а. Ну, видите ли, тогда бы я... О Господи, об этом нельзя спрашивать просто так!..

Б э р л и (*машет рукой, вопрос остается без ответа*). После смерти все кончается или нет?

А л ь ф а. Ну, видите ли, профессор... а вот национальный советник говорит...

Б э р л и. Кого из друзей вы любите больше всех?

А л ь ф а. Никого! Правда никого!

Б э р л и. Кого выше всех цените?

А л ь ф а. Каждого по-своему, разумеется.

Б э р л и. Почему вы любите музыку?

А л ь ф а. Но откуда же мне знать?!

Б э р л и. Тогда почему вы занимаетесь музыкой?

А л ь ф а (*безмолвно смотрит на него*). Вы больны,
о Боже, Бэрли, давайте я кого-нибудь приведу.

Б э р л и. Вы никогда ни о чем не сожалели?

А л ь ф а. Сожа...?

Б э р л и. Да. Со-жа-ле-ли! Я имею в виду: вы сожалеете обо всех грехах своей жизни, из глубины души?

А л ь ф а. Да, конечно. Безусловно. О многом.

Б э р л и. О чем?

А л ь ф а. Ну, я уже не помню.

Б э р л и. Значит, вы живете, не отдавая себе отчета в ежечасно растущей мере греха, раскаяния, добра, благих намерений?

А л ь ф а (*с жаром*). Да! Именно так! Кто же это помнит! Никто!

Б э р л и (*как бы включая новый звуковой валик*). Вы смогли бы убить, украсть, изменить мужу, простить обидчику?

А л ь ф а. Это смотря когда!

Б э р л и. Вы высокомерны, завистливы, мстительны, злорадны?

А л ь ф а. Это так просто не скажешь!

Б э р л и. Вы отвечаете перед моим пистолетом. Отвечайте четко и ясно! Какими принципами вы руководствуетесь в своих поступках?!

А л ь ф а. Это так просто не скажешь!!! Смотри когда!!! Смотри в каких обстоятельствах!!!

Б э р л и. Значит, сегодня я могу задержать выплату заработной платы? Даже и частично не могу? Когда я что-то отнимал у других, а когда нет? Почему правда лучше, чем ложь? Наслаждение лучше, чем страдание? Нравственность лучше, чем безнравственность? Нужно ли иметь детей?..

А л ь ф а. О Господи! (*Дрожа от ужаса, прячется в одеяло, натягивает его на голову.*)

Б э р л и (*не в силах остановиться*). Нужно ли быть самоотверженным? Националистом или космополитом? Зачем я хожу в кино? Люблю смотреть на акробатов?

(Только теперь замечает, что сделала Альфа, и медленно поднимает пистолет; с расстановкой.) Мой распад, Альфа, потрясен вашим. Из-за вас мое существование утратило смысл. Я хотел уйти в себя и подумать о себе. Но как вы ответили на мои вопросы?! Я освобожу себя от вас!

А л ь ф а *(высовываясь из одеяла)*. Так ведь спрашивать надо по-другому! Это нужно чувствовать, как танец! *(Видит направленный на нее пистолет.)* Ааа-а-а!!!

Выстрелы — Бэрли трижды быстро жмет на курок, целясь в Альфу. С отчаянным воплем она пытается бежать и, споткнувшись, падает ничком. Опрокидывается стул, разбивается большое напольное зеркало.

Б э р л и *(медлит в нерешительности, трясет головой)*. Спрашивать по-другому? Понимать как танец?.. Будь я проклят, никак опять новые выкрутасы? Хорошенькая ситуация — я опять дурак дураком, впору со стыда сгореть перед благоразумием мебели, когда валяешься у нее под ножками. Но что толку!! *(Дважды стреляет в себя и падает навзничь, откинув голову набок.)*

После второго выстрела входит В и н ц е н ц. Альфа начинает глухо стонать. При этих жалобных звуках Бэрли приподнимает голову и озабоченно косится на Альфу. Винценц толчком возвращает его в прежнее положение. Наклоняется к Альфе, смачивает ей лоб. Альфа стонет все громче.

В и н ц е н ц. Альфа! Альфа! Как звонко стучит ее сердечко!

А л ь ф а *(в результате его ласковых стараний наконец открывает глаза)*. Я не умерла?

В и н ц е н ц. Милая моя малютка Альфа, ты сейчас еще моложе, чем когда-либо.

А л ь ф а. Ох, я тяжело ранена.

В и н ц е н ц. Нет. Ты цела и невредима. Он промазал.

А л ь ф а. Не может быть. Я же точно почувствовала пулю.

В и н ц е н ц. Нет. Тебя даже не царапнуло. Я проверил.

А л ь ф а *(вставая)*. О, какой кошмар! И все-таки... интересно. А он... надо полагать, тоже жив?

В и н ц е н ц. Да нет, он мертв.

А л ь ф а (*подходя ближе*). Но я не вижу крови!
В и н ц е н ц. Оставь его. Не прикасайся. Он ужасно ранен. Выстрелил себе в спину. Я видел. К сожалению, я опоздал, вернулся именно в ту минуту. (*Теснит ее назад.*)

А л ь ф а. Ужасный человек. Но оригинал. Было так странно и замечательно... Я с виду очень изменилась?

В и н ц е н ц. Ты как бы притихла.

А л ь ф а. Да, это верно. Как ты умудряешься всегда найти правильные слова?! Знаешь, все-таки мне его жаль. Ведь это немало — от любви застрелить себя и другого. Ты бы, например, не смог. И я ему благодарна: такая легкость внутри. Представляешь: чуть не умерла! Вообще-то я этого всегда побаивалась, но если разобраться, здесь тоже все слишком преувеличивают. Такая встряска дорогого стоит, выстрел как бы перебил цепь, которая приковывала меня к этой пошлой жизни, какую я вела до твоего появления. Мы будем неопишимо счастливы, Винценц, правда неопишимо!.. Ой, что это там шевелится?!!

В и н ц е н ц. Ничего. Просто у него голова совсем набок упала. (*Пихает Бэрли.*) Ты не смотри туда!

Звонок.

А л ь ф а. О-ох, это остальные. Не открывай! Или выпроводи их! Не пускай сюда никого!

В и н ц е н ц. Так не пойдет, Альфа, если мы сейчас спрячемся, то угодим в весьма щекотливое положение, нас Бог знает в чем заподозрят.

Опять звонок.

Я им все коротко объясню и проведу в другую комнату. Надо ведь заодно потолковать с ними и насчет игорных банков.

А л ь ф а. Ну да, конечно, вот прямо сейчас и поговори.

В и н ц е н ц. Нет, говорить лучше в твоём присутствии, а тебе сейчас о делах рассуждать не стоит... (*Опять звонок.*) Это произведет дурное впечатление. Мне-то можно, я как-нибудь к этому подведу, но сперва надо им объяснить, что случилось...

А л ь ф а. Но я боюсь остаться одна... с ним.

В и н ц е н ц (*с порога*). Альфа, милая, ведь не в пример тебе большинство женщин не способны понять,

что в конечном счете это всего лишь мещанская мелодрама!

А л ь ф а. Ты неправ; он был потрясен *духовно*. Но мне и впрямь лучше помалкивать.

Винценц уходит.

Сяду в сторонке. С книгой. (*Едва она усаживается — спиной к Бэрли, — как ею тотчас овладевает детский страх, но она себя перебарывает.*) Книга должна быть уровнем выше таких конфликтов. (*Открывает книгу и опять невольно оборачивается в испуге.*) Нет, читать я не буду. Положу закрытую книгу на колени. В такой ситуации правильнее будет не читать, а как бы намекнуть, что вообще-то стоило бы почитать. (*Усаживается удобнее.*)

В и н ц е н ц (*входя с Друзьями*). Вот, вы сами видите. Альфа отказывается говорить, она слишком потрясена. Прошу вас, давайте пока воздержимся от комментариев, пройдемте в соседнюю комнату, я вам вкратце расскажу, что случилось.

П о л и т и к. Но ведь нужно сообщить в полицию, так же нельзя.

В и н ц е н ц. Уже все сделано. Мы еще и поэтому устроимся в соседней комнате.

М у з ы к а н т, закрыв платком нос и не поворачиваясь к покойнику лицом, первым проходит в соседнюю комнату. Остальные следуют за ним.

У ч е н ы й (*в дверях*). Сущее безрассудство — устраивать такие неприятности.

М о л о д о й Ч е л о в е к. Бескультурие.

Уходят.

Альфа по-прежнему сидит, неподвижно глядя в пространство, спиной к Бэрли.

Б э р л и (*осторожно приподнимается, озираясь по сторонам, потом быстро встает и снимает пиджак*). Будьте добры, Альфа, одолжите мне вашу платяную щетку.

Альфа, вздрогнув, со сдавленным криком оборачивается.

С меня хватит. (*Отыскивает щетку, яростно чистит костюм и надевает пиджак.*) Только этих типов мне и недоставало. До чего докатился — посмешищем себя выставил! Не шумите, я ухожу.

А л ь ф а (*краснея от гнева*). Как? Вы и в себя по-настоящему не стреляли?

Б э р л и. Патроны холостые, выстрелы понарошку, колибри, как Винценц говорит.

А л ь ф а. Какая недостойная комедия! Дурочку из меня хотели сделать?!

Б э р л и. Я и сам вел себя как дурак. Но только по вашей милости. Иначе я бы ни за что не пошел на поводу у этого прохвоста Винценца. Представьте себе: за эту комедию я еще и чек ему обещал, так, нуль я зачеркиваю, вам и того достаточно. (*Хамски сует Альфе чек.*) Прощайте.

А л ь ф а. Нет, извольте объясниться! Как вы могли... а если б я умерла от страха... и вы утверждаете, что обо всем сговорились с Винценцем?..

Б э р л и. Прощайте, прощайте. Объяснений не даю. Я свободен, правда свободен, точь-в-точь как вы давеча говорили о себе.

А л ь ф а. В довершение всего вы еще и смеете вести себя как наглый невежа!!!

Входит В и н ц е н ц, встревоженный громким разговором.

Винценц! Этот господин пытается свалить на вас свои недостойные поступки, утверждает, будто вы с ним сговорились.

В и н ц е н ц. Послушайте, Альфа, если мы будем кричать, сбежится народ; здесь и сейчас-то явно один лишний; и давайте радоваться, если этим лишним захочет стать господин Бэрли. Я потом все вам объясню, в спокойной обстановке. (*Глядя на чек.*) Кстати, здесь недостает одного нуля.

Альфа выхватывает бумажку у него из рук, комкает и бросает в Бэрли. Комок отскакивает от его груди и падает на пол. Бэрли свирепо отшвыривает его ногой.

В и н ц е н ц (*поднимает чек, разглаживает, кладет на стол, ставит туда чернильницу, подвигает стул и приглашает Бэрли сделать запись*). Господи, я ведь сделал это вправду не ради денег. Но если задним числом все это, по-вашему, стоит лишь десятую долю назначенной прежде суммы, вы доказываете только, что ваше освобождение было достойно десятикратного гонора.

Б э р л и (*глядя на него и начиная смеяться*). Что ж, пожалуй, тут есть доля истины. Нельзя сказать, чтобы у

меня не было причин для благодарности. (*Садится к столу.*)

Альфа хватает со стола чернильницу и бросает ручку на пол.

В и н ц е н ц (*Альфе, успокаивая*). Я просто посоветовал ему вместо двойного убийства пальнуть холостыми.

А л ь ф а (*с высокомерным возмущением*). Но почему?

В и н ц е н ц. Ну, он же хотел преподать тебе урок. А таких бесхитростных людей останавливать нельзя, толку все равно не будет. (*Поскольку Альфа не смотрит на него, он обращается к Бэрли.*) Разве я не говорил вам: вы коммерсант, возьмите смерть в кредит?! Разве не советовал: пальните вхолостую, и вам больше не захочется стрелять по-настоящему? Я обещал вам, что отныне вы будете принимать всерьез только деньги!

Б э р л и. Так оно и есть, будьте покойны.

В и н ц е н ц (*опять Альфе*). Он испытал все, что можно. Продолжение не имеет никакой ценности; понурые люди, полицейская комиссия, катафалк. Разве это сравнится с реальной жизнью! Мне кажется, ты думала как раз об этом.

А л ь ф а. Какая наглость!

В и н ц е н ц. С чьей стороны?

А л ь ф а. С твоей!

Б э р л и (*заполнив меж тем авторучкой новый чек*). Я понимаю, Альфа, все-таки я обошелся с вами несправедливо.

Альфа холодно отстраняет его.

(*Пододвигает чек к краю стола; Винценцу.*) Вот. (*Альфе.*) Теперь вам по крайней мере незачем меня опасаться: два раза одно и то же не делают. (*Встает.*)

А л ь ф а. А вот и неправда: влюбляться можно сколько угодно!

В и н ц е н ц (*изучив чек*). Ты настолько поразила его, что он вообразил, будто без души невозможно жить. Я ему сказал: единственный раз обойтись этак со страстями — и никогда уже не будешь принимать их всерьез! Душевное — сфера кредита и основано на взаимном доверии. А вот денежные дела... скажите: чек имеет силу?

Б э р л и (*нерешительно наблюдавший за Альфой, отрывается от своих размышлений*). Да. И Боже вас сохрани попадаться мне в руки! (*Быстро уходит.*)

А л ь ф а. Значит, ты просто коварный интриган!

В и н ц е н ц. Но я же спас тебе жизнь, излечив его от страсти.

А л ь ф а. Жизнь? Мне? Да какое тебе дело до его страсти?!

Д р у з ь я заглядывают в комнату.

В и н ц е н ц. Подумать только, он успел спокойно уйти.

В с е (*наперебой*). Как? Что? Экая безвкусица? Шутка? Дурость! Бестактность!

В и н ц е н ц. Да, непостижимая безвкусица, в самом деле. Зато мы не примем его в «Общество борьбы с аморальными азартными играми». (*Альфе.*) Я забыл сообщить вам, любезная подруга, что мы достигли полного согласия касательно учреждения нашего общества.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена как во втором действии

А л ь ф а в причудливом траурном платье. В и н ц е н ц в поношенном костюме. Он тщательно, прямо-таки с обывательской неторопливостью складывает жалкие пожитки в хлипкий парусиновый саквояжик.

В и н ц е н ц. Все было превосходно! Но лучше мне съехать. Твои замечательные подарки. Я навсегда сохраню эти приятные воспоминания.

А л ь ф а (*сердито расхаживая перед ним взад-вперед*). Они говорят, что вся эта затея с игорной формулой — беззастенчивый обман.

В и н ц е н ц. Ну и пусть говорят!

А л ь ф а. Они навели справки. И утверждают, что ты их попросту надул!

В и н ц е н ц. Ну да, конечно.

А л ь ф а. Что ты попросту хотел выманить у них деньги!

В и н ц е н ц. Не совсем. Но тебе-то зачем их опровергать.

А л ь ф а. А зачем мне это на себя вешать?

В и н ц е н ц. Тебе?

А л ь ф а. Да! Что ты всего-навсего мошенник!

В и н ц е н ц. Видишь ли, мне это очень неприятно. Люди-то они сплошь со связями, влиятельные. Национальный советник. Ученый. Прославленный пианист. Они твердят, что мое место в тюрьме, и это крайне неприятно, ведь я никогда в жизни не знал, где мое место. У меня нет средств нанимать адвоката исключительно затем, чтобы он в лучшем случае доказал, где мне все же не место.

А л ь ф а (*резко*). Но я не хочу! Я говорила, что им до тебя далеко, и буду на том стоять!

В и н ц е н ц. Да, Альфа, возможно, им до меня далеко, но не тут; тут они мне сто очков вперед дадут.

А л ь ф а (*резко останавливаясь перед ним*). Что правда, то правда: ты и передо мной выставил себя на посмешище.

В и н ц е н ц. Как это, Альфа, милая?

А л ь ф а. Ну, ведь, если вдуматься, ты очень скверно ко мне... нет, я не говорю, что ты плохо себя вел, это было бы чересчур, но посмешищем ты себя передо мной выставил. Возвращаешься сюда — как *ты* говорил! — гонимый тоскою, и — как *ты* говорил! — в самый блаженный миг твоей жизни затеваешь самую что ни на есть мальчишескую интригу.

В и н ц е н ц. Но с ее помощью я спас тебе жизнь.

А л ь ф а. Ты выставил себя на посмешище!

В и н ц е н ц. У людей нервных часто все наоборот — они шутят в минуту печали и смеются на похоронах. Я до смерти боялся этой встречи, вернее, боялся шока.

А л ь ф а (*примирительно*). А нынче утром ты вдруг собрался уходить. Согласись, ты жеставляешь себя до крайности неуравновешенным человеком. Невротиком, от которого можно ожидать чего угодно.

В и н ц е н ц. Альфа, пойми, я вовсе не спорю. Я и тогда поступил с тобой нехорошо.

А л ь ф а. Ты, конечно, извини, но я сама решила, что искать тебя не поеду!

В и н ц е н ц. Пусть так. Однако даже будь я просто мошенником, уж тебя-то я бы игорными банками обманывать не стал.

А л ь ф а (*протестующе*). О-о!.. Нет, ты меня обманул, и как подло! У тебя хватило наглости... лгать, усыпляя меня ласками... ты... Только я не *очень-то* принимаю твои басни всерьез, и тебе это известно! Ты врал и сам верил в свое вранье, поэтому совершенно ясно, что ты отъявленный фантаст!

В и н ц е н ц. Согласен. Но что означает «лгать»? Выдавать желаемое за существующее? Тут все как у моралиста, только убежденность еще тверже. А отчего ненадежность нашего мира увеличивается скорей: оттого, что я нынче утверждаю одно, а завтра — другое, или оттого, что шестеро твоих друзей имеют сразу шесть разных мировоззрений?

А л ь ф а. Это означает: внушать людям то, что не соответствует фактам. (*Отвернувшись, разочарованно бросается на оттоманку.*)

В и н ц е н ц. А разве не все соответствует фактам? Слушай, я понял: отъявленный фантаст — это лгун, у которого вранье соответствует фактам!

Ведь факты и впрямь фантастичны. Если ты утверждаешь, что Солнце обращается вокруг Земли, то, по данным новейших исследований, ты не менее права, чем если бы сказала, что Земля обращается вокруг Солнца. Матери жертвуют собой ради детей, но и детьми тоже жертвуют. Огонь пожирает, и огонь питает. Человек наводит порядок, потому что разводит грязь, а грязь он разводит, потому что иначе не имел бы потребности наводить порядок. Он и трезвенник, и пьяница. Карает вора, но карает и бедняка.

А л ь ф а (*сердито, отчаянно*). Прекрати! Не начинай сызнова врать! Ты вообще не умеешь быть серьезным!

В и н ц е н ц (*прижав ладони к вискам*). Чудовищный шум. Шум и дьявольский тарарам!.. И в этом оглушительном тарараме, когда не понимаешь собственных мыслей, в этой поистине преступной неразберихе я иной раз тоже обделываю свои делишки, запускаю этаким шарик, и вот что странно: в какую бы сторону ты его ни послал, он прекрасно проходит сквозь реальность, будто только его и ждали.

А л ь ф а (*стоя перед ним*). Это ты *им* скажи. Скажи свое мнение моим друзьям!

В и н ц е н ц. Я? Им? Боже сохрани. Со мной всегда обстояло хуже, чем с моим враньем. Я вынужден им уступить. Они преследуют меня, потому что Бэрли их с той поры избегает.

А л ь ф а. Да? И что же?!

В и н ц е н ц. Грозят борьбой за мое существование и против моего существа, а я... мне, по сути, нечего защищать.

А л ь ф а. Трус! А вот я — нет! Я выйду за тебя замуж!

Винцент протестует.

Да, выйду! Хотя мне это постоянное обещание, конечно же, надоедает куда больше, чем тебе, но дело сейчас не в этом! (*Опять мечется по комнате.*) Они смеют нам

диктовать, что́ я должна делать!! Смеют запрещать мне общаться с тобой! Мне, которой ты, видит Бог, безразличен! Слава Богу, мне еще есть что защищать! Знаешь, что такое анархист? Да? Так вот, я анархистка. На всю жизнь! Я этот мир не создавала. Я бы наверняка сделала его получше, если б меня спросили; невелика премудрость. А я должна принимать всерьез нынешний мир, созданный этими мужчинами? Им-то очень хочется, чтобы я этот мир уважала! Да я скорее в суфражистки подамся!

В и н ц е н ц. Тебе все же полегче. Да-а, имей я (*рисует в воздухе женские формы*)... твои природные данные, будь я женщиной...

Звонок.

(*Быстро хватая свои вещи.*) Это они!

А л ь ф а (*направляясь к двери*). Ну, так что бы ты сделал?!

В и н ц е н ц. Я? Будь я женщиной? Все в восторге, стоит мне только проявить к ним крупицу интереса. Добровольно изливают мне душу. Я — их лунная ночь, их соловей, час их слабости. Мне даже думать об этом нельзя, сразу слеза прошибает: что бы можно было сделать с миром, будь я женщиной! Но меня они не любят, то-то и оно, вот почему я должен спрятаться! (*Поспешно уходит в соседнюю комнату.*)

А л ь ф а (*ему вдогонку*). Я нет! Не знаю, что я сделаю! Но что-то сделаю, вынужденно, по необходимости.

Входят **Д р у з ь я**. Образовав вокруг Альфы многоугольник, они затем на протяжении всей сцены взволнованно расхаживают по диагоналям и касательным. Временами то один, то другой останавливается перед Альфой. **М о л о д о й Ч е л о в е к**:
безмолвная согласованность с другими.

М у з ы к а н т (*от имени всех*). Дорогая Альфа, вы обдумали наши возражения?

А л ь ф а. Хотелось бы знать, кого это касается, кроме меня?

М у з ы к а н т. Мы очень обеспокоены.

П о л и т и к. Этот человек вам не компания, с социальной точки зрения это бесспорно.

У ч е н ы й. Господин Бэрли давно бы изъявил желание вернуться к нам, не будь ему так неприятно вспоминать об этом человеке.

А л ь ф а. Бэрли? Я же отказала ему от дома.

М у з ы к а н т. Да, конечно... но он надеется. Он отрекся от своих эгоистичных притязаний.

У ч е н ы й. Кое в чем его поведение было предосудительно, однако...

П о л и т и к. Словом, он вполне желательная компания.

А л ь ф а (*приятно тронутая*). Значит, Бэрли надеется?.. Нет.

М у з ы к а н т (*в отчаянии*). Только из-за этого страхового агента... (*Пугается яростного взгляда Альфы.*) ну да, ну да... математика...

У ч е н ы й. Какой из него математик, он уже доказал!

А л ь ф а. Господа, по-моему, вы позволяете себе дерзости.

У ч е н ы й. Мы взяли на себя малоприятную задачу. Но ничего не поделаешь: дружеские обязанности бывают и тягостны, и малоприятны. Любой из нас сказал бы вам это, но вы... вы...

М у з ы к а н т. Да, Альфа, вы бы наверняка нам не разрешили. Наверняка бы обиделись, а этого никому из нас не хотелось, нет...

У ч е н ы й. Вот мы и решили выступить сообща.

П о л и т и к. Господин Бэрли тоже знает об этом и полностью с нами согласен.

М у з ы к а н т. Да-да, он тоже. Также не одобряет излишеств фантазии и выдумки.

Все неподвижно стоят вокруг Альфы.

У ч е н ы й. И вот мы сообщаем вам, что решили... предоставить вам... выбор: или Винценц... этот заурядный мошенник, который посмел оскорбить такого солидного человека, как господин Бэрли... или наша дружба. Мне выпал жребий сообщить вам это.

А л ь ф а. Вот как? Замечательно. Разумеется, я не могу принять решение сию минуту.

Кроме того, позвольте заверить, что мне будет недоставать вас не более, чем вам меня.

М у з ы к а н т (*мягко*). Тогда вам будет *очень* нас недоставать...

У ч е н ы й. Но такого еще никогда не бывало — вы поселили мужчину в своей квартире!

П о л и т и к. Поэтому мы сказали себе: вы слишком беззащитны.

А л ь ф а. Слишком беззащитна? Как это понимать?

П о л и т и к. Вы одинокая женщина и, как таковая, слишком беззащитны.

М у з ы к а н т. Инцидент с Бэрли — лишнее тому подтверждение.

Все согласно кивают.

А л ь ф а. Вы что же, все теперь желаете поселиться у меня?

П о л и т и к. Нам кажется, вам нужна квартира побольше, посolidнее, с посылными. Здешняя романтика, конечно, штука неплохая, но...

А л ь ф а. Это можно бы обсудить.

П о л и т и к. Однако ж я еще хотел сказать: здешняя романтика, конечно, штука неплохая, но...

У ч е н ы й. Как бы высоко мы ни ценили ваше настроение...

М у з ы к а н т. И с каким бы удовольствием ни вспоминали об этом...

А л ь ф а (*нетерпеливо*). И что же? Что?

П о л и т и к. Вы должны снова выйти замуж, Альфа. Вам нужна мужская защита и надежный порядок. Мы поставили это на голосование и, как выяснилось, придерживаемся тут единого мнения.

А л ь ф а. С ума сойти! За кого же из вас я должна выйти согласно результатам голосования?

П о л и т и к. Такое решение привело бы к распаду нашего кружка...

У ч е н ы й. Совершенно верно, кружок распался бы...

М у з ы к а н т. Да, Альфа, я никак бы не смог присутствовать на вашей свадьбе, сам не будучи женихом.

А л ь ф а. Так за кого же прикажете выходить?

П о л и т и к. Видите ли, Альфа, собственно... вы ведь уже замужем.

А л ь ф а. Что? Хальм?

П о л и т и к. Да, Апулей-Хальм.

А л ь ф а (*переводя взгляд с одного на другого*). Вы смеете предлагать мне такое? Хальма, этого козла, которого я выгнала из спальни, как только оправилась от шока, когда меня, юную неопытную девушку, отдали за него?

Музыкант. Да-да, за это мы его и ценим.

Альфа. За что?

Музыкант. За то, что его можно выгнать.

Ученый. Он проявил себя по-настоящему верным другом, после инцидента с Бэрли; он неустанно и самоотверженно старался просветить нас и дать четкую характеристику этому господину Винценцу; главным образом благодаря ему все и решилось.

Музыкант. И потом, он и о себе кое-что сообщил, кое-что замечательное. Он... хи-хи... нет, Альфа, он... ха-ха... вам вовсе не будет в тягость, да и у нас неприятных мыслей не вызовет. Ведь по отношению к женщинам он сущий херувим?!

Политик. Он заверил нас, что возобновление брачных уз отнюдь не повлечет за собой никаких притязаний. Мы будем приходить и уходить, как раньше; наши духовные контакты ничуть его не интересуют. Все дело в том, что он не без оснований усматривает в нынешней ситуации «стихийного», так сказать, безбрачия социальную безалаберность и считает ее вредной для своего общественного положения.

Альфа (*растерянно*). Ну... ну... это уж слишком!.. (*Как тигрица оглядывает одного за другим своих противников. Громко зовет.*) Винценц!

В соседней комнате мертвая тишина.

Я выйду замуж за Винценца!

Музыкант. Но, по словам Хальма, он вовсе не хочет жениться.

Альфа. Это я не хочу! Вам не понять. Это выше вашего разумения. (*Она явно стремится любой ценой найти идею, спасающую ее превосходство.*) Вы что же, не замечаете, что я уже в свадебном платье?! Минутку! (*Возбужденно выбегает за дверь.*)

Музыкант сокрушенно качает головой; остальные тоже, качая головой, сокрушаются по поводу раздражительности Альфы.

Музыкант. Контраст с добропорядочной обывательской жизнью, именно этот контраст — запомните, господа! — вот что нас травмирует, хоть мы и сами люди незаурядные!

Альфа (*втаскивая в комнату Подругу и указывая на собственное черное платье*). Это свадебный наряд?

П о д р у г а. Да, свадебный.

В с е. Но это ведь траурное платье!

А л ь ф а. Да, и траурное тоже.

П о л и т и к. Но вы не в трауре.

А л ь ф а. По Бэрли.

У ч е н ы й. Так ведь Бэрли не умер.

А л ь ф а. Потому я и в трауре.

М у з ы к а н т. Значит, вы все-таки хотели выйти за него?

А л ь ф а. Кто вам сказал?

В с е. Ну, вы же носите по нем траур.

А л ь ф а. Я в трауре за него.

В с е. Нет, не понимаю... Вы говорите, что это свадебный наряд? Значит, хотите выйти за него?

А л ь ф а. Без него. Для людей иного склада тут ничего сложного нет: я в трауре за него.

У ч е н ы й. За него? Вы же только что сказали: без него.

А л ь ф а. Ну да, конечно, за него.

У ч е н ы й. За? Не по?

А л ь ф а. За! То есть: без него... Вы до сих пор не уразумели, что я в трауре без него за него? Я за него в таком горе, будто он от страсти убил себя и меня, поскольку я не хотела за него идти. Поскольку он этого не сделал. Без него.

У ч е н ы й (за всех.) Но я не понимаю смысла!

А л ь ф а. Без не-е-е-го-о-о-о!!!

У ч е н ы й. Но вы же сказали, что платье свадебное: за кого же вы тогда собрались замуж?

А л ь ф а. Дорогая, они не понимают! Платье и то им непонятно. Они мыслят так однозначно. Если я говорю, что черное — это белое, значит, для моей души оно и правда белое. А Бэрли для моей души умер. И траурное платье — свадебный наряд. И они все тоже бесконечно мертвы. Им не дано понять, сколь глубоко бессилие нежного чувства именно потому, что ты не мужчина... верно, дорогая?

П о д р у г а. Ах, Альфа, смутные мечты неизменно самые прекрасные!

А л ь ф а (одной рукой обнимая подругу). Эти тупоголовые люди полагают, что в любви необходим мужчина, и если некий мужчина прожил у меня несколько дней, значит, он обязательно... обязательно... Какой при-

митив! Они не понимают, что их непонимание безгранично преступно! Но мы им это растолкуем, а Винценц тем временем будет жить подле нас, сколько захочет.

Мужская группа приходит в движение.

П о л и т и к. Н-да, ну тогда!..

В с е. Что «тогда»?

М у з ы к а н т. Нехорошо с вашей стороны, Альфа, приносить проверенных друзей!..

П о л и т и к. ...в жертву бродяге!

А л ь ф а (*припав к груди Подруги*). Они так и не поняли, что в них нет надобности. Они оскорбляют меня своей защитой. (*Дрожа от упрямства, сердито делает им ножкой знак удалиться.*)

П о д р у г а. Но, Альфа! Я знать об этом не знала! Альфа! Ты все обдумала!

А л ь ф а (*сердито, со слезами*). Что?

П о д р у г а. Ты и вправду хочешь из-за Винценца?..

А л ь ф а. Что? Что?

П о д р у г а. Ничего.

А л ь ф а. Что ты знаешь?

Подруга гладит ее все нежнее.

Ты что-то знаешь?! (*Вопросительно хватает ее за плечи.*)

П о д р у г а (*внезапно в порыве любви, стыда, раскаяния виснет у нее на шее, затем падает на колени*). Он недостойн тебя!.. Он соблазнитель!..

А л ь ф а (*холодно высвобождаясь*). Ты? У тебя... что-то с ним было?

П о д р у г а (*на коленях*). Ты знаешь, это моя слабость!.. Но он... он...

А л ь ф а. Фу!.. как ты мне омерзительна. Грязный ошметок, который липнет ко всем мужчинам подряд. Вдобавок еще и здесь? Здесь?

П о д р у г а. В этом... в этом было столько человечности. И началось все так обыденно!.. (*Обнимая ноги Альфы.*) Прости. Прости! Я так тебя люблю!

А л ь ф а (*неожиданно вцепляется ей в волосы, бьет по лицу*). Так ты меня любишь, так!!!

Борются.

П о д р у г а (*хныча*). Не надо, не надо... я так тебя люблю...

Все бросаются разнимать, но их едва не сбивают с ног; сцена безусловно некрасивая. На шум из соседней комнаты входит В и н ц е н ц. Подруга на полу. Альфа в растерянности рядом, на коленях.

А л ь ф а. Боже, какой стыд... (*Глядя то на одного, то на другого.*) Что вы теперь обо мне думаете? (*Она на грани отчаянных слез.*)

В и н ц е н ц. Ну, как вы считаете... можно мне сказать?

Альфа бросает на него беспомощный взгляд. Подруга вскакивает, кидается на грудь Винценцу. Винценц переправляет ее в объятия Музыканта.

Всего на минутку! (*Всем.*) Необычайный трагический талант!

Альфа смотрит на него и догадывается, что пришла помощь.

В с е (*недоверчиво*). Это все спектакль?

В и н ц е н ц. Ну конечно. (*Помогает Альфе встать. Подруге.*) Вы уж простите, ради естественности вас не предупредили. (*Всем.*) Как известно, Альфа буквально во всем наделена незаурядным талантом, но у нас потребовали доказательств. Потребовали зацепиться за любой пустяк и разыграть «сцену». Потому что с нашей точки зрения только сценам, вытекающим из самой жизни, в полной мере присуща естественность. Мы даже подумываем использовать наш капитал, чтобы влиять на судьбы и потом снимать их в кино. Никаких профессиональных актеров! Дело в том, что не так давно я завязал контакт с кинематографом: «Свет и любовь. Общество по производству реалистических фильмов в рамках закона». И вот только что мы обрели в Альфе поразительную исполнительницу.

А л ь ф а. Что правда, то правда: нашим киноактрисам недостает человечности, они такие банальные.

В и н ц е н ц. А реальная обыденность — самый подходящий материал для кинематографа.

П о л и т и к. Но «Свет и любовь»? Это же выдумка! Так называется миссионерская община!

В и н ц е н ц. В самом деле? Возможно. Но согласитесь, это замечательное название и для киностудии.

Музыкант (*Винценцу*). А вы? А мы?

Политик пожимает плечами и собирается уходить.

А женитьба? А Хальм?

Винценц. Я надеюсь.

Альфа (*взяв себя в руки*). Вы все мне глубоко безразличны. Вы все для меня духовно умерли. В том числе и Винценц.

Винценц. Остается надеяться. Вы напрасно мне не доверяете. Но ничего, все разъяснится... Однако оставим покуда двух артисток наедине. (*Уводит Друзей из комнаты.*)

Альфа и Подруга меж тем приводят перед зеркалом в порядок свои прически и платья.

Подруга (*опасливо*). Ты была так резка... (*Тихо.*) Но привела меня в полный восторг!

Альфа. Нам надо поговорить начистоту. Я вела себя странно. Даже очень странно... Ты, конечно, не поверишь... если тебе нужен Винценц... Для меня он никогда не имел большого значения.

Винценц осторожно, оценивая ситуацию, возвращается с пальто, шляпой и саквояжиком в руке.

Подруга. Ах, вот теперь ты мне по-настоящему близка!

Альфа. Значит, поговорим сегодня вечером. Я дам тебе ключ. Сейчас... (*Тщетно ищет ключ.*)

Винценц молча кладет перед нею свой. Подруга берет ключ и быстро, не глядя на Винценца, уходит.

Винценц. Ну что же, наверно, и мне пора идти?

Альфа опять начинает беспокойно мерить шагами комнату, как в первой сцене.

Альфа. Не думай, я не держу на тебя обиду. Помощь тебе не нужна? В конце концов ты же потерял место, пока был со мной.

Винценц. Дай руку. (*Протягивает ей свою.*) Нелегкая все-таки штука — свидание со своей душой.

Альфа не берет протянутую руку. Винценц подходит к зеркалу, задумчиво приглаживает щеткой волосы.

Позволь на прощание дать тебе совет: не зови больше этих милых господ.

А л ь ф а. Этому должен быть конец! Должен!

В и н ц е н ц. Смотри. (*Держа щетку за концы, поворачивает ее щетиной к Альфе.*) Вон сколько концов! Ты забыла?

А л ь ф а. Если бы все в тебе было столь же прочно, как твоя память на чужие ошибки, до такого бы не дошло. (*Забирает у него щетку и продолжает расхаживать по комнате.*)

В и н ц е н ц. Альфа, милая, не о том речь, смотри! (*Показывает ей что-то, что осталось у него в руках.*)

А л ь ф а. Что это?

В и н ц е н ц. Вот он, конец: седой волос!

А л ь ф а (*быстро забирая у него волос*). Это подругин.

В и н ц е н ц. Или мой. Следующим будет твой. Возраст, нельзя вечно оставаться ребенком и твердить, что мир должен быть другим, не таким, каков он есть. (*С мягкой меланхолией.*) Давай не будем перед разлукой кривить душой. Ты, конечно, тоже думаешь, что я мошенник? А ведь это неправда.

А л ь ф а (*остановившись*). Почему ты и на прощание не можешь не врать?

В и н ц е н ц. Боже мой, да не вру я, нет. Ты вот думаешь, я сидел в тюрьме, якшаюсь с убийцами и гуляющими девками, играю в азартные игры? Скажу тебе чистую правду: на самом деле я живу как все. Скучаю, на досуге хожу в кино, в варьете или скромненько, по-обыкательски играю в скат, бываю в театре и на художественных выставках и там тоже скучаю, проживаю свою жизнь, как всякий порядочный человек, без ощущения, что я и есть ее причина, без мелодии, направления, хмеля, глубины. Единственное, что отличает меня от других, это отсутствие настоящей профессии, потому, наверно, я и вижу все это более отчетливо.

А л ь ф а. Значит, ты не плохой человек?

В и н ц е н ц. Увы, нет. Правда, нельзя сказать, что у меня не было к этому таланта...

А л ь ф а. Вот-вот. (*Опять начинает расхаживать по комнате и опять останавливается.*) Сколько у человека всяких талантов! Но пользоваться ими он не умеет!

В и н ц е н ц. Ты так считаешь. А сама вот только что продемонстрировала куда больше таланта к страсти, чем даже я мог предположить. Но как совладать с талантом? Скажу: бесталанностью, работой, серьезным ко всеми отношением и прочими неприятными вещами; ведь дух может себя проявить лишь как отход от бездуховности, таланту же без соответствующих ограничений не хватает, как говорится, глубокомыслия. Лучше не принимать свои таланты всерьез.

А л ь ф а. Тебе не хватает серьезного отношения к себе самому!.. Я уже говорила, что ты для меня духовно мертв: но почему ты тогда — я говорю сейчас о прошлом, — почему ты тогда, когда я была послана тебе, не нашел в себе сил для серьезности?

В и н ц е н ц. Звонят! (*Порывается открыть.*)

А л ь ф а. Отвечай!

Опять звонок, очень энергичный.

В и н ц е н ц. Но любовь двух значительных людей вовсе не частное дело... (*Выбегает вон. Возвращаясь.*) ...а суммарное отношение к миру! Могу посоветовать тебе одно: примиришься с миром! Смотри, у него цветы.

Вошел А п у л е й - Х а л ь м, тщательно одетый, с букетом в руках. Держится очень солидно и уверенно.

А л ь ф а. Подождите! Ты — гений с изъяном! А я нет!

В и н ц е н ц. Будь у меня хоть крохотный изъян! Я был бы неотразим!.. У меня тогда был бы какой-нибудь бзик, какое-нибудь хобби, или тайное извращение, или миссия, я был бы артистом, любовником, негодяем, скрягой, бюрократом, — словом, значительным человеком и жил бы со всей серьезностью. Но я до ужаса здоров. (*Беззастенчиво разглядывает Хальма.*) Ведь я, шегол, певец серьезности, совершенно ясно вижу все вокруг. И тем не менее я, на беду, человек гармоничный; меж тем как любой другой выкрашен одним цветом, я гармонически пестрый. И, конечно, заглянув в мое оперение, всякий думает, что он того же цвета.

Х а л ь м (*размеренно, с достигнутой недостижимой высоты*). Вы мошенник. Это установлено.

В и н ц е н ц. Ну разве что когда мне одиноко, так сказать, из социального ощущения, я пользуюсь своей многоцветностью и временами прикидываюсь мошенником. (*Альфе.*) Мое единственное мошенничество заключается в том, что я не мошенник. (*Протягивает Альфе руку.*) Не сердись на меня... И не заставляй его так долго ждать.

Альфа разочарованно пожимает плечами. Она приняла решение.

А л ь ф а. Зачем вы с цветами?

Х а л ь м (*поднимая букет*). Наши друзья, верно, уже сказали вам. Я надеюсь, что после... после этой ненадежности вы сумеете оценить верную привязанность супруга.

А л ь ф а (*принимая цветы*). Дорогой Хальм, я ценю вашу заслугу. И отвечу вам сей же час. Но будьте добры, прежде соедините меня кое с кем. Я дам вам номер. (*Листает телефонную книгу.*)

Х а л ь м (*обращаясь меж тем к Винценцу*). С вами все кончено. Но я могу вам, верно, в чем-нибудь поспособствовать?

В и н ц е н ц. Я хотел бы стать слугой: не дадите ли мне рекомендацию?

Х а л ь м, Слугой? Прелестно.

В и н ц е н ц. Лучше всего — вашим; я уже более-менее знаю ситуацию.

Х а л ь м. Вы, похоже, и теперь не прочь понасмешничать. Но обстоятельства изменились!

А л ь ф а. Вот, дорогой Хальм, позвоните для меня по этому номеру.

Х а л ь м (*набирая номер*). Весьма влиятельный человек, этот барон Ур фон Узедом.

В и н ц е н ц (*Альфе, недоверчиво*). Это не тот, что однажды сидел с вами в ложе, такой маленький шимпанзе?

Х а л ь м. Невероятно богатый человек и поклонник образования.

В и н ц е н ц. И на голове у него мерзкая сыпь?

Х а л ь м. Он почти излечился... Да, это Хальм, доктор Хальм, муж госпожи Альфы, да, моя жена сама возьмет трубку.

А л ь ф а. Спасибо, Хальм. Альфа у телефона... О-о?...
(*Молча слушает.*)

Мужчины стоят, не говоря ни слова. Альфа обрывает разговор,
прикрывает трубку ладонью.

(*Винценцу.*) Значит, ты вправду решил уйти?

Х а л ь м. Конечно, он должен уйти!

А л ь ф а (*продолжая телефонный разговор*). Значит, через полчаса вы можете быть здесь. Не растрачивайте себя заранее. (*Вешает трубку.*) Вы знаете, что это означает?

Х а л ь м. Нет.

А л ь ф а. Три недели назад он сделал мне предложение...

Х а л ь м (*восхищенно качая головой*). Ах-ах!

А л ь ф а. ...которое я отклонила. Но одно я обещала: если я пожалею о моем решении, то сразу же сообщу. (*Без сил, с притворным безразличием падает в кресло.*)

Х а л ь м. Но, Альфа, вообще-то мы еще женаты, мы ведь по-настоящему не развелись!

А л ь ф а. Вот как? (*Устало.*) Тогда ступайте к адвокату и уладьте это дело. Я не желаю больше иметь ничего общего с такими нелепыми историями. (*Винценцу.*) А вы?

В и н ц е н ц. Ты изумительна. Ничто не восхищает меня так, как твое тщеславие; я лишен его, а у тебя это — самое сильное качество.

А л ь ф а. Но вам же теперь будет плохо?

В и н ц е н ц. Поскольку Хальм меня отверг, наймусь слугой к какой-нибудь светской даме или к биржевику.

А л ь ф а. Ты это серьезно? У нас мало времени, Винценц.

В и н ц е н ц. Конечно, серьезно. Если не нашел собственной жизни, надо тащиться в хвосте чужой. И лучше всего делать это не от восторга, а сразу за деньги. Для честолюбца есть только две возможности — создать большое дело или стать слугой. Для первого я слишком честен; для второго — как раз сгожусь.

Но если тебе когда-нибудь вдруг захочется... я все же опасаюсь, что этот скоропалительный шаг сделает тебя очень несчастной...

А л ь ф а. Мне что, явиться в тот же дом? И ты обеспечишь мне место горничной?

В и н ц е н ц. Нет, уж ты, пожалуйста, иди в другой дом; ведь мы с тобой все-таки чересчур похожи.

Конец

КОММЕНТАРИИ

«Душевные смуты воспитанника Тёрлеса».

Первое произведение Музиля, начало работы над которым он датирует 1902 годом, когда он трудился в Штутгартском Техническом университете в качестве сверхштатного ассистента. В марте 1905 года он писал своей приятельнице, что «роман закончен несколько недель назад». В 1906 году, после трех безуспешных обращений в три известных издательства, роман вышел в Венском издательстве, которое после нескольких перекупок в конечном итоге перешло к Ровольту, выпустившему в 1931 году последнее издание романа при жизни автора.

На русском языке перевод, выполненный С. Аптом, опубликован только в журнале «Иностранная литература» (1992, № 4).

«Соединения».

Вторая книга Музиля, результат его мучительной работы в течение двух с половиной лет, вышла в 1911 году в Мюнхене, у Георга Мюллера, первым купившего Венское издательство (где был издан «Тёрлес»). Обе новеллы имели частичные или полные («Искушение кроткой Вероники», первоначальное название — «Зачарованный дом») предварительные варианты и редакции.

На русском языке новеллы публикуются впервые.

«Мечтатели».

Первые наброски к этой пьесе зафиксированы в «Дневниках» в 1908 году. Опубликована книгой в 1921 году в Дрезденском Сабиллен-ферлаг. В 1929 году небольшой Берлинский театр поставил пьесу с «ампутированным» текстом, несмотря на слабые протесты Музиля. Постановка потерпела неудачу, которая приписывалась режиссуре; Музиль написал памфлет «Скандал с «Мечтателями» (1929). Вторая постановка состоялась в 1955 году в Гессенском национальном театре Дармштадта.

На русском языке публикуется впервые.

«Винценц и подруга выдающихся мужей».

Пьеса вышла уже у Ровольта, в 1924 году. Премьера состоялась в Берлине в 1923 году, имела большой успех, от которого Музиль дистанцировался, считая, что работа его «незаконченная и никогда закончена не будет». После войны пьеса неоднократно ставилась различными городскими театрами, начиная с Кёльна (1957).

На русском языке печатается впервые.

Е. Кацева

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Е. Кацева.</i> От составителя	5
<i>А. Карельский.</i> Утопии и реальность	7
ДУШЕВНЫЕ СМУТЫ ВОСПИТАННИКА ТЁРЛЕСА. Роман <i>Перевод С. Анта</i>	39
СОЕДИНЕНИЯ. Новеллы:	187
СОЗРЕВАНИЕ ЛЮБВИ <i>Перевод И. Алексеевой</i>	189
ИСКУШЕНИЕ КРОТКОЙ ВЕРОНИКИ <i>Перевод И. Алексеевой</i>	237
ПЬЕСЫ	275
МЕЧТАТЕЛИ. Драма <i>Перевод Н. Федоровой</i>	275
ВИНЦЕНЦ ИЛИ ПОДРУГА ВЫДАЮЩИХСЯ МУЖЕЙ. Фарс <i>Перевод Н. Федоровой</i>	389
КОММЕНТАРИИ <i>Е. Кацевой</i>	443

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ИЗДАНИЕ

Роберт Музиль

МАЛАЯ ПРОЗА

Избранные произведения в двух томах

Том 1

Ответственный редактор *Г. Э. Кучков*
Компьютерная верстка *Н. Д. Саркитов*
Корректоры *Н. Н. Тимофеева* и *В. Е. Климанов*

Издательство «КАНОН-пресс-Ц»,
111402, Москва, Вешняковская ул., 6-3-92;
издательство «Кучково поле»,
113534, Москва, ул. Янгеля, 14-6-274.

Издательская лицензия
ЛР № 06:2947

Подписано в печать 30.07.1998. Формат 84x108¹/₃₂. Печать
офсетная. Гарнитура Кудряшевская. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 23.52. Тираж 4000 экз. Заказ № 224

Отпечатано с оригинал-макета в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6.